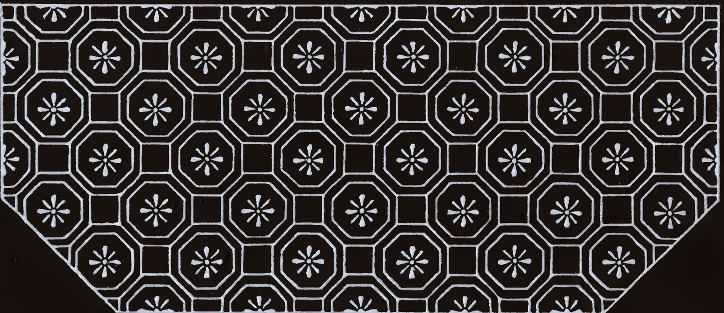
Русская фантастическая проза эпохи романтизма



Русская фантастическая проза эпохи романтизма



Русская фантастическая проза эпохи романтизма

(1820—1840 гг.)



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1990

ББК 84Р 1-4
Р88

Редактор *Л. А. Карпова*

Составление, подготовка текста и комментарии *М. Н. Виролайнен, О. Г. Дилакторской, Р. В. Иезуитовой, А. А. Карпова, Я. Л. Левкович, Н. Н. Петруниной, Н. М. Романова, М. А. Турьян, С. А. Фомичева, И. С. Чистовой*

Вступительная статья *В. М. Марковича*

Общая редакция *А. А. Карпова*

Рецензенты: канд. филол. наук *М. В. Отрадин* (Ленингр. ун-т), проф. *В. Г. Иванов* (Ленингр. ун-т)





Художник *Л. И. Блинова*

Русская фантастическая проза эпохи романтизма
Р88 **(1820—1840 гг.)**: Сб. произведений / Сост. и авторы комментариев Карпов А. А., Иезуитова Р. В., Турьян М. А. и др.; авт. вступ. статьи Маркович В. М.— Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.—672 с.
ISBN 5-288-00497-8

Книга является наиболее полным сборником произведений популярного в литературе 30-х годов XIX в. жанра. Широко известные произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Погорельского объединены с редко издающимися сочинениями А. Бестужева-Марлинского, И. Киреевского, В. Одоевского, Е. Баратынского, А. Вельтмана и др.

Для широкого круга читателей.

Р $\frac{4702010101-136}{076(02)-90}$ 152—90

ББК 84Р1-4

ISBN 5-288-00497-8

Дыхание фантазии

В середине 20-х годов XIX в. в русскую прозу вошел необычный жанр, который позднее стали называть фантастической повестью. Новый жанр быстро завоевал успех у читателей, и это послужило залогом его расцвета. В конце 20-х и на протяжении 30-х годов русские прозаики один за другим начинают писать в «фантастическом роде». Число сочинений такого рода непрерывно множится, отдельные фантастические истории складываются в циклы, а порою в книги, во многом подобные циклам, скрепленные изнутри либо сюжетно-композиционными связями, либо тематическими перекличками, либо жанровой однородностью своих слагаемых. Так появляются «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. А. Погорельского-Перовского (1828), «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1831—1832), «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского (1833), «Вечер на Хопре» М. Н. Загоскина (1834) и т. д. Проблемы фантастической словесности становятся предметом обсуждения в главных русских журналах того времени — «Московском телеграфе», «Московском вестнике», «Сыне отечества», «Телескопе», «Библиотеке для чтения». В тех же журналах публикуются многочисленные переводы иностранных романов и новелл, принадлежащих (или тяготеющих) к «фантастическому роду». Словом, интерес к фантастике оказывается чрезвычайным и вместе с тем устойчивым: веяния очередной литературной моды явно сплетаются в этом случае с глубокой общественной потребностью.

Первоначально, в годы, непосредственно предшествовавшие восстанию 14 декабря, тяготение к фантастике было выражением интереса к народному творчеству. Интерес этот был одним из проявлений борьбы за самобытность русской культуры: именно в ту пору понятия «народность», «народная старина», «народный дух» начинали приобретать значение высших ценностей. Идею национальной самобытности наиболее энергично пропагандировала декабристская критика. Но общественно-культурная почва, на которой эта идея развивалась, простиралась далеко за рамки декабризма: здесь давал о себе знать общенациональный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Путь, ведущий к подлинной народности культуры, чаще всего видели тогда в обращении к миру народных поверий, преданий и легенд. «Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»[1],— писал в 1824 г. поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер.

В ряду источников подлинной народности не последнее место отводилось древним мифологическим представлениям — тем самым, с которыми были генетически связаны различные формы литературной фантастики. Славянская народная мифология становилась предметом внимательного изучения: еще в первые десятилетия XIX в. одна за другой появились книги Г. А. Глинки, А. С. Кайсарова, П. М. Строева, пытавшихся реконструировать общий строй русского мифологического мышления. Несколько позже народные поверья и связанные с ними мифологические образы начинают воздействовать на поэтику некоторых жанров романтической литературы. Наконец в русле тех же воздей-

[1] Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 42.

ствий формируются совершенно новые для русской литературы стихотворные и прозаические жанры Одним из них и оказывается фантастическая повесть.

Историю русской фантастической повести принято начинать характеристикой двух сочинений, увидевших свет в 1825 г Речь идет о повести А. А. Погорельского «Лафертовская маковница» и повести А. А. Бестужева «Замок Эйзен», впервые напечатанной под названием «Кровь за кровь». Их появление с полным правом можно рассматривать как отправную точку в развитии русских форм прозаической фантастики Обе повести, бесспорно, могут быть признаны оригинальными, и в то же время в обеих еще очень отчетливо прослеживаются разнородные влияния, способствовавшие становлению нового жанра в русской литературе

* * *

Погорельский первым осязаемо воссоздал русский мещанский быт, наполнив свою повесть подробностями повседневной жизни тихих городских окраин, жанровыми сценками, пересказами местных толков и слухов — одним словом, той особенной житейской атмосферой, которая никогда еще не становилась предметом столь узнаваемого изображения

Однако в обыденно прозаическую бытовую обстановку почти сразу же вторгается фантастика: продавщица маковых лепешек оказывается колдуньей, рядом с ней появляется кот-оборотень, следует сцена, изображающая таинственный колдовской обряд, за ней — не менее таинственные видéния действующих лиц. Наконец, вновь является тот же кот, превратившийся в титулярного советника.

Современники усматривали в повести Погорельского признаки подражания Э. Т. А. Гофману. Русский романтик и в самом деле начинал с буквального следования гофмановским образцам. Однако пора ученичества оказалась для Погорельского короткой, и в «Лафертовской маковнице» сквозь сохранившиеся контуры гофмановской традиции проступают черты вполне самостоятельной манеры.

О Гофмане тут напоминают прежде всего отдельные образы и мотивы. Это уже знакомый нам черный кот, способный к волшебным перевоплощениям, и страшная колдунья, забавно совместившая чародейство с обыденными профессиями рыночной торговки и платной гадалки (читатель тех лет не мог не вспомнить при этом «Золотой горшок» и колдунью Луизу Рауерин, тоже совмещавшую с колдовскими чарами примерно такие же бытовые занятия) Еще важнее сходство основополагающих конструктивных принципов: у Погорельского, как и у Гофмана, композиционно-смысловую основу повести составляет постоянное переплетение сверхъестественного с буднично-реальным.

В гофмановских сказках-каприччио («Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Повелитель блох», «Принцесса Брамбилла») совершалась своеобразная мифологизация быта: обыкновенные предметы мещанского обихода внезапно обретали способность к мифическим метаморфозам, а персонажи оказывались двойниками или новыми воплощениями действующих лиц тут же рассказанного мифа. Все это превращало бытовой мир в арену волшебной фантасмагории, в недрах обыденнейших житейских ситуаций автор-фантаст открывал вселенскую борьбу добра и зла, понятую в духе «новой мифологии» романтиков.

Погорельский тоже вводит бытовую историю в контекст грандиозной борьбы сверхъестественных вселенских сил, но эта борьба не

составляет у него глубинную основу бытовых отношений и происшествий. У Погорельского ирреальные силы вторгаются в житейскую повседневность откуда-то извне, как нечто ей постороннее и, в общем, даже чуждое; дело лишь в том, что бытовой мир способен временно подчиниться чуждой власти потустороннего начала. Столь существенное отличие не может не отозваться в развитии и самом характере авторской идеи: обнаруживается возможность иного, чем у Гофмана, отношения к мифологическому вселенскому конфликту.

«Каприччиозная» фантастика позволяла Гофману осветить буржуазную цивилизацию светом вечности: таким образом приобреталось право подвергнуть современность беспощадному и непререкаемому суду. Не менее существенной была возможность другая: ничем не скованная игра мифологических, сказочных и карнавальных стихий давала возможность осязаемо воплотить романтический идеал. Однако и этим не исчерпывался у Гофмана смысл изображаемого. Идеал осуществлялся всегда в какой-то мере для того, чтобы подвергнуть его иронической проверке. Торжествующие силы мифа, сказки, карнавальной утопии оказывались под сомнением, едва лишь мечта оборачивалась реальностью. Осуществленный идеал либо представал иллюзией наивного детского сознания («Щелкунчик»), либо обнаруживал подозрительное сходство с филистерской идиллией («Крошка Цахес», «Повелитель блох»). В этом по-своему давала о себе знать природа позднеромантического гротеска, в конце концов всегда так или иначе уничтожавшего или размывавшего границу между идеальным и реальным, прекрасным и безобразным, добрым и злым. Гофмановский гротеск сохранял и даже использовал ощущение абсолютной противоположности этих начал, но четкое разграничение их становилось невозможным. В гофмановском мире все было двойственно, все осложнялось возможностью сомнения или насмешки.

Художественная цель Погорельского неизмеримо проще и скромнее. Фантастика не вносит в его повесть ни стихию хаоса, ни атмосферу карнавальной игры, в которых потерялись бы четкие границы между эстетическими и нравственными противоположностями. Ясно различаются грешное и праведное, несомненны торжество добра и крушение зла, вознаграждаются добродетели, ничто не мешает идиллическому звучанию финала. Если и есть здесь оттенки юмора, то они несут в себе не снижающую иронию, не насмешку, а простодушную и добрую веселость.

Финал, в котором страшные силы зла посрамлены, а к достойному этого человеку разом приходят счастье и благополучие, напоминает концовки народных волшебных сказок. Заметны здесь (особенно в изображении «нечистой силы») и некоторые приемы, свойственные быличкам — суеверным устным рассказам о встречах со сверхъестественными существами. Однако в конкретном наполнении традиционной схемы чувствуется присутствие иной художественной стихии, более близкой читателю, воспитанному на литературных образцах. В финале «Лафертовской маковницы» зло не просто побеждено: оно вдруг исчезает, как наваждение или сон. Возникающее здесь ощущение доброго чуда и породившей его игры воображения не могло не вызывать ассоциаций с хорошо известным читателю 20-х годов финалом баллады Жуковского «Светлана» (1808—1812).

Очевидное сходство повести и баллады — своеобразный знак органической связи нового жанра с очень важной для его становления отечественной традицией. Значение этой традиции трудно преувеличить. Именно баллады Жуковского открыли русскому читателю смысл

и обаяние романтической фантастики, впервые приобщили его к поэтической атмосфере «тайн и ужасов»[2]. Именно Жуковский первым заставил русскую публику действительно пережить те эстетические потрясения, которые, по законам балладного жанра, были призваны высвободить читательское сознание из плена обыденной жизни и рассудочной логики. Наконец, балладная поэтика Жуковского приблизила сознание просвещенного читателя к миру фольклорного мышления, к наивному народному взгляду на мир. И то, и другое, и третье оказалось для Погорельского существенным и необходимым. Конечно, отталкивание от наиболее резких особенностей «гофманизма» коренилось в самой природе дарования, в самой психологии молодого русского писателя[3]. Но, по-видимому, он нуждался в поддержке авторитетной художественной традиции, открывшей источник совсем иной поэзии чудесного — далекой от мятежного скепсиса, иронии, эстетических диссонансов, от примеси бурлеска и буффонады. Необходимую поддержку, видимо, принесла ему именно балладная традиция Жуковского.

В центре балладного мира Жуковского — человек, или, вернее, его душа. Фантастические балладные сюжеты обнаруживают двойственность заключенных в ней возможностей, борьбу в ней и за нее могущественных надличных сил. В этом Жуковский близок к поэтическому миру Гофмана. Но автор «Светланы» далек от немецкого романтика в другом: его балладная «вселенная» предстает как мир, в основании своем непоколебимо справедливый. Добро здесь вознаграждается — духовным совершенством, бессмертием чувства, высшим блаженством «счастья-пробуждения». Паденне, зло наказываются беспощадно и неотвратимо. В конечном же счете все здесь зависит от самого человека, от его выбора, от его независимости и нравственной стойкости, от его верности добру, человечности, высокой мечте, закону предков. И конечно — от чистоты и силы его чувств.

Основу балладной концепции мира составляет у Жуковского ясная простота этических принципов, родственная сказочным художественным внушениям или патриархальному нравственному кодексу народа. Вырисовывается идеал кроткой, но непреклонной праведности, которая одинаково исключает бунт и приспособление к обстоятельствам, борьбу за свое счастье и любые уступки злу. Этот идеал противопоставлен «жестокому веку» современности, сумятице и хаосу жизненных противоречий. И что не менее важно — в чудесном мире баллады этому идеалу обеспечено торжество. Отсюда ясность и четкость, преобладающие в различении добра и зла, однозначность оценок, возвышенная прямолинейность в трактовке основных законов бытия.

Эту возвышенную прямолинейность как раз и наследует Погорельский. Она и вносит важнейшую поправку в художественную цель смешения реального с чудесным: исчезает возможность поставить под сомнение воплощенные в повести ценности идеального порядка. Но это не означает простого повторения традиций предшественника.

Контуры сюжетных ситуаций «Лафертовской маковницы», в общем, сходны с очертаниями типичного балладного конфликта. В центре повествования — девушка, напоминающая героинь «русских» баллад

[2] «Не знаю, испортил ли он наш вкус,— вспоминал о влиянии баллад Жуковского известный писатель-мемуарист Ф. Ф. Вигель,— по крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения» (Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1964. Ч. III. С. 136).

[3] См. об этом: Игнатов С. А. Погорельский и Э. Гофман // Русский филологический вестник. 1914. Т 22, № 3—4. С. 278.

Жуковского. Перед читателем — юное существо, чистое, кроткое, любящее и послушное, но доступное слабости и заблуждениям. За душу девушки ведут борьбу силы добра и зла. Однако по мере того как развертывается эта борьба, становится ясно, что законы прозы частично преображают балладную концепцию мира.

Сверхъестественные силы зла у Погорельского уже не так могущественны, как в «страшных» балладах Жуковского. Зло бессильно перед традиционной набожностью и чистой совестью («нечисть» даже не пытается искушать честного Онуфрича). В то же время законы фантастического мира Погорельского намного снисходительнее к человеку, чем законы балладной «вселенной» Жуковского. Героиня Погорельского не раз делает уступки злу (участвует в колдовском обряде, мечтает о неправедном богатстве, пытается подавить в своей душе чистую любовь к суженому). В балладах Жуковского такие уступки скорее всего отдали бы героиню во власть зла и навлекли бы на нее беспощадное возмездие. Но в повести Погорельского все устраивается вполне благополучно: достаточно нравственному чувству в какой-то момент возобладать в душе Маши — и все ее грехи прощены, а добродетель вознаграждается по всем меркам сразу. Воцарившаяся гармония ничем не омрачена. Даже алчная Ивановна, готовая загубить душу ради ведьминых денег, и та не уничтожена, не посрамлена, а, напротив, ублаготворена, утешена и включена в общую гармонию счастливого конца.

У Погорельского над всем царит мягкая благожелательность автора. Балладная мировая гармония как бы освобождается от напряженности романтического максимализма и низводится с предельных его высот в лоно скромной патриархальной идиллии. Фантастика, заключая отобранный бытовой материал в круг условностей особого рода, заставляя читателя пройти путем пережиданий страшных, трогательных и веселых, художественно оправдывает идиллический итог и примиряет с ним читательскую взыскательность. Наполнившись «большими чудесами» баллады (вспомним «Светлану» Жуковского: «В ней большие чудеса, // Очень мало складу»), идиллический мир, не разрушаясь, вмещает в себя масштабное драматическое содержание.

Пронизанная разнородными стихиями фантастики, идиллия участвует в «романтизации» (выражение немецкого поэта-романтика Новалиса) бытовой повседневности. В итоге последняя становится эстетически и философски значительной. «...Обыденному я придаю высокий смысл, повседневное и прозаическое облекаю в таинственную оболочку, известному и понятному придаю заманчивость неясности, конечному — смысл бесконечного. Это и есть романтизация»,— писал Новалис[4]. Такая «операция» (как называл ее тот же Новалис) может воплощать в себе пафос романтического субъективизма, доказывая «способность человеческого духа подняться над обыденным... восприятием мира»[5]. Вместе с тем подобный подход, в сущности, недалек от того, который вскоре начнет утверждать «большая» реалистическая литература. Есть основание считать, что Погорельский предвосхищает открытие всеобщего и вечного содержания в будничной жизни обыкновенных людей. Иными словами, то самое открытие, которое несколько лет спустя состоится в «Повестях Белкина».

[4] Novalis Schriften / Hrsg. von J. Minor. Jena, Bd. 3. S. 45—46 (рус. пер. цит. по кн.: Дмитриев А. С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975. С. 87).

[5] Дмитриев А. С. Проблемы иенского романтизма. С. 87

* *
*

На скрещении тех же традиций складывается и ранняя фантастическая повесть А. А. Бестужева. Только в повести «Кровь за кровь» каждая из этих традиций и самый способ их сочетания существенно трансформированы.

Бытописание, узнаваемо воссоздающее самую плоть житейской повседневности, приобретает здесь черты историзма, по типу близкого к эстетике Вальтера Скотта. Притязание на историческую достоверность сразу же выражается ссылкой на «ливонские хроники», откуда, по заверению «издателя», извлечены «нравы и случай сей повести». Декларация подкреплена характером бытописания, умением создать колорит эпохи, объективностью и трезвостью взгляда на вещи. Беспощадная авторская трезвость находит прямое выражение в характеристике Бруно фон Эйзена, звероподобного насильника, самодура, убийцы и изувера. Звероподобие Бруно тем страшнее, что рисуется оно без обычных романтических эффектов в духе «эстетики безобразного». Характер Бруно — плоть от плоти его среды, концентрированное выражение ее нравов и предрассудков. Поэтому перед читателем — не гротескный злодей, а человек, в определенном смысле, вполне обыкновенный.

Наряду с установкой на историческую достоверность (и в несомненной связи с ней) получает особую важность фольклорный колорит повествования. Повествование ведется не автором, а как бы от лица рассказчика, «известного охотника до исторических былей и старинных небылиц». Последний узнает историю замка Эйзен от местного пастора, но и пастор не сочинитель этой истории, а лишь хранитель предания. Таким образом, рассказанная история рекомендуется читателям именно как предание, переходящее из уст в уста. Происхождение истории оправдывает «сказовый» характер повествования, а вслед за тем ориентация на народную точку зрения начинает определять и сюжетные мотивировки. Фольклорные афористические формулы («в чужих руках синица лучше фазана», «с сединой в бороду — бес в ребро», «женские слезы — роса») все чаще объясняют сюжетные переходы и, следовательно, организуют восприятие происходящего. Мало-помалу читатель вовлекается в сферу фольклорного сознания, оказываясь перед лицом его особых законов.

И тогда в сюжет повести вполне непринужденно (в целом даже несколько легче, чем у Погорельского) входит фантастическое начало. Поначалу очень отчетливы ассоциации, напоминающие о фантастике Гофмана (именно такие ассоциации вызывают гадалка-колдунья, ее черный кот, колдовские обряды). Затем, когда предсказания колдуньи исполняются, возникают мотивы, ассоциативно перекликающиеся с балладными сюжетами Жуковского. В рассказе о возвращении Бруно из похода, о подсмотренной им сцене свидания его жены с возлюбленным, о гибели барона и возмездии, постигшем его убийц, своеобразно трансформированы некоторые ситуации «Замка Смальгольм» и баллады о «Старушке». Сначала — роковой «треугольник», разрешаемый убийством, дикое столкновение страсти, ревности и жажды мщения, одинаково безудержных и катастрофичных. Затем — атмосфера невыносимого ужаса, сгустившаяся в церкви, стены которой не могут защитить грешника, появление всадника, воспринимаемого как воплощение потусторонних сил зла, чувство неотвратимо надвигающейся катастрофы и где-то в последней глубине — ощущение «тайны мира и души, чувство

беспредельности скрытых... стихий, борющихся в жизни человеческой и во всем мироздании»[6]. Все это порой до деталей сходно с образным колоритом «средневековой» балладной тематики Жуковского.

Правда, балладные чудеса оказываются у Бестужева мнимыми: убийцам барона Бруно мстит не мертвец, явившийся с того света, а живой брат убитого, который «похож на него волос в волос, голос в голос». Но остаток вторгнувшихся в сюжет иррациональных смыслов все же сохраняется: ведь все, что случилось, означает осуществление чародейского предсказания колдуньи. Поэтому сохраняется и балладная атмосфера, созданная осязаемой реальностью вещего пророчества и рокового возмездия. Все способствует тому, что на материал исторической хроники проецируется балладная концепция мира с коллизиями вселенской борьбы добра и зла, с идеей непреложной связи между движениями души и судьбой человека, с принципом торжествующей везде и во всем справедливости. По меркам этой высшей справедливости заслуженной оказывается не только гибель Бруно, но и гибель Регинальда и даже гибель как будто бы мало в чем повинной Луизы. Действуют именно балладные мерки, проникнутые духом романтического максимализма, беспощадно суровые не только по отношению к преступлению, но и по отношению к человеческой слабости. Как и в балладном мире Жуковского, от справедливого возмездия не ускользает никто: оно постигает и брата Бруно Эйзена, и все ливонское рыцарство, заклеймившее себя деспотизмом, изуверством, жестокими насилиями (рассказ о разрушении замка Эйзен в концовке повести не лишен оттенков символического обобщения). Балладная концепция проецируется здесь уже не только на быт, но и на гражданскую историю. Ее постулаты начинают звучать как определение судеб целых сословий, обществ и государств.

Итак, в пору своего зарождения русская фантастическая повесть принимает формы, многим обязанные «младенческой» (как тогда считалось) мечтательности фольклорного сознания. Рядом с патриархальной идиллией развертываются патриархальная утопия, и обе подготовлены, мотивированы, освящены балладной традицией, а через нее — связью баллады с народно-поэтическим миросозерцанием. Просвещенный автор слегка отграничивает себя от этой патриархальной гармонии юмористическими интонациями повествования, но при всем том с явным удовольствием отдается ее скорректированной таким образом духовной власти. И вот очевидный результат — мечтательный оптимизм ранних фантастических повестей вносит важные оттенки в общий напряженно-приподнятый тон преддекабрьской русской литературы. Соприкосновение с простодушной народной верой в чудо по-своему укрепляет характерные для эпохи надежды на торжество добра: их пафос приобретает особенную непосредственность и цельность, позволяющую им устоять перед натиском уже назревающих сомнений и разочарований.

* *
*

После 1825 г. исторические перемены усиливают интерес к фантастике до небывалой остроты. Происходит это вполне закономерно. Поражение декабристов повлияло не только на политическую обстановку в стране. Изменилась и духовная атмосфера русской жизни. Торжество реакции нашло естественное дополнение в торжестве пошлости: на

[6] Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 73.

протяжении первого последекабрьского десятилетия честный, мыслящий человек видел вокруг себя «бесформенную и безгласную массу низости, раболепства, жестокости и зависти, увлекающую и поглощающую все»[7] В таких условиях неизбежно усиливалась жажда чудесного: человеческое сознание порывалось за пределы унылой реальности «безвременья», в мир, где законы «жестокого века» и практический рассудок с его удручающей логикой приспособления и расчета как бы теряли свою власть. Здесь они уступали место другой логике — не всегда благодетельной и согласной с принципами добра, но притягательной уже просто потому, что она другая, не «здешняя».

С этим порывом причудливо переплетались тенденции совсем иного рода Неудача русских революционеров, разочаровывающие итоги буржуазной революции в Европе, открытие непредвиденных и тогда еще совершенно непонятных противоречий общественного развития рождали ощущение зависимости человеческих судеб и всей мировой истории от каких-то неведомых разуму таинственных законов и сил. Такое ощущение вызывало, впрочем, не один лишь ужас. Ощущение иррациональности миропорядка нередко подогревало энтузиазм (который тоже ведь плохо ладил с правилами рассудочного мышления), появлялась питательная среда для пылких утопических мечтаний о новых временах, о будущем золотом веке и земном рае. Ужас и надежда легко сливались в общем чувстве неизведанных возможностей. Наконец, не менее важным было стремление к объективному познанию, свободному от догматических ограничений, стремление к новой истине о мире и человеке. Стремление это тоже выражалось в тяготении к фантастике. «...Самые верные представления о действительности по необходимости оживляются дыханием фантазии»[8],— писал позднее В. И. Ленин.

Фантастические повести последекабрьской эпохи обнаруживают некоторые устойчивые общие черты. Прежде всего это насыщенность конкретным социальным содержанием. Черта, обозначавшаяся еще в пору зарождения жанра, обретает бо́льшую, чем прежде, заостренность: фантастика второй половины 20-х и 30-х годов, как правило, окрашена в тона социального или нравственного обличения современности.

Закрепляются несколько главных направлений критики современного общества. Первое из них — обличение «света»: фантастический сюжет в повестях В. П. Титова, Н. А. Мельгунова, К. С. Аксакова, В. Ф. Одоевского, А. К. Толстого оказывается способом разоблачения пороков этой среды. Атмосфера суеты, лицемерия, злобы, обмана, коварства и предательства, царившая в повседневной жизни «света», связывалась с духовной пустотой и бессмысленностью этой жизни. Возникала картина страшного по сути своей призрачного мира, которая иногда (прежде всего у Одоевского) перерастала в более широкий образ мишурной псевдоцивилизации, искажающей естественную природу человека, естественные стихии национального бытия.

Не менее заметным направлением социальной критики становилось обличение деспотической самодержавной государственности. Оно чутко улавливалось современниками даже в сочинениях, с этой точки зрения как будто бы вполне безобидных. Когда, например, «волшебная сказка» И. В. Киреевского «Опал» натолкнулась на цензурные препятствия и подверглась исправлениям, этому можно было даже и удивиться. Однако цензура неспроста почуяла здесь дух «неблагонамеренности».

---

[7] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7 С. 10.

[8] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т 29. С. 441

Герой сказки сирийский царь Нурредин отвергал как воплощение бессмысленной суетности и лжи официально утверждаемые ценности — победы, славу, величие и могущество власти. Это могло быть воспринято как отрицание культа завоеваний, как полемика с идеей имперской мощи, служившей главным оправданием николаевского режима.

Сатира и фантастика переплетались в обличении правящей бюрократии. От метких сатирических зарисовок чиновничьих нравов до грандиозных гротескных картин, воссоздающих систему законов бюрократического строя, обнажающих противоестественность его оснований,— таков диапазон русской фантастической прозы тех лет. Она изображала реакционную государственность как мир античеловеческих фикций, вытесняющих или уродующих живую жизнь.

Еще одним устойчивым мотивом оказывается в последекабрьской фантастике обличение власти денег — этого нового социального зла, входившего в русскую жизнь. Недаром герой повести Мельгунова «Кто же он?» встречает посланца демонических сил в приемной банка, недаром контакты и сделки между демонскими силами и людьми так или иначе связаны в русских фантастических повестях с темой неправедного богатства, стяжательства, наживы. Недаром тема денег часто соседствует здесь с темой преступления: деньги предстают опасной силой, разрушающей нравственные устои человеческого общежития Самая его возможность оказывается под угрозой — столь катастрофичной представляется разобщающая сила «меркантильности».

Но, отмечая все эти проявления конкретной социальной сатиры, не следует упускать из виду их важную общую особенность. Социальная конкретность и социальная заостренность изображения действительности, как правило, нераздельно связаны в русских фантастических повестях последекабрьской эпохи с представлением о сверхъестественном. Почти в каждой из них за пределами окружающей человека действительности предполагается мир иной, недоступный человеческому восприятию, не постигаемый разумом, не подвластный естественным законам бытия. Образ этого «потустороннего» мира возникает, как мы убедились, в первых же фантастических повестях русских авторов. Позднее это становится устойчивой приметой жанра. Закрепляется и закон, в силу которого «потусторонний» мир не обособлен в повестях от мира реального. Фантастические сюжеты вновь и вновь демонстрируют их взаимопроникновение: сверхъестественные силы то и дело вторгаются («действительно» или мнимо) в человеческую жизнь, люди, в свою очередь, пытаются при помощи магии, чародейства, колдовства проникнуть в мир иной, приобщиться к его возможностям.

Так осуществляется главный принцип романтического миропонимания — двоемирие. Концепция двоемирия была необходимой частью и фундаментальной основой искусства романтиков, в ней выразились самые сильные из владевших романтиками переживаний. В этой точке сходилось многое из того, о чем уже было сказано выше — глубокая неудовлетворенность настоящим, мечта о мирах иных, стремление неузнаваемо преобразить существующий мир. И все это находило опору в романтическом культе воображения. За воображением было признано право на неограниченную свободу вымысла, а свобода вымысла означала право представлять воображаемое действительно сущим.

Фантастическим представлениям о сверхъестественном суждено было сыграть выдающуюся роль в развитии русской литературы. Фантастика такого рода подтачивала догмы просветительского рационализма и много способствовала их преодолению. До 1825 г. рационалистические идеи и принципы просвещения доминировали в русской

общественной мысли, науке и литературе, но теперь, под влиянием уроков истории, они стали вызывать всевозрастающие сомнения. Развенчались не только просветительские иллюзии о господстве разума над жизнью, о возможности подчинить движение истории рационально сконструированным теоретическим идеалам. Под сомнением оказалась вся картина мира, которую строила философия просветителей. Разработанная этой философией концепция детерминизма начинает представляться слишком прямолинейной и механистической, не охватывающей всей таинственной сложности «сцепления причин и следствий в природе и истории»[9]. Все чаще сказывалась и неудовлетворенность рационалистическими принципами просветительского психологизма, оставившего за границами своего внимания всю сферу иррационального и подсознательного. В этой ситуации обращение к поэтическим представлениям о сверхъестественном означало прежде всего попытку вырваться за пределы ограничений, налагаемых рационалистическими схемами — философскими, социальными, психологическими и эстетическими. Искусство сразу же оказывалось за чертой узаконенных представлений и обретало свободу для поисков не предусмотренной ими истины. Высокая ценность такой возможности, особенно важной в кризисные и переломные эпохи, во многом объясняет столь быстрое распространение жажды чудесного после 1825 г.

Представление о сверхъестественном теперь все чаще облекается в формы, подсказанные мифологией. Русская фантастическая проза наполняется мифологическими персонажами — сильфидами, саламандрами, упырями, оборотнями, русалками, водяными, лешими, домовыми, кикиморами, ожившими мертвецами, призраками, ведьмами, колдунами и прочей «нечистью». Эти загадочные фантастические существа, обрисованные сатирически или опоэтизированные, приближены здесь многими своими качествами к человеческому миру. Они могут любить, мстить, ненавидеть, страдать, у них есть желания, они бессмертны, но не всесильны. Представление о них поэтому не отделяется с безусловной четкостью от представления о природе человека. Появляется возможность увидеть ее по-новому, в неожиданном ракурсе. Важнейшими источниками подобных образов и представлений по-прежнему были народные верования и народная поэзия. Но теперь фантазию русских прозаиков питали также учения Парацельса, Беме и других мистиков XVI—XIX вв. И, наконец, гораздо интенсивнее, чем в преддекабрьские годы, сказывалось влияние общеевропейской романтической литературы.

Отношение подобных образов и представлений к реальности варьируется в русской фантастической прозе по-разному. Но все это многообразие вариантов укладывается в рамки некоторых общих законов, по существу своему одинаково далеких и от мистицизма и от наивного народного мифотворчества. Романтическая фантастика не требует действительной веры в реальность сверхъестественного. Напротив, она вырастает на почве, подготовленной угасанием такой веры. Сверхъестественное (так же, как и его проникновение в мир «здешней» человеческой жизни) предстает в повестях русских романтиков как эстетический феномен, как собственно художественная реальность. Но в русской фантастике 30-х годов сравнительно редки такие ситуации, когда образы, воплотившие представления о сверхъестественном, выступают

[9] Жирмунский В. М., Сигал Н. А. У истоков европейского романтизма // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Л., 1967. С. 265.

как чистая условность, используемая ради аллегорического или сатирического иносказания. Несравненно чаще подобные образы предполагают иное восприятие. Чаще всего они создают художественную атмосферу, которой читатель хотя бы на время должен отдаться, приобщившись к ней эмоционально. Далее отношения образа с читательским сознанием могут быть различными, но такой момент необходим. Читатель должен в какой-то момент пройти через непосредственное ощущение чуда и реагировать на это ощущение удивлением, ужасом или восторгом.

Впрочем, и многообразие форм, в которые все это облекалось, тоже имело немаловажное значение. Очень скоро выделилось несколько главных типов фантастического повествования, за каждым из которых закрепилась особая функция.



Начнем с той разновидности жанра, которая менее всех была затронута влиянием романтического мифологизма: ее описание послужит контрастным фоном для характеристики всех остальных разновидностей. Речь идет о повествованиях, продолжавших традиции утопической литературы. Это были традиции давние и прочные: фантастика веками использовалась для создания идеальных образов общественной гармонии и счастливой жизни людей. Утопии рисовали нечто нереальное как существующее, поэтому усилия воображения и специфическая техника фантастического во все эпохи оказывались их необходимыми слагаемыми. Сформировались устойчивые структуры утопических рассказов, и каждая из них в той или иной форме выражала главные побуждения, движущие утопистами,— глубокое недовольство существующим порядком и страстное желание воздвигнуть (или, по крайней мере, увидеть) на его месте прекрасный новый мир.

Впрочем, иногда рядом с предвосхищениями желанной гармонии возникали образы прямо противоположного свойства, напоминающие, скорее, кошмары. Их создавали негативные утопии, которые, вероятно, точнее называть антиутопиями. В некоторых случаях эти антиутопии заключали в себе «сатирическое пародирование положительной утопии, ироническое ее переворачивание наизнанку»[10]. В подобных случаях дело сводилось к насмешке над отвлеченным идеализмом утопических порывов. Но нередки были и такие случаи, когда антиутопии содержали серьезные предупреждения о мрачных или катастрофических перспективах будущего.

В России литературная утопия утвердилась и приобрела популярность в XVIII в., в пору расцвета русского просветительства. Новый подъем утопизма был связан уже с движением декабристов. Чистых утопий в эти эпохи появлялось немного («Путешествие в землю Офирскую» М. А. Щербатова, «Европейские письма» В. К. Кюхельбекера, «Сон» А. Д. Улыбышева), однако утопические фрагменты и мотивы очень часто входили в произведения других жанров. Популярность утопических повествований использовалась умелыми поставщиками развлекательного чтения вроде Ф. В. Булгарина. Появлялись и антиутопии, обычно выполнявшие в те времена функции сатиры («Путешествие на остров подлецов» Н. П. Брусилова и проч.).

[10] Шестаков В. П. Эволюция русской литературной утопии // Русская литературная утопия / Общ. ред. В. П. Шестакова. М., 1986. С. 25.

За поражением декабристов последовала пауза в развитии утопического жанра. Система представлений, создававшая образы грядущей свободы и социальной справедливости (наиболее ярким их воплощением была повесть А. Д. Улыбышева «Сон»), претерпевает кризис и нуждается в замене, отвечающей духу новых времен. Вскоре такая замена находится: на рубеже 30—40-х годов опять появляются весьма заметные сочинения утопического жанра, теперь уже приближенные к формам принципиально неканонического жанра повести.

Именно в это кризисное время вышла в свет одна из самых ярких русских антиутопий XIX в. Это была повесть В. Ф. Одоевского «Город без имени» (1839). Одоевский по-своему трансформировал издревле свойственную утопиям поэтику фантастических «видéний». В его повести звучит рассказ о неведомой стране, который можно воспринять как фантазию безумца. А вместе с темой безумия в повесть входит и чисто романтическая, двойственная ее трактовка. Безумие предстает болезнью, патологией и одновременно — высшим состоянием духа, открывающим путь к прозрениям и пророчествам. Это позволяет придать рассказу «черного человека» черты «древней обличительной проповеди» (С. А. Гончаров) в духе пророческих речей Иоанна Богослова, Исайи, Даниила. Рассказ приобретает эсхатологический колорит и смысл, созвучный традиционным изображениям «конца света». Но все эти свойства повести Одоевского служат вполне рациональной цели ее автора: история Бентамии (так называется неведомая страна) должна предупредить об опасных социальных тенденциях, развитие которых способно привести человечество к катастрофе.

Действует весьма характерный (как мы убедимся) для той эпохи прием: галлюцинации или бредовые вымыслы героя дают автору возможность осуществить что-то вроде мысленного эксперимента, необходимого для проверки смущающей автора идеи. В «Городе без имени» проверке подвергнута набиравшая тогда популярность философия «утилитаризма», сформулированная английским правоведом и моралистом Иеремией Бентамом. Теория Бентама выглядит вполне разумной и естественной («польза есть существенный двигатель всех действий человека!..»). Но фантастический сюжет позволяет проверить эту идею «на излом», осуществив ее с абсолютной последовательностью.

Рассказ «черного человека» переносит читателей в государство Бентамию, где идея пользы стала всеопределяющим жизненным принципом. Во имя пользы отвергнуты «шаткие основания так называемой совести», идее пользы подчинены наука, искусство и религия бентамитов. Сюжет обеспечивает максимальную чистоту эксперимента. Новое государство создается на необитаемом острове, его основатели — содружество единомышленников-энтузиастов. Все они поглощены неустанной деятельностью: «Один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги». Но каковы результаты ничем не осложняемой реализации такой, казалось бы, неоспоримо положительной идеи? Сначала успех следует за успехом, Бентамия процветает. Однако со временем идея пользы неотвратимо приводит бентамитов к эксплуатации соседних народов. Эксплуатация переходит в вооруженную агрессию, новое государство превращается в колониальную державу. А затем последовательное соблюдение принципа пользы столь же неотвратимо приводит к внутренним конфликтам. Интересы разных групп и отдельных лиц все чаще сталкиваются, растет социальное неравенство, торжествуют законы бескомпромиссного эгоизма. Их торжество оборачивается хозяйственной разрухой; растущая нужда, нехватка самого необходимого ожесточают людей. Начинаются распри,

переходящие в гражданские войны. Диктатура купцов («банкирский феодализм») сменяется властью «низших» классов (ремесленников, землепашцев). Но после каждой перемены положение страны лишь ухудшается, ее экономика и вся общественная жизнь становятся все более примитивными, а страдания ее населения умножаются. Экономический и социальный упадок обществ сопровождается духовной деградацией человека: все его силы уменьшаются и дряхлеют; атрофируются — за ненадобностью — важнейшие человеческие качества. В довершение всех бед на человека восстает окружающая его природа, стихийные катаклизмы уничтожают остатки бентамской цивилизации. Все заканчивается полным одичанием и бесследной гибелью некогда преуспевавшего народа.

Давно и по праву принято считать, что моделью государства бентамитов для Одоевского послужила Америка. Но правомерно и другое суждение: «Социальный адрес этой утопии (точнее, антиутопии.— *В. М.*) шире»[11]. Одоевский, несомненно, имеет в виду западную цивилизацию в целом. Хотя объективный смысл его предостережения может быть адресован всякому обществу, которое попытается заменить духовные ценности единовластием принципа пользы, западное происхождение утилитаризма и связанных с ним будущих опасностей, по-видимому, представляется Одоевскому глубоко закономерным. Косвенно это подтверждается контрастным соседством положительной утопии того же автора, предметом которой является будущее России. Посвященное ей сочинение носит название «4338-й год».

Эта утопическая повесть (1840) изображает Россию сорок четвертого века. Иными словами, и в этом случае мысленный эксперимент предполагает срок, охватывающий многие столетия. Но результат фантастического предположения здесь явно (и знаменательно!) иной. Если жителей Бентамии их многовековой путь привел к первобытному состоянию, в леса, «где ловля зверей представляла им возможность снискать себе пропитание», то идеальная Россия будущего, напротив, полна технических чудес. Прогресс техники дает человеку небывалое богатство, небывалый комфорт и небывалую власть над природой.

Впрочем, изменяется не только материальное бытие людей. Техника способствует и усовершенствованию их душевной жизни. Одоевский, в частности, верит, что использование магнетизма может изгнать из русского общества всякое лицемерие и притворство и что эта перемена самым благотворным образом повлияет на дружеские, любовные и семейные отношения людей будущего.

Грандиозные достижения технического прогресса не связаны в утопии Одоевского с радикальными общественными переменами. Социальный строй России будущего обрисован здесь несколько неясно. Однако вполне очевидно, что перед нами монархия, что в ней сохраняются привилегированные сословия и бюрократическая структура управления. Новизна заключается в соединении принципов бюрократии и технократии или, вернее, артократии (от слова «арт» — искусство). Правящую элиту составляют ученые и поэты, наделенные соответствующими чиновничьими рангами и связанные отношениями служебной субординации. Сам царствующий государь «принадлежит к числу первых поэтов». И неудивительно: поэты и философы занимают в общественной иерархии будущего самые верхние ступени. Видимо, не случайно входит в изображение идеальной государственности намек на

[11] Шестаков В. П. Эволюция русской литературной утопии. С. 22.

возможность сохранения и развития традиций патриархального общежития. Первое место в правительстве отведено «министру примирений», а главными фигурами в администрации являются подчиненные ему «мирные судьи». Их общая задача — предупреждать или преодолевать все несогласия, распри, тяжбы, склоняя спорящих к миролюбивому их разрешению. Этот принцип применяется и к взвимоотношениям правительственных учреждений, и к семейной жизни, и к ученым или литературным спорам.

Основой грядущего обновления и расцвета России Одоевскому представляется развитие просвещения, успехи науки (самым важным из них оказывается объединение всех разобщенных прежде дисциплин в недоступную людям XIX в. систему целостного знания) В утопии отчетливо проходит мысль о том, что именно и только просвещение способно обеспечить подлинный прогресс и подлинную гармоничность человеческой жизни. Не менее отчетлива мысль о том, что именно России суждено в будущем стать всемирным центром просвещения и прогресса.

Мысль эта оттеняется контекстом: Россия сорок четвертого века процветает на фоне катастрофического упадка Запада. От великой некогда культуры «дейчеров» (т. е. немцев) сохраняется лишь несколько отрывков из сочинений почти никому уже неизвестного поэта Гете. Одичавшие американцы продают свои города с публичного торга, а когда иссякает и этот источник дохода, пытаются грабить соседние страны. Способность к развитию сохранил только Китай. Но эта страна — в орбите культурных влияний России и во всем следует за ней, ориентируясь на ее достижения и ее опыт.

Почему же именно Россия станет во главе мировой цивилизации? Возможность объяснения обозначена лишь намеками, однако намеки эти достаточно прозрачны. Вымышленный рассказчик повести «4338-й год» представлен читателям как китайский студент Ипполит Цунгиев, путешествующий по России. Цунгиев как бы невзначай упоминает о том, что за несколько столетий перед тем великий император «пробудил наконец Китай от его векового усыпления» и «ввел нас в общее семейство образованных народов». Далее следуют резкие выпады против закоснелости, «в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое», а чуть позже — рассуждения о том, что китайцы — «народ молодой» и что нужно лишь преодолеть отставание «от наших знаменитых соседей». Параллель, напоминающая о преобразованиях Петра и их значении для русской истории, совершенно очевидна.

С этим напоминанием как раз и соотнесена мысль о предстоящей деградации Запада и его культуры. Подспудная связь двух идей Одоевского, несомненно, была понятна его читателям, свидетелям или участникам историко-философских споров, разгоравшихся в 30—40-е годы. Многое проясняет, к примеру, эпилог книги Одоевского «Русские ночи» (1844), в которую входит как ее составная часть «Город без имени». От лица героев книги, молодых русских идеалистов, Одоевский говорит о великой общечеловеческой миссии, которую предстоит выполнить России. Время «скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу — и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижного пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки — народов без имени»[12]. Кризис неизбежен: на Западе, в охватившем его «материальном опьянении», должны погибнуть наука и искусство —

[12] Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 147

в эти сферы «перенеслись не стихии души, а стихия тела». Занятый «вещественными условиями вещественной жизни», Запад неуклонно теряет и религиозное чувство. Россия, напротив, несет в себе залоги грядущего развития, потому что в русской жизни с ее неистребимыми патриархальными началами еще не ослаблено действие стихий, «почти потерявшихся между другими народами». Это «чувство любви и единства, укрепленное вековою борьбою с враждебными силами», «чувство благоговения и веры, освятившее вековые страдания»[13] Нужно лишь соединить эти живительные чувства с мощью знания и упорядоченной деятельности. Это и сделал в свое время Петр Великий, приобщив Россию к успехам западной цивилизации, к европейскому научно-техническому прогрессу. Секрет успеха теперь кроется в том, чтобы, сохранив основы созданной Петром государственности и не подорвав коренные начала народной жизни, неуклонно продолжать дело царя-реформатора, совершенствовать русский «народный организм» прививками просвещения. Предполагаемый итог такого движения и являет читателю «4338-й год».

Идея русского мессианизма, пронизывающая повесть Одоевского, несет в себе характерные приметы романтической мечты. В ней живет свойственное романтизму «своеправие субъективности» (Г. В. Ф. Гегель). Но не менее сильна связь утопических построений писателя с традициями просветительского рационализма. Конкретная направленность двух утопий Одоевского — негативной и положительной — различна, но их цели, как видим, едины. И, в сущности, едино то основание, на котором зиждется каждая из двух его фантастических повестей. Это не свободная, иррациональная игра воображения, а нечто близкое к теоретическому гипотезированию. П. Н. Сакулин назвал творческий метод Одоевского-утописта «логической фантастикой»: это — «химерический тип воображения, когда оно „сознательно" уносится за границы конкретного мира, но так, что... на основании логических соображений протягивает в бесконечную даль линии реальной действительности»[14]. Вывод Сакулина представляется вполне справедливым: картины будущего (светлого или мрачного) строятся у Одоевского на гипотезах, логически выводимых из того, что реально существует (или намечается) в современном мире. Просто подобное предположение доводится до последнего мысленного предела — сколь невероятным ни представлялся бы конечный итог. А поэтика фантастического вымысла позволяет абстрагироваться от всех фактических обстоятельств или связей, которые не вписываются в схему такого предположения и способны поставить ее под сомнение (например, от уже заметных в ту пору связей между научно-техническим прогрессом и переменами в общественном строе). Логическая правильность, формальная гармоничность утопических конструкций оказываются в подобных случаях главным их оправданием.

* * *

Рядом с утопиями и антиутопиями благополучно существовало фантастическое повествование сказочного типа — гораздо более непосредственное и «наивное». Его принципы определяли, к примеру, строение

[13] Там же. С. 181.

[14] Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 293.



«волшебной сказки» И. В. Киреевского «Опал» (1831) или «фантастической повести» К. С. Аксакова «Облако» (1836). Эти произведения, во многом разные[15], сближены одним и тем же способом использования и мотивации чудесного. В рамках повествований подобного типа автор предлагал читателю сюжет, который мог включать в себя чудеса без всяких ограничений и оправданий. В этом состояло сходство подобных повествований с фольклорной сказочной прозой, этим обосновывалось их право на жанровое определение «сказка». Однако сходство с фольклорным жанром-прототипом оказывалось относительным. В фольклорной сказке, строго говоря, нет сверхъестественного, нет чуда в собственном — парадоксальном — смысле этих слов. Все пересечения «границ» внутри сказочного мира («туда» и обратно) не означают нарушения естественных законов бытия, а потом возвращения к этим законам. Народная сказка не знает двоемирия: бытовое и чудесное совмещаются здесь как слагаемые одной и той же сказочной «действительности», изолированной от действительности реальной и существующей в своем особом времени и пространстве. Чудеса в сказочном мире никого не удивляют и вообще не воспринимаются как таковые.

У Киреевского и Аксакова повествование строится по-иному: в их повестях время от времени непременно возникает ощущение чуда (то есть события непостижимого и невероятного). Таковы в повести Киреевского переселения ее героя Нурредина на таинственную планету, скрытую в опале его перстня. Таковы у Аксакова появления девушки-облака и ее загадочного отца, дважды возникающих на жизненном пути героя повести Лотария Грюнефельда.

О невероятности подобных событий обычно сигнализируют именно ощущения главного действующего лица. «Какая-то сказка волшебная и заманчивая»,— таково одно из первых впечатлений Нурредина, погрузившегося в открытый ему мир «новой планеты». «Чудесным происшествием», которому бы никто не смог поверить, представляется Лотарию его первая встреча с девушкой-облаком. Двоемирие осложняет и, в сущности, преображает наивную цельность якобы сказочного сюжета. Но при всем том перед читателем — особый художественный мир, где, как и в сказке, «все может случиться».

«Сказочные» сюжеты позволяют Киреевскому и Аксакову продемонстрировать читателям взаимопроникновение и прямое противоборство двух миров — идеального и действительного. Фантастическая история каждый раз обнаруживает их несовместимость, катастрофичность их прямых соприкосновений. Вырисовывается прекрасный мир мечты с его «неземной» гармоничностью. Вырисовывается уязвимость идеального, невозможность существования мечты и мечтателя внутри прозаической реальности повседневной жизни. Но по логике романтического мышления это не ставит под сомнение ценность идеала. Напротив, малейший намек на возможность его осуществления сделал бы его подозрительным: ведь для романтика осуществимость идеала означает его причастность действительности, всегда несовершенной и ущербной. Поэтому чуткий читатель мог улавливать в трагических финалах русских повестей-сказок мажорные, оптимистические ноты. Для этого были основания: сюжеты, сочиненные Киреевским и Аксаковым,

[15] «Сказка» Киреевского, при всем ее романтическом содержании и колорите, многим связана с традициями просветительской «восточной повести», очень популярной в XVIII в. «Облако» более определенно тяготеет к традициям сказочно-философских повестей и новелл Тика, Новалиса, Гофмана.

служили не столько выражению «мировой скорби», сколько утверждению положительных ценностей, постулируемых романтическим искусством.

Рассказ о «происшествии из младенческой жизни Лотария» служит романтической идеализации детства. В простоте и непосредственности детского взгляда на мир романтик видел критерии высшей нравственности и человечности. Детство представлялось романтику состоянием, заключающим в себе гармоническую связь человека с природой, близость к ее сокровенным тайнам. Не зря именно Лотарию-ребенку дано соприкоснуться с миром сверхъестественных существ и вызвать любовь одного из них. Только наивная и неискушенная детская душа может приблизиться к истине высшего порядка: опыт, рационализм, «просвещенность» неизбежно делают взрослого человека слепым и глухим к ней. Этот тезис открыто и настойчиво стремится утвердить Аксаков.

Ореолом высшего смысла окружена в повести и любовь. Она понята здесь как пробуждение души, как ее освобождение из плена житейской прозы. И вместе с тем — как приближение к идеалу, потому что в любви человек отрешается от самого себя ради другого, возвышаясь таким образом над собой. Символическое значение темы закрепляется пророческими словами девушки-мечты: «Знай, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания, и когда перед тобою пронесется девушка... с вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице,— знай: это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира».

Аксаков и Киреевский (каждый по-своему) стремятся использовать средства фантастики для воплощения романтических представлений о скрытой сущности мира. Представления эти недаром облекаются в женские образы: еще в ранних повестях Новалиса и в философии Шеллинга утверждалась мысль о женственности как о начале, составляющем основу бытия. Романтический культ женственности служил обоснованием романтического культа любви: лишь через любовь открывается, по убеждению романтика, путь, ведущий к познанию женственной «души мира» (ведь женственность и есть любовь в ее высшем, всеобъединяющем, значении). Так обстоит дело и в повестях русских романтиков: познание абсолюта, раскрытие мировой тайны приходит к их героям как любовное наитие.

У Киреевского представление об основе мира объединяет в себе культ женской души с не менее важным для романтизма культом музыки. Прекрасная девушка, в которой воплотилась душа представшего Нурредину идеального мира, символически названа Музыкой Солнца. Имя это служит проясняющим намеком, лишенным, однако, окончательной определенности. Стихия музыки в повести расплывчата, изменчива, текуча: музыка то звучит как поэтическая словесная тема, то сгущается в зримый женский облик, то перерастает в смутный, возникающий из наплывов впечатлений образ звуковой красоты. Но во всех обличиях музыка отмечена ясными приметами высшей силы, способной приблизить человека к «мирам иным». Понятно и то, что символические значения женственности, музыки и любви объединяются. Для романтика это три силы, воплотившие в себе слитность и цельность мировой жизни. Поэтому в музыке, как и в любви, раскрывается тайна бытия, преодолевается мнимая обособленность его явлений, душа обретает доступ к бесконечному.

Сказочные сюжеты проникнуты духом романтического максимализма. В «Опале» Киреевского без колебаний отвергаются ложные ценности земного величия, богатства, власти, славы. Но под сомнение

(или, во всяком случае, под знак некоторой небезусловности) поставлены и ценности совсем иного порядка — те романтические переживания, которые испытывает герой, оказавшись на таинственной планете, в мире идеальных возможностей. Его восторги и наслаждения отчасти скомпрометированы уже напоминанием об их земной изнанке: пока Нурредин предается «непрерывному упоению чувств» и «музыкальности сердечных движений», его страна изнемогает «от неустройств и беззаконий», справедливость попирается, бедняки страдают, народом овладевает уныние. Не менее важно другое: возвышенность открытых для человека духовных наслаждений имеет и некий внутренний предел. Добившись поцелуя Музыки, Нурредин теряет волшебный перстень, а вместе с ним и доступ в мир идеала. Становится ясным, что обладание за известной чертой означает потерю. И в конце концов единственной безусловной ценностью предстает в повести Киреевского сама мечта, само стремление к абсолютному и бесконечному.

Тот же пафос по-иному сказывается в финале повести Аксакова. Рассказ о смерти героя, неспособного выжить в опустевшем после исчезновения чудесной «гостьи» земном мире, завершается многозначительным символическим мотивом: «по небу удалялись два легкие облачка». Это бросается в глаза: «легкое облачко», однако скользящее в «пустыне неба», раньше символизировало в повести явления представительницы иных миров. Внезапное удвоение символа может быть истолковано как приобщение героя к надземному миру. В этой системе смерть героя означает расторжение оков времени и пространства, высвобождение духа из «плена» материи (ведь именно как плен оценивалось пошлое благополучие взрослого Лотария), означает прорыв в вечность и т. п.

Иносказательный смысл фантастического сюжета повторяет контуры типичной для раннего романтизма поэтическо-философской концепции, сводившей жизнь отдельного человека, равно как и всю общечеловеческую историю, к своеобразной «триаде». Исходной ступенью оказывалась первозданная гармония человека и природы, духа и материи, земли и неба (таковы детство отдельного человека и золотой век человечества). Затем, по убеждению романтиков, следует стадия неизбежного «одичания» личности и человечества в тисках механической, рассудочной цивилизации (в ее характеристике легко угадывались черты буржуазно-бюрократического общественного порядка послереволюционной эпохи). Но такое падение казалось лишь ступенью, ведущей к взлету,— к новой и окончательной гармонии мировых противоположностей, в которой их противоречие будет разрешено, история прекращена, бремя индивидуального существования сброшено, а время преодолено и отменено вечностью.

Воплощая подобные представления в чудесных приключениях своих героев, Киреевский и Аксаков ставили фантастику на службу романтическому принципу, в силу которого «мысли превращаются в законы, в желания в исполнение желаний»[16]. То есть, говоря иначе,— на службу романтическому субъективизму, отвергающему собственные законы действительности с целью предписать ей законы идеала. Между тем ощущение абсолютной суверенности творческого духа и несомненность его притязаний на превращение идеального в действительное могли держаться лишь при наличии особых условий. Их-то и создавала жанровая форма сказки, чьи законы допускали торжество чудес-

[16] Г а й м Р. Романтическая школа: Вклад в историю немецкого ума. М., 1891. С. 321.

ного, не подкрепляемое никакими мотивировками. Сказочная форма изолировала автора и его вымышленный мир от контроля действительности. Вот почему эту форму избрали для своих повестей два писателя, особенно дорожившие правом «рассуждать о невозможном так, как если бы оно было возможно»[17]

Не случайно в дальнейшем авторы «Опала» и «Облака» оказались в числе создателей славянофильской доктрины: «магический идеализм» в духе философии романтиков естественно развился в определенный тип социального утопизма. Случалось так, что вожди славянофилов использовали формы художественной фантастики для выражения своих программных идей. В конце 30-х годов Киреевский обратился с этой целью к жанру утопии (незавершенная повесть «Остров», начатая в 1838 г), Аксаков же попытался воплотить свой общественный идеал в сказочном сюжете («Сказка о Вадиме», написанная, по-видимому, в середине 50-х годов). «Дыхание фантазии» ощущалось и в самом содержании славянофильского учения. Идеалы единого всеславянского царства, общественных отношений, управляемых евангельскими заветами, государственной системы, основанной на взаимном доверии власти и народа, на их взаимном невмешательстве в дела друг друга, воплощали логику мечты, романтически восторженной, легко переходящей в гимн (как видим, и здесь дают о себе знать общие черты утопического мышления 30—40-х годов) В то же время вся эта консервативно-демократическая утопия, рисующая картины жизни цельной, праведной, гармонической, исполненной радости и довольства, была отмечена многими чертами фольклорной сказочной идиллии. Такое движение от поэзии одиноких мечтаний к утопическому программированию общественного устройства характеризует меру возможностей романтической фантастики, обнаруживает скрытый в самой ее художественной логике социально-философский потенциал.

Впрочем, некоторые авторы литературных «сказок» ставили перед собой задачи намного скромнее тех, которые стремились решать Аксаков и Киреевский. Подобная непритязательность отличает сочинение уже знакомого нам А. А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» (1829). Читатель не найдет здесь сложных иносказаний, предполагающих владение всем арсеналом идей и мотивов романтической культуры (Гофман теперь близок Погорельскому только как автор наивно-прозрачного «Щелкунчика»). И удивляться этому не приходится: пытаясь обозначить жанр своего сочинения, Погорельский назвал его «волшебной повестью для детей». «Черная курица...» действительно рассчитана на детскую аудиторию и на протяжении полутора столетий остается ее любимым чтением. Но нетрудно заметить, что «волшебная повесть» адресована также и взрослым. Погорельский первым среди русских писателей объективно изображает «внутренний мир ребенка, особенности его психологии и мышления, формирование его характера»[18]. Перед читателями уже не романтический миф о высшей человечности, воплотившейся в детях, а реальный мир детства, каков он есть. И дело тут не только в детальном изображении жизни маленького Алеши, не только в неукрашенно-точном воссоздании его переживаний и поступков. Ведь и сюжетные чудеса изображаются так,

[17] Там же.

[18] Званцева Е. П. Жанр литературной сказки в творчестве Антония Погорельского // Проблемы эстетики и творчества романтиков / Отв. ред. Н. А. Гуляев. Калинин, 1982. С. 50.

как их мог вообразить себе именно ребенок: здесь чувствуется игра детской фантазии, возбужденной чтением сказок и романов, и тут же — опыт, ограниченный пределами детского кругозора.

Все свои подземные путешествия Алеша совершает во сне. До определенного момента можно воспринимать открывшийся ему сказочный мир как сновидение. Но граница волшебных снов и реальной яви внезапно нарушается: появляется сказочный предмет, который переходит в мир действительности, сохраняя свои волшебные свойства. Это подарок короля гномов, конопляное семечко, способное вновь и вновь творить чудеса в повседневном школьном быту. Так образуется еще один вариант романтического двоемирия. И все это — при том, что рассказанная история, казалось бы, вполне могла бы развернуться без содействия сказочной фантастики.

И в самом деле, если иметь в виду общие контуры фабулы, то происходят события, обычные для жизни школьника: мальчик допускает серьезный проступок, подвергается наказанию, в страхе совершает предательство и т. д. Да и переживания героя, сама его эволюция тоже довольно обычные. Узнаваемы и понятны ветреность Алеши, его желание добиться успеха без трудов, позднее, когда приходит незаслуженный успех, понятно его зазнайство, понятна и враждебность окружающих, вызванная его высокомерием и превосходством. К тому же все изображаемое легко приобретает переносный смысл, применимый к жизни взрослого человека: ведь и в ней возможны подобные ситуации с такими же примерно последствиями. Словом, перед нами реальная жизненная история, которая могла случиться с каждым

Повесть заключает в себе нравственный урок: Погорельский отстаивает безусловную ценность доброты, скромности, благородства, самоотверженной верности дружбе и мечте. Но зачем понадобились ему сказочные мотивы? Неужели нельзя было преподать читателю тот же урок, оставаясь в рамках реальных житейских обстоятельств? Никак нельзя,— можем ответить мы, потому что в таком случае исчезла бы глубина возникающего смысла. Погорельский — романтик, и нравственные ценности, которые он отстаивает, имеют для него высшее значение. Для него это такие же явления высшего порядка, как «Музыка Солнца» или «душа мира» для восторженных авторов «Облака» и «Опала». Разница лишь в том, что автор «Черной курицы...» ведет читателя в мир Абсолюта гораздо более простым путем — так, что читатель может даже не осознать абсолютной значимости воспринятого и пережитого. Попадая в сказочный мир, читатель постигает высшую природу душевной чистоты (ведь она-то и открывает герою доступ в мир сказки, то есть, говоря иначе, в мир идеала). И постигается это не умственным или провидческим усилием, но совершенно непосредственно, благодаря бесхитростному обаянию рассказа, представляющего собою нечто среднее между грезой и игрой. Когда же сказка на наших глазах разрушается, когда звучат прощальные слова Чернушки и волшебный мир исчезает навсегда, читатель вновь переживает нечто подобное. Теперь он постигает громадность утраты, которая побуждала романтиков называть детство «потерянным раем». И опять-таки постигается это не умом, а непосредственными и очень простыми ощущениями. Они не требуют осмысления, но их невозможно забыть, и в этом заключается их значение для пережившего их человека.

Только такой способ воздействия на читателя, по-видимому, и приемлем для Погорельского. Урок, который несет в себе его повесть,— особого свойства. Погорельский не скрывает ее автобиографизма, напротив, порой это даже подчеркивается. Рассказ о жизни Алеши в пан-

сноне поначалу ведется в откровению мемуарном стнле. В рассказе о «паденин» героя угадываются исповедальные интонацни (легко предположить, что за этим рассказом кроется какой-то реальный эпнзод из детства Погорельского). В сцеие прощання Алешн с Чернушкой отчетливо звучат лнрнческие иоты. Иными словамн, чнтателю предлагается не наставленне, в собственный душевный опыт автора н возможность к этому опыту прнобщнться. Погорельскнй вндит в читателе не ученика, а человека, способного почувствовать то же, что н он. Поэтому он и может установнть с читателем достаточно необычные для своей эпохн отношення. Погорельскнй избегает столь характерного для 20-х годов дндактнзма, ему удается воспитывать, не уча н уж тем более — не поучая.



Другой тип фаитастического повествовання, развивавшнйся словно бы параллельио только что опнсанному, иапротнв, предполагал испытаине мечты фактнческой реальностью. Литературные приемы, которымн можио было бы воспользоваться для такого испытания, были изобретены и разработаны уже давно. Некоторые нз ннх шлнфовались еще авторами так называемых готнческих романов — особенно знаменитой Анной Радклнф. В романах Анны Радклнф («пнк» нх популярности в Европе прншелся на конец XVIII в.) чудесное рано илн поздно оказывалось мнимым. Сюжет здесь вводнл читателя в атмосферу «тайн н ужасов», герон представали жертвамн неведомой н иепостижимой снлы. Но все это иагнеталось для того, чтобы в определенный момент получить вполие естественное объясненне.

Стремление к разоблачению сюжетных тайн днктовалось традициямн просветнтельского рацноналнзма, ие желавшего без боя уступать свои позиции романтнческнм веяниям. В этой связн важна была не только потребность отстоять просветительскую веру в Разум, но и просветительская вера в человека, мысль о решающем значенни его актнвности. «У предромантнков н поэтов озерной школы человек — игралище судьбы. Анна Радклиф остро ставит вопрос, так лн это И иа первый взгляд может даже показаться, что так: иа протяжении всего романа герой во власти тайных снл. Но тем значнтельнее конец романа, утверждающнй обратное»[19]

Идея человеческой активности нередко привлекала внимание русских прозаиков к нскусству английской романистки н других писателей, работавшнх в том же духе. На эффекте виезапного разоблачення сюжетных чудес построены, например, повесть Бестужева-Марлннского «Страшное гаданне» (1831) и «Перстень» Е. А. Баратынского (1832) Однако сразу же ощущается своеобразие мировоззренческого содержания, вложенного русскими авторами в традиционную западную форму

У Радклиф всегда заметна связь с каноиами сентиментального семейного романа. Традиционная схема (построенная вокруг любовной нстории добродетельного героя н чувствительной героини) отчетливо проступает сквозь «готическую» таинственность: читателю внушается ощущение упорядоченности, устойчивости и надежности изображаемого мира. На такое же впечатление явно рассчитан н нравственный итог к которому приходят герон и героини Радклиф,— достигнутое равновесие страсти н разума, чувствительности и долга.

[19] Канунова Ф. З. Эстетика русской романтической повести Томск, 1973. С. 67.

У другого мастера фантастических повествований подобного рода, американца Вашингтона Ирвинга, финальное разоблачение чудесных тайн, нагромождаемых движением сюжета, способствует поэтизации героя несколько иного типа, выступающего как «носитель делового натиска и особого делового романтизма»[20]. «У Ирвинга нет судьбы, стоящей над индивидуумом. Личная инициатива — вот судьба»[21]. К этой мысли просто, изящно и весело приводит ход действия, открывающий за всеми мнимыми чудесами предприимчивость, ловкость и остроумие освободившейся от всех и всяческих предрассудков независимой человеческой личности.

Можно заметить, что русских прозаиков в таких художественно-философских решениях что-то настораживает — вероятно, прежде всего воцаряющаяся в итоге сюжетного движения определенность и ясность. Возможно, этой настороженностью и обусловлены некоторые особенности русских повествований, построенных на разоблачении мнимых чудес. Например, в «Страшном гаданье» Марлинского «отрезвляющий» финал не устраняет всех загадок, возникающих в движении сюжета. Читатель так и не может понять: кто таков таинственный незнакомец, встретившийся с героем на деревенских посиделках,— реальный человек, испорченный скептицизмом и холодным развратом, или злой дух, воплощение ирреальных сил? Этот вопрос оставлен в повести без ясного ответа[22]. Не менее важно то, что мнимые происшествия, на поверку оказавшиеся сном («Страшное гаданье») или, допустим, галлюцинациями сумасшедшего («Перстень»), в итоге не лишаются той ужасающей серьезности, которую придала им иллюзия вторжения ирреального. Последняя особенность по-разному, но с равной отчетливостью проявляется в обеих повестях.

В «Перстне» Баратынского «отрезвляющий» финал осенен «донкихотскими» ассоциациями, окружившими фигуру прозревшего перед смертью безумца Опальского. Тем самым намечен путь к уже известной нам двойственной трактовке темы безумия. Безумец и здесь предстает не только безответственным, невменяемым существом, но и носителем особой духовности, возносящей его над житейской прозой — к добру или к злу, но в любом варианте за пределы низменного или пошлого. Опальский все перепутал: Испания времени Филиппа II на самом деле была обыкновеннейшим российским захолустьем, донна Мария — хорошенькой уездной барышней Марьей Петровной Кузьминой, дон Педро де ла Савина — сослуживцем Опальского Петром Ивановичем Савиным и т. д. Не было ни явления «прозрачного духа», ни сатанинского обряда антикрещения, вершимого ведьмой и бесами, ни многовековых странствий наказанного бессмертием грешника. Все это лишь почудилось Опальскому, а на самом деле было следствием розыгрыша, который придумали офицеры и «некоторые из соседственных дворян». Но романтический ореол, окружающий предсмертное просветление героя, и прозвучавшие в этой ситуации последние его слова сохраняют за всем, что было пережито, страшный и высокий мистериальный смысл.

«Разоблаченный» и все-таки успевший развернуться фантастический сюжет позволил автору, не покидая почвы заурядных бытовых

[20] Берковский Н. О «Повестях Белкина» // Берковский Н. О русской литературе: Сб статей / Сост Е. А. Лопырева. Л., 1985. С. 53.

[21] Там же. С. 52.

[22] Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 352.

ситуаций, проникнуть в «последние» глубины человеческой души. Баратынский стремится привести читателя к мысли о том, что жажда познания и счастья на пределе своего напряжения может обернуться нравственной гибелью и возможностью преступления. В то же время падение в бездну зла не уничтожает, по мысли писателя, возможности духовного спасения — спасение достигается ценой искупительных страданий, ценой самоотверженного служения добру. И то и другое герой повести пережил лишь «мечтательно», в воображении. Но он не только пережил и то и другое, а и на то и на другое оказался способным. Фантасмагория, созданная больным воображением, выявила и осуществила противоположные возможности, таившиеся в душе человека. В этом, как видно, и заключался смысл задуманного Баратынским сюжетного хода: сюжет вводил очень важную для русской литературы тему преступления и наказания, сообщал ей истинно философскую масштабность и, таким образом, давал возможность развить краеугольную для романтизма мысль о противоречивости самой природы человека.

Несколько иной поворот получает подобное же сюжетное движение у Марлинского (в новой повести Бестужев уже выступает под этим псевдонимом). Основные эпизоды «Страшного гадания» наполнены мотивами, напоминающими «русские» баллады Жуковского (те же святочные обряды, подблюдные песни, страшные рассказы об оживших мертвецах, захватывающая дух поездка в санях с таинственным и, видимо, «нездешним» спутником, погребение заживо и т. п.). Да и композиционные очертания сюжета, завершившегося спасительным пробуждением от ужасного сна, напоминают сюжетные контуры «Светланы». Но сходство подчеркивается словно бы нарочно для того, чтобы читатель почувствовал различие и даже полемизм, острием своим обращенный против балладных концепций Жуковского.

Сентиментальная поэтизация народной жизни, столь важная для «русских» баллад автора «Светланы», испытывается «мефистофельским» скептицизмом зловещего незнакомца. И вот уже разрушено обаяние патриархальных добродетелей. «Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково».

Предметом полемики становится затем сентиментально-романтическая тема луны, возникающая во многих балладах Жуковского («Людмила», «Светлана», «Эолова арфа», «Адельстан», «Варвик») и тесно связанная с важнейшими для поэта лирическими темами. Марлинский как бы подхватывает излюбленную мысль Жуковского о таинственной связи земного и лунного (т. е. небесного) миров. Но едва лишь читатель получает возможность узнать контуры знакомой поэтической идеи, следует резкий поворот. Герой (а в известной мере и стоящий за ним в этот момент автор) отказывается видеть в лунном мире будущий приют человеческих душ и сферу абсолютного разрешения всех земных противоречий. Иными словами, отвергается очень важная для Жуковского мысль о том, что истинная полнота счастья, гармонии, красоты возможна лишь за границей жизни, в потусторонней вечности. «Поэзии небесных упований»[23] противопоставляется поэзия бурной страстности, безудержная смелость мысли и стремлений.

Инерция сентиментального дидактизма подрывается развитием темы романтической страсти. С первых же строк декларируется при-

[23] Розанов И. Н. Русская лирика. М., 1914. С. 152.

частность страстной любви к миру идеальных ценностей. Ее пламенность и безмерность становятся обоснованием ее прав на высшее значение, а вместе с тем — и ее права стоять выше обыденных норм и правил общежития. Идеальная правда романтической страсти освящает своими особыми критериями и такие ситуации, когда нарушаются нормальные отношения героя с миром, когда хаос и смута, воцарившиеся в его душе, вплотную приближают его к возможности преступления.

Страсти позволено развернуть свои претензии до последнего предела, перед ее натиском стушевывается и меркнет сентиментальная идилличность нравственной философии раннего русского романтизма. Однако и здесь испытание позволяет отделить от иллюзорной (и явно архаической) формы заложенный в ней непреходящий смысл. Чудесный сюжет, которому условность литературного «сна» дает возможность осуществиться в полной мере, опять-таки раскрывает трагическую диалектику преступления и наказания. Чем выше и напряженнее звучит тема страсти, тем более возвышется звучание противостоящей ей темы долга и совести. Фантастический поворот позволяет придать нравственной коллизии вселенскую масштабность (тут важны «роковые услуги» незнакомца-«беса», злодейство, разрывающее связь героя с Богом и людьми, низвержение в некую замогильную бездну и т. п.) Напряженность коллизии доводится до катастрофического разрешения, и в романтической экзальтации обнаруживается страшный потенциал разрушения и зла.

Говоря иначе, эксперимент, осуществляемый при помощи мнимых «чудес», ставит под сомнение нравственный пафос романтического индивидуализма. Нравственный идеал, внесенный в русскую литературу Жуковским, не отбрасывается: Марлинский стремится утвердить его на более прочных, как ему представляется, основаниях, способных выдержать испытание всеотрицающей критикой современного скептицизма и всеми искушениями безудержного романтического чувства.

Таким образом, обращение к повествованию, построенному на разоблачении мнимых «чудес», не означает в русской фантастической повести отказа от романтизма. Это, скорее, попытка нащупать пути, ведущие к романтизму неиндивидуалистического типа. Такая попытка была проявлением закономерной реакции на опасные последствия метафизического бунта романтиков, направленного против непреложных законов бытия и норм человеческого общежития. К началу 30-х годов было уже достаточно ясно, что романтический максимализм может обернуться ненавистью к действительности, враждебностью к «изначально несовершенным» живым людям. Было уже очевидно, что романтическая мятежность легко принимает формы элитарного самоощущения, утверждающего право «избранных» делать с миром все, что диктует ничем не скованная жажда Абсолюта. Опыт уже показал, что романтическая экзальтация может привести к смешению добра и зла. Эти опасности остро чувствовали Бестужев и Баратынский. Оба они (каждый в рамках своей эстетики и стилистики) стремились напомнить о двойственной природе человеческих возможностей, о том роковом потенциале, который таится в безглядном «парении» духа. Оба стремились очистить романтический максимализм от высокомерия и демонизма. Неудивительно, что форма повествования, корректирующая полет фантазии напоминанием о реальной жизни и нравственных обязательствах человека, в наибольшей мере привлекала на пороге 30-х годов и того и другого.

Несколько иной вариант подобной же композиции повествования оформляется позднее в повести А. Ф. Вельтмана «Иоланда» (1837)

Опять перед читателем фантастический сюжет, полный чудес (идет рассказ о мщении посредством чародейства), и опять в финале чудеса оказываются мнимыми. «Дезавуированная» фантастика и в этом случае воплощает серьезнейшее нравственно-философское содержание: совершается выбор между добром и злом, грехопадение влечет за собой неотвратимое возмездие. Тема преступления и наказания (как обычно, получившая мистериальную масштабность) проходит по всем сюжетным линиям: к ней так или иначе причастны и Гюи Бертран, и Вероника-Иоланда, и граф Раймонд вместе с его возлюбленной Санцией. Но дело не исчерпывается обычным в таких повествованиях нравственным итогом, несущим в себе критику романтического своеволия и романтического культа сильных чувств. Не менее существенным оказывается итог познавательный: по мере того, как мнимые чудеса получают реальное объяснение, раскрывается человеческая психология, своеобразие которой своей необычностью едва ли не равнозначно чуду Упорное, отчаянное сопротивление любимому и своему собственному чувству, окованность страстью, жажда мщения «ему» и искупительных мук для себя — все это, переплетаясь и достигая максимальной напряженности, образует такое сочетание свойств, которое сложностью и странностью своей исключает возможность ясного определения, однозначной оценки. Так вырисовывается своеобразное предвестие «фантастического реализма» Достоевского и его школы.

* *
*

Нетрудно заметить, что и повествование сказочного типа, и повествование, построенное на разоблачении мнимых «чудес», обычно соседствуют в русской фантастической прозе 1820—1830-х годов с повествованиями иного рода, основанными на параллелизме и художественно-смысловом равноправии реального и фантастического. Повествования этого типа (в современном литературоведении за ними закрепились определения «сумеречная» фантастика и «завуалированная» фантастика[24]) предлагают читателю два противоположных взгляда на чудесное, но ни одному из них не отдают безусловного предпочтения. Романтическая литература выработала целую систему приемов, позволявших писателю искусно балансировать на грани реального и фантастического (классическим воплощением такой системы явилась знаменитая повесть Гофмана «Песочный человек»). Главный эффект состоял в том, что самая сердцевина фантастики — вторжение в сюжет ирреальных сил — смещалась за пределы авторской «свидетельской» позиции (т е. за пределы безусловно достоверного)[25]. Фантастические события концентрировались, например, в предыстории, которую читатель узнавал от кого-либо из персонажей (или из другого, столь же субъективного источника). Повествование о чудесах могло переводиться в форму слухов, преданий, «изустных рассказов» или в форму сна, галлюцинации, бредовых видéний безумца. Словом, за все сведения о сверхъестественном автор на себя ответственности не брал, что и позволило читателю поставить их под сомнение.

[24] Манн Ю. В. Эволюция гоголевской фантастики // К истории русского романтизма / Ред. колл. Ю. В. Манн, И. Г Неупокоева, Г. Р. Фохт. М., 1973. С. 222.
[25] См. об этом там же.

Однако известные основания для доверия подобным сведениям тоже сопутствовали. «Завуалированная» фантастика 20—30-х годов еще сохраняла ощутимую для читателей связь с традицией фольклорных рассказов о чудесном (быличек, бывальщин, легенд), а в этих последних ссылка на слухи, предания и чьи-либо рассказы призвана утвердить «достоверность рассказываемого»[26], представить рассказ как «описание реальных или вполне возможных фактов»[27] Вместе с тем форма сна или видения тоже не означала дискредитации фантастического содержания: в романтическом искусстве и то и другое приобретало значение откровения, приобщения к «другой жизни», к высшей правде. В общем, средствами «завуалированной» фантастики создавалось представление об истине проблематичной, допускающей разные истолкования и реакции.

«Завуалированная» фантастика нередко принимает поэтому форму дискуссии об отношении к таинственному и чудесному. Принцип дискуссии действует, например, в построении прозаического цикла Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». «Обрамляющее» цикл авторское повествование развертывается как своеобразный диспут между сердцем и умом, между анализом и инстинктивной верой. У Погорельского этот диспут ведут две условные фигуры, олицетворяющие противоположные начала авторской души (таковы Антоний и Двойник). В цикле Марлинского «Вечер на Кавказских водах» и в книге Загоскина «Вечер на Хопре» о таинственном и чудесном спорят уже несколько персонажей, вполне объективированных и наделенных краткими, но отчетливыми характеристиками. Наконец, столкновение рассудка с наивной верой (или с потребностью веровать в чудесное) может развернуться внутри отдельной повести, тоже представляя собой «обрамление» основного сюжета. Так построены представленные в публикуемом сборнике повести «Кикимора» Сомова и «Кто же он?» Мельгунова. У Сомова о чудесном происшествии спорят рассказчик-крестьянин и барин-интеллигент, выступающий в роли «издателя». У Мельгунова спор ведут «насмешливый читатель» и автор, в свою очередь, всегда готовый посмеяться над шаблонами читательского восприятия.

Подобный прием сам по себе уже не был новым на рубеже 20-х и 30-х годов. Его использовали все тот же Гофман в «Серапионовых братьях» (1819—1821) и В. Ирвинг в книгах «Брейсбридж-холл» (1822) и «Рассказы путешественника» (1824). Но в русской прозе «дискуссионный» способ циклизации фантастических повестей и новелл приобрел бо́льшую остроту и своеобразную идейно-художественную функцию. Споры об отношении к чудесному оборачиваются в русских фантастических циклах исследованием предмета спора. Исходной ситуацией спора обычно оказывалось столкновение двух антагонистических мнений: сторонники одного настаивали на сверхъестественном характере рассказываемых таинственных историй, сторонники другого противопоставляли этому вполне рациональные, естественные объяснения тех же самых происшествий. Но это именно исходная ситуация, не более: гораздо важнее было противоборство аргументов, которыми подкреплялись обе столкнувшиеся точки зрения.

---

[26] Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 22.

[27] Азбелев С. Н. Отношение предания, легенды, сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность / Отв. ред. А. М. Астахова. М., 1964. С. 11

В ходе дискуссии подвергались испытанию важнейшие принципы как просветительского, так и романтического мышления. Основной закон «завуалированной» фантастики проявлял себя в том, что ни одна из противоположных точек зрения не получала решающего перевеса над другой: равновесие поддерживалось внутри «обрамляющего» диспута, уравновешивали друг друга и вставные новеллы, то служившие аргументами в пользу веры в сверхъестественное, то опровергавшие ее. В итоге крайности просветительского рационализма и романтической концепции двоемирия взаимно нейтрализовали друг друга, намечались контуры диалогической истины, далекой от любого догматизма и любой односторонности. Создавалось ощущение неразгаданной сложности реального мира, ощущение его тайн, лежащих по ту сторону любых существующих концепций, за пределами всего, что доступно нынешним формам познания. Собственно, это было ощущение объективности мира. Такое ощущение оказалось очень важным для зрелого романтизма, который уже сознавал ограниченность субъективизма и гордого презрения к жизни. И в неменьшей степени — важным для созревающего реализма, который начинал свою эволюцию с попыток добиться максимальной непредвзятости в отношениях искусства с действительностью.



Иногда взаимоотношения между просветительским рационализмом и романтической концепцией двоемирия принимали в русской фантастической прозе 20—30-х годов совсем иные, недискуссионные формы Любопытный вариант подобных отношений воплотился в фантастических повестях Сомова. Здесь можно обнаружить весьма показательную эволюцию. Один из первых опытов Сомова в «фантастическом роде» — «Приказ с того света» (1827), типичный образец повествования, основанного на разоблачении мнимых чудес. Некоторая необычность найденного здесь решения состоит разве что в его мягкости: подоплека мнимого вторжения потусторонних сил в заурядные житейские дела не раскрыта, а лишь обозначена намеком. Читатель может догадываться о том, что тщеславного трактирщика просто разыграли, однако рассказчик-путешественник прямо этого не утверждает К тому же авторское «Примечание», обнажая вымышленный характер всего сюжета в целом (и в частности, вымышленность самого рассказчика), как бы уравнивает тем самым доверчивого героя и недоверчивого повествователя.

Позднее появляется «Кикимора» (1830), уже достаточно обстоятельно воссоздающая народное поверье, имитирующая самый процесс рассказывания фольклорной былички. Это уже заметный шаг вперед после шутливой имитации «предания» в повести «Приказ с того света» Здесь, в «Кикиморе», читатель получает возможность погрузиться в подлинную атмосферу народного рассказа о чудесах и нечистой силе. Слияние с этой наивной верой для читателя исключено: рассказанная история введена в контекст уже упомянутого выше диспута между проезжим барином и ямщиком. В споре между инстинктивной верой и рассудком преимущество как будто бы даже на стороне рассудка Ямщик не может подкрепить свой рассказ достоверными свидетельствами и вполне убедительными аргументами. Но все-таки и точке зрения барина, объявляющего весь рассказ крестьянин выдумкой злых людей и порождением суеверий, не дана полная победа. Заключительное объяснение, которое предлагает барин, явно не охватывает

всей совокупности известных читателю фактов, и не на все возникающие у читателя вопросы оно может дать ответы. Таким образом, подлинный автор не вполне отождествляет свою позицию с прямолинейно рационалистической точкой зрения. У читателя может сложиться впечатление, что в рассказанной истории осталось нечто необъясненное (и, может быть, необъяснимое).

В обеих названных повестях Сомова фантастика сверхъестественного «оправдана» фольклорным происхождением сюжета и фольклорным характером самого рассказа о фантастическом происшествии. Такая мотивировка не нарушала прав рационального мышления. Между рационально мыслящим автором и фантастическим сюжетом существовала очевидная для читателя дистанция: ведь фантастическое входило в повесть как принадлежность фольклорного сознания, для автора в известной степени «чужого».

Тот же принцип действует и в более поздней повести Сомова «Киевские ведьмы» (1833). Но здесь «оправдательные» мотивировки сопутствуют уже новым мотивам, не свойственным прежним фантастическим повестям Сомова. Прежде всего, здесь совершается переход от «завуалированной» фантастики к прямому воссозданию чудес (колорит народно-легендарного повествования и мелькающая порой шутливая интонация лишь слегка смягчают возникающий эффект). Сомов воссоздает потрясенность очевидца, прямо столкнувшегося с существами потустороннего мира. А это — характерный прием суеверных рассказов фольклора, прием, призванный вызвать и у слушателя чувство действительного соприкосновения с чудом.

В созданной такими приемами атмосфере казак Федор Блискавка внезапно приобретает черты романтического героя. Ужас перед сверхъестественным сливается с увлечением открывшейся возможностью пересечь незримую границу двух миров. И вот уже традиционное казацкое молодечество оборачивается порывом, влекущим к потустороннему: «...он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения, в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся». А затем вырисовываются и знакомые читателю тех лет приметы всеобъемлющего разочарования, приметы романтического конфликта с миром, когда человеку «все постыло на этом свете». И наконец,— чисто романтическое упоение гибелью: убиваемый женой-вампиром, «Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления». Все эти романтические ноты (равно как и черты неустранимой романтической двойственности в характеристиках героя и героини) как-то плохо согласуются с основной — трезво-рационалистической — тональностью мировоззрения и стиля Сомова. Но роль «фольклоризованной» фантастики, видимо, в том и состоит, чтобы облегчить «контрабандное» проникновение романтизма в сознание и творчество ортодоксального рационалиста-просветителя.

Как видим, за дискуссией, в которой сталкивались правды рассудка и сердца, наивной веры и трезвого анализа, вполне могла последовать и стадия сближения или даже объединения противоборствующих историко-культурных тенденций — романтических и рационалистических. Подобный синтез оказался наиболее плодотворным в фантастической прозе уже не раз упомянутого нами В. Ф. Одоевского.

Одоевский начинал свой путь в литературе как типичный просветитель: рационалистический дидактизм составлял основу его позиции,

аллегорическое иносказание с легко подразумеваемой моралью явилось той формой, которая эту позицию естественно выражала. Даже увлечение романтической по своей сути философией Шеллинга не подрывало в первой половине 20-х годов просветительских схем, господствующих в мировоззрении и творчестве Одоевского. Напротив, шеллингианская идея «тождества» оказалась в своеобразном подчинении у просветительского рационализма: в шеллингианстве Одоевского привлекал прежде всего культ умозрения, которое повсеместно устанавливает свои строгие законы. Та же тенденция, как мы уже убедились, продолжает оказывать влияние на творчество Одоевского и в 30-е годы. И сказывается она не только в утопических его повествованиях. Вот, например, в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и в связанной с ней «сказке наизворот» фантастический сюжет играет всеми красками романтического гротеска. Но сквозь эту прихотливую игру просвечивают традиционные темы русской дидактической сатиры, издавна обличавшей поверхностный европеизм и нелепость светских нравов. Власть традиции ощущается и на высшем смысловом уровне: романтические мотивы, сплетаясь, образуют почти гофмановский фантасмагорический образ кукольного мира, но образ этот опять-таки овеян духом просветительской сатиры. Для автора названных сказок фантастика всего лишь средство, с помощью которого он осуждает и высмеивает некоторые стороны современной ему общественной жизни. Игре с фантастическими образами положен отчетливый предел: игра остается и выглядит именно игрой. Подлинная действительность трезво мыслится при этом как нефантастическая по своей сути.

Однако среди сочинений Одоевского этих лет немало и таких, где романтические концепции получили безусловное преобладание. В «Игоше» сверхъестественное предстает уже как художественная реальность, вполне достоверная для определенных типов сознания. Сверхъестественное у Одоевского реально для сознания, не тронутого цивилизацией, сохранившего наивность и способность инстинктивного знания. Таково сознание детское, таково сознание народное. Оба (как и следовало ожидать) наделены в романтической системе Одоевского высшей авторитетностью и оба противопоставлены «трезвому» сознанию «просвещенного» человека. «Возникают модели двух взаимоисключающих мироощущений, основанных на различном толковании одних и тех же явлений — в зависимости от тех или иных особенностей психической организации»[28]. Это уже не столько традиционный диспут, сталкивающий противоположные точки зрения, сколько сосуществование двух разных миров: две системы субъективных представлений соответствуют двум объективно существующим типам взаимоотношений человека с миром.

Непосредственным объектом изображения оказываются два типа психики и, глубже, психофизиологической организации, два типа психологических состояний человека. Одоевский исходит из того, что те или иные реальные отношения человека с миром зависят от тех или иных состояний человеческой души: невозможное в пределах одного состояния становится возможным в границах другого. И особый интерес, с этой точки зрения, вызывают у писателя душевные состояния, традиционно интересовавшие романтическую литературу,— сны, предчувствия, явления сомнамбулизма, ясновидения, внушения и т. п. Для

[28] Турьян М. А. «Игоша» В. Ф. Одоевского: (К проблеме фольклоризма) // Русская литература. 1977. № 1. С. 134.

Одоевского это прежде всего особые психофизиологические состояния организма, но писатель предполагает в них и за ними особые духовные возможности, и в частности возможность непосредственного контакта со сверхъестественным.

В «Игоше» эта тема отчасти еще прикрыта традиционной «оправдательной» мотивировкой: используется сюжет народной былички, фантастическое еще в известной мере выступает как фольклорное начало. Следующий шаг сделан в «Орлахской крестьянке» (1838) Здесь рассказ о необъяснимых возможностях сверхчувственного познания облечен в формы очерка, временами близкого к протокольной записи. Повествование всем своим строем выражает претензию на то, чтобы любой (в том числе и «испорченный» просвещением) читатель воспринял рассказанное как безусловно достоверную информацию. А речь идет о том, как крестьянская девушка, больная «падучей», прозревает события, разыгравшиеся четыреста лет назад. Эти события, о которых Энхен Громбах не могла узнать ни одним из обычных способов, открываются ей во время припадков, то есть в особом психофизическом состоянии. За пределами этого состояния связь с неведомым полностью утрачивается.

Словом, «прорыв» за грань эмпирического и рационального познания изображается в «Орлахской крестьянке» как своего рода медицинский факт, как странный феномен, который автор может зафиксировать. Иначе — в повести «Косморама» (1839) Здесь подобный же «прорыв» образует стержень фантастического сюжета и определяет все воплощение в повествовании вйдение мира. Психофизические объяснения (вроде упоминаний о «двойном зрении» или «нервической болезни») мелькают здесь уже как ложные мотивировки, вводимые единственно для того, чтобы быть отброшенными. Традиция, предполагавшая опору на подобные объяснения, отвергнута, ее место занимает своеобразная поэтическая мистика (не равная, конѐчно, мистике религиозной) Одним из «мистических» сюжетных мотивов является возвращение на землю мертвеца графа: угадывается намек на его превращение в вампира ради исполнения договора с адскими силами и страшного мщения живым. Другим таким же мотивом оказывается тема таинственной косморамы, волшебного предмета, позволяющего видеть, что сам герой и все окружающие его люди принадлежат одновременно земному и потустороннему мирам и что все происходящее с ними имеет в этих мирах прямо противоположные смыслы. Романтической концепции двоемирия Одоевский стремится придать максимальную наглядность и осязаемость.

За всеми этими повествованиями, то подчеркнуто бесхитростными, то причудливо фантасмагорическими, кроется сложная мировоззренческая проблема. В кругу русских писателей-романтиков Одоевского выделяли прежде всего поиски естественнонаучных мотивировок фантастического. Рассматривая в своей публицистике (например, в «Письмах» к графине Ростопчиной) явления, считавшиеся сверхъестественными, Одоевский стремился «подвести их под общие законы природы»[29] Подобные явления он пытается объяснить, основываясь на новейших достижениях психологии, физиологии, физики, а то, что остается за пределами таких объяснений, нередко рассматривает попросту как «не довольно исследованное»[30] Но в художественных повестях (в частности, в той же «Космораме») Одоевский порой оценивал такие объяс

[29] Отечественные записки. 1839. № 1 Отд. VIII С. 2.
[30] Там же.

нения как слова, «изобретаемые в... минуты человеческого суемудрия». Романтическая идея интуиции, предполагающая акт познания, «абсолютно непосредственный, абсолютно свободный, вневременной и внепричинный»[31], дорога писателю, и отказываться от нее он не намерен. По-видимому, удовлетворить Одоевского может лишь идеальная гармония «двух взаимоисключающих мироощущений», двух несовместимых сегодня типов взаимоотношений человека с миром.

В сочинениях Одоевского отчетливо вырисовываются контуры концепции, развивающей еще один вариант столь характерного для раннего романтизма принципа «триады». Первую стадию развития человека и человечества писатель мыслит как стадию благодатной наивности, интуитивного знания, непосредственно объединяющего человека с природой. Затем следует этап «грехопадения», который представляется временем развития рационального начала, вытеснения слабеющего инстинкта и неизбежной деградации общества и культуры, отравленных ядами буржуазности. Но процесс этот вовсе не рассматривается как необратимый: элементы высшей духовности и высшего знания, уходящие корнями в первобытную гармонию, обнаруживаются в поэтическом мышлении народа, в неискаженно чистом сознании ребенка, наконец, в некоторых подсознательных процессах, переживаемых взрослым человеком. Все это вселяет веру в реальную возможность воссоединения некогда распавшихся и ныне враждебных начал человеческой природы. Поиски такой возможности как раз и определили особый пафос фантастики Одоевского, они питали энергию уже знакомого нам социально-культурного утопизма, столь выразительного в повести «4338-й год».

* *
*

Романтическая фантастика конца 1820—1830-х годов не была ограничена кругом законченных, «чистых» форм. Интерес читателей иногда вызывали произведения переходные, совмещавшие (и при этом так или иначе смешавшие) признаки нескольких типов фантастической повести.

Одно из них — повесть «Уединенный домик на Васильевском» (1828), написанная (или вернее записанная) В. П. Титовым на основе устного рассказа А. С. Пушкина. Повесть, отмеченная приметами пушкинской манеры, отличается характерной для Пушкина установкой на неодиозивчиость восприятия изображаемого. Отсюда — возможность пересечения разных традиций. «Уединенный домик...» близок к поэтике «Лафертовской маковницы»: читатель обнаружит в повести Титова уже знакомое ему сочетание повседневного городского быта с неожиданными вторжениями потусторонних сил. Чудесное и здесь удержано в известных границах: существует возможность двоякого восприятия всех таинственных лиц и происшествий. Зловещий Варфоломей, погубивший героя и героиню повести, может быть воспринят как «влюбленный бес» (так был озаглавлен первоначальный набросок пушкинского плана) и как всего лишь странный или глубоко испорченный человек. Загадочные похождения Павла, смерть матери Веры, пожар, уничтожающий их дом, с одной стороны, производят впечатление чего-то сверхъестественного. С другой стороны, этим эпизодам сопутствуют упоминания рассказчика о «распаленной фантазии» Павла, о его «лихо-

[31] Асмус В. Ф. Проблемы интуиции в философии и математике. Изд. 2-е. М., 1965. С. 79.

радочном состоянии», а затем уже и прямо говорится о душевной болезни героя.

В конце рассказа появляется обычная для «завуалированной» фантастики отсылка к «изустному преданию», которое объявлено источником рассказанной истории. Далее следует ироничный комментарий: рассказчик предлагает читателям самим рассудить, «можно ли ей [истории] поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?» Однако при всем том непосредственное ощущение чудесного гораздо сильнее, чем в большинстве русских повестей такого типа. Характер эмоционального приобщения к тайне и чуду напоминает, скорее, повествования сказочного типа или даже суеверные рассказы, подобные фольклорной быличке. К этой форме был, по-видимому, близок устный пушкинский рассказ, вызвавший, по свидетельству Титова, «тайный трепет» у слушателей[32]. Подобные рассказы были тогда равно обаятельны и для улицы и для аристократического салона. Живейший интерес к ним был частью атмосферы, включавшей в себя увлечение «вещими» снами, ясновидением, спиритизмом, идеями магнетизма, преданиями о черной и белой магии, о колдовстве и проч.

И в то же время любопытно уже многократно отмеченное обстоятельство: ситуации, характеры и некоторые важные детали повести, опубликованной под именем Тита Космократова (таков был обычный псевдоним Титова), перешли позднее в нефантастические произведения Пушкина («Домик в Коломне», «Медный всадник», «Капитанская дочка»)[33]. Оказалось, что они могут функционировать и в рамках житейского правдоподобия, не нуждаясь в тех вольностях, которые дарует автору поэтика чудесного.

Сложное переплетение разнородных тенденций можно обнаружить и в повести А. К. Толстого «Упырь» (1841), появившейся уже в пору заката романтизма.

В «Упыре» заметны черты очень популярной в 30-е годы светской повести, жанра психологического и бытового. Завязку сюжета образует, как водится, сцена бала, да и в дальнейшем ясно прослеживаются контуры обычных для светских повестей перипетий и ситуаций. Любовная история осложняется интригами, клеветой, дуэлью, но в итоге все-таки получает благополучное разрешение. Симпатичные автору герой и героиня переживают эволюцию, которая духовно их укрепляет, и в конце концов их чувства и нравственные достоинства оказываются сильней тлетворного влияния света.

Но вся эта история самостоятельного значения не имеет. Сюжет почти сразу же получает некоторый «уклон» в сторону чудесного: в нескольких типичных для светской повести персонажах герою и читателю предложено увидеть... упырей. Сначала создается впечатление, что фантастика используется всего лишь как средство заострения сатирических характеристик, В этом отношении повесть Толстого как будто близка к «Уединенному домику на Васильевском», где, по меткому наблюдению А. А. Ахматовой, высший свет «оказывается филиалом ада»[34]

[32] См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 127

[33] Подробнее об этом см., напр.: Зингер Л. Судьба одного устного рассказа // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 222—225.

[34] Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. Изд. 2-е. Горький, 1984. С. 224.

Однако и сатирические задачи отходят вскоре на второй план Внимание читателей все больше переключается на загадку соотношения реального и ирреального, т. е. на проблематику, характериую для «завуалированной» фантастики. Вопрос о возможности верить или не верить в ирреальное надолго становится в повести главным. В глубине, казалось бы, вполне банальной житейской истории вырисовывается глубинный сюжет, выдержанный в духе «готических» романов Один за другим появляются традиционные «готические» мотивы — проклятие, тяготеющее над целым родом, тайна злодеяния, навлекшего это проклятие, продажа дьяволу человеческих душ, старинные виллы, населенные призраками, и т. п. По законам «завуалированной» фантастики каждый такой мотив становится предметом дискуссии. Объяснения, основанные на вере в ирреальное, оспариваются объяснениями сугубо рационалистическими.

Впрочем, и эта тенденция лишь временно становится доминирующей. Повествование все больше сближается с точкой зрения главного героя, который вынужден поверить в действительность открывшихся ему потусторонних тайн. Ирреальное предстает наконец чем-то неоспоримым, проясняется сверхъестественная связь происходящих событий. Но в этот момент следует новый поворот, и внимание читателя направляется теперь уже в сторону нравственных вопросов.

Соприкосновение с миром ирреального представляется Толстому пагубным для человека. Здесь кроется некая вина, влекущая за собой возмездие. В этой связи приобретает особое значение позиция героя повести. Руневский испытывает невольное влечение к тайнам инфернального мира, но оказывается в состоянии преодолеть соблазн. Знаменателен его финальный отказ от окончательного выяснения причины всего совершившегося. В этом резком (и теперь уже последнем) сюжетном повороте сказывается «полемическое отношение к романтической игре с потусторонним», принципиальное «нравственное отстранение от нее»[35].

Кажется, финал мог бы обрести смысл прямого нравственного урока. Но и этот смысл не фиксируется вполне определенно. К тому же что-то все время мешает читателям повести А. К. Толстого вполне серьезно отнестись к авторским намерениям: часть современной Толстому критики готова была даже воспринять «Упыря» как пародию или шутку. В такой оценке есть, конечно, явное преувеличение, но можно понять, почему она оказалась возможной. Заметны проблески авторской иронии, легко улавливаются и признаки «игры с формой» (слишком явственная стереотипность главных сюжетных мотивов и приемов повествования). Все это вносило в повесть еще одну важную тенденцию — «отпечаток эстетизации и деидеологизации романтической фантастики»[36]. Но и эта тенденция тоже не становилась доминирующей или самоцельной: играя со всеми вариантами романтической поэтики чудесного, Толстой приближался к выходу за ее пределы.

* *
*

Новые пути для развития фантастической прозы открыла повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» (1834) В ее завязке концентрируются сюжетные мотивы и композиционные приемы, успевшие стать тради

[35] Васильев С. Ф Проза А. К. Толстого: Направление эволюции. Л., 1987 С. 10.

[36] Там же

ционными. В рассказе Томского проходит тема магических карт, давно уже окруженная ореолом суеверий, появляется фигура Сен-Жермена, считавшегося ясновидцем, чародеем, чем-то вроде Агасфера. Разговор, вызванный этим «анекдотом», лаконично реализует уже привычную для читателя схему диспута об отношении к чудесному и т. д. Но итог диспута оказывается необычным: спора не получается, все участники диалога отвергают веру в чудеса и отрицают возможность серьезного к ним отношения. А затем начинается история, которая развертывается «в тесном переплетении совершенно реальных, жизненных интересов и поступков героев»[37]. Пушкин почти демонстративно превращает сложившуюся жанровую традицию в своего рода отправную точку для движения в каком-то нетрадиционном направлении.

Однако движение это не уводит прочь от «фантастического рода». «Переплетение реальных, жизненных интересов и поступков» действующих лиц в дальнейшем все-таки включает в себя фантастику Германну является умершая графиня, после чего следует невероятный выигрыш всех трех названных призраком карт (лишь ошибка Германна, взявшего не ту карту из колоды, не позволяет ему воспользоваться открытой тайной). Возможность естественного объяснения логически не исключена, но справедливо говорится о том, что столь поразительная «игра случая» (а это единственное правдоподобное объяснение), в сущности, равносильна чуду, то есть той же фантастике. Да и вопрос о выборе между правдоподобными или фантастическими объяснениями в границах основного действия не возникает: вопрос этот автором явно не предусмотрен. Поэтому и невозможно представить себе две различные перспективы объяснения. Реальное и фантастическое не оспаривают друг друга, но сказываются неотличимыми.

Этому способствует неопределенность и двойственность в обрисовке реального. Образ автора «так же неуловим, противоречив и загадочен, как сама действительность повествования»[38]. Неопределенность и двойственность сказываются и в обрисовке характеров, и в построении сцен, и в стилистике рассказа. Картина реальной жизни предстает незамкнутой, неисчерпаемо многозначной. В этой атмосфере фантастическое просто не может отделиться от реального. Еще шаг — и фантастика предстает концентрированным выражением наиболее существенных свойств реального. Но этот шаг сделает уже не Пушкин, а Гоголь. Решение, найденное Пушкиным, иное: «В „Пиковой даме" сохранена граница между фантастикой и реальностью, но эта граница не установлена. Автор как бы не берется ее определить...»[39]

Новый тип фантастики выражает в повести Пушкина новое вйдение русской истории и современной общественной жизни. Пушкин ищет формы, способные передать своеобразие переломной исторической ситуации, когда жизнь вырывается за пределы, установленные вековыми нормами общественных отношений и вековыми законами здравого смысла. Атмосфера, в которой реальное неотличимо от фантастического, точно соответствует творческим целям поэта. Пушкин чувствует, что

[37] Муравьева О. С. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама» // А. С. Пушкин: Исследования и материалы / Отв. ред. Н. В. Измайлов. Л., 1978. Вып. 8. С. 65.

[38] Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В. В. О языке художественной прозы / Отв. ред. Г В Степанов, А П. Чудаков. М., 1980. С. 210.

[39] Муравьева О. С. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама» С. 69

русская жизнь, еще недавно представлявшаяся упорядоченной, даже косной, приобретает качества зыбкости, неустойчивости, нерегулируемой подвижности. Пушкин угадывает зарождение новых процессов и тенденций, о которых невозможно определенно сказать, во что они выльются. Героем повести недаром становится человек, оторвавшийся от своей социальной среды и оказавшийся во власти никем и ничем не контролируемых стихий. Их особую природу дает почувствовать проходящая через повесть тема карточной игры. В азартной игре пушкинский сюжет выявляет многие черты времени: тут и «прорыв хаотических сил в культурный макрокосм», и разгул эгоистических стремлений, и проявление «высших — иррациональных с точки зрения человеческого незнания — закономерностей бытия»[40] И тут же — человеческий порыв к освобождению от гнета обыденности, к равенству всех перед лицом судьбы, а в глубине этого расковывающего душевного порыва — готовность человека к поединку с судьбою. Все это так или иначе дает о себе знать в истории Германна. Но каков ее итог?

Повесть иронична по отношению к любым попыткам «управлять судьбою», навязать жизни чуждые ей формы и цели, будь то наполеонизм, принцип пользы, автоматизм светских условностей, буржуазный расчет, авантюризм или что-либо иное. Вместе с тем в иррациональной зыбкости и подвижности жизненных стихий пушкинская мысль открывает парадоксально связанный с этими свойствами бытия закон справедливости. Как ни таинственны связи и движения, образующие человеческую жизнь, закон этот, воздающий по вине и заслугам, ясно виден в судьбе героя.

Пушкин, как уже отмечалось[41], использует в «Пиковой даме» традиционный закон волшебной сказки: герой проходит через определенные испытания, а за ними (в зависимости от результата) следует награда или кара. Чудесный выигрыш обещан Германну на известных условиях — он должен искупить свою вину перед Лизаветой Ивановной и покойной графиней. Германн испытания не выдерживает, поэтому его постигает закономерный крах. Это — в духе сказочной эстетики, в духе особой философии сказки.

Конечно, традиция народной сказочной прозы в повести Пушкина преобразована. Элементы фольклорной поэтики «вступают в новые, несвойственные им в устном обиходе связи, меняют свой облик и свое назначение, обретают... философско-иносказательное содержание»[42] Но использование их в новом контексте и новом качестве совсем не случайно. Ведь с переходом к реализму функции фантастики существенно усложняются: она призвана выразить не только тайную диалектику жизни, но и диалектическую связь между ней и идеалом, а в конце концов призвана помочь пониманию мира в его целостности и динамике.



Иным путем пришел к реалистической фантастике Гоголь. В повести «Вий» (1834) он смело отказался от наиболее распространенных тогда приемов поэтики чудесного. Сохраняя в примечании традиционную

[40] Лотман Ю. М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Труды по знаковым системам / Отв. ред З. Минц. Тарту, 1975. Вып. VII. С. 136.

[41] Петрунина Н. Н. Проза Пущкина: Пути эволюции. Л., 1967 С. 229—238.

[42] Там же. С. 227

для «завуалнрованной» фантастикн отсылку к легенде, пнсатель по существу уходит от этой «опрввдательной» мотнвнровки в самой рассказываемой нсторни. В пределах рассказа дистанция между сверхъестественными событнямн н авторским (нли чнтательским) сознанием решнтельно снимается. Исчезает столь характерный для раиннх «Вечеров на хуторе близ Днканькн» простодушный демократнческий рассказчик н вместе с ним — отграннченная от авторской познцин «простонародная» точка зрения. Ответственность за рассказ о невероятных событиях теперь уже нн на кого не перекладывается. Предел, к которому лишь на мгновение приблнзнлся Сомов, перейден самым решительным образом.

Вторжения нрреальиого не смягчены теперь нн двойственностью мотнвировок, ии юмором (часто лишавшнм ощущенне чуда безусловной серьезности). Герой, автор н чнтатель оказываются лицом к лицу с мировой тайной, н, говоря известнымн словами Тютчева, «нет преград меж ей н нами». Эффект потрясающей чнтателя прямой встречн с чудесным достнгает еще небывалой чистоты, резкости н снлы.

Возможиость заглянуть в глубины бытия способствует раскрытню потаенных возможностей человека. И раскрываются они, в сущностн, гораздо драматнчнее, чем, скажем, в «Страшном гадании» Бестужева-Марлнского нли в тех же «Киевских ведьмах» Ореста Сомова. Вторженне «потусторонннх» стнхнй, вселенское противоборство Добра и Злв нитересуют Гоголя более всего как снлы, пробуждающие лнчность в заурядном «существователе». В первых эпизодах повести ее герой Хома Брут — обыкновенный бурсак, завсегдатай базара и шннка, «пиворез», приятель молоденьких вдов и покладнстых торговок. Но в «иочном» мнре, полном чудес, тот же Хома становится героем невероятных прнключенний, переживает небывалые, непонятные для иего чувства н, главное, вступает в напряженные отношення с колоссальными общемировыми силами. Фантастнческий сюжет выявляет катастрофичность такого пробуждення: обыкновенному человеку «не под силу постичь смысл бытня»[43] н устоять перед лнцом коренных его протнворечий, вдруг раскрывшнхся до последней глубины. Обыкновенный человек нспытывает смятенне перед тайнами красоты и зла, перед загадкой нх нераздельностн. Как понять превращение ведьмы в красавнцу, которой нет равных на земле, а днвиой красавицы — в невыносимо жуткое олнцетворение «нечнстой снлы»? Как пережить ощущение чего-то «пронзительно-страшного» в самой божественной гармонии прекрасного? Как перенести ощущение неотразимой мощн мирового зла, от которой уже не защищают нормы н запреты традиционной рнтуальной культуры? Герой не выдерживает прямого соприкосновения с этими роковыми тайнами: «Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел из него дух от страха».

Может быть, такова судьба всякого, кому выпала на долю возможность заглянуть в бездну днсгармонии мира. Вопрос о том, постижнмы ли его главные тайны и разрешимы ли его глубочайшие протнворечия, оставлен в повести Гоголя открытым. Но в то же время справедлнво подчеркивается, что в повести есть своеобразный катарсис и что он связан имеино с историей центрального героя, с его «неудержнмым, хотя н роковым порывом к красоте»[44] А это значит — и к

[43] Поддубная Р Н Тнп героя н характер конфликта в повестн «Вий» // Вопросы художественной структуры произведений русской классики / Отв. ред. Н. М. Владимирская Владимир, 1983. С. 79

[44] Там же С 80

тайне бытия, потому что постижение одной из этих тайн равнозначно у Гоголя постижению другой. Ни трагическая гибель Хомы, ни иронический финал повести (разговор двух подвыпивших приятелей героя) не обесценивают те непостижимые для героя стремления и чувства, которые выбили его из колеи обыденно-пошлого существования. Происходит, скорее, обратное: обыденно-прозаический эпилог оттеняет значительность того, что раскрылось в рамках рассказанной истории.

Итог не лишен своеобразного оптимизма: под покровом повседневной пошлости обнаруживается духовный потенциал, который в дальнейшем послужит основанием для пророчеств и откровений. Оказывается, что человек легенды (черты которого обретает в чудесном мире бурсак-«пиворез») и «есть настоящий, подлинный человек, спящий в обыденном человеке современности»[45]. Отсюда уже недалеко до идеи воззвания «к прекрасному, но дремлющему человеку»[46], которая прозвучит позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и воплотится в трехчастном замысле продолжения «Мертвых душ». Словом, в переплетении противоборствующих смыслов все-таки не пропадает нота, способная вселить благую надежду. И есть основания считать, что она тоже связана с иррациональностью чудесного, с кругом культивируемых фантастикой чувств, с теми порывами к недосягаемому которыми живет фантастическая проза.

Но как ни глубоки внутренние перемены, преобразившие гоголевскую фантастику, в повести «Вий» они еще связаны с романтической концепцией двоемирия. Двоемирие и придает остроту рассказу о необычайных переживаниях простоватого Хомы Брута: тут важно именно катастрофическое вторжение сверхъестественного в обыденную жизнь. Отход от двоемирия совершается в петербургских повестях (первые из них появились в 1835 г., почти одновременно с выходом сборника «Миргород», в составе которого был опубликован «Вий»). В петербургских повестях фантастическое уже не врывается в житейскую сферу извне, но обнаруживается в собственной природе бытовых, социальных, психологических явлений повседневности.

Важнейший шаг в этом направлении сделан в повести «Нос» (1836). Герой повести коллежский асессор Ковалев внезапно лишается части тела: нос исчезает, оставив «место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин». Затем исчезнувший нос почему-то обнаруживается в доме цирюльника Ивана Яковлевича запеченным в свежий хлеб, после чего, завернутый в тряпочку и выброшенный в реку, не пропадает, а каким-то непостижимым образом превращается в солидного господина со всеми приметами высокопоставленного должностного лица. Позднее нос так же необъяснимо принимает прежний вид, оказывается завернутым в платок квартального и, наконец, неизвестно как водворяется однажды утром на свое место

Обычный для фантастики 30-х годов вопрос о выборе между реальными и ирреальными объяснениями происходящего снимается у Гоголя задолго до финала, потому что задолго до конца повести снимаются все возможные «оправдательные» мотивировки изображаемых в ней невероятных происшествий. Все естественные объяснения одно за другим отпадают: герой убеждается в том, что он не спит, в том, что не бредит, в том, что не пьян. Когда возможности такого рода исчерпаны, начинаются поиски объяснения сверхъестественного. Оно вскоре находится:

[45] Гуковский Г А. Реализм Гоголя. М., Л., 1959. С. 187

[46] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В XIV т М.; Л., 1952. Т VIII С. 280.

«...Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами... И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб...» Однако некоторое время спустя Ковалев убеждается в ложности своего предположения, отказывается от него, и события, образующие сюжет, остаются уже без всяких объяснений. Их приходится воспринимать по принципу: невероятно, но факт. И приходится считать возможность невероятного свойством самой фактической реальности

Таким образом, границы, разделяющие фантастическое и действительное, и у Гоголя оказываются размытыми Но исчезают они не так, как у Пушкина: создается гротескный мир, где нарушение привычных для читательского взгляда связей, форм, закономерностей призвано сделать зримой глубинную сущность изображаемого.

Дело в том, что автор петербургских повестей видит главную примету современности в резком расхождении между сущностью общественного бытия людей и его осязаемыми реалиями, доступными обычному наблюдению и описанию. «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется»,— такова одна из кульминационных идей петербургского цикла. Для Гоголя очевидно, что истина может открыться лишь за пределами «видимости», за гранью тех иллюзий, которыми современный человек ослеплен. Отсюда следует: все обманчивые видимости современной жизни должны быть разрушены, деформированы или смещены в сознании человека — лишь при этом условии ему откроется ее подлинная, незримая сущность. Фантастика «Носа» как раз и приближает к этой истине высшего порядка — сквозь все миражи поверхностной внешней правды.

Подобный взгляд сразу же обнажает противоестественность господствующего общественного порядка. Не раз уже было замечено, что в гротескном мире «Носа», где воцаряется хаос и абсурд, незыблемо сохраняются общественные отношения, присущие обыденной жизни. При любых, даже самых обескураживающих поворотах действия нерушима иерархия чинов и званий, незыблема власть полиции, непоколебимы законы чиновничьей и обывательской психологии, ее обычные навыки и предрассудки. Полицейский, только что оказавшийся свидетелем невероятных превращений носа, продолжает как ни в чем не бывало брать взятки и «увещевать по зубам» проезжающего мужика. Сам Ковалев, разговаривая с убежавшим от него носом в Казанском соборе, невольно принимает тон, обычный для разговора чиновника средней руки с большим начальством (ведь по мундиру и регалиям нос на три чина выше Ковалева). Иными словами, реальности бюрократической системы вполне органично входят в царство абсурда: так обнаруживается подспудное их родство.

Но это еще не все. Сатирический эффект явно осложнен в повести проблесками универсального трагизма, открытиями, несущими в себе общечеловеческий смысл В подобном духе может быть воспринято самозванство носа, сбежавшего с физиономии Ковалева, чтобы выступить в роли статского советника Читатель может увидеть в этом превращении реализацию тайных мечтаний самого героя Ковалев, несомненно, помышляет именно об этом чине и в подсознании уже как бы обладает им (вспомним, что он странным образом претендует на

должность вице-губернатора нлн даже губернатора, для коллежского всессорв слншком высокую). Говоря нначе, бегство носа может быть понято как «раздор мечты с существенностью», как прорыв мечты за пределы доступного средиему человеку обыденного существовання. В тех же категориях может быть осмыслено возвращенне носа на «свое» место: И. Золотусскнй удачно сравнил этот фантастнческнй поворот сюжета с «капнтуляцией мечты»[47]. А в промежутке между завязкой н развязкой в созиаиие героя врываются комнческн сниженные, но по существу своему трагнческне вопросы: о человеческом достоинстве, о смысле человеческого существования. Входит в историю Ковалева и чрезвычайно важивя для романтнзма тема двойника (ведь именно такова роль иоса — статского советника). Тема этв здесь пароднйно переосмыслена, но сохраняет живую связь с первонсточнником. Отсюда — возможность мгновениых сопрнкосновенний нелепой нстории Ковалева с трагнчески серьезным смыслом двойннчества — темой Шамиссо, Гофмана, Андерсена.

В такие момеиты сквозь типическне черты чнновничьей пснхологии проглядывает нечто трудиоуловимое, не поддающееся определению, но притом ощутнмо роднящее пошлого героя повести со всемн остальиымн людьмн. Вместе с тем в нстории Ковалева можно почувствовать иамек на присутствие все тех же «потустороиних» сил, о которых Гоголь ннкогда ие забывает. Среди прочих объяснеиий совершившегося чуда мелькает н такое: «Черт хотел подшутить надо миою!» Обычное иевиимание читателей к этой реплике Ковалева вполне ествествеино. Фраза героя слишком близка к обиходиому речевому обороту, которому ннкто ие придает серьезиого значеиия. Реплика о черте не развертывается в мысль, не закрепляется в авторской рефлексии по поводу сюжета. Но, в сущностн, перед читателем — едииствеиная мотивнровкв происходящего, не отвергиутая героем и ие опровергиутая ходом действия. Мотивировка эта не отмеияет художествеииой логики, в силу которой нррациональиость, абсурдность, фаитасмагорнчность начнмают выглядеть свойствами всем известной обыдеииой действнтельиостн. Но на открывшуюся нам причудливость обыдеииого ложится инфериальиая теиь: «потустороннее» вдруг начниает представляться реальиым фактором повседиевной общестееииой жизни.

Намек иа участие в сюжете «нечнстой снлы» своеобразно подкреплеи всей абсурдно-хаотической втмосферой повестн. А в сложиом виутреннем едннстве гоголевских повестей о Петербурге оиа вступает в вссоциативиую перекличку с темой «беспорядка прнроды», насыщенной грозиым впокалнпсическим смыслом. Современное состояние мнра представляется автору петербургских повестей кризисиым н, более того, чреватым возможиостью катастрофы. В 30-е годы прнродв иадвнгающегося социального катаклнзма Гоголю еще не совсем ясна (он попытается определить сущность предстоящего в своей публицистике 40-х годов). Но, судя по всему, наиболее подходящнми для выражения этой таииственной сущности ему казались мифологнческне представлення о «конце света».

Впрочем, и этим грозиым предостережеинем не нсчерпывается смысл повести. На фоие виезапного превращения космоса в хаос важиа реакцня застигнутых твким превращеиием людей. Онв-то н составляет главиый предмет авторского вннмаиия. Катастрофнческая ситуация не прнводит «среднего» человека нн к бунту, ни к прозренню, нн к гнбели;

---

[47] Золотусскнй И. Душа н дело жизнн: Очерки о Гоголе М., 1981 С. 8.

она вообще ничего не меняет в обычном строе поведения и переживаний тех, кто с нею столкнулся. Поэтому в «Носе» обличение общества и составляющих его людей уже не осложняется надеждой. Пафос повести — чисто сатирический, но гоголевская сатира обретает здесь подлинно философскую, метафизическую глубину.



О многообразии форм и путей развития реалистической фантастики свидетельствовала оригинальность художественных решений, найденных Лермонтовым в повести «Штосс» (1841). Лермонтовская поэтика фантастического формируется (как это уже не раз бывало) на скрещении нескольких традиций, сложившихся в 30-е годы. Но традиционные элементы претерпевают у Лермонтова более глубокие, чем обычно, преобразования и составляют в конце концов еще небывалую целостность.

Лермонтов откровенно следует принципу, который уже утвердили в литературе Пушкин и Гоголь,— «отыскивать фантастическое в глубинах эмпирической реальности»[48]. При этом пушкинский вариант Лермонтову как будто ближе: в начале своего рассказа автор «Штосса» разыгрывает традиционную схему «светской повести» (в духе пушкинских повестей подобного рода) и таким именно образом готовит завязку фантастического сюжета. Пружиной фантастического становится «сцепление случайностей, на первый взгляд, не выходящее из естественного круга явлений, но открывающее возможность двойной интерпретации»[49] Подобная возможность используется неоднократно: непонятные галлюцинации Лугина, странное поведение попавшегося ему навстречу извозчика, еще более странный разговор Лугина с дворником возле дома, принадлежащего таинственному Штоссу,— все это может быть воспринято двояко, с теми или иными колебаниями в объяснениях происходящего. В дальнейшем этот принцип неожиданно сменяется другим Когда перед героем появляются «сгорбленный старичок» и «чудная красавица», естественный план и план фантастический предстают как одинаково и безусловно реальные.

Невероятные отношения героя с потусторонними существами представлены в очевидной связи с навязчивой идеей, овладевшей Лугиным. Но ясно, что благодаря этой навязчивой идее (то есть благодаря психическому перенапряжению) Лугин обретает возможность действительных контактов с «нездешним». Это уже ближе к романтической фантастике Одоевского с ее двоемирием и обостренным вниманием к особым психофизическим состояниям, которые подчинены законам природы и в то же время открывают возможность сообщения души со сверхъестественным.

В смешении реального и фантастического чудесное снижается: выходец из «другого» мира наделен обыденным обликом сгорбленного старичка в халате и туфлях, его отношения с героем по форме вполне бытовые. Напротив, бытовое оборачивается ирреальным И это — при очень высокой конкретности, даже «натуралистичности» введенного в повесть бытового материала. Тут каждая подробность знакома чита

[48] Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Исследования и материалы / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1973 С. 250.

[49] Там же.

телю: сырое ноябрьское утро, хлопья мокрого снега, грязные и темные дома, зеленые лица прохожих, звуки шарманки, и посреди всего этого — запущенная петербургская квартира, которая вдруг оказывается обиталищем привидений. Такая диалектика сближает Лермонтова уже не с Одоевским, а с Гоголем. Но и с гоголевской традицией лермонтовская поэтика не сливается. Отделяя контрастное сочетание фантастики и обыденности от традиционного для Гоголя обличительного задания, вводя контраст без посредства иронии, изнутри наполняя ощущением призрачности бытовую атмосферу, Лермонтов добивается своеобразного художественного эффекта, во многом предвосхищающего поэтику Достоевского.

При всем том лермонтовская повесть уникальна. Ее неповторимость определяется напряженным лиризмом, пронизывающим и ее фантастический план. И, вероятно, в такой же мере — особым выражением этого лиризма. Автобиографические ситуации[50] и устойчивые поэтические мотивы, преследовавшие воображение Лермонтова всю жизнь[51], вовлекаются в силовое поле фантастического сюжета, доводятся до предельного напряжения и явно близятся к катастрофическому разрешению. Но именно в этот момент повествование обрывается, как бы охраняя пока еще не раскрывшиеся до конца душевные тайны. Так осуществляется лирическая декларация поэта: «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть». Так ведутся поиски новой, реалистической позиции изображения — глубоко личностной и целеустремленной, но вместе с тем глубоко завуалированной, скрывающей свои основания и свой субъективный пафос.

* *
*

Как видим, развитие русской фантастики оказалось в 20—30-е годы сложным и разветвленным процессом. Но как бы далеко ни расходились, на первый взгляд, отдельные ее течения, их общая направленность определялась стремлением наглядно и целостно воплотить новые представления о фундаментальных законах мира, скрытых за его эмпирическим обликом. Все эти течения по-разному выражали потребность в осязаемом воплощении идеалов, которые утверждала в общественном сознании русская литература. Все формы фантастики так или иначе способствовали художественному прогрессу. И, следовательно, так или иначе включались в круг предпосылок классического русского реализма XIX в.

Иногда ранние формы реалистического искусства связаны с опытом фантастики почти непосредственно. Принципы, выработанные в сфере поэтики чудесного, продолжают действовать внутри эмпирически достоверного изображения жизни. Так изображается, например, ситуация мнимой ревизии в гоголевском «Ревизоре»: действующие лица комедии неспроста воспринимают все случившееся как наваждение («Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал»)[52] Так осмыслен в том же

[50] В образе Минской угадываются черты близкой знакомой Лермонтова А. О. Смирновой-Россет.

[51] Самый заметный из этих мотивов — неверие в «здешнюю», земную любовь и тоска по всепоглощающему и бескорыстному «небесному чувству».

[52] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1951 Т IV С. 94

«Ревизоре» характер Хлестакова: это не только узнаваемый «тип многого», но и «лицо фантасмагорическое», «олицетворенный обман» (все три выражения принадлежат Гоголю[53]). Такова атмосфера девятой и десятой глав первого тома «Мертвых душ», где сгущается марево невероятных слухов о Чичикове: в этой атмосфере вполне уместно возникает тема пришествия Антихриста и интонация апокалипсических пророчеств.

С художественными открытиями фантастической прозы связаны и утопические тенденции раннего русского реализма. Жажда немедленного осуществления идеалов находит опору в особой логике чудесного: более всего важна иррациональность фантастических образных миров, способная стать источником непредсказуемых и неограниченных возможностей. Именно эта логика отчетливо проявляется в финале первого тома гоголевской поэмы, когда из «страшной... тины мелочей, опутавших нашу жизнь», внезапно вырывается «птица-тройка», на глазах превращаясь в зримый символ Руси, и мчится, по авторскому слову, «вся вдохновенная Богом»[54]. Главное здесь именно ощущение безграничных возможностей и прежде всего — возможности чуда. Оно-то и становится потом основанием грандиозной утопии, задуманной как истинное завершение «Мертвых душ». В «полетной» символике монолога о Руси-тройке коренится замысел ошеломляющих сюжетных метаморфоз — нравственного обновления Чичикова и других «существователей» во втором и третьем томах гоголевской поэмы. А за отдельными человеческими судьбами вырисовывается идея всеобъемлющего национального возрождения. Создавая трехчастный план «Мертвых душ», Гоголь, судя по всему, вполне серьезно помышлял о том, что само чтение его поэмы может обернуться реальным преображением читателей, что станет прологом к «светлому Воскресению» России. Чудеса искусства должны были превратиться в социальное чудо.

Логика чудесного, преодолевающая неразрешимость самых глубоких противоречий, действует и в «Капитанской дочке» Пушкина. Разве не ею определяются здесь удивительные отношения Гринева с Пугачевым, как бы отменяющие в некоторые «чудные мгновенья» беспощадную и безысходную, по мысли Пушкина, логику борьбы? Разве не ощущением таинственных и еще неизведанных возможностей жизни и человека рожден здесь идеал общественной гармонии, способной возникнуть на месте современных конфликтов? А разве не чудесно почти мгновенное преображение недоросля Гринева в рыцаря без страха и упрека? Или удивительное сходство тех перекликающихся ситуаций, когда молодой дворянин и его слуга, предводитель бунтовщиков и законная императрица вдруг обнаруживают способность действовать, повинуясь одним и тем же, чисто человеческим душевным движениям?

В сознании потомков повесть Пушкина недаром сближена с волшебной сказкой[55]; для этого есть немало оснований, но главное из них — проницаемость, преодолимость границ, разделяющих в повести истины и возможности разного порядка. Именно присутствие сказоч-

---

[53] Там же.

[54] Там же. М.; Л., 1951. Т. V. С. 134, 247.

[55] См., напр.: Цветаева М. И. Мой Пушкин. М., 1967. С. 156; Шкловский В. Б. Тетива. О сходстве несходного. М., 1970. С. 203—224; Смирнов И. П. От сказки к роману // Труды отдела древнерусской литературы / Отв. ред. А. М. Панченко. Л., 1973. Т 27 С. 304—320.

ной стихии позволило автору «Капитанской дочки» совместить в ней действительность «жестокого века» и гармонический идеал иной жизни. Противоположности сошлись в единстве особой поэтической реальности, которая есть «не только самая правда, но еще как бы лучше ее»[56].

В дальнейшем прямые связи между фантастикой и реалистическим изображением действительности постепенно сужиаются. Начиная с 50-х годов XIX в. они улавливаются только в сфере «чистых» утопий, антиутопий или сатиры (достаточно вспомнить «Историю одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского, четвертый сон Веры Павловны из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»). Но есть основания говорить о косвенной или, вернее, о преемственной связи между фантастикой эпохи романтизма и некоторыми фундаментальными свойствами классического реализма в русской литературе. Классический русский реализм, в известном смысле, граничил с фантастикой на всем протяжении своего развития. Крупнейшие его представители, воссоздавая с редкой достоверностью фактическую реальность общественной и частной жизни людей, одновременно с такой же силой устремлялись за пределы этой реальности, а вместе с тем — за границы сложившихся норм сознания, за грань всего, что в рамках существующих представлений мыслилось возможным. Отсюда — свойственное классикам русского реализма недоверие к наличным жизненным формам, «стремление пройти насквозь через вещи сегодняшнего дня, не задерживаясь на них, не разбиваясь о них»[57]. Отсюда же — характерное для русской классики чувство беспредельности, творческой неоформленности, неисследованности живых сил человеческой природы. Наконец, отсюда же — то ощущение неисчерпаемости и непредсказуемости истории, которое так часто сопутствует художественной интуиции Толстого, Достоевского, Чехова, Щедрина.

Разумеется, к этим необычным творческим возможностям приближали многие пути. Но один из них был, несомненно, связан с опытом романтической и ранней реалистической фантастики, с расковывающим ее воздействием на литературное сознание, со всей атмосферой созданного фантастикой нерегламентированного, парадоксального познания мира.

В. М. Маркович

---

[56] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. VIII. С. 384.
[57] Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. С. 152.

Антоний Погорельский



Лафертовская[1] маковница

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы[2] стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина[3]; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской маковницы,* ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться,

4 Зак 480

старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака, Султан, громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых, от частого употребления, едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние — смотря по обстоятельствам,— бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло от того, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и наконец при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невиновности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна,

вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками,— и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например: на Пресненские пруды, в Хамовники[4] или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видели, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он наконец в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе,— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава Богу, добивает девятый десяток; а в такие лета пора принесть покаяние — пора и о душе подумать!

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик! — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу,— сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу: она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то не от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятнях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая Чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича[5], вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй, племянничек! — сказала она ему:— какая напасть выгнала тебя так рано из дому — да еще в такую даль? Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом:— Я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милый,— отвечала старушка,— а я послушаю.

— Тетушка! недолго уже вам остается жить на свете; пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. и чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна,— и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой,— часто говаривала она Марье,— тогда

рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор, как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь, нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя[6], и Ивановна с трудом при прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей,— скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей, скорей, Машенька, не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу — гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темнорусую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома,— сказала она,— сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна...

— Убирайтесь к черту! — закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она,— а не то!..— Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка сударыня! — говорила она,— не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины наконец тронули старуху.

— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!

Она потрепала ее по щеке.

— Садись подле меня,— продолжала она.— Милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, как он ее не послушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчались, и как наконец она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение.

Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так,— сказала она ей,— я не злопамятна; но если вы искренне желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо,— молвила старуха,— теперь идите с Богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна,

не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса,— неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью; когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее,— тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.

— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличивался; но Ивановна как будто

ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,— сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз, Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна,— сказала она:— далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? Будь послушна и не вводи меня в сердце.

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали, на колокольне Никиты-мученика[7], ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед нею стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей.— Ну, ну, темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха

подвинула стол на середину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно,— сказала старушка и взяла Машу за руку.— Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои,— прибавила старуха,— и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нити все еще растягивались по воздуху. Но бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было и на столе попрежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей.— Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается.. Мой верный друг,— продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить

под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что же делать! Чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша,— продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб,— ты после меня будешь обладать моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступлю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный шнурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! Может быть, мы уже не увидимся...

Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава Богу! — сказала она, увидев ее.— Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все, случившееся с нею накануне, не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем

с подробиостью рассказала матери. Иваиовиа была вие себя от радости.

— Вндншь лн теперь,— сказала оиа,— как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот деиь мать с дочерью провелн в сладких мечтах о будущем благополучнн. Ивановиа строго запретила Маше нн слова не говорить отцу о свидаиии своем с бабушкой.

— Он человек упрямый н вздорливый,— промолвила она,— н в состояннн все дело испортнть.

Протнв всякого ожндаиия Оиуфрич прнехал иа следующий день поздно ввечеру. Стаицноиный смотрнтель, которого должность ему прнказано было исправлять, иечаянно выздоровел, н он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратнться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочерн, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к инм в комнату прежинй его товарищ, который служнл будочннком в Лафертовской частн, иеподалеку от дома маковннцы

— Тетушка прнказала долго жить! — сказал он, ие дав себе даже временн сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянулн друг на друга.

— Упокой Господн ее душу! — восклнкнул Оиуфрич, смнренно сложив руки.— Помолнмся за покойницу; оиа имеет иужду в иашнх молитвах!

Он начал чнтать молитву. Иваиовиа с дочерью крестнлнсь н клалн земные поклоны; но на уме у ннх былн сокровнща, их ожидающне. Вдруг оии обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойннца с улнцы смотрит к ннм в комнату и им клаияется! Оиуфрич и будочннк, молнвшиеся с усерднем, инчего ие заметнли.

Несмотря иа то, что было уже поздно, Онуфрнч отправнлся в дом покойиой тетки. Дорогою товарнщ его рассказывал все, что ему известио было о ее смерти.

— Вчера,— говорнл он,— тетка твоя в обыкновеииое время прншла к себе; соседн видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодия она уже не являлась у Проломной, н нз этого заключнлн, что она иездорова. Наконец под вечер решнлнсь войти к ией в комиату, ио ее не застали уже в живых: так нные рассказывают о смерти старухн. Другне утверждают, что в прошедшую иочь что-то необыкновеиное происходило в ее доме. Сильиая буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тнхая; собакн нз всего околотка собрались

перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать ее черного кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал Псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почталионов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не

станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство — завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и поэтому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четвернею!

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире) Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не зная отчего, вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет; но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьет-

ся лн сердце, когда пройдет молодой мужчина... Такнм образом она просидела до вечера, одиако инкто ие являлся. Наконец, когда подали огоиь, она отошла от окна н целый вечер была печальиа и задумчнва; оиа досадовала, что ей ие удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постелн, поспешио умылась, оделась, помолнлась Богу н села к окну. Взоры ее устремлены были в ту стороиу, откуда иакануне шел иезнакомец. Наконец она его увндела; глаза его еще издалн ее искали,— а когда подошел он блнже, взоры нх как будто нечаяино встретнлнсь. Маша, забывшнсь, приложнла руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие двнженне н, вероятио, ие поиимая, что оио значнт,— тоже прнложнл руку к сердцу... Маша опомннлась, покраснела н отскочнла иазад. После того оиа целый день уже не подходнла к окну, опасаясь увндеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее нз памятн; оиа старалась думать о другнх предметах, но уснлня ее былн напрасны.

Чтоб разбнть мыслн, она вздумала ввечеру ндти в гостн к одной вдове, жившей с иимн в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайиему уднвленню увндела она того самого иезнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша нспугалась, покраснела, потом побледнела н не зиала, что сказать. Слезы заблисталн у ней в глазах. Незнакомец опять ее не поиял... он печально ей поклоннлся, вздохнул — н вышел вон. Она еще более смешалась н с досады заплакала. Встревожениая соседка посаднла ее возле себя н с участнем спроснла о прнчнне ее огорчення. Маша сама не ясио поинмала, о чем плакала, и потому ие могла объявнть прнчнны; внутренно же оиа прнняла твердое намереиие сколько можио убегать иезнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспоконла. Оиа вступнла в разговор с соседкой н начала ей рассказывать о домашиих своих делах и о том, что онн, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне,— сказала вдова,— очень жаль, что лишусь добрых соседей; н ие я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очеиь огорчится, когда узиает эту иовость.

Маша опять покрасиела; хотела спросить, кто этот человек, ио не могла выговорнть ни слова. Услужливая

соседка верно угадала мысли ее ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома· но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Что тут краснеть! — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о ба бушке. «Ах! — сказала она сама себе,— не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!»

Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя и мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет; зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости, Господи, мое согрешение! — денег у нее было невесть сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — Бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца

— Его зовут Улияном,— отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и верно, думала она,

ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она утвердилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок[8]; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою: глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане,— сказал он Ивановне,— будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда,— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай Бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она,— в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменшилась:— лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер,— хладнокровно отвечал Онуфрич,— видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на

Машу; нбо в свнсте ветра находнла она сходство с голосом старухн.

В это время Маша смиренно сндела в углу н не слыхала нн свнсту ветра, нн стуку ставней — она думала об Улняне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухн. После ужнна она вышла в сенн, чтоб спрятать остаткн от умеренного нх стола; подошла к шкафу, поставнла подле себя на пол свечку н начала устанавлнвать на полкн блюда н тарелкн. Вдруг услышала она подле себя шорох, н кто-то легонько ударнл ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойнница в том самом платье, в котором ее похороннлн!.. Лнцо ее было серднто; она подняла руку н грознла ей пальцем. Ивановна в снльном ужасе вскрнчала. Онуфрнч н Маша броснлнсь к ней в сенн.

— Что с тобою делается? — закрнчал Онуфрнч, увндя, что она была бледна, как полотно, н дрожала всемн членамн.

— Тетушка! — сказала она трепещущнм голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явнлась перед нею... лицо ее казалось еще серднтее — н она еще строже ей грознла. Слова замерли на устах Ивановны.

— Оставь мертвых в покое,— отвечал Онуфрнч, взяв ее за руку н вводя обратно в комнату.— Помолнсь Богу, н греза от тебя отстанет. Пойдем, ложнсь в постель, пора спать!

Ивановна легла, но покойнница все представлялась ее глазам в том же сердитом внде. Онуфрнч, спокойно раздевшнсь, громко начал молнться, н Ивановна заметнла, что по мере того как она вслушнвалась в молнтвы, внд покойнницы становнлся бледнее, бледнее — н наконец совсем нсчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. Прн входе в светлнцу ей представнлось, будто тень бабушкн мелькала перед нею — но не в том грозном внде, в котором являлась она Ивановне. Лнцо ее было весело, н она умнльно ей улыбалась. Маша перекрестнлась — н тень пропала. Сначала она сочла это нгрою воображення, н мысль об Улняне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать н вскоре заснула. Вдруг около полуночн что-то ее разбуднло. Ей показалось, что холодная рука гладнла ее по лнцу... она вскочнла. Перед образом горела лампада, н в комнате не вндно было ннчего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от

страха; она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрипела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видела; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло; но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница,— думала она,— выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся, сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие,— отвечала Ивановна.— Погоди еще хотя два дня,— верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Дня два! — повторила Маша.— Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое,— сказала ей мать,— может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой —

боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей,— скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьями полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! Долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу.— Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье подле Онуфрича сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке,— то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою сделалось?

— Батюшка! Это бабушкин черный кот,— отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою.— Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал — плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он.— Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя,— воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти.— С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу

Арнстарх Фалелеич тнхо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич н Ивановна были в крайием замешательстве; ио Мурлыкнн подошел к ннм, все так же улыбаясь.

— Это ннчего, сударь,— сказал он, снльно картавя,— ннчего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять прнду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он иесколько раз им поклоиился, с прнятностию выгибая круглую свою спииу, н вышел вои. Маша смотрела из окна н видела, как Аристарх Фалеленч сошел с лестинцы н, тихо передвигая ноги, удалился; ио дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол н пустнлся бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кннулась за ннм, однако не могла его догнать.

Ударило двеиадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчанни все трое селн за стол, н ннкому не хотелось кушать. Иваиовиа от времени до времеии серднто взглядывала на Машу, которая сндела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В коице обеда пршнеслн Онуфрнчу пнсьмо; он распечатал — и на лице его изобразнлась радость. Потом ои встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу н трость н готовился нттн со двора.

— Куда ты ндешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь,— отвечал он и вышел.

Лншь он только затворил за собою дверь, как Иваиовна иачала бранить Машу.

— Негодиая! — сказала она ей,— так-то любншь н почитаешь ты мать свою? Так-то повнннуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в рукн! Только смей опять подурачнться, когда пожалует к нам завтра Арнстарх Фалеленч!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами,— я во всем рада слушаться, только ие выдавайте меия за бабушкнна кота!

— Какую днчь ты опять запорола? — сказала Ивановна.— Стыдись, сударыия; все зиают, что ои титулярный советннк.

— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая,— но он кот, право кот!

Сколько нн бранила ее Ивановиа, сколько ее ии уговарнвала, но она все твердила, что ннкак не согласнтся выйтн замуж за бабушкнна кота; и наконец Ивановна

в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей,— ты всегда была добрая девушка и послушная дочь! — Маша заплакала и поцеловала у него руку.— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте[9], о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич:— сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом, или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей:— послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркнтанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! Подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласнлась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть,— сказала она сама себе:— пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы — и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратнтельным криком бросилась к ней прямо навстречу; но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи шнурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она.— Не надо мне нн жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завнзжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старнк:— познакомь же ее с женихом.

Маша робко огляиулась — подле иее стоял Улиян! Она закричала н упала в объятия...

Я не в силах описать восхищеиия обоих любовнников. Онуфрич н старик узиали, что оии уже давио познакомились,— радость нх удвоилась. Ивановна утешилась, узиав, что у будущего свата иесколько сот тысяч чистых деиег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию; нбо ои иикогда ие думал, чтоб отец его был так богат. Недели через две после того их обвеичалн.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужнном в доме Улняна веселые гостн пнли за здоровье молодых, вошел в комиату известиый будочник н объявил Онуфричу, что в самое то время, когда веичали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я н так не иамереи был долее в ием жить,— сказал Оиуфрич.— Садись с намн, мой прежний товарищ; налей стакан цимляиского и пожелай молодым счастия и — миогие лета!

Черная курица, или Подземные жители

Волшебная повесть для детей

Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге на Васнльевском острову, в Первой лииии[1], жил-был содержатель мужского пансиоиа, который еще и до сих пор, вероятио, у миогих остался в свежей памяти; хотя дом, где паисион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько ие похожему на прежний. В то время Петербург иаш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще ие был такнм, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова ие было веселых теннстых аллей: деревяииые подмостки, часто из гиилых досок сколоченные, заступали место ныиешннх прекрасных тротуаров. Исаакневский мост[2],— узкий, в то время и неровный,— совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда моиумеит Петра Великого[3] от Исаакиевской церкви[4] отделеи был канавою; Адмнралтейство[5] не было обсажеио деревьями; маиеж Кониогвардейский[6] не украшал площади прекрасным иынешним фасадом; одиим словом, Петербург тогдашиий ие то был, что теперешиий.

Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, теперь же обратимся опять к пансиону, который, лет сорок тому назад, находился на Васильевском острову, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого: настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем... но не о том теперь идет дело!

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала, он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он

весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести,— и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частию состояла из книг сего рода.

Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время[7], как например об Рождестве или в Светлое Христово Воскресенье,— когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении,— юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок[8]. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке, и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего

от крошек, которые всегда после обеда н ужииа он собнрал со скатертн. Между курами ои особеино любил одну черную хохлатую, изванную *Чернушкою*. Чернушка была к иему ласковее другнх; оиа даже ниогда позволяла себя гладнть, н потому Алеша лучшие кусочкн приносил ей. Она была нрава тнхого; редко прохажнвалась с другнмн н, казалось, любила Алешу более, нежели подруг свонх.

Одиажды (это было во время знмних вакаций — между Новым годом н Крещеньем[9]— день был прекрасный и иеобыкиовеиио теплый, ие более трех или четырех градусов морозу) Алеше позволилн понграть на дворе. В тот день учнтель н жеиа его в большнх были хлопотах. Онн давалн обед днректору учнлнщ, н еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мылн полы, вытнралн пыль н вощили красного дерева столы н комоды. Сам учнтель езднл закупать провнзию для стола: белую архангельскую телятнну, огромный окорок н нз Мнлютнных лавок кневское вареиье[10]. Алеша тоже, по мере снл, способствовал приготовленням: его заставнлн нз белой бумагн вырезывать красивую сетку иа окорок и украшать бумажиою резьбою иарочио куплеиные шесть восковых свечей. В назначенный день раио поутру явился парнкмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длнниой косой[11] учителя. Потом прннялся за супругу его, напомадил и иапудрнл у ией локоиы и шнньон[12] и взгромозднл иа ее голове целую ораижерею разных цветов, между которымн блнстали искусиым образом помещенные два брнллнантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее роднтелями ученнков. По окончанни головного убора накннула оиа на себя старый изиошеииый салоп[13] и отправнлась хлопотать по хозяйству, иаблюдая прнтом строго, чтоб как-ннбудь не нспортилась прнческа; и для того сама оиа ие входила в кухию, а давала прнказания свон кухарке, стоя в дверях. В иеобходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа ие так была высока.

В продолженне всех этих забот Алешу иашего совсем забылн, и ои тем воспользовался, чтоб иа просторе играть на дворе. По обыкиовеиию своему, ои подошел сначала к дощатому забору н долго смотрел в дырочку; ио и в этот день ннкто почти ие проходил по переулку, н он со вздохом обратился к любезным свонм курочкам. Не успел ои прнсесть на бревио н только что иачал маиить

их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчивая чухонка[14]. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что́ это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алеша, Алеша! помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору, то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их по-чухонски.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось... ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Алеша, спаси Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте... он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами,— пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудáх, кудáх, кудýху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудýху, кудýху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вие себя была от досады! «Руммель пойсь! — кричала оиа.— Вот-та я паду кассаииу и пашалюсь. Шориа курис иада режить... Ои лениива.. Ои яишки ие делать, ои сыплатка не сижить»

Тут хотела оиа бежать к учителю, ио Алеша ие допустил ее. Ои прицепился к полам ее платья и так умильио стал просить, что оиа остаиовилась.

— Душенька, Трииушка! — говорил ои,— ты такая хорошеиькая, чистеиькая, добреиькая... Пожалуйста, оставь мою Чериушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынул из кармаиа империал[15], составлявший все его имеиие, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взгляиула иа золотую моиету, окииула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что иикто их не видит, и протяиула руку за империалом. Алеше очеиь, очеиь жаль было империала, но ои вспомиил о Чериушке — и с твердостию отдал чухоике драгоцеииый подарок.

Таким образом Чериушка спасеиа была от жестокой и немииуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чериушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Оиа как будто знала, что ои ее избавитель: кружилась около иего, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро оиа ходила за иим по двору, как собачка, и, казалось, будто хочет что-то сказать ему, да ие может. По крайией мере, ои иикак ие мог разобрать ее кудахтаиья.

Часа за два перед обедом иачали собираться гости. Алешу позвали иаверх, надели иа иего рубашку с круглым воротииком и батистовыми маижетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длиииые русые волосы, висевшие у иего почти до пояса, хорошеиько расчесали, разделили иа две ровиые части и переложили иаперед по обе стороиы груди. Так иаряжали тогда детей.— Потом иаучили, каким образом он должеи шаркиуть иогой, когда войдет в комиату директор, и что должен отвечать, если будут сделаиы ему какие-иибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очеиь рад приезду директора, коего давио хотелось ему

видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей,— о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что́ она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извощичьи сани. Алеша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь,— подумал он,— то никогда бы не ездил на извощике,— а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать[16] в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также парадировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды[17] и грецкие орехи; но и тут он ни на одно

мгновение не переставал помышлять о своей курочке, и только что встали из-за стола, как он, с трепещущим от страха и надежды сердцем, подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите,— отвечал учитель,— только не долго там будьте; уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешу[18] на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл, наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алеша, Алеша! останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть, наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло... Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается,— и, немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

— Алеша, Алеша!

Алеша испугался!.. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то говорит:— Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

— Ах, это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алеша.— Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он.— Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься,— продолжала курица,— так поди за мною; я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алеша.— Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу, я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь,— сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах[19], не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю...

— Дверь заперта ключом,— сказал Алеша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась... Потом, прошед через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алеша никогда у них не бывал, но

слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из иих большой серый попугай, а у другой серая кошка, очеиь умиая, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопиула крыльями и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комиате увидел всякого рода странные мебели; резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых иарисованы были сиией мура́вой[20] люди и звери. Алеша хотел было остаиовиться, чтоб рассмотреть мебели, а особливо фигуры иа лежаике, ио Чериушка ему ие позволила. Оии вошли во вторую комиату — и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к иему. Чериушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего,— сказала оиа.— Берегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: оиа показалась ему, как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передиими лапами. Проходя мимо иее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг оиа громко замяукала, попугай иахохлился и иачал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподиялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за иими сильно захлопнулась... и еще долго слышио было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чериушка, когда они удалились от комнат старушек.— Ты, верио, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алеша.

— Ты увидишь,— отвечала курочка.— Не бойся, однако ж, ничего; иди за миою смело.

Они спустились вииз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша иикогда не видывал. Иногда коридоры эти так были иизки и узки, что Алеша приiуж-

ден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько... В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу.— Чернушка подняла хохол, распустила крылья... Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли все то видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем,— прибавила она,— беда невелика, если бы она и пропала; она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели, чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника; но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпе-

нием разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» — и, немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости.— Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала курочка,— но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алеша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик,— продолжала курочка,— но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда: ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо,— сказала курочка,— увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили чрез первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их

до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда приблизились они к двери из желтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они чрез силу держали свои копья... Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части,— и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.

— Побудь здесь немного,— сказала она ему,— я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.— После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора[21], какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях.— Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам

и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее; все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей, в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подошед к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

— Мне давно было известно,— сказал король,— что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алеша с удивлением.

— Третьего дня на дворе,— отвечал король.— Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу

курнцу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ин одного яйца...

— Что ты говоришь? — прервал его с гневом король.— Мой миннстр — не курица, а заслуженный чнновиик!

Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что, в самом деле, это была его любезная Чериушка. Ои очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя ннкак ие мог поиять, что это зиачит.

— Скажи мне, что ты желаешь? — продолжал король.— Еслн я в снлах, то иепременно нсполию твое требоваине.

— Говорн смело, Алеша! — шепиул ему иа ухо мииистр.

Алеша задумался и не зиал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошеиькое; ио так как ему казалось неучтнвым заставить дожндаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал,— сказал ои,— чтобы, ие учившись, я всегда знал урок свой, какой мне нн задалн.

— Не думал я, что ты такой леннвец,— отвечал король, покачав головою.— Но делать нечего: я должен нсполнить свое обещание.

Он махнул рукою, н паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно коиопляиое семечко.

— Возьмн это семечко,— сказал король.— Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задалн, с тем, одиако, условием, чтоб ты ии под каким предлогом иикому не сказывал нн одиого слова о том, что ты здесь вндел нлн впредь уввднщь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда нашнх мнлостей, а иам иаделает миожество хлопот и иеприятиостей.

Алеша взял коиопляиое зерно, завернул в бумажку н положил в кармаи, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел н тем же порядком вышел из залы, приказав прежде мнннстру угостить Алешу как можно лучше.

Лншь только король удалнлся, как окружнли Алешу все придвориые и начали его всяческн ласкать, изъявляя прнзнательность свою за то, что он избавнл мнннстра. Они все предлагалн ему свон услуги: один спрашивали, не хочет ли он погулять в саду нлн посмотреть королевский зверннец; другне приглашали его на охоту.

Алеша не знал, на что решиться, наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.

— Камни эти,— сказал министр,— у вас называются драгоценными. Это все брилиянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алеша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь,— отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно; но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфекты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточенные из цельных брилиянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай, что угодно,— сказал министр,— с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту,— сказал он.

— Очень хорошо,— отвечал министр.— Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; Алеше подвели палку гораздо более других.

— Берегись,— сказал министр,— чтоб лошадь тебя не сбросила; она не из самых смирных.

Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться[22], как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою... Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал: они хотели пробежать мимо; но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвесть в зверинец.

По окончании охоты, Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались... при всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился; большою рысью поехали они назад и, по прибытии в залу, отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.

— Скажи, пожалуйста,— начал Алеша,— зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли,— сказал министр,— то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алеша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш? — отвечал министр.— Правда, не многим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому, что люди сделались очень нескромны; а у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить,— прервал его Алеша.— Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда,— отвечал министр.

— Но,— сказал ему Алеша,— объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы, и какую связь имеете вы с старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алеши закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать... Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и, действительно, нашел в кармане бумажку, в которой

завернуто было конопляное семечко. «Увидим,— подумал он,— сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории[23], и он не знал еще ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этим похвалам: ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам тогда, как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они также же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учитель-

шею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше — сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алеши от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастию, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали, он, в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бóльшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок, с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куды! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить

заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель.— Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... все тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова потому, что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алеша? — закричал учитель.— Зачем вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько плакал и всетаки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню,— сказал он,— и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляного зернышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — все напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на конопли, и зернышко его, верно, котораянибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он.— Любезный ми-

нистр! пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко! Я, право, вперед буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

— Ну! так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

— Алеша! знаете ли вы урок? — спросил он.— И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде,— сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением; но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестию вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, одни только он заснуть не мог! «И Чернушка меня оставила»,— подумал Алеша — и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно, как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати; но не смел надеяться, что желание его исполнится

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса... Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алеша вне себя от радости,— я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет,— отвечала она,— я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранить в тайне все, что тебе о нас известно... Алеша! к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь милая Чернушка,— сказал он,— что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай,— отвечала Чернушка,— что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай! пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостию думал

о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он.— Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...»

Увы! бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо до́лжно начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю,— отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей!

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

— Вы знаете урок свой,— сказал он ему,— это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его,— отвечал Алеша.

— Быть не может! — прервал его учитель.— Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили!

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностию, закричали в один голос:

— Он неправду говорит; он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель.— Когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не

хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований,— сказал он Алеше,— тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам,— запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится; а так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

— Надобно было думать об этом прежде,— был ему ответ.

Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него; а Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горьче стал плакать!

Наконец учитель приведен был в жалость.

— Хорошо! — сказал он,— я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алеша совершенно потерял голову..: он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить...

— Как! — вскричал он с гневом.— Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети! вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли!!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и по-

ложнл руку в карман... конопляного зернышка в нем ие было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратио!

Ввечеру, когда другие детн пришли спать, он также лег в постель; ио засиуть инкак не мог! Как расканвался он в дурном поведеннн своем! Он решительио принял намереиие исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуиочн пошевелнлась опять простыия у соседней кровати... Алеша, который накануие этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся увндеть Чериушку! Совесть его мучила. Ои вспоминл, что еще вчера так увернтельно говорнл Чериушке, что непременно исправится,— и вместо того... Что ои ей теперь скажет?

Несколько временн лежал он с закрытымн глазамн. Ему слышался шорох от поднимающейся простынн... Кто-то подошел к его кроватн, н голос, знакомый голос, назвал его по именн:

— Алеша, Алеша!

Но ои стыднлся открыть глаза, а между тем слезы нз них выкатывались н теклн по его щекам...

Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед иим стояла Чернушка — не в внде курицы, а в чериом платье, в малииовой шапочке с зубчнкамн н в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он вндел ее в подземной зале.

— Алеша! — сказал мнннстр,— я внжу, что ты не спншь... прощай! я прншел с тобою проститься, более мы не увндимся!..

Алеша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул ои,— прощай! И, еслн можешь, прости меия! Я знаю, что виииоват перед тобою: ио я жестоко за то наказан!

— Алеша! — сказал сквозь слезы мннистр,— я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, иавекн!.. Прощай! Мие позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в теченне нынешней иочи, король с целым народом своим должеи переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаяиии, все проливают слезы. Мы несколько столетнй жнлн здесь так счастливо, так покойно!..

Алеша броснлся целовать маленькне ручки министра. Схватнв его за руку, он увидел иа ней что-то блестящее,

и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух...

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотою цепью... Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи,— сказал министр с глубоким вздохом,— но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей, и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша, с помощию Божиею, выздоровел, и все, происходившее с ним перед болезнью, казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых впрочем ему и не задавали.


А.А. Бестужев
(Марлинский)

Кровь за кровь

Рассказ

В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице увидел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и наконец над оврагом ручья развалины замка. Все это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам все, что узнал, как следует ниже.

А. Бестужев

Этому уж очень давно, стоял здесь замок по имени Эйзен, то есть железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дометнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны этот провал служил ему вместо рва, а с другой — тысячи бедных эстонцев целые воспожинки[1] рыли копань[2] кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили замок, что к нему ни с какой стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах: дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода; тридевять задвижек с замками запирали их, а уж сколько усачей сторожило там — и толковать нечего. На всяком зубце по железной тычинке, и даже в желобках решетки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттудова. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире?.. Правду сказать, тогдашний мир хуже нынешней войны бывал. Одной рукой в руку, а другой в щеку — да и пошла потеха. А там и прав тот, кому удалося. Однако и рыцари были не промахи. Как строили чужими руками замки, так говорили: это для обороны от чужих, а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то побытом[3], владел этим замком барон Бруно

фон Эйзен. Был он не нз смнрных между своей братьи, даром что н те удальством слылн даже за морем. Бывало, как гаркнет: «На коней, на коней», то все его молодцы взмечутся, как угорелые, н беда тому, кто выедет последннм! Коли подпоясал он свой палаш[4], а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора веснл, то уж не спрашивай: куда? знай скачн за ним следом, очертя голову. Латы он носнл всегда вороненые, как осенняя ночь, н в них заклепан был от каблуков до самого гребня; глядел на свет только сквозь две скважины в налнчннке,— н, сказывают, взгляд его был так свнреп н пронзнтелен, что убивал на лету ласточек, а колн заслышит проезжнй его свист на дороге — так за версту сворачнвай в сторону, будь хоть епнскоп, хоть брат магистру. Врагов тогда, бывало, не искать стать, выезжай только за ворота: соседов много, а причнн задрать нх в ссору еще более. Прнтом же Нарва в трндцати верстах, а за ней н русское поле... как не взманнт оно сердце молодецкое добычей? ведь в чужнх руках сннница лучше фазана. Вот как наскучнт сидеть сиднем за кружкою... так н кинется он к граннцам русскнм — ему не нужно нн мосту, ни броду. Прнскакал к утесу — а река рвет н ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? «За мной, ребята!» — н бух в воду первый. Кто выплыл — хорошо. Потонул — туда и дорога! Скажет только, бывало, отряхаясь: «Скотнна!» — н помнн простыл. Да ему с полгоря было так горячнться. Конь служил под ним заморский, мастью вороной — что твоя смоль. В скачке с него зайцев захлопывалн. В погоне река — не река, забор — не забор, а в деле — словно сам черт под седлом: н ржет н пышет, зубамн ест н подковамн бьет. Зато барон любнл н холнл этого коня: счетным зерном нз полы кормнл, нз своего кубка медом потчевал, и коли надо, случалось, коню сослужнть службу трудную, так отскачет полдорогн — да фляжку внна ему в глотку. Прочхнется тот, встрепенется и опять летит, ннда нскры с подков сыплют. Ну вот н заедет он далеко в Русь... врасплох... завндел деревню — подавай огня. Вспыхнуло — кндай туда все, что увезтн нельзя. Кто протнвится — резать, кто кричит — того в пламя. Позабывшнсь, н даром, правду сказать, порублиналн встречного и поперечного, ну да это чтоб не разучнться нлн поучнться, говорнл он. Натешась, разгромнв, навьючнв коней добычею, насажав на седла красавиц н сосворнв к стременн пленнников, выходнлн

они околицами восвояси... и тут-то уж по дележе начиналась гульба и пированье. Хоть в пятницу — праздник, и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море, и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку, да он огрызался себе, как волк, и цел н невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблиз к его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были — оно и статочное дело — барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господень гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны, между тем как удары палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона — разгульная жизнь и охота к добыче, как магнитом, тянула бродяг к нему в службу. Обокрал ли, прогневил какой слуга или оруженосец соседа рыцаря — сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее, зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, н качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды! Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся: каждый сорвиголова. В огонь и в воду готовы на голос Бруно... так и смотрят в глаза ему — лишь мигнул и все вверх дном полетело. В буянстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкою, и двенадцать киевских ведьм[5] вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз набекрень, разгуливали они по хижинам эстонцев, поколачивали их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем Бог послал.

Теперь стали экономничать лифляндские помещики, запирать счетный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину, сами знаете, то лн было? Круглый год масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду, и без Heilige Nacht* телята и бараны на четырех ногах ходили по столу и умильно подставляли охотникам свои

* Рождество Христово *(прим. автора)*.

котлеты. Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе, а травкой-муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что осиовательиых напитков тогда не жалели, а как пили оии — так вы, право, подумали бы, что у иих муравлеиая утроба! Ведро пива иа ухо — и ии в глазе. Вот подопьет, бывало, барои с соседами да и расходится иидюком... я ли ие я ль? По плечу себе иикого ие приберет, он-то всех храбрее, ои-то всех благородиее! А чуть-чуть кто покосился, ои и в ссору да в браиь, а там долго ли до железа! Кончится, бывало, тем, что гость приедет верхом, а вынесут его иа носилках; еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубиой боли вылечивался. Этого мало: разгневался иа соседа — на конь со своей двориeй и псариeй, и пошел топтать чужие иивы, палить чужие леса. Упаси Боже повстречать его в такой черный час. Завидел эстоица и скачет к иему с поднятым тесачищем. Читай «Верую во Единого», бездельник! а тот и обомлеет иа колеиях, ведь по-иемецки ии слова. «Эймойста!»* Читай, говорю!.. «Эймойста...» А, так ты упрям в своем язычестве, животиое!.. Я же тебя окрещу! бац! — и голова бедияги прыгала по земле кегельным шаром, а барон с хохотом скакал далее, проговоря "Absolvo te!", т. е. разрешаю тебя. Затем, что оии, как духовиые рыцари, могли вместе губить тело и спасать душу. Таково было чужим,— каково же своим-то было? Поиравился коиь у крестьяниииа: «Пергала![6] меияй свою лошадь иа мою кривую собачку!» — «Батюшка барин, мое ли дело охотиться — а без коия куда я гожусь!» — «На виселицу, бездельник! Ты должеи быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жеиа твоя будет выкармливать двух для меия своей грудью». Зальется бедияга горючими, да и пойдет в холодную избу — за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать ие велят. Коротко сказать, Бруно в угиетеиье ие отставал от своих сотоварищей, за исключением только члена: «Не пожелай... осла ближнего твоего», затем, что полезиых этих животиых тогда в Эстляндии не водилось. Одиако ж и на него иаходили часы, ие скажу Божьего страха, но человеческой робости. Буйио было прошедшее, а что впереди — весьма ие утешио; как ни любил ои шум и разбой — а все-таки скука садилась с иим в седло и на стул иезваная; и как бес в рукомойнике — выглядывала с до-

* «Не понимаю!» *(прим. автора).*

нышка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям. Вот уже стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду — черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с стопой своей и допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женись, барон, авось это порассеет тебя; притом же наследники... ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет... да кстати, чем далеко искать — лучше взять готовую невесту моего племянника; она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может, она меня не залюбит, да кто об этом беспокоится. Какое мне дело, любят ли меня рыбы или нет — да я люблю их есть. А племянник не велика птица в перьях.... пускай подрастет до свадьбы! Надобно вам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом... кажись, не умом, потому что поручил сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно расправлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регинальда помыкал вовсе не по-родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали, как на ладони, все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был статный и красивый, ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай Бог памяти,— кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу, даром что не мылась биркезом[7] и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины... Сердце сердцу весть подает... они слюбились. Партия была хоть куды... и Бруно не прочь — и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела... Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить.

Через три дни пути Регинальд с двумя трубачами стоял уже у подъемного моста у замка рыцаря Бока и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей. В замке все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету. Матушка насурмила вместо бровей губы, и я за верное слышал, что сама Луиза, как ни хотела

казаться равнодушною, однако встретила гостя в разных чеботах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик — она испугала бы их менее... Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маюкону[8] и что сравнение мое некстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха, матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде, Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори — а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жалуют больно другое... Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом-разумом. Шутить с Бруно плохо... Хотя-нехотя, ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось, да зачем, вправду, их баловать? какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю, отчего — только вино это показалось свату настояно перцем, матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель.— Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть. Через две недели была и свадьба. Гостей съехалась тьма-тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни — так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить, хлеб, соль не купленые. Особенно у барона лавливались в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесиках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавль, и покрякивал очень гордо — зато бедная Луиза, бледная, как фламское полотно[9], была ни жива ни мертва и сказала *да* так невнятно, так невольно, что оно девяносто шести *нет* стоило. Между тем кой-кто из гостей, особенно дамы, в огромных своих фишбейнах[10], как цветки в корзинах, из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. «Муж не бобер,— сказала одна баронесса своей соседке,— про-

седь только меху цены придает».— «Морщины также борозды, на которых всходят плохие растения»,— прибавил какой-то забавник. «Поглядим,— рассуждали иные,— голубка ли выклюнет глаза этому старому ворону, или он ощиплет ей перушки!» Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости попировали до бела утра. Мороженки, рябиновки, настойки из полыни, зари[11] и прочих невинных трав лились, а заморских вин — пей не хочу. Утро застало пировавших или за столом, или под столом, и, к крайнему сожалению любителей прежних обычаев, пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбиво. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они — в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса в первый раз без отца, без матери сидела, прижавшись в уголке, как сироточка, и сердце щемило у ней,— а ведь это не к добру!.. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа — и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком, посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари, бывало, плачет бедняжка тихомолком, так что изголовье хоть выжми — и не один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине...— Куды! упаси Боже! как затопает, да закричит: «Твоя родина — спальня. Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значат слезы, которыми ты, как блестками, унизываешь шитье свое? Почему, лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось на племянника моего ты очень умильно глазеешь! Черт меня возьми, тут что-то недаром... я уверен, что вы вспомнили прошлое. Но помни и то Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку с венгерским, чтобы не испортилась!»

Не нами выдумано, что неправое подозренье вечно вводит в искушенье. Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром — сем-ка я заслужу это — ведь терять-то уж нечего. Притом же утешно и отомстить за обиду».

Вот так или почти так случилось с Луизой, так и с племянником барона. Им стало досадно сперва за напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. Притом же она не любила мужа, он не уважал дядю — стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, оттого только, что вместе. Чуть только можно — он сидит при ней, говорит сладкие речи и глядит в глаза так нежно, что будь каменное сердце — расступится. То рассыпается мелким бесом в услугах, то веселит ее рассказами... а сам изныл, истаял от грусти, как свеча. Мудрено ли ж, что с каждым днем Регинальд становится Луизе милее; с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она винноватее. Надоело и барону нянчиться с женою. Бывало, ни свет, ни заря — отправляется он на грабеж, или в набег, или в отъезжее поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами... Какое ж сравненье с Регинальдом! с добрым, с благородным Регинальдом! Впрочем, сохрани меня Боже заступаться за них: во всяком случае их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде — грех великий. Конечно, страсти дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей Регинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному, чтобы не отослал его дядя прочь — принужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани перекопать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел. — Минул год. Случились у барона гости. После обеда все навеселе вышли пострелять из лука в зверинец. Правду истинну сказать, это важное имя дано было загородке из одного баронского хвастовства. Им бы лишь было имя, а как? — того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая потому только разве могла назваться дикою, что пастушьих собак дичилась; да лошадь, состоящую за старостию на подножном пансионе, в свободное время от водовозин, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы,— а что ни самый огромный подали барону. Он его любимый был... Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними

подсменвается. Дошла очередь и до Регниальда. Он уперся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву кверху — так только слышно днэнь, днэнь... все ахнули, и тетива на крючке: словно взводил он детскую игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которою он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более.

— Это одна сноровка,— сказал он презрительно.— А вот, господин дамский угодник, если ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками — так будь молодец: попади в мельника, который работает на плотине ручья.

— Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю,— отвечал с негодованием племянник.— Но я не палач, чтобы убивать своих!

— Гм! своих! По низким твоим чувствам я, право, скоро поверю, что ты *свой* этим животным!.. Убить мельника. Ха, ха, ха, экая важность; не прикажешь ли потереть виски?.. тебе, кажется, дурно от этой мысли становится? Тебе бы не кровь — а все розовое масло! У тебя любимое знамя — женская косынка!

— Барон Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости,— то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле — и к стыду моему не проливал ли невинную кровь русскую в набегах?

— Не отставал... велика заслуга! Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут. Подай сюда самострел мой — да сиди за печкой с веретеном... погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердце *подлых людей.*

Он с остервенением вырвал лук из рук Регинальда, приложился — несчастный мельник рухнул в воду.

— Славно, славно попал! — закричали рыцари, хлопая в ладоши, но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости.

— Я бы застрелил тебя, наглый хвастун, проклятый душегубец,— сказал он барону,— если б это предвидел,— но ты не избежишь казни!

— Молчи, мальчишка... или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот... прочь, или я как последнего конюха высеку тебя путлищами[12].

Регинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую

держал он... если б его не схватили и не связали.

— Киньте его в подвал! — зарычал Бруно, бесуясь...— Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам — до посадить его на пищу святого Антония![13]

Несчастного потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него претерпела, но что сталось с ним? не ведал никто, и скоро все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковину.

Вот, судари мои, не через долгое после того время, будучи Бруно на охоте, получает весточку от своих головорезов, которые, словно таксы трюфелей[14],— так они искали добычу: что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золото для купли. Взманило это старого грешника. «Готовьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров,— закричал он.— Я сейчас буду». Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз ссорился с патером в Везенштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, отчего и спать ночью без свету не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит по подполью, а ему все кажется, что кто-то гремит латами... вскочит спросонья и вопит на тень свою: кто там, кто тут? У кого совесть накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо искать утешенья не в молитве, а в гаданье. С этим намереньем пришпорил Бруно вороного и по заглохшей траве помчался в лес дремучий. Густел лес... вечер темнел... ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец очутился он перед избушкой, как говорится, на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается.— Стук, стук! «Отопри-ка, бабушка!» Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадальщица. Кошачий взгляд, волоса всклокоченные и по пояс. На полосатом платье навешанные побрякушки, бляхи и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно было разобрать ее голос от скрыпа двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, сбирала змей на перекличку, знала всю подноготную, что с кем сбудется, а прошлое было у ней, как в кармане. Рассерди-ка ее кто!.. так запоешь курицей, попетушьему или набегаешься полосатой чушкой.

— Кого занес ко мне буйный ветер? — сказала она,

продирая глаза, задымлеииые лучиною.

— Не ветер, а коиь завез меия,— отвечал барон, влезая сгорбившись в хижину, каких и теперь для образчика осталось ие менее прежиего. Солиечиые лучи встречались в кровле с дымом, проходили виутрь, можно сказать, копчеиые. Две скважииы, проедеииые в стеие мышами, служили вместо окои. В одном углу складена была без смазки камеика, от которой копоть зачернила всё стеиы, как горн. Наконец вместо всех мебелей в углу лежала рогожка, а у печки лопата: может быть, воздушиый ее экипаж — в звании труболетиой ведьмы.— Погадай мне, старая карга,— закричал барои старухе...— Брысь! брысь!

К нему в это время прыг иа шею чериая кошка, да и царап лапою за усы. Барои вздрогнул иехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затрещали искры, так что по руке у иего мурашки забегали.

— Зиаю, о чем хочешь ты ворожить,— сказала с злобиой усмешкою колдуиья...— Ты получил весть о добыче, когда гиал по лисе,— теперь хочешь сам сыграть лисицу иа море!.. ведаю, что было, угадаю, что будет... но в последиий раз, в последиий раз, Бруио!

Бароиа кииуло в пот и в холод, когда ои услышал эти подробиости... «В ией сам черт сидит»,— подумал ои. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго иашептывала, уставив иа воду страшные свои очи,— вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла, и вещуиья слово за слово, вся дрожа, будто ие своим голосом, говорила:

— Рыцарь Бруио, твой поход будет успешеи — спеши, ие медли... ты приложишь новые добычи, иовые грехи к прежиим... светел твой нагрудник... гладок ои...

— Я думаю, что гладок,— ворчал про себя Бруио,— иа нем ковайая муха ие удержится.

— Я вижу на нем кровь...— продолжала старуха.

— Не бойся, ои не промокнет.

— Нет... ои проржавеет...

— А иа что ж у меня оруженосец? Пусть-ка ои не вычистит моих лат, так я ему вылощу спину. Скажи-ка мие лучше, бабушка, ворочусь ли я домой?

— Домой?.. да, ты возвратишься туда, откуда отправишься... и потом ляжешь спать под крестом, в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол?.. это похороиы, это

свадьба... Слышишь ли поют «Со святыми упокой» и «Ликуй!»

Мороз подрал по коже рыцаря... он робко оглянулся, прислушался — но ничего не слыхал, кроме мяуканья черной кошки.

— Вот тебе шиллинг,— сказал он, бросаясь вон,— но колдунья оттолкнула его рукою...

— Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься. Ступай: конь и судьба ждут тебя за порогом.

Бруно поскакал, не оглядываясь. «Она рехнулась,— думал он...— впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духову дню[15]— так и подавно в головах будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Тфу пропасть! Мало ли у меня знакомых!»

Наутро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье.

Долго ли, коротко ли, далеко или близко воевал барон — не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к замку, в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот я и воротился удачно,— говорил Бруно своему оруженосцу.— Роберт, снеси же эти 10 шиллингов старой колдунье и скажи, что в ее вздорном предвещанье было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру-поздорову весел, как именинник». Очень видно, однако ж, было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщин, у того поневоле забьется ретивое, подходя к порогу... каких вестей, каких гостей там не найдешь!! Так и у барона защемило сердце недаром: не успел он пройти по берегу десяти шагов — глядь...

Признаюсь, господа, что́ тут он увидел — так вскипятило бы кровь и у самого хладнокровного мужа... барон видит: жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Обуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим.. «Как? тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть,— теперь перед ним в полном вооружении? Этот смиренник целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы при мужчинах... кровь и ад!.. нет это не сон, не дьявольское наважденье!» Затопал он ногами, заревел — и если б не бряканье лат его, то, верно бы, любовники кончили жизнь на этом поцелуе. Да нет. Регинальд успел вскочить и принял меч на свой меч: схва-

тились рубиться — искры запрыгали... удар в голову — и оглушенный Бруно, как сноп, свалился на траву.

— Теперь ты в моих руках, злодей,— говорил Регинальд, привязывая его к дереву...— пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я хочу напиться твоею, из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня именья и воли, помыкал родного, как служку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довел до того, что я сгубил свой покой и чистоту совести... Ты уничтожил злодейски все, что для души дорого на земле и лестно на небе... Ты бросил меня на голодную смерть... Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд Божий поединком мне воспрещен был с дядею. Но Бог велик — ты пал — ты погибнешь!

Надо было видеть тогда барона: ниже травы, тише воды сделался; откуда взялись слезы; откуда молитвам выучился!.. зачал небось причитать Лазаря[16]. Оно, правду сказать, смерть не свой брат, особенно коли застанет врасплох черную душонку.

— Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние! отдам все, что ты хочешь, сделаю все, что велишь, стану держать твое стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволенье жениться на Луизе. Пресвятая Бригитта[17]! Я отдам в Ревельский храм твой пол первой добычи, выстрою в твое имя монастырь с зимней и летней церковью! Пойду сам в монахи, надену власяницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленое. Луиза, у тебя доброе сердце, я испытал это, я виновен перед тобой... уговори, упроси, умоли Регинальда, пусть он даст мне пожить, хоть еще годок, хоть месяц, хоть час!

— Ни пяти минут,— отвечал племянник, взводя лук...— Имя Бога, злодей, которого ты призывал всегда всуе, чтобы угнетать бедных или увертываться от сильных, теперь не спасет тебя.. Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит! Но в это время жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку...

— Не убивай,— закричала она пронзительно,— он злодей, но он мой муж, но он твой кровный.

— Ты не знаешь, чего просишь, Луиза,— отвечал на эти речи Регинальд ласково.— Коли он жив — то нам

не жить: это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми? Он разорвал родство.... какой же присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь видеть меня на колесе, умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть живая на малом огне... то скажи слово, и он жив!

Такая картина ужаснула Луизу... Женский ум слаб — он видит только то, что перед глазами... она отвернулась, махнула рукой... лук взвыл... стрела угодила в сердце, тут и дух вон... только кровь его брызнула на жену и племянника.

Бруно погиб — и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? Регинальд был малый благородный, добрый — зачем же он ходил с дядей на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно, да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно. И в самосуде — одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни! Какая же в том заслуга? есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... да и кровь родного — право, не шутка!

Скоро спроведали в замке, что Бруно убили, а кто? за что?.. Бог весть. Долго не верилось этому... наконец увидели — и радость пошла ходить по околице... Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о Святой[18]. Вот стали поговаривать об убийце... хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, кто сплавил его на тот свет. Все подозренья, впрочем, упали на Роберта, оруженосца баронова, который вышел с ним из ладьи глаз на глаз — и потом исчез — ни слуху ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Регинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, потчевал всех очень усердно — то скоро все и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он — поставили каменный крест, и в замке до назначенья магистра остался хозяином Регинальд.

Коротка память у женского сердца, их слезы — роса: так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва

Лунза то и зиай что рыдала; потом стала оиа молиться... потом рассенвать себя, да разгуливать, под конец ласкн и увереиья Регииальда, кстатн и свон рассуждеиия усыпнлн совсем ее совесть. Глядишь, ие прошло полугода, она уже иаряднлась в цветное платье, да и сама расцвела розаиом. Погодя немиого захлопотали о свадьбе — разрешенье от папы, благодаря золотые поминки, нрнслано: чего ж медлнть? Назвалн гостей. Гостн съехались, пожнмая плечамн, ио расправляя рты,— вот повезлн женнха н невесту в церковь, что стояла иевдалеке от Эйзена. «Славная парочка»,— говорили гостн; только славиая парочка стояла под венцом, как обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взгляиуть друг иа друга. Некоторые гости заметнли только, что Лунза все что-то с рукн стнрала, а женнх ознрался кругом при каждом скрыпе оконннц, которые ходнлн ходенем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружных. У всех вытянулись лица... все смолкли, только голос одного патера раздавался и перевторнвался под острымн сводамн. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло н покатилось по полу — две свечн погаслн, задутые ветром,— все вздрогнулн. Это был шншак какого-то вонна, повешеиный здесь иа память. Опять тихо, опять гудя смолклн органы... н вдруг почуднлось, будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу, уж по крыльцу. «Отворн, отворн!» — загремело за дверью — н отдалось в куполе... все обмерли; инкто ин с места!.. взглянулн вверх — там иеслось только облачко с кадньльннцы. «Отворн!» — повторнл страшный голос, н слышно было, как ржал конь н топал по плнтам подковами,— и вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петлей н рухиулн на пол... вонн в вороненых латах, иа вороном коие, в белой с крестом мантнн, блнстая огромиым мечом, рннулся к иалою, топча испуганиых гостей. Бледиое лицо его было открыто... глаза иеподвнжны... и что ж? В ием все узиалн покойинка Бруно. Завопил иарод от ужаса — н расхлыиул; кто упал ииц, кто ударнлся в бег — а ои в трн скачка очутнлся подле новобрачных. «Кровь за кровь, убнйцы!» — прогремел ои — н вмиг растоптаииый Регинальд захрнпел под ногами коня — н, вмнг наклоинвшнсь, подхватнл мертвец полумертвую Лунзу, перекннул ее через луку, поворотил коня, взгляиул иа всех, как уголь, яркимн очамн н стрелой выскакал вон из церкви — лншь огоиь струями брызгал нз-под копыт по сле-

ду.— Только и видели. Страх всем запечатал уста... крестясь, разбежались гости.

Я сказал, что это было октябрьскою ночью. Ветер выл волком в бору, море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя, и мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она, что лежит в лесу на мокрой траве... Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство... Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника — ахнула и снова без памяти...

Опять очнулась несчастная... открыла очи — но уже ничего не могла видеть — она лежала ничком со связанными руками, она чувствовала, что ее засыпают холодной землею... у ней замерло дыхание... нет голосу крикнуть... В отчаянии едва-едва могла прошептать она: «Да воскресит Бог и расточатся врази его»; и вот остановилась ужасная работа. Громкий адский смех раздался над нею. «Смерть за смерть, изменница!» — сказал кто-то, и кровь застыла. Еще стон, еще усилие, еще глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, схоронена живая.

Ужасно! И теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако Бог знает, что делает, кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине, почитай всегда, хуже Каиновой печати[19]. Луиза казнена жестоко; зато этот пример долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает — из зла.

Наутро явился в замке черный латник-мститель. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине в свите какого-то немецкого князька и ворочался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица... и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемником всех угодьев и служеб покойного; однако его зверство не осталось без наказанья. Через десять лет русские ворвались в Эстонию, осадили замок и наконец спекли черного рыцаря Бруно Сож-

женный дотла замок Эйзен срыли они до основания, и борона прошла там, где были стены. Долго, долго после того и давно перед этим люди набожные собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу Бога. Это ее глава мелькает между деревьями.

Господа, я начал за здравие, а свел за упокой, но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные*.

* Примечаиие. Нравы н случаи сей повести извлечены из ливонскнх хроннк[20] *(прим. автора)*.

Страшное гаданье

Рассказ

Посвящается
Петру Степановичу Лутковскому[1]

Давио уже строптивые умы
Отрниулн возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклоиным сердцем,
Друзья мои, кто ие был духоверцем?

..Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее,— они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимою женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее,— душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию; так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока,— говорила она,— но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе паденье; нам должно как можно реже видеться!

Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа По-

линии. О самых Святках[2] полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал,— я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постеле своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда на звезде, молодцов рой, и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дохнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее *прости!* Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни[3] и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел,— катай!

Уже было темио, когда мы выехали со двора, одиако ж улица кипела иародом. Молодые парнн, в бархатиых шапках, в сииих кафтанах, расхаживалн, взявшнсь за кушакн товарнщей; девкн в заячьих шубах, крытых яркою кнтайкою, ходили хороводами; везде слышались праздиичные песии, огнн мелькалн во всех окнах, н зажжеииые лучнны пылалн у многнх ворот. Молодец, нзвозчнк мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «падн!» н, охорашнваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очеиь доволеи, слыша за собою: «Вои наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобиое. Выбравшнсь нз толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением:

— Ну, барии, держнсь! — Заложнл правую рукавнцу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул — и конн взвились как вихорь! Дух заиялся у меия от быстроты нх поскока: онн понеслн нас.

Как верткнй челнок на валах, кувыркалнсь, валялнсь и прыгалн саин в обе стороиы; извозчнк мой, упершнсь в валек иогою н мощио передергивая вожжамн, долго боролся с запальчивою снлою застоявшнхся коней; но удила только подстрекалн нх ярость. Мотая головамн, взбросив дымиые иоздрн иа ветер, иеслнсь оии вперед, взвнвая метель над санямн. Подобиые случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри н, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Ннкто нз ииостраицев не может постнчь днкого иаслаждения — мчаться иа бешеиой тройке, подобио мыслн, н в внхре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уже переноснла меия иа бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полиию своим неожиданным появленнем! Меия бранят, меия ласкают; мировая заключена, н я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие нзгородн, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крнк нзвозчнка, просящего помощн, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжн, я так скрутил голову коренной, что, упершнсь вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановнлнсь наконец нзмучеииые бегуиы, н когда опало облако ннея и ветерок разнес пар, клубящийся над конямн:

— Где мы? — спроснл я ямщнка, между тем как ои перетягивал порваиный чересседельинк и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай Бог памяти, барии! — отвечал он.— Мы уж давио своротнлн с большой дороги, чтобы упарнть по сугробу гнедышей, н я что-то не прнзнаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, ие ведь Андронова Пережога?

Я не подвнгался вперед ии иа полвершка от его топографических догадок; нетерпенне приехать меия одолевало, и я с досадою бнл нога об ногу, между тем как мой пареиь бегал отыскнвать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барнн! — отвечал он.— В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песия; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барнн; эта примета заведет невесть куда,— возразил ямщик.— Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит иа суку, да н покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да н только. И вся нагая, как моя ладоиь.

— Что ж, поцеловал ли ои красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутншь? Подслушивает она, так даст помииику, что до иовых веииков ие забудешь. Дядя с перепугу ие то чтобы зааминить илн зачурать ее, даже ахнуть ие успел, как оиа, завидя его, захохотала, ударнла в ладошн, да и бульк в воду. С этого сглазу, барии, ои бродил целый деиь вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допыталися: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак иоиесь повстречал тут оборотия; слышишь ты, скииулся ои свииьей, да то и зиай мечется под иоги! Хорошо, что Тнмоша н сам в чертовщине силу знает: как поехал иа ией чехардой, да ухватнл за ушн, она и пошла его мыкать; а сама внзжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете иашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет...

— Побереги свои побасеики до другого случая,— возразил я,— мне, право, нет времени да нет н охоты пугаться!.. Еслн ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смертн или ие хочешь иочевать с карасями под ледяиым одеялом, то нщн скорей дорогн.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тнхо сеялся пушистый нией; не вндя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчнвый отблеск между перелескамн замаинвал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходншь — это склон оврага нлн тень какого-ннбудь дерева! Однн птнчьн н заячьн следы плелнсь таииствеиными узлами по сиегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, конн ступалн, повеснв головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молнтвы, прнговарнвая, что нас обошел лешнй, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью н надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу н громко роптал на все н на всех, выходя нз себя с досады, а время утекало,— н где конец этому проклятому путн?! Надобно быть в подобном положеинн, надобно быть влюбленну и спешнть на бал, чтобы вообразнть весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, еслн б не было очеиь опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу н не проторила иовой; образ Полииы, который танцевал передо мною, и чувство ревиостн, что она вертится теперь с каким-ннбудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, инсколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею шубою, я ие иначе мог идти, как иараспашку, и потому ветер проннцал меня насквозь, оледеняя на теле каплн пота. Ногн мон, обутые в легкие танцевальные сапоги, былн промочены н проморожены до колен, и дело уж дошло до того, что иадобио было позаботиться не о бале, а о жнзни, чтоб ие кончить ее в пустыином поле. Напрасно прнслушивались мы: иигде отрадного огоиька, ннгде голоса человеческого, даже нн полета птнцы, нн шелеста зверя. Только храпеиие иаших коией, или бой копыт от нетерпення, нлн, изредка, брякаиье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвне. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутаниые в снежные саваны, будто простнрая к нам оледенелые руки; кусты, опушеииые клоками инея, сплеталн на бледной поверхиости поля теии свои; утлые, обгорелые пии, вея седымн космамн, прнинмали мечтательные образы; но все это не носнло иа себе следа ноги или рукн человеческой... Тншь н пустыня окрест!

Молодой нзвозчик мой одет был вовсе не по-дорож-

ному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед Богом,— сказал он,— что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостию:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низаных киках[4], в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не

человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядииных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в сукоиных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвиув набекреиь шапку, бреичал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяиина лежал на печи, обратясь лицом к иам, и, качая головой, глядел иа игры молодежи; для рам картииы, с полатей выглядывали две или три живописиые детские головки, которые, склоиясь иа руки и зевая, посматривали вниз. Гадаиья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущеииый в круг, по обводу которого насыпаиы были имеииые кучки овса и ячменя с зарытыми в иих кольцами, удостоив из которой-нибудь клюиуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с иаговориым хлебом, уголья, зиачения коих я иикак ие мог добиться, и перстии да кольца девушек, все прииялись за подблюдные песии, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустио слушал звучиые иапевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава Богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам — до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье,
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз!
Золотая парча развевается —
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулилн онн добро н славу, но, отогревшнсь, я не думал дослушнвать бесконечиых н неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ннм. Я стал подговарнвать молодцов свезтн меня к князю. К честн нх, хотя к досаде своей, должно сказать, что ннкакая плата не выманнла их от забав сердечных. Все говорили, что у инх лошаденкн плохие или измучеииые. У того не было саиок, у другого подковы без шнпов, у третьего болнт рука.

Хозянн уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, н вот уж третий день, верио, празднчают в околнце.

— Да, нзволишь зиать, твоя мнлость,— прнмолвнл однн красиобай, встряхиув кудрями,— теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый иарод девкн: погадать ли о сужеиом — не боятся бегать за овииы, в поле слушать колокольного свадебного звону, лнбо в старую баню, чтоб погладнл домовой мохнатой лапою иа богачество, да н то сегодия хвостикн прнжалн... Ведь канун-то Нового года чертям сеиокос.

— Полно тебе, Ванька, страхн-то рассказывать! — вскрнчало несколько тоиеиьких голосков.

— Чего полио? — продолжал Ванька.— Спросн-ка у Орншкн: хорош лн чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овннамн на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словио живьем воочью совершаются. Оиа говорит, одии бесенок оборотнлся гореиским старостииым сыном Афонькой да одио знай прнстает: сядь да сядь в санн. Из круга, знать, вымаиивает. Хорошо, что у ней ум чуть ие с косу, так отиекалась.

— Нет, барии,— прнмолвнл другой,— хоть россыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезтн тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещии и полыией тьма; пошутнт лукавый, так пойдешь карманамн ловнть раков.

— И ведомо,— сказал третий.— Теперь чертям скоро заговеиье: из когтей друг у друга добычу рвут

— Полио брехать,— возразил краснобай.— Нашел заговеиье. Чериый аигел, нлн, по-кннжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стонт да не смигиувши сторожит, как бы иатолкиуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятннцы на Пустыие о прошлых святках?

— А что такое? — вскрнчалн миогне любопытные.— Расскажи, пожалуста, Ванюша; только ие умори с ужасти.

Рассказчнк оглянулся на двери, на окно, иа лица слушателей, крякнул протяжно, оправнл правой рукою кудри и начал:

— Дело было, как у иас, на поснделках. Молодцы окручалнсь в личины, и такие хари, что и днем глядеть — за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носнщи семи пядей, рога словио у сидоровой козы, а в зубах по углю, так н зняют. Умудрнлнсь, что петух прнехал верхом на раке, а смерть с косою иа коие. Петрушка-чеботарь спииу представлял, так он мне все н рассказывал.

Вот как разыгрались оии, словио ласточки перед погодою, одному парню лукавый, знать, н шепиул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойиика, что в часовие лежит, саван да веиец, окручусь в инх, набелюся известкою, да и приду мертвецом иа поседки». На худое мы не леиивы: скорей, чем сгадал, ои в часовию слетал,— ведь откуда, скажите иа милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Одиако ж когда ои расхохотался своим голосом да стал креститься н божиться, что он жнвой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан н полночь иа дворе, иадо молодцу нестн назад гробовые обиовкн; зовет ие дозовется никого в товарнщи; как опала у него хмелина в голове, опустнлись и крылья соколииые; одиому идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойиик давио слыл колдуном, и иикто ие хотел, чтобы черти свериули голову на затылок, свон следы счнтать. Ты, дескать, брал на прокат саваи, ты н отдавай его; нам что за стать в чужом пнру похмелье нести.

И вот, ие прошло двух мигов... послышали, кто-то идет по скрипучему сиегу... прямо к окну: стук, стук...

— С иамн крестиая сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испугаиные очн.— Наше место свято! — повторила она, ие могшн отвратить взглядов от поразившего ее предмета.— Вон, вои, кто-то страшиый глядит сюда!

Девки с крнком прижались одна к другой; парии кннулись к окну, между тем как те нз них, которые былн поробче, с выпученнымн глазами и открытым ртом

поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось,— сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен.— Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, сиял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами.— Пускай где взял, там и отдаст мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки,— сказал мертвец страшным голосом,— я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так что его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в вороты, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на пятах, и мертвец шасть в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо покло-

нился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь.— Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минутку: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь,— кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим имением жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере, наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

— Не правда ли, сударь,— сказал он мне после некоторого молчания,— вы любуетесь невинностью и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уже нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами

веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодицам и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из саиок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженькым ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая росскасни незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседов. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.

Но мие скоро наскучнл разговор этого безнравствениого существа, н песнн, и сельские игры; мыслн пошлн опять прнвычною стезею. Опершнсь рукою об стол, хмурен н рассеяи, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, н иевольный ропот вырывался нз сердца, будто пресыщениого полынью. Незнакомец, взгляиув на свон часы, сказал мие:

— Уж скоро десять часов.

Я был очеиь рад тому; я жаждал тишины и уединення.

В это время один из молодцов, с рыжимн усамн и открытого лица, вероятио, осмеленный даровым ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрошаю, барни,— сказал он,— есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбиулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

— Когда бы кто-ннбудь поумнее тебя сделал мие подобиый вопрос,— отвечал я,— он бы унес ответ иа боках своих.

— И, батюшка сударь,— возразил он,— будто я сомневаюсь, что ты с шнрокими свонмн плечамн на дюжнну пойдешь, ие засуча рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не днковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, ие боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем иеверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще меиее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барии! — сказал молодец.— Насилу нашел я товарища. И ты бы ие ужастился увидеть нечнстого носом к носу?

— Даже схватнть его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомойинка...

— Ну, барнн,— промолвнл он, поиизив голос н склоияясь над моим ухом,— если ты хочешь погадать о чемнибудь житейском, еслн у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катием; мы увндим тогда все что случится с ннми н с намн вперед. Чур, барнн, только не робеть: на это гадаиье надо сердце-тройчатку. Что ж, прнказ нлн отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что ои нлн дурак, нли хвастун н что я, для его забавы

или его простоты, вовсе ие хочу сам делать глупостей; ио в это мгиовеиие повстречал иасмешливый взгляд иезиакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумиыми словами глупую робость! Зиаем мы вашу братью, вольиомыслящих двоdo ряичиков!» К этому взору ои присоедииил и увещаиие, хотя иикак ие мог слышать, что меия звали иа гадаиье.

— Вы, верио, ие пойдете,— сказал ои сомиительио.— Чему быть путиому, даже забавиому от таких людей!

— Напротив, пойду!..— возразил я сухо. Мие хотелось поступить иаперекор этому иезиакомцу.— Мие давио хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и позиакомиться покороче с лукавым,— сказал я гадателю.— Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?

— Теперь ои рыщет по земле,— отвечал тот,— ближе к нам, иежели кто думает; иадо заставить его сделать по иашему велеиью.

— Смотрите, чтобы ои ие заставил вас делать по своему хотеиью,— произиес иезиакомец важио.

— Мы будем гадать страшиым гадаиьем,— сказал мие иа ухо пареиь,— закляв нечистого иа воловьей коже. Меия уж раз иосил ои иа ией по воздуху, и что видел я там, что слышал,— примолвил ои, бледиея,— того... Да ты сам, барии, попытаешь все.

Я вспомиил, что в примечаииях к «Красавице озера»[5] ("Lady of the lake") Вальтер Скотт приводит письмо одиого шотлаидского офицера, который гадал точио таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык ие может выразить тех страхов, которыми ои был обуяи. Мие любопытио стало узиать, так ли же выполияются у иас обряды этого гадаиья, остатка язычества иа разных коицах Европы.

— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и иадевая просушеииые сапоги.— Видио, мие сегодия судьба мыкаться коиями и чертями! Посмотрим, кто из иих довезет меия до цели!

Я переступил за порог, когда иезиакомец, будто с видом участия, сказал мие:

— Напрасио, сударь, изволите идти: воображеиие — самый злой волшебиик, и вам Бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для одиой забавы, имею довольио ума, чтоб заметить

обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки,— сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру,— и она-то будет нашим ковром-самолетом.— Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникала посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность.— Здесь! — повторил он.— Это место дорого для того, кого станем вызывать мы; здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов[6] от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнеся невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он

окропил ее влагою из стклявики и потом, задушив петуха, чтобы он ие крикиул, отрубил ему голову и полил кровью в третий раз очароваииый круг. Глядя иа это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родия ее, дали выкупу?

— Нет! — сказал заклииатель, воизая треугольником иожи,— черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одиу, которую если тронешь, иа кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах,— подумал я,— тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастие дураков спустили бы перед иею флаги».

— Да все равио,— продолжал ои,— можио эту же силу достать в Иваиов деиь. Посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить, да и бросить в муравейиик, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок — неизмеииая уда иа сердца; а коли больио иаскучит, троиь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежиюю любовь сиимет.

«Что касается до забвения,— думал я,— для этого ие нужио с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произиес гадатель.— Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.

Завериувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодио. Невольио, одиако ж, колесо мыслей опять и опять прииосило мие вопрос: откуда в этом человеке такая увереииость? Он мог ясио видеть, что я вовсе ие легковерен, следствеиио, если думает морочить меня, то через час, миого два, открою вполие его обманы... Притом какую выгоду найдет он в обмаие? Ни ограбить, ии украсть у меия иикто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровеиные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебиых трав, магиетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдио самого себя, что зерно сомиеиия запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблеио, и кто зиает, как далеки будут размахи этого маятиика?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо

и действуют на иас иеощутнмо, я прильнул очамн к месяцу.

«Тнхая сторона мечтаиий! — думал я.— Неужелн ты населена одними мечтаииями иашимн? Для чего так любовно летят к тебе взоры н думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет нль ласка матери? Не родиое ли ты светнло земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в страииичестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, н потому не верю я мыслн поэтов, что туда суждеио умчаться теням нашнм, что оттоле влечешь ты сердца н думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчнзною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и ои любнт летать нз новой обители в зиакомый, но забытый мнр твой; но не тебе, тихая стороиа, быть прнютом буйиой молодости души человеческой! В полете к усовершеиствованию ей доля — еще прекрасиейшне мнры и еще тягчайшие испытаиия, потому что дорогою цеиой покупаются светлые мысли и тоикие чувствоваиня!»

Душа моя зажглась прикосиовеннем этой нскры; образ Полнны, облечеиный всеми прелестями, придаинымн воображеннем, иесся передо миою...

«О! зачем мы жнвем не в век волшебств,— подумал я,— чтобы хоть цеиой крови, цеиою душн купить временное всевластие,— ты была бы моя, Полнна... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меия иа колеиях, произносил непоиятные заклииаиия; ио голос его затнхал постепеино; ои роптал уже подобио ручью, катящемуся под снежною глыбою...

— Идет, идет! — воскликиул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гиал метель по насту, как будто удары молота гремели по камию... Заклииатель смолк, ио шум, постепеиио возрастая, налетел блнже... Невольиым образом у меия заиялся дух от боязненного ожидаиня, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала — я ие вытерпел н оглянулся...

И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ннм храпел мой пьяиый духовидец, упав иичком! Я захохотал, н тем охотнее, что предо миой сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорнл ли я вам, сударь, что напрасно нзволнте

верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадателям с перепою видятся чудеса!

И между тем злые очи его проницали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой...— отвечал он лукаво.— Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею[7]. Мой иноходец, могу похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в саночки.

— Поберегите их у себя,— отвечал незнакомец, садясь со мною рядом.— Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезы[8], только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки[9] через трещины, как вились и крутились они по закраинам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочился за предводительшей, та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил недавно пирог с золотою начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч., и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,— дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава Богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками; ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно,— отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально.— А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот.— Я заставлю тебя высказать, от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас,— вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был

силен, я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру,— сказал он хладнокровно, однако ж решительно.— Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжего дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу,— все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливмя. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором,— или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностию, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не внимая внушениям сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,— но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною сталось, когда, обвивая тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проницали сквозь дымку,— я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины в кругу катильона[10], я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз *люблю* на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины,

который, прислонясь к противуположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих,— я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжего дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелася, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди; я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,— я изнемогал и таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... И наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я.— И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнию!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.— Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домаш-

ним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись.— Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! — примолвил он, заметив Полину.— Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу; укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решился.

— Полина,— отвечал я.— Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери.— Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вкруг плетней, вправо, влево, под гору,— и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огневым потоком. Небо ясно, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тихо, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла,— возразила она,— и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед Богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу затаить я от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась гражданской, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным,— думал я,— так вот те очаровательные слова *я твоя*, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее, чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый,— столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой топот погони.

— Скорей, ради Бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я. — Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта, — отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. — Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что ж, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю. — Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь, сударь, — хладнокровно возразил мне незнакомец. — Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в прибавку? — примолвил он, обнажая злой усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив собою всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под неподвижного трупа и с бешенством кинулся к нам: это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя:

я отвечал на его упрек учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет более владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностию моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился на лед.

Еще несытый местью, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, оперши́сь на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай Бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, я знал ее во многих и сам изведал ее на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неимоверно долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровою жадностию, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему неизвестного

напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице.— Мертв! — повторил он.— Пускай же мертвые не мешают живым,— и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.

Тонкая ледяная корка, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду,— сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад,— отвечал он значительно.— Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно.— Едем!

— До Бога высоко, до царя далеко,— произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие.— Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна, как мрамор, была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое расторглось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня нипавшее. Проникнутый светскою нравственностию, или, лучше сказать, безнравственностию, еще горячий местью, еще вол-

нуем бурными страстямн, я был недоступен тогда нстннному раскаянню. Убнть человека, столь снльно меня обидевшего, казалось мне предосуднтельным только потому, что он был безоружен; увезти чужую жену считал я, в отношеннн к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношеннн к ней, и внд женщины, которую любнл я выше жнзнн, которую погубнл своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу н свято душе,— знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести н самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла лн она забыть, чему была внною? Могла лн заснуть сном безмятежным в объятнях, дымящнхся убнйством, найтн сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах,— н чьей крови? Того, с кем была она связана священными узамн брака? Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубнне взанмностн; но могла лн слабая женщнна отринуть илн заглушнть совесть? Нет, нет! Мое счастие исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адскнм.

Воздух свнстел мнмо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спроснл я проводннка.

— Откуда взял — на кладбнще! — возразнл он злобно.

Санн влетелн в ограду; мы неслнсь, задевая за кресты, с могнлы на могнлу н наконец сталн у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарнща; все было пусто н мертво кругом, я вздрогнул протнв воли.

— Что это значнт? — гневно вскрнчал я.— Твои шуткн не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но везн меня в деревню, в дом.

— Я уж получнл свою плату,— отвечал он злобно,— н дом твой здесь, здесь твоя брачная постеля!

С этнмн словамн он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежевырытою могилою, на краю которой стоялн сани.

— За такую красотку не жаль душн,— прнмолвнл он н толкнул шаткие санн... Мы полетелн вглубь стремглав.

Я ударнлся головою в край могнлы н обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чуднлось только, что я лечу ннже н ннже, что страшный хохот в глубнне отвечал

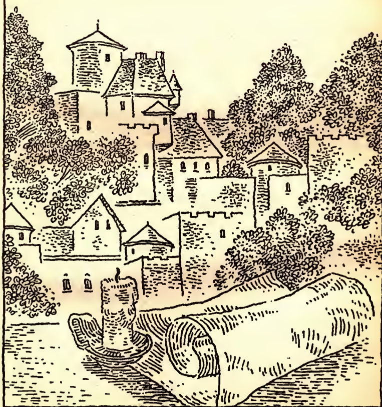
стону Полнны, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают иас!» И иакоиец я упал на дно... Вслед за мной падалн глыбы земли н снегу, заваливая, задушая иас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завываиия мие слышалнсь; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двииуть разбнтых члеиов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я коичался, но с иеизъясинмым мучением душн и тела. Судорожным последннм движеннем я сброснл с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодиый пот катился по лицу, все жилкн трепеталн от ужаса н уснлия. Озираюсь, припомниаю миивушее... И медлеиио возвращаются ко мне чувства. Так, я иа кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающнй месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гадаиья лежал иис в глубоком усыплениии... Мало-помалу я уверился, что все видеиное мною был только сои, страшиый, зловещий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с иеудовольствием. Други, други! неужелн вы так развращеиы, что жалеете, для чего все это ие сбылось иа самом деле? Благодарнте лучше Бога, как возблагодарнл его я, за сохраиение меия от преступлеиия. Сои? Но что же ниое все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережнлн со мной этой ночн, еслн не чувствовали, что я чувствовал так жнво, если не нспыталн мною испытанного в мечте,— это вииа моего рассказа. Все это для меия существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гадаиье открыло мие глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщеиная супруга, разорваиное, опозореиное супружество и, почему зиать, может, кровавая месть мие нлн от меня — вот следствия безумиой любви моей!!

Я дал слово ие видеть более Полииы и сдержал его.

О. М. Сомов



10 Зак. 480

Приказ с того света

Повесть

Однажды, минувшим летом, провел я день на даче, в нескольких верстах от города. Красивое местоположение, прекрасный сад, с одной стороны взморье и пруды, с другой рощи, холмики и долины — все обещало мне один из тех приятных дней, о которых долго, долго и с удовольствием вспоминаешь. Хозяин — пожилой весельчак, хозяйка — добрая жена, добрая мать и умная, приятная женщина, сын их, молодой человек, образованный и скромный, и две милые дочери, расцветшие, как розы, живые, как сама жизнь, умные, как мать их, и веселые, как отец, были притяжательною силой для собиравшегося у них общества. Гостей было немного, всего восемь человек; но этот небольшой круг был так разнообразен, что удовлетворил бы вкусу самого безусталого наблюдателя.

Утро неприметно у нас пролетело. Мы гуляли по садам и окрестностям, катались по заливу и между тем шутили, смеялись и не видели, как время прокралось до обеда. Погода с утра была ясная; но мы еще не успели встать из-за стола, как небо стемнело, тучи набежали и гром начал греметь по сторонам. Спустя немного, наступила

Со всею свитою, как водится, гроза[1],

и гроза самая шумливая: молнии заблистали со всех сторон, гром на раздолье прокатывался по воздушному пространству; гонимый ветром дождь пролил, как из ведра. Нечего было и думать о вечерней прогулке, потому что небо кругом обложилось густыми слоями туч и обещало воздушную потеху по крайней мере часов на пять. Если бы гостеприимные хозяева и не унимали от души гостей своих, то в такую погоду, когда, по пословице, и собаку жаль выгнать на двор,— каждый из нас без зазрения совести конечно бы сам вызвался остаться.

В доме, к удовольствию одних и к крайнему прискорбию других, карт не бывало и в помине, кроме одной старой, исклочившейся колоды, которою старушка няня раскладывала *гранд-пасьянс*. Хозяева сами остались в гостиной, и те из гостей, которые любили уснуть после обеда,

на этот раз посовестились зевать и дремать. Разговор шел, однако ж, в такт по грозе или, лучше сказать, в промежутках громовых ударов, как в мелодраме между музыкой. Все, особливо молодые девицы, поминутно вставали и подходили к окнам полюбоваться, как молнии разгуливают по тучам и как крупный дождь сечет в стекла. Не было и надежды скоро разделаться с грозою: одна туча сменяла другую, один гром отдалялся, другой заступал его место; за мелким дождем шел другой, посильнее. Таким образом время длилось до вечера.

— Как бы весело теперь стоять на вахте,— сказал один моряк,— особливо когда паруса все убраны и когда спрятаться можно только под ванты[2] или под грот-бом-брам-брасс[3].

— Хорошо и пехотному офицеру на походе,— подхватил молодой гвардеец, сын хозяев,— особливо если идешь не по петергофскому шоссе, а по какой-нибудь проселочной белорусской дороге. Промочит тебя до костей, и ноги уходят в грязь по колено.

— Да, не худо и кавалеристу,— примолвил один улан, покручивая усы свои,— сверху то же, что и вам, господам пехотинцам, а снизу того и жди, что лошадь или увязнет, или поскользнется и отпечатает формы твои в вязкой глине.

— Я помню одну такую грозу, заставшую меня на дороге в Германии,— сказал один неутомимый охотник путешествовать и рассказывать, смотревший в окно и обернувшийся к нам с скромною улыбкою самодовольствия.— Гроза и повесть о духах, которую слышал я вслед за нею, слившись в мыслях моих с развалинами старого замка, который я видел в тот вечер, всю ночь меня тревожили самыми странными и непонятными снами.

— Ах! расскажите нам повесть о духах,— подхватила хозяйка, желая чем-нибудь занять гостей своих.

— Повесть о духах! повесть о духах! — вскричали девицы и за ними все гости почти в один голос.

Путешественник подвинул кресла к круглому столику, за которым сидели дамы, сел, обвел глазами все общество, как будто бы желая измерять на лице каждого слушателя степень внимания, какую он готовил для чудной повести, очистил голос протяжными «гм! гм!» и начал свой рассказ:

— Лет несколько тому, возвращался я из Франции в Россию, чрез Мес, Сарбрюк, Майнц... и так далее. У меня была крепкая, легкая и укладистая коляска, со мною

веселый товарищ, француз, отставной капитан наполеоновской службы, ехавший в Россию отведать счастья и употребить в пользу сведения и дарования свои в том звании, которое он называл *л'утшитéль*. Он... позвольте мне в коротких словах рассказать о нем.— И не дожидаясь согласия или несогласия слушателей, рассказчик мой продолжал:

— Он облетал почти всю Европу за Наполеоновыми орлами: прошел даже Россию до Москвы, но оттуда насилу унес голову с малыми остатками большой армии. Часто, в коляске, для прогнания скуки спорил он со мною о минувшем своем идоле и упорно доказывал, что разрежение рядов французской армии было следствием особых соображений Наполеоновой стратегии. Со всею французскою самонадежностью уверял он меня, что знает совершенно и свободно изъясняется по-итальянски, по-испански и по-немецки, и, вероятно, только знавши, что я русский, не прибавил к тому языка российского. Впрочем, хотя он и выговаривал *ик мак* и *макензй*[4], но все-таки немного лучше знал немецкий язык, нежели те из его земляков, которые в прошлую войну на каждой квартире твердили добрым немцам: *«Камрад! манжир, бювир, кушир, никт репондир»*[5] — и сердились, почему немцы их не понимали. Мой товарищ мог, по крайней мере, выразуметь, что ему говорят, а при нужде и сам мог сказать слов несколько... Да не о том дело: чувствую, что я слишком заболтался о своем товарище...

— Ничего, продолжайте: я все слушаю, хотя, признаться, и не очень понимаю немецкого-то! — сказал очень простодушно один пожилой и добрый провинциал.

Все засмеялись, и путешественник, нимало не смутясь, первый захохотал от всего сердца. Отдохнув после смеха, он начал рассказывать далее:

— Кто переезжает французскую границу и вступает в Германию, тот с первых шагов замечает крайнюю перемену в способе переноситься с места на место и невероятную разницу между почтальонами французскими и немецкими. Первые, в огромных своих ботфортах, иногда в *capot** сверх куртки и вообще с не слишком опрятною наружностью, перепрягают в три минуты, мигом вспрыгивают в стремена, захлопают бичами и пошел хорошею рысью с горки на горку; а если дашь им порядочный

* Плащ с капюшоном *(франц.)*.

pour boire* сверх положенного по почтовой книжке, то понесут тебя на крылышках, точно как русские ямщики. Немецкие почтальоны одеваются чисто, играют на рожках; зато утомительная их флегма и несносный *лангсам*[6] мучат путешественника. С ними, кажется, лопнет терпение и самого труженика. Так, сердясь и бранясь, я и товарищ мой проехали с ними от Гомбурга до Кайзерслаутерна:[7] но ни брань, ни ласки, ни увещания, ни гладкое *шоссе*, по которому можно бы катиться как по маслу, ни прибавка *тринк-гельда*[8] — ничто не шевелило закоснелые сердца наших мучителей. Погода стояла прелестная во всю нашу дорогу от Парижа до красного городка Кайзерслаутерна,— красного в самом буквальном смысле, ибо все домы его построены из самородного красного камня; но когда мы оттуда выехали, то заметили, что тучки начинали набегать, и послышали в стороне гром. Как назло еще, лошади попались нам ленивее, а почтальон упрямее обыкновенного. Сколько мы ни толковали с ним — все понапрасну! Он поминутно вставал с седла, заходил то пить пиво, то закуривать трубку, оставался в шинках по четверти часа и более, а чтобы свободнее курить табак, не садился на лошадь, шел пешком подле коляски и на все наши увещания твердил: "Aber der Weg ist sehr schlecht,"**— хотя дорога была истинно прекрасная. Лошади, как будто б условясь с ним, шли с ноги на ногу, опустя головы и хлопая ушами, как ослы. Между тем небо мрачилось час от часу более, гром трещал сильнее и сильнее, молнии змейками завивались над нашими головами; а с последней станции начал накрапывать дождь. Он постепенно усиливался и, спустя полчаса, зашумел таким же ливнем, как сегодняшний. Нечего было делать! мы, хоть и великие любители сельской природы, то есть любители от безделья зевать по сторонам, на горы и долы, принуждены были закутаться в коляске, чтоб не промокнуть до последней нитки. Признаюсь, что я радовался этому крупному, частому дождю, потому что он, в лице нашего почтальона, мстил за нас всей его братье; только жалел я, что это был не тот, который вез нас от Кайзерслаутерна. Однако ж жажда мести проходит, как и все другие страсти, а моя с избытком напоена была дождевыми потоками, текшими со шляпы на спину бедного

* Чаевые *(франц.)*.

** «Но дорога очень скверная» *(нем.)*.

почтальона. Скоро дождь наскучил мне и начал выводить из терпения моего товарища. "Oh quel climat!"*— ворчал он, сердясь ни за что ни про что на благословенный климат средней Германии.

Однако ж гроза не унималась, несмотря на заклинания моего француза. Гром как будто спорил с гневными его междометиями и наотрез перерывал длинные периоды, в которых он честил и климат и почтальонов немецких. Наконец, устав сердиться и видя, что гром трудно перекричать, француз мой сперва замолчал, потом начал насвистывать la pipe de tabac**[9], потом зевать и потягиваться, а в заключение всего дремать. При каждом ударе грома он вздрагивал, выглядывал полусонными глазами в оконце, ворчал по нескольку слов — и снова голова его упадала на сафьянную подушку коляски, и снова качалась и свешивалась на грудь, так что нос его чертил дуги и кривые линии на воротнике фрака. Что до меня, я не мог вздремать: частию оттого, что из самолюбия не хотел подражать французу, частию же оттого, что не люблю спать при огне и стуке; а молния светила нам почти без промежутков, и гром перерывался только громом; притом же дождь стучал со всех сторон в коляску. Так, сидя и мечтая, чрез несколько часов заметил я, что мы начинали подниматься в гору; я выглянул в окно и увидел, что гора, на которую мы ехали, покрыта густым столетним лесом, а на вершине ее стоит древний, полуразвалившийся зáмок. Эта вершина выдалась круглым холмом из средины леса, и только узкая, почти заглохшая тропинка вела к зáмку. Он был огромен: уцелевшие стены с круглыми пробоинами, башни, зубцы и другие вычуры средних веков показывали, что он принадлежал какому-нибудь знаменитому владельцу времен рыцарских. Я толкнул моего товарища и указал ему на зáмок; француз протер глаза, смотрел долго и со вниманием по направлению моего пальца и кончил свои наблюдения протяжным "tiens!"*** В это время въезжали мы в местечко Гельнгаузен, лежащее на полугоре и на весьма живописном местоположении. Почтальон наш, видя конец своих страданий, приставил мокрый рожок к мокрым губам и, *как лебедь на водах Меандра*[10], изо всей груди заиграл послед-

* «Что за климат!» *(франц.)*.

** Табачная трубка *(франц.)*

*** «Ну и ну!» *(франц.)*

нюю свою песню; лошади вторили ему ржанием, радуясь близкому своему освобождению от упряжи и отдохновению в уютной конюшне, за кормом. В таком порядке, с музыкой и аккомпанементом, въехали мы в трактир Золотого Солнца.

Ловкий молодой мужчина с черными усами и загорелым, выразительным лицом, в каком-то полувоенном наряде, отпер дверцы нашей коляски и, вслушавшись, что мы говорим по-французски, сказал нам довольно хорошо на этом языке приветствие и приглашение войти обогреться в трактире. Сходя по измокшей ступеньке, я поскользнулся и чуть было не упал; судите ж о моем удивлении, когда тот же молодой человек чистым русским языком, немного сбивающимся на украинское наречие, спросил у меня:

— Вы, сударь, из России?

— Земляк! — вскрикнул я, обрадовавшись.

— Нет, сударь; я поляк, из Остроленки, но часто бывал с русскими, был даже в плену и выучился вашему языку.

— Как же сюда зашел?

— О, сударь! мало ли куда я заходил на своем веку: был и в Италии, и в Испании, и в России; а немецкую землю так измерил, как только может измерить лихой улан на коне своем. Теперь служу *гауз-кнехтом*[11] в здешнем трахтире.

Француз мой, подслушав название Испании и Италии и радехонек случаю выказать свое языкознание, начал делать ему вопросы по-итальянски и по-испански; но поляк, не запинаясь, отвечал ему на обоих сих языках гораздо чище и правильнее; так что француз принужден был ударить отбой на природном своем языке похвальным словом храбрости и понятливости поляков.

Нас ввели в общую комнату, довольно просторную и очень теплую; двое приезжих сидели там за особым столиком и разговаривали вполголоса, а человек шесть жителей местечка, собравшись у большого стола, за огромными кружками пива и с трубками в зубах, спорили между собою и чертили пивом по столу план Люценского дела[12]. В углу молодая, белокуренькая пригоженькая немочка сидела за рукодельем и по временам нежно взглядывала на статного немчика лет около двадцати пяти, который, облокотясь на ее стул, что-то ей нашептывал. Хозяин, человек лет за пятьдесят, с самым добрым

старонемецкнм лицом, чннно похажнвал с трубкою вокруг стола н как будто бы прн каждом шаге хотел приподияться поближе к потолку, ибо прнрода поскупилась дать ему рост, приличиый важиой его осаике. На ием был наряд особого покроя, который можио изавать средиим пропорциональным между халатом н камзолом: рукава прешнрокие, а полы спускались иемиого пониже колеи. Эта иового рода туннка сшита была из снтцу с большими разводами ярких цветов, каким у нас обиваются мебели, и застегивалась сверху донизу огромиыми пуговицами. Седоватые волосы нашего трактирщика прнкрыты были чериым шелковым колпаком. Увндя иас, хозяии подошел и преважио поклонился; мы занялн места и, расположившись провести здесь иочь, потребовали ужии, лучшего виил н особую комнату с двумя постелями.

Неоспоримая истииа, что виио веселит человека. За бутылкою доброго гохгеймского согрелось сердце н ожила веселость во мие и в моем товарище. Хозяии, полагая, что мы не простые путешественннки, потому что требуем миого и, коиечно, заплатим хорошо, увивался около нас н раз двадцать велнчал нас наугад н баронами, н графамн, н князьямн, по мере того, как наши требоваиня на его счет увеличивались. Я должеи вам призиаться, что принадлежу к чнслу путешествеииков *систематических,* то есть тех, которые ие проезжают ии одиого местечка, ин одной деревушкн без того, чтобы ие выведать у первого встречиого всей подиоготной о месте его жительства. Знаю, что многие иазывают это суетным любопытством людей праздиых; но вы ие поверните, как этим увеличивается и дополияется сумма сведеиий, собираемых нашим разрядом путешествеиников, о иравах, обычаях, местиостях и редкостях проезжаемого края. Так и здесь, то есть в Гельнгаузеие, прншла мне благая мысль потребовать другую бутылку гохгеймского, подпоить доброго нашего хозянна и порасспросить его о том, о другом. Ои не заставил долго себя упрашнвать. Стаканы н разговоры зазвучали, и в полчаса мы так были зиакомы, как будто бы вместе взрослн н вместе нзжили век.

— Позвольте познакомить вас, милостивые государн н зиаменнтые странствователи, с первостатейиыми членами здешиего местечка,— сказал наш хозяин; с этою речью встал он н подошел к гостям своим, сидевшнм у стола за пивными кружкамн. Мы пошлн вслед за ним, чтобы поблнже всмотреться в этнх первостатейных члеиов.

— Вот высокопочтенный и именитый г-н пивовар Самуель Дитрих Нессельзамме,— продолжал трактирщик, указывая на первого из них. Пивовар, небольшой, плотный мужчина, с круглым и красным лицом, с носом, раздувающимся как кузнечный мех при каждом дыхании, с плутовскими глазами под навесом густых рыжих бровей и с самою лукавою улыбкою, встал и поклонился нам очень вежливо.

— Прежде всего, любезный сосед,— сказал он трактирщику, улыбнувшись как змей-искуситель,— позвольте мне от лица общих наших друзей, здесь находящихся, довести до сведения почтенных ваших посетителей, с кем они имеют удовольствие беседовать в особе вашей.

— Начало много обещает,— подумал я; и, взглянув на трактирщика, заметил, что он невольно приосамился, но вдруг, приняв на себя вид какого-то принужденного смирения, отвечал оратору только скромным поклоном

— Почтенный хозяин здешнего дома,— продолжал хитрый пивовар,— есть г-н Иоган Готлиб Корнелиус Штауф, смиренная отрасль древней фамилии Гогенштауфен[13].

При сих словах, хозяин наш, казалось, подрос на целый вершок. Он то потирал себе руки, то под какою-то странною ужимкою хотел затаить улыбку удовольствия, мелькнувшую на лице его, словом, был вне себя. Наконец язык его развязался: он, со всею благородною скромностью сельского честолюбца, сказал нам:

— Точно так, милостивые государи! под этою убогою кровлею, в этом, могу сказать, почти рубище, видите вы потомка некогда знаменитого рода...— Голос его дрожал, и сколько он ни усиливался, не мог докончить этого красноречивого вступления.

Товарищ мой кусал себе губы и чуть не лопнул от смеха, который готов был вырваться из его груди громким хохотом. Что до меня, то я удержался как нельзя лучше; этакие выходки были для меня не в диковинку: еще в России знал я одного доброго немца, который причитал себя роднею в тридцать седьмом колене князю Рейсу сорок осьмому. Между тем француз мой, пересиля смех, спросил у меня на своем языке: «Что за историческое лицо *Оанстофён?*»*— и я в коротких словах дал ему понятие о Георге Гогенштауфене, сколько сам знал

* Hohenstauffen, по французскому выговору *(прим. автора)*.

о нем из романа Шпнсова[14]. Хозянн наш в это время, как вндно было, нскал перерванной в нем сильиым волнением чувств инти разговора. Несколько мннут смотрел он в землю с самым комическим выражением борьбы между смиреннем н чванством, к которым примешивался какой-то благоговейный страх. Но чванство взяло верх в душе честолюбивого трактирщика, и он вскрнчал торжественным голосом:

— Так! предки мон были зиаменнты: онн беседовалн с славнымн монархамн н жнлн в замках. Скажу больше: они — только другой лиции — былн в родстве с велнкнмн н сильиымн землн; а некоторые даже сами... Но что вспомииать о миивушей славе!.. Одии из иих,— прнбавил ои вполголоса и робко озираясь,— один из иих, бывший владелец двадцати замков, и теперь в срочиое время посещает земное жилнще своих потомков...

— Неужели? — сказал я с видом удивлеиия,— и не тот ли замок, что здесь стоит на горе?

— A propos*,— подхватил мой товарищ,— скажите иа милость, высокопочтеииый г-и Штауф, чей это замок?

— Замок этот, мнлостивые государи,— отвечал трактнрщнк,— замок этот принадлежал иекогда славиому нмператору Фридерику Барбароссе. Здесь совершались дивные дела, н теперь иногда совершаются. Иногда, говорю; потому что срок уже прошел и не скоро придет сиова.

Торжествеииый голос, таииствеииый вид и сивиллииские ответы[15] нашего трактирщнка сильио защекотали мое любопытство. Я просил его рассказать о дивных делах замка, потребовал еще несколько бутылок гохгеймского — иа всю честную компаиию — и сам подсел к кружку добрых приятелей иашего хозяиина. Товарищ мой сделал то же. Белокуренькая иемочка подвинула свой стул, а статный немчнк переставил ее столик с работою поблнже к иам.

Во все это время трактирщик как будто бы колебался нли собирался с мыслямн. Наконец лукавый пивовар решил его. «Что, любезиый сосед,— сказал ои,— таить такой случай, который служит к чести н славе вашего рода н сверх того известеи здесь целому околотку? Ведь вас от того ии прибудет, ни убудет, когда эти иностранные господа узиают то, что все мы, здешнне, давио знаем».

— Решаюсь! — возгласил трактнрщик, как бы в при-

* Да, кстати *(франц.)*.

падке вдохновения.— Высокопочтенные н знамеиитые слушатели! одиого только прошу у вас — снисхождення к слабому моему дару и безмолвного виимания, потому что я как-то всегда спутываюсь, когда у меия перебивают речь.

Все движеиием голов подалн зиак согласия; н вот, сколько могу припоминть, красиоречнвый рассказ скромного иашего трактирщнка.

Год и пять месяцев тому иазад Эрнст Герман, этот молодой человек (тут он указал на статного иемчика), возвратился сюда, окончa курс иаук в Гейдельбергском уииверситете[16]. Вы видите дочь мою Минну (тут ои указал иа белокуреиькую иемочку): ие в похвальбу ей и себе, ум ее и сердце иичем ие уступят смазливеиькому личику. После матери своей осталась оиа иа моих руках по седьмому году. Я сам старался ее образовать, платил за иее старому школьиому учителю, наставлял ее всем добродетелям, особливо порядку н домоводству; а чтобы позиакомить ее с светом и доставнть ей прнятное развлечеиие, покупал ей все выходившие тогда ромаиы Августа Лафоитеиа[17]. Вы, верно, догадываетесь, в чем вся сила? Гермаи полюбнл Минну, Мнина полюбила Гермаиа; оба оин не смели открыться друг другу, ие только мне или кому бы то ни было; а мие самому, со всею моею догадливостью, и в голову того не прнходнло. Дело прошлое, а сказать правду, когда старый кистер, дядя Германа и школьиый иаш учитель, пришел ко мне сватать Мииину за своего племянника, обещаясь уступить ему свое место,— меня это взорвало. «Как! — думал я да, кажется, и говорил в забытье с досады,— дочь моя, Вильгельмина Штауф, отрасль знаменитого рода Гогеиштауфеи н самая богатая невеста в здешием местечке, будет жеиою бедиого Эриста Германа, у которого вся иадежда иа скудиое учительское место его дяди!» — Короче, я отказал наотрез; выдержал пыл и представлеиия старика кистера, видел, как Эрист бродил по улицам, повеся голову, подмечал иногда две-три слезиики на голубых глазах Миины — н оставался иепреклоиеи. Слушал длиииые увещания соседа Нессельзамме н поучеиия иашего пастора о гордости н тщете богатств — н оставался иепреклонен. Так прошло несколько месяцев. Минна, нз румяной

и веселой, сделалась бледною и грустлнвою; Эрнст похудел, как нспитой, н поглядывал из-под шляпы на наши окна, как полоумный. «Ннчего,— думал я,— время все сгладнт и залечит!» Тогда мне и не грезилось, какой конец будет делу.

Между тем, по моему расчету, приближалось роковое двестнлетие, когда тень Гогенштауфена является одному из его потомков, для устроения фамильных дел. Сколько мне известно, здесь, поблизости от замка, налнцо нз всего потомства мужеского пола был только я. Часто говарнвал я об этом с соседом Нессельзамме, и всегда меня мучнло какое-то темное предчувствие. Сосед всякий раз наводил речь на то, чтобы, какова не мера[18], если Гогенштауфен на меня обратнт свое вниманне, выполннть все, чего он потребует, н не раздражать грозного предка отказом нли нзменением его повелений. Я совершенно соглашался с мненнем соседа и с страхом и надеждою ждал призывного часа.

В одну ночь — это было ровно за три дни до известного вам срока — лег я в постелю раньше обыкновенного, чтоб успокоить волнуемые ожнданием мои чувства. Ночная моя лампада бросала с камнна слабый, тусклый свет. Стенные часы пробили полночь, н я, кажется, начннал дремать. Вдруг — я не спал еще, мнлостивые государн, клянусь, что не спал,— вдруг дверь в моей комнате тихо н без скрыпа сама собою отворилась... Я приподнял голову с подушкн... Не вздохнул лн кто нз вас, мнлостнвые государи? не шумнт ли ветер?.. Меня всегда обдает холодным пóтом, когда вспомню про тогдашние свои приключения. Однако ж я не трус, милостивые государи, я не трус в решительные минуты, н вы скоро это увндите.

Видали ль вы, почтенные мон слушателн, тень отца Гамлетова? Я ее видел в Лейпциге на ярморке; сосед Нессельзамме тоже видел. Помнишь ли, сосед, сколько раз я с тобою спорил, что мертвецы и тенн нменно так ходят: ступят одною ногою н после тнхо и с расстановкой приволокут к ней другую, как в менуэте? Ты смеялся тогда и не хотел мне вернть. Точно так, шаг за шагом, вошел ко мне черный рыцарь, в черных доспехах с черными перьямн; из-за черной решетки его шлема торчали курчавые, черные бакенбарды, нн дать ни взять как у моего *гауз-кнехта*, Казнмнра Жартовского. Да и ростом привндение, кажется, было с него, немного разве пошире в плечах н потолще. В левой руке держало оно огромный

черный меч; в правой, которую протягивало ко мне, как телеграф[19], — был сверток пергамена, перевязанный черною лентою и запечатанный черною печатью. Видя, что я не тороплюсь принять от него сверток, привидение уронило его на пол, потом медленно опустило руку свою в черной перчатке, медленно протянуло указательный палец, как будто приказывая, чтоб я поднял это чудное послание. И когда глаза мои, как заколдованные взглядом василиска[20], следовали за указательным его пальцем и остановились на пергамене,— привидение вдруг исчезло, и дверь сама собою захлопнулась.

Не скажу, чтоб я сильно испугался, потому что я не кричал и не упал в обморок; однако ж, признаться, мне было жутко: меня то холод пронимал до костей, то бросало в такой жар, что на дыхании моем можно б было изжарить фазана; дух захватило и голосу не стало. Так провел я, без сна и почти в оцепенении, всю ночь до самого рассвета. Утром я поуспокоился; тут вспомнил о пергамене и наклонился, чтобы поднять его; но в глазах у меня двоилось, словно у пьяного: я то не дотягивал руки до свертка, то перетягивал ее через сверток; когда ж удавалось мне до него дотронуться, то руку мою всякий раз отталкивало, как будто б я брался за раскаленное железо. Долго я возился с свертком; наконец ухватился за него, и пальцы мои с судорожным движением к нему прильнули. Собравшись с силой, я сорвал черную ленту и печать, развернул пергамен... в нем было написано красными чернилами, и чуть ли не кровью; но долго, долго писаные строки сливались в глазах моих в одни кровавые полосы, а когда начал вглядываться в буквы — они, казалось, перескакивали то вверх, то вниз, то двигались, как живые. Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание, написанное самым старинным почерком, но четкими и крупными буквами:

«Потомку моему в двадцать девятом колене, Иоганну Готлибу Корнелиусу Штауфу из рода Гогенштауфен, я, Георг фон Гогенштауфен, рыцарь и барон, желаю здравия и свидетельствую почтение.

Чрез три дни, в час по полуночи, явись в нагорный замок, без проводника и фонаря, для получения моих приказаний. Податель сего, бывший мой оруженосец Ганс, будет тебя ожидать у ворот замка и введет куда следует. Пребываю нежно тебя любящий...»

Под этимн строками подписано было размашистою рукою: «Георг фон Гогенштауфен», а виизу письма: «Дано на путн моем в воздушном пространстве, на пределах обнтаемого мира». Далее год и число.

Посудите, каков был прнказ с того света? Ступай на свндание с мерт... с тенью, хотел я сказать! Но делать было нечего; отказаться нельзя; а еслн б я и подумал не выполннть прнказа, то кто знает, сколько у грозного моего предка запасных средств, и пожаров, и болезней, н смертиых случаев? да когда б и сам он вздумал навестить меия, то уж бы не пошутил за неявку. Тоска залегла мне на сердце: я бродил, как нераскаяиный грешиик, уныл и мрачен; отказался от хлеба, а за пиво и браитвейн[21] и взяться не смел. В местечке у нас пошли на мой счет шушукаиья: однн говорилн, что я обаикрутнлся и что скоро дом н вся рухлядь пойдут у меия с молотка; другне — что у меня на душе страшиое злодейство и что какой-то прнзрак с пламенными глазами и оскаленными зубами помниутно меня преследует; ниые — что я рехиулся ума или, по крайней мере, у меня белая горячка. Этих мыслей, кажется, была н Миина: она все плакала и грустнла, призывала даже доктора; но я его не принял и отправил его баночки и скляночкн нз окна на мостовую. Так прошло двое суток; наступили роковые третьи. С самого утра заперся я в своей комнате и не пускал к себе нн души; прнготовился ко всему, как долг велнт доброму н исправному человеку; написал даже духовную, в которой завещал Минне все мое имение н заклииал ее поддерживать честь нашего рода и славу трактнра Золотого Солнца. Соседу Нессельзамме отказывал на память мон очкн н дюжнну доброго рейнвейна, а старому кнстеру бутылку самых лучшнх голлаидских чернил. В такнх хлопотах я н не заметнл, как наступил вечер. Вот тут-то стало мне тяжело! Каждый *чик* маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук гробового молота, а звонкнй бой часов слышался мне похоронною музыкой; каждый час налегал мне на грудь, как новый слой могильной землн. Наконец пробило и двенадцать. Все в доме стнхло; нигде ии свечки; на мое счастье, месяц взошел и был полон и светел, как щеки соседа Нессельзамме под веселый час. Я иачал одеваться в самое лучшее праздничное свое платье, взбил волосы тупеем[22], перевнл косу новою черною лентою и, посмотревшись в зеркало, вндел, что могу явиться на поклон

к почтенному моему предку в довольно приличном виде. Это меня ободрило. Пробил и час. Быстро пробежал у меня мороз по жилам, но я не лишился бодрости; пошел к замку и в мыслях приготовлял речь, которую хотел произнести к тени славного Георга фон Гогенштауфена.

Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка; месяц светил так, что можно б было искать булавок по тропинке; тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу; совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу все страшное. Я шел, скрепя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать и ощупывая наперед бамбуковою своею тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка или, лучше сказать, к тому месту, где они когда-то стояли; там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, черного латника; он отсалютовал мне черным мечом и пошел передо мною. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою лампою, которую нес мой проводник; ноги мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдергивал и шел далее; мне что-то шептало: «Надейся и страшись!»,— и я с полною доверенностию к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы остановились у одной двери, за которою слышны были многие голоса; черный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь: она отворилась, мы вошли... и здесь-то я увидел, когда, опомнившись, мог видеть и понимать.

Посередине стоял стол, покрытый черным сукном; за столом, на старинных, позолоченных креслах, сидел Гогенштауфен, в собственном своем виде. Он, по наружности, казался бодр и свеж, даже дороден; но смертная бледность и что-то могильное, которое как белая пыль осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нем были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране; борода длинная и мягкая, как лен: эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колена. Только серые глаза его бегали и сверкали как живые. На нем была белая фланелевая мантия особенного покроя: шлейф от нее лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта роковая книга[23], в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными скобками. По

обе стороны его, на помосте, что-то пылало в двух больших черных вазах и разливало бледный, синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем дале я всматривался в лицо старого Георга, тем больше находил в чертах его что-то знакомое... и, как хочешь спорь, друг Нессельзамме, а я все-таки не отступлюсь, что между предком моим и тобою есть какое-то сходство... Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее; а есть что-то... Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение

— Полно, полно! — подхватил пивовар, покусывая себе губы с какою-то принужденною ужимкою,— тебе так показалось... Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств... словом, тебе так показалось.

— Ну, как тебе угодно, а я все на том стою. Да полно об этом: мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я по всему вижу, что тебе крайне нелюбо сходство с выходцем из того света.

Во все то время как я его рассматривал, старый Гогенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерением давал мне досуг оправиться от страха и удивления: ему хотелось, чтоб я с свежею по возможности головою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза с книги, оборотил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное:

— Иоган Готлиб Корнелиус, потомок заглохшей отрасли рода Гогенштауфен! Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов тени минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твое поколение. Внемли приговор их и мой: у тебя одна дочь; с нею потомство твое должно перейти в род посторонний; но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это — Эрнст Герман. Он, как и ты, отрасль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя свое всем племенам германцев, тот Герман, которого полудикие завоеватели, римляне, своевольно в летописях переименовали Арминием[24]. Не стыдись и не презирай бедности Эрнста Германа: я его усыновил; потомству его, чрез несколько колен, предопределены судьбы славные. Обилие и слава будут его уде-

лом, и Золотое Солнце воссияет лучами непомрачаемыми. Прощай! время мне отправиться в путь далекий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой.

Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы; когда же встал, то ни его, ни книги уже не было; пламя в вазах погасло, и надо мною стоял черный латник с своею лампою. Он подал мне знак идти за ним; мы вышли из-под сводов; он остановился на том самом месте, где я нашел его при входе в замок, указал мне дорогу черным мечом своим — и вдруг мелькнул куда-то, так что я больше его уже не взвидел. Одинок пошел я по тропинке. Голова у меня кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное видение... словом, все это вместе было причиною, что я без памяти упал на половине дороги...

Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постеле, в своей комнате. Минна сидела у моего изголовья и плакала; Эрнст Герман стоял передо мною с скляночкой лекарства и ложкою; старик кистер поддерживал мне голову, а доктор наш, Агриппа Грaберман, щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронною рожей. Сосед Нессельзамме печально сидел сложа руки на моих креслах и о чем-то думал; а Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я оборотился к Минне, улыбнулся, взял ее за руку, сделал знак Эрнсту, чтоб и он подал мне свою руку,— сложил их руки вместе и слабо проговорил: «Соединяю и благословляю вас, дети!» — «Это все бред!» — подхватил доктор.— «Сам ты бредишь, г-н приспешник латинской кухни»,— отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую радость! Минна, Эрнст, старик кистер, сосед Нессельзамме, Казимир Жартовский — все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Граберман оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка еще не миновалась.

Остальное доскажу вам в коротких словах. Сосед Нессельзамме, вышед рано из дому за каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей, и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Минну, они положили

11 Зак. 480

меня тихонько в моей комнате, потому что второпях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и, рад случаю, начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Минна мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георге фон Гогенштауфене, о черном латнике, о ней самой, об Эрнсте Германе, и, не знаю по какому странному смешению понятий, о соседе Нессельзамме и о Казимире Жартовском. Я скоро оправился от болезни и скоро пировал свадьбу Минны с Эрнстом Германом, которого принял к себе в дом как сына и наследника. Вот уже восемь месяцев, как мы живем вместе, счастливы и довольны своим состоянием и благословляем память и попечения о нас великого Георга фон Гогенштауфена.

Трактирщик кончил свой рассказ. Минна и Эрнст Герман взглянули на нас такими глазами, в которых можно было прочесть сомнения их насчет чудной повести и желание знать, как мы ее растолкуем? Но ни я, ни товарищ мой, по данному от меня знаку, не показали на лицах своих ничего, кроме удивления; словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару: он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетавший из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна взошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок...

— И теперь гроза утихла,— сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы.— Половина одиннадцатого: пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам.

Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи.

— А что ж ваши сны, которые так вас тревожили ночью? — спросил у путешественника любопытный провинциал.

— Сны мои были, как и все сны,— отвечал он,— смесь всякой небылицы с тем, что я видел и слышал.

— Что же вам говорил о трактирщиковом видении поляк, когда провожал вас к замку?

— Он притворился, будто ничего не знает и всему верит.

В это время слуга вошел сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.

Примечание

Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. Чтобы не отстать от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещенную здесь повесть, и о том, сколько в ней правды и неправды.

В 1820 году, проезжая чрез Гельнгаузен, нашел я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за девять гульденов продается в нем: *За́мок Фридерика Барбароссы, близь Гельнгаузена, исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена.* Я тогда же записал это, и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком местоположении, какое описано мною в повести. Поляк *гауз-кнехт*, говорящий по-русски и на разных других языках, есть также лицо невымышленное. Не знаю, так ли точно честолюбив хозяин трактира Золотого Солнца; но знаю, что общая страсть всех путешественников — прикрашивать свои рассказы: и мой не вовсе свободен от этой страсти.

Что касается до тени Гогенштауфена, то я в отношении к ней не слишком придерживался *исторической истины* Шписовой, а — винюсь — выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы насчет ее существующее. Таким образом, она не перестает у меня посещать здешний мир, и не в начале каждого столетия, а через двести лет. Оставляю на выбор, верить Шпису или моему трактирщику.

Кикимора

(рассказ русского крестьянина на большой дороге)

— Вот видите ли, батюшка барии, было тому давио, я еще бегивал босиком, да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что иа коиу ии стоит, все как рукой сииму...

— Ты беспрестаиио отбиваешься от своего рассказа, любезиый Фаддей! Держись одиого, ие припутывай иичего сторонииего, или, чтобы тебе было поиятиее: правь по большой дороге, ие сворачивай иа сторону и ие режь колесами иовой тропы по целику и пашие.

— Виноват, батюшка барии!.. Ну, дружией, голубчики, с горки иа горку: барии даст иа водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барии?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мие обещаешь что-то рассказать о *Кикиморе*[1], а до сих пор мы еще ие дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барии; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, ие больио велик, годов о двеиадцати. Жил тогда в иашем селе старый крестьяиин, Паикрат Паителеев, с жеиою, тоже старухою, Марфою Емельяиовою. Жили оии как у Бога за печкой, всего было довольио: лошадей, коров и овец — видимо-иевидимо; а разиой рухляди да богатели[2] и с сором ие выметешь. Двор у иих был как город: две избы со светелками иа улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы иа обывателей целого приселка. И то правда, что у иих своя семья была большая: двое сыиовей, да трое виуков жеиатых, да двое внуков подростков, да малеиькая виучка, любимица бабушки, которая ее иежила, холила да лелеяла, так что и синь-пороху ие даст, бывало, пасть иа иее. Все шло им в руку; а все крестьяие в селеиии готовы были за иих положить любой перст иа уголья, что ии за стариками, ии за молодыми иикакого худа ие важивалось. Вся семья была добрая и к Богу прибежиая, хаживала в церковь Божию, говела по дважды в год, работала, что иазывается, изо всех жил, иаделяла иищую братию и помогала в иужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа Бога за его Божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору; а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно, как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты, как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Варниной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена, как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? — Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки, превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою урод-

ливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длииным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменио сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо ее, то кошка умильно иа иее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длиниую, мохиатую свою лапу с страшными железиыми когтями, которые как серпы высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря иа величиину и уродливость этой кошки, оиа вовсе ие боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручоику и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодиа как лед.

Старики ахиули и смекиули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя ие видели от иее иикакого зла, а все только доброе, одиако же как люди набожные ие хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память! Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как иельзя лучше и иикогда ие требовал за них лишиего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при иедостатках; каждое воскресеиье и каждый праздиик просто и внятио говаривал ои проповеди и иаучал прихожаи своих, как быть добрыми христиаиами, хорошими домоводцами, исправио платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвеииый и крестьяи уговаривал отходить подальше от кабака, словио от огия. Одно в ием было худо: человек ои был учеиый, зиал миого и все толковал по-своему.

— А разве крестьяне ему ие верили?

— Ну, верили, да ие во всем, батюшка барин. Бывало расскажут ему, что ведьма в белом саваие доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотия, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодице, летает по иочам огиеииый змей; а батька Савелий бывало и смеется, и учнет толковать, что огиеииый змей — ие змей, а... ие припомию, как ои величал его: что-то похоже иа *мухамор*[3]; что это-де воздушиые огни, а ие сила иечистая; иапротив-де того, эти огии очищают воздух: иу, словом, разиые такие затеи, что и в голову ие лезет. Это и взорвет прихожан; оии и твердят между собою: батька-де иаш от ученья ума рехиулся.

— Глупы же были ваши крестьяие, друг Фаддей!

— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как вашей милости угодно,— проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин,— промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего.— Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они, будто бы, сдуру верили, что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед Богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству *Вот-он* Иванович[4], а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в барском доме, называл его еще *господин фон-барон.* Этот *фон-барон* был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят

глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих; о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет бывало рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у *Вот-он* Ивановича было *много в носу;* что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки[5]. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда *Вот-он* Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую[6], и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру, как тут, все явилось. Пошли с докладом к *Вот-он* Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большой кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом[7]; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот, как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с саха-

ром,— н разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как иачал кричать на каком-то иеведомом языке,— ну, хоть святых вои несн! велел подать четыре сковороды с горячимн угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то иад бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стеиы, ломаться да коверкаться, кричать нзо всей силы, ннда у всех волосы дыбом сталн. Так ои прииимался до трех раз; после сказал, что все иашептаиные сиадобья должно выиесть из дому в новой скатертн и иикогда иичего этого ие виосить сиова в дом; что с иими-де выиесется из дому Кнкимора; велел подать скатерть, положил в иее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлеиием от Кикиморы и поиес скатерть с собою, шатаясь с боку иа бок, иадобио думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше ие оставалась в доме Паикратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло иаоборот. Видио, что колдовство иашего фон-барона было ие в добрый час, или ои кудесник только курам иа смех, или просто хотел иадуть добрых людей н полакомиться иа чужой счет; только вышло, как я вам сказал, иаоборот. Доселе Кикнмора делала только добро: холила ребеика и пряла иа хозяйку, иикто ее за тем ии видал, ии слыхал; а с этих пор, видио, ее раздразнили шептаиьем да колдовством: оиа стала по иочам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит иа потолке, словио вся нзба рушится; то впотьмах подкатится клубом комулибо нз семьяи под иоги и собьет его, как овсяиый сиоп; то, когда все усиут, ходит по нзбе, урчит, ревет н сопит, как медвежонок; то середь иочи запрыгает по полу сииими огоиьками... Словом, что ночь, то иовые проказы, то иовый испуг для семьи. Одиу только маленькую Варю оиа и ие трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете иаходили, что ребеиок спал головою вииз, а иогами иа подушках.

Так билась бедиая семья круглый год. В одии деиь пришла к ним в дом старушка инщая, вся в лохмотьях, н лицо у иее сжалось и сморщилось, словио сушеиая груша или прошлогодиее яблоко от морозу. Тетка Емельяиовиа, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила иаделять иищую братию. Посадила оиа

Божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить Бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные християне, что господь Бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово».— «Ох! так-то нездорово, что и не приведи Бог! — отвечала тетка Марфа.— Посадили к нам, знать недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает».— «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только Богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет».— «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна.— Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому».— «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» — «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал.— Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес,— отвечала ему старуха нищая,— не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: ,,Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!'' Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет».— Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с Богом.

В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду

столкнет с полок, то навалится на кого в ночи н давит, то лапти все соберет в кучу и прнплетет нх одни к другнм бичевками так плотио, что их сам бес не распутает; то хлебиое зерно перетаскает нз сушнла на ледник, а лед из ледиика на сушило. В последиий день н того хуже: целое утро даже ие было никому покою. Весь домашиий скарб был переворочен вверх диом, н во всем доме не осталось ии кринкн, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что малеиькая Варя, которая играла на дворе,— остановнлась середи двора, размахиув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровлн, бросилась к стеие, иачала карабкаться на нее как котенок, взобралась иа самый гребеиь кровли и стала, сложа ручоики, словно к смерти приговореиная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрелн на малютку, когда оиа, подняв глаза к иебу, стояла как вкопаииая иа самой верхушке, бледна как полотио, и духу ие переводила. Судите же, батюшка барии, каково было ее родиым видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ией не было нн дыхаиия, нн жизии; тело было холодно как лед и закостенело; ин кровиики в лице и по всем составам; а иикакого пятиа нли ушиба заметно ие было. Старуха бабушка с воем поиесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и билнсь над нею; а старик Паикрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб нм доле ие терпеть от дьявольского наваждеиия. Велел виукам поскорее запрягать дровии, как им заказывала иищая, и подвезти к сеиям; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назиачениого часа. На старика и виуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверии[8] кирпичей и мелкие камеиья; а жеищии в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшиое урчаиье и мяукаиье, словио со всего света кошки сбежались под одиу крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одиа к другой, сжались около тела малеиькой Вари и дух притаили. Так прошло ие ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвоиили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работииков сзывали к обеду. Паителеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать, да твердить

заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да Бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ощетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

— Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, поло-

жила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

— Вестимо, так!

— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще бывало и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так, она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся история твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня Бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадь, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

Киевские ведьмы

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска Малороссийского Тарас Трясила после знаменитой *Тарасовой ночи,* в которую он разбил высокомерного Конецпольского[1], выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оныя и от коварных *подножков*[а] польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство[2] их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому Христову Воскресению... Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременяясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии[3] оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами, он вытаскивал у себя из *кишени*[б] целую горсть *дукатов,* а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и *крамарей*[в]; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было от чего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, креп-

---

[а] *Подножек* (пидножок) — раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий[4] писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого вернійі холоп и найннжший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкій». (Здесь и далее буквами обозначены примечания О. М. Сомова — *Ред.*)

[б] *Кишень* — карман.

[в] *Крамарь* — мелочный торговец красным товаром.

кое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и *завзятость*[а] хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

Перекупки[б] на Печерске и на Подоле[в] знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по *базару*. Они ждали этого, как ворон крови, потому что Федор Блискавка, из казацкого молодечества, расталкивал у них лотки с *кнышами, сластенами* либо *черешнями*[г] и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего *завзятого?* — говорила одна из подольских перекупок своей соседке.— Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка.— Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка.— Девчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и ста́тью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех *парубков*. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой греби.

— Все это так,— подхватила первая,— только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка,— заметила вторая.— Сосед Панчоха сам однажды видел своими гла-

---

[а] *Завзятость* — удальство, молодечество.

[б] *Перекупка* — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п.— Перекупками называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе.

[в] *Печерск и Подол* — части города Киева.

[г] *Кныши* — род саек; *сластены* — оладьи. *Черешни* — небольшие сливы, похожие на французские mirabelles и очень сладкие.

зами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая.— Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была *ярчук*[a], и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи Бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрым видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих.— Толковали бы вы про себя, а не про других,— продолжала она отрывисто и сердито,— у вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись; ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к *кагалу*[б] киевских ведьм.

Нашлись однако же добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва[5] и присягнул в том, что мать ее точно ведьма — и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка

---

[a] *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их.

[б] *Кагал* — синагога или сборище.

не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его, среди самых сладостных излияний супружеской нежности, вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто Божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякий раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто не просто: более никакого признания не мог он от ней добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть, как дитя, и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи; но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякий раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу,— неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды, в такую ночь под исход месяца, Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-

помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотамн н не прнмечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на *приспе*[a], вероятно, думала, что броснли ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась иад узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сиом. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но, чтобы совершеино убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим н храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лнцо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половнны глаза н следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса страиные, дикие для слуха слова. Внимаиие Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь попрежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; иаконец раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какою-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не доставало у него ни иа что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвра-

[a] *Приспа* — завалнна, земляная насыпь вокруг хаты.

тительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражалась в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом, это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтоб отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время попрежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что́ должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою

же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный каменьями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы[a], осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев, и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в составах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и сло-

[a] *Чертов палец* — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Оно имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь.

во: «Лети, лети, лети!»,— то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи Бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное, как уголь, и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки, кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан-жид сидел на корточках перед цимбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечной своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде[6], целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных, как гриб, ведьм водила *журавля*[а], приплясывая, стуча *гоцки*[б] сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы, верхом на

[а] *Журавель* — малороссийская пляска, род длинного польского, только гораздо живее; танцуется попарно.

[б] *Гоцки* — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу

метлах, лопатах и ухватах, чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польский с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на *веселье*[а], плясали *горлицу* и *метелицу*[б] с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в *дудочке*[в] с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и *сопелок*[г], пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было так, что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою Ланцюжиху с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую *бубликами*[д] на подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой[е]; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева, и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов

[а] *Веселье* (висилье) — свадьба, свадебный пир.

[б] *Горлица* и *метелица* — малороссийские пляски; танцуются кадрилью.

[в] *Дудочка* — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной.

[г] *Сопелка* — дудка, свирель.

[д] *Бублики* — калачи или крендели.

[е] *Дзыга* — волчок или юла, игрушка.

пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним как юла. Федор в гневе и ревности хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался, как внезапный порыв бури, густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках — и покрыл собою все: и звон гудков и цимбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цимбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Високи скокі
В сорокі,
Низки поклони
В ворони[а],—

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка.— Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные *весельные* песни на своем мерзостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей *пекельной*[б] головне в глотку: тогда бы, небось, позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

[а] Свадебная песня.— Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка.

[б] *Пекельный* — адский. *Пекло* — ад, от глагола *пеку, печь* (по-малороссийски: *пекти*)

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» — В минуту всё всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то,— думал казак,— настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя *намитку*[7], накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство! — думал он.— Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть».— То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально.— Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастие!.

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением.— Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор,— подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза.— Послушай! Не я вино-

вата, мать моя всему внною: она неволей отвела меня иа шабаш, иеволей обрекла в ведьмы н вымучила нз меня страшную клятву... Мие было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матерн: ведьмы и все их проклятые обряды, н все их проклятые повадки былн мие как острый иож, а от одиой мыслн про шабаш мутило у меия иа душе. Суди же, каковы оии были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я как душу, как свое спасенье иа том свете... Не раз хотела я отшатиуться от шабаша, не бывать иа ием; только под нсход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меия мучила тоска несказаниая. Ты сам зиаешь, каково мие тогда бывало... Не приведи Бог и татарииу того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ии отмаливалась — иичто ие помогало! Все мие и дием, н иочью кто-то иадувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный деиь — какая-то невидимая сила так и тяиула меия туда назло моей воле. Когда же я прилетала иа Лысую гору, там меия словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщииы, сама себя ие помннла что́ делала, и ие могла не делать того, что другие... Как Бога с иебес, ждала я страстиой иедели: тогда кинулась бы я в иоги чериецам Божьим и упросила бы нх, чтобы заперли меня на все последиие трн дня в пещерах[8], до самой воскресиой заутреии, и отмолили бы от меия бесовское иаваждение... Теперь это поздио! Ты, милый муж мой, сокол мой ясиый! ты сам погубил и меия и себя и иавеки затворил от меия двери райские...

— Так живи же с своимн *родичами*[a], лешими да русалкамн, коли запал тебе след туда, где веселятся души христиаиские!.. Сгиинь отсюда! оставь меия...

— Не властиа я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятнях и, так сказать, приросши к иему.— Я тебе сказала, что иа мие лежит страшиая клятва... В силу этой клятвы, кто бы ии был из блнзких иам: муж ли, брат ли, отец ли... Кто бы ии был тот, кто подсмотрит наши обряды — ио мы должиы... ох! тяжело сказать!.. должиы высоеать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мие тошио жить на свете! Что мие в жизин?.. Одиа мне пригляиулась, стала моей

[a] *Родич* — родня, родственник.

женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости... и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...— Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.— Об одном только прошу тебя,— продолжала она.— Погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукой искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем как Федор истаявал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!..— отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видал на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а наместо его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и оттого она просветлела.

В.П.Титов



Уединенный домик на Васильевском

Повесть

Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова[1], тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров[2] и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова,— все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад[3], когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням

утро за работою; после обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею[4] и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин.— Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила по привычке свои повседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Все это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — Бог знает, чего не придумает злоречие.

Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербург. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — все призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть просится в душе, в виде раскаяния

или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой? Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея[5], часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее,— именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим вопросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело,— думал Павел,— какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу... ни в ад!» — прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.

Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою,— сказал он себе,— в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня, может быть...» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей

навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда.

— А я к тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали.— Хотел звать тебя, где третьего дня были.

— Мне сегодня некогда,— сухо отвечал Павел.

— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! Пойдем.

— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы,— сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.

— Да! да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?

— А мне почему знать? я не крестил ее!

— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета и всех, кто со мной запанибрата.

— Тем для тебя лучше, однако...

— Однако не в том дело,— прервал Варфоломей,— я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.

— Ей-ей не могу,— отвечал Павел с неудовольствием,— они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.

— Послушай, Павел,— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие.— Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.

— Так! — отвечал Павел в смущении,— но теперь не могу исполнить этого, ибо... ибо знаю, что тебе там будет скучно.

— Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.

Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Слушай, ты мне друг! Но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна, как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?

— Вот нашел присяжного волокиту,— прервал Варфоломей с каким-то адским смехом.— И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? Честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной

рассориться. Вези меня с собою или — давай левую.

Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его, и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений — и согласился.

Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма Божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезаным в душу. Но не любовною силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движения; и на его челе, видимо спокойном, Галль[6], верно, заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.

Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно, ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! Да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения.— «А вот что»,— отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного

сожителя, которые почитала Богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она, дрожа, перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа, верно, продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост[7] и им придется ночевать на вольном воздухе.

Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение сего времени Варфоломей все более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забывала понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.

Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренним, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза: «Ты знаешь, я не люблю лести,— говорил Варфоломей,— но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на Вере...» (при сих словах Варфоломей остановился на

минуту, как будто забывшись) «...ты думаешь на ней жениться,— продолжал он,— и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь.— Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет? Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И...; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».

Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным: ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали несколько пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? Его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчи-

вого Павла? Страсти загорелись в ием; ои все употребил, чтобы снискать благоволеиие красавицы, и после повтореииых посещеиий заметил, что оиа ие равнодушна к его стараииям. Какое открытие для пламеииого юиоши! Павел ие видал земли под собою, ои уже мечтал... Но случилась иеприятиость, которая разрушила все его отважиые воздушиые замки. Одиажды, будучи в довольио миоголюдиом обществе у графиии, ои увидел, что оиа в сторопе говорит тихо с одиим мужчииою; иадобио заметить, что этот молодец щеголял иепомериым образом и, несмотря иа все стараиия, не мог, одиако, скрыть телесного иедостатка, за который Павел с Варфоломеем заочио ему дали прозваиье косоиогого; любопытство, ревиость заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчииа произносит его имя, шутит иад его дуриым фраицузским выговором, а графиия изволит отвечать иа это усмешками. Наш юиоша взбесился, хотел тут же броситься и иаказать иасмешника, но удержался при мысли, что это подвергиет его иовому, всеобщему посмеяиию. Ои тот же час оставил беседу, ие говоря ии слова, и поклялся ввек ие видеть графиию.

Растревожеииый в душе, ои опять вспомиил о давио покииутой им Вере, как грешиик среди бездиы разврата вспомииает о пути спасеиия. Но иа этот раз ои ие нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяииом господствовал в доме и того, кто ввел его туда за иесколько месяцев, прииимал уже, как гостя посторои-иего. Старуха была больна, и ие на шутку. Вера казалась в страшиых суетах и развлечеиии; Павла приняла оиа с иеобычайиою холодностию и, заиимаясь им, сколько иеобходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служаикою, ухаживала за больиою и иередко призывала Варфоломея к себе иа помощь.— Все это, разумеется, было страиио и досаждало Павлу, иа которого теперь, как иа бедиого Макара, валилась одна иеудача за другою. Ои хотел было затеять объясиеиие, но побоялся растревожить больиую старуху и Веру, без того уже расстроеииую болезнию матери. Оставалось одно средство — объясииться с Варфоломеем. Прииияв такое решеиие, Павел, извиияясь головною болью, отклаиялся иемиого спустя после обеда и, ие удержаииый иикем, уехал, иамекиув Варфоломею с иекоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро.

Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчаст-

ный Павел ожндал на другой день своего бывшего друга н настоящего соперника, должно понять все разлнчные страстн, которые в то время боролись в душе его и, как хнщные птнцы, словно хотелн разорвать между собою свою жертву. Он поклялся забыть навеки графнню н между тем в сердце пылал любовню к нзменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любнл ее любовию братскою, дорожнл добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки Кто же был внновннк всех этнх напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мненню, так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как н в душе его! «Бездельник,— думал он,— воспользуется непогодою, он избежнт моей правднвой местн; он лншнт меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавнжу!»

Но в то время, как Павел мучнлся сомнением, отворилась дверь, и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствнем, с какнм статуя Командора[8] прнходит на ужнн к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре прнняло выраженне более человеческое; он прнблизился к Павлу и сказал ему с вндом сострадательной прнязнн: «Ты на себя не похож, друг мой; что причнною твоей горестн? Открой мне свое сердце».

— Я тебе не друг! — закрнчал Павел, отскочнв от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазамн, налнтыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства душн,— может быть, н несправедлнво разгневанной.

Варфоломей выслушал его с какнм-то обндным равнодушнем н потом сказал:

— Речь твоя дерзка и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю: ты молод н цены еще не знаешь ни словам, нн людям. Не так говорнл ты со мной бывало, когда без моей помощн прнходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь все это забыто, потому что холодный прнем девушки раздражнл твою самолюбнвую душонку. Изволнт пропадать по целым месяцам, творнт неведомо с кем неведомо какне проказы, а я за него терпн и не ходн, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходнть к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть

и другне прнчнны: не стаиу таить нх — знай, Вера влюблена в меия.

— Лжешь, негодяй! — восклнкнул Павел в нсступлеиии.— Может ли аигел любить дьявола?

— Тебе простительио не верить,— отвечал Варфоломей с усмешкою,— природа меня ие изукрасила наравне с тобою; зато ты и плеияешь зиатных барыиь, и плеияешь навеки, постояиио, неизменчиво.

Этой насмешки Павел ие мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействнн к его разладу с графииею. Он в яростн кииулся иа сопернника, хотел убнть его на месте; ио в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у иего дух заиялся, и удар, без всякой боли, иа миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя у противиой стены комиаты, дверь была затвореиа, Варфоломея ие было, н, как будто из просоиок, ои вспомииал последиие слова его: «Потнше, молодой человек, ты *не с своим братом* связался».

Павел дрожал от ужаса н гиева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел ндти к старухе н обиаружить ей и Вере все прежнне проказы нзменника; вспоминал об очаровательиой графнне, хотел то заколоть ее, то объясииться с иею, не измеияя прежнему решенню: последиее согласнть, конечио, было трудио. Грудь его стесиилась; он, как полуумный, выбежал во двор, чувствуя в себе призиакн воспалительной горячки; бледиый, в беспорядке, рыскал он по улицам н, верно, нашел бы развязку всем сомиеииям в глубокой Неве, если б оиа, к счастию, не была закутаиа в то время ледяиою своей шубою.

Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильиее уязвить его мииутным роздыхом в несчастиях, ои, воротясь домой, был встречеи иеожнданиым исполнением главного своего желаиня. В прихожей дожндал его богато одетый слуга графиии И., который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает н чнтает следующие слова, иачертаииые слншком ему зиакомою рукою графини:

«Злые люди хотели поссорить иас; я все зиаю, если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадання, придите в таком-то часу вечером. Вечио твоя И.».

Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магнческие строкн, забыл н дружбу Веры, н неприязнь Варфо-

ломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает он в восторге,— это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. „Твоя — вечно твоя", пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих руках».

В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были,— говорит графиня, оборачиваясь к юноше,— замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их стрелами».— «Недостает сердец»,— отвечал Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной,— продолжает графиня,— есть новые уборы»,— и вставая с кресел: «Не хотите ли,— говорит она,— заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очаровательную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья[9], расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделабров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов басословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы[10]— доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая ампли-

фикация[11]: итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей ее наставил, и прочее, и прочее.— Павел, хотя ему казались странными сведения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя при этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому вприбавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и тихое дрожащее рукопожатие, с тихим шепотом: «Завтра в 11 часов ночи, на заднее крыльцо»,— громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его.

Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите,— сказал один графине, запыхавшись от гнева,— я даром проигрываю несколько сот душ, а он...» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей»,— прервала она с важностью. «Да, да... я виноват... я ошибся»,— отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил все мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благо-

уханным летиим небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но ие успевал ои налюбоваться ими, как зарождалось черное пятно иа темном западе и, растянувшись в длиииого облачного змея, пожирало звездочки.— Всякий раз, когда такое видеиие прерывало сои Павла, встревожеииая мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; ио через несколько времеии чериые глаза снова одерживали верх, покуда иовый ужас ие прерывал мечты пленительиой. Несмотря на все это, Павел, проспавши до полудия, встал веселее, чем когдаинбудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркиуться, как он уже бродил вокруг дома графиии; ие прииимали иикого, ие зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальием углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная»,— думал про себя Павел, и зараиее душа его утопала в иаслаждении.

Протяжио пробило одиииадцать часов на Думской башие, и Павел, любовью окрыленый... Но здесь я прерву картиму свою и, в подражаиие лучшим классическим и романтическим писателям древиего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собствеииым запасом вооображеиия. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство... как вдруг постучались тихоиько у двери кабииета; графиия в смущении отворяет; довереииая горничиая входит с докладом, что на задиее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господииа. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что иезиакомый ушел сию мииуту.— Он возвращается к любезиой: «Ничто с тобой ие разлучит меия»,— говорит ои страстио. Но вот стучатся снова, и горничиая входит с повтореиием прежиего.— «Пошлите к черту иезиакомца,— кричит Павел, топнув иогою,— или я убью его»; выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестиице во двор,— но там иичто не колыхиется и лишь только сиег безмолвио валит хлопьями иа землю. Павел браиит слуг; запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеииее прежнего к встревоженной графиие; но прошло несколько мииут, и стучатся в третий раз, еще сильиее, продолжительиее. «Нет, полио! — закричал ои вие себя от ярости,— я доберусь, что тут за привидеиие; это какаянибудь шутка».— Вбегая в прихожую, ои видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою

дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?» — кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок, и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька! — кричит он,— вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского[12] неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли, естественно, на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666[13], число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты *не с своим братом* связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся

страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — все сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха.

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другою слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин,— говорил он,— недаром докладывал я вашей милости, что не бывает добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? Что это с вами сделалось?» — Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки.— «Бедный Павел Иванович! — думал про себя дядька.— Господь его помилуй, он верно ума лишился»,— и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; все подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием.— Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, Бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился.

Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! еще несчастие! — сказал Павел, подходя к ней,— не мучь меня, голубушка; все скорее выскажи».— «Барыня приказала долго жить,—

отвечала старушка,— а барышне Бог весть долго ли жить осталось». «Как? Вера? что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного»[14].— «В доме священника? зачем?» — «Бога ради, одевайтесь, все после узнаете».— Павел окутался, и поскакали на Васильевский.

Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла немного надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; а там, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу, и прочее, и прочее. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою: зрение и память час от часу тупели. В Варфоломее не заметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед Богом,— думала девица,— не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя бедный не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава,— гово-

рнла она себе,— когда чего не хочет н скажешь ему: Варфоломей, Бога ради, это сделайте,— он задрожнт и побледнеет. Но,— продолжала Вера, мнзннцем стнрая со щекн слезинку,— ведь я сама не ангел; у всякого свой крест н свон порокн: я буду нсправлять его, а он меня».

Тут прнходилн ей иа ум иовые сомнення: «Он, кажется, богат; честиыми лн он средствамн добыл себе деньги? Но это я выспрошу, ведь он меия любит». Так утешала себя добрая, невнннная Вера; а старухе между тем все хуже да хуже. Вера сообщила свой страх Варфоломею, спрашнвала даже, не нужно ли прнзвать духовннка; но он горячился н сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушкн? Это лучшнй способ. Болезнь ее опасиа, но еще не отчаяииа. Что ее поддерживает? Надежда нсцелиться. А прнзовем попа, так отиимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайиый голос душн, ио в этот день,— н заметьте, это было на другой день рокового свндаиия Павла с прелестною графнией,— опасиость слишком ясно поразнла вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклниаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяння: Бог знает, прожнвет ли она до завтра»,— и упала на стул, залнваясь слезамн. Что происходило тогда в Варфоломее? Глаза его каталнсь, иа лбу проступал пот, ои силнлся что-то сказать и не мог выговорнть. «Девичье малодушие,— пробормотал он напоследок.— Ты ничему не верншь... вы, сударыня, не верите моему знаиню меднцины... Постойте... у меня есть знакомый врач, который больше меия зиает... жаль, далеко живет он». Тут ои схватнл руку девнцы и, подведя ее стремнтельно к окиу, показал на иебо, не поднимая глаз своих: «Смотрнте; там еще ие явнтся первая звезда, как я буду назад, н тогда решнмся; обещаете ли только не звать духовинка до моего прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох нз спальней.—«Спешите,— закрнчала Вера, бросаясь к дверям ее, потом оборотнлась, взглянула еще раз с умиленнем грустн неописаииой иа вкопаииого н, махиув ему рукою, повторила:— Спешите, ради меня, радн Бога».— Варфоломей скрылся.

Мало-помалу зимннй небосклон окутывался тучамн, а в больной жнзнь н тление выступалн впоследнне на смертный поеднпок. Снег начииал падать; порывы лету-

чего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах, и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и не мудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды нет?» — прошептала Вера.— «Мало,— сказал он глухим голосом;— я был у врача; далеко живет он, много знает...» — «Да что же говорит он, Бога ради?» — «Что до того нужды?.. за попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже... туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние.

Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети,— сказала она слабо;— неужто я так хвора? Вера! что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во все время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.

Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью: «Все кончено!» Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! — Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! это воля твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь,—

воскликнул он страстно,— я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю»,— отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее: «Клянись,— говорил он,— клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке: «Варфоломей, Варфоломей,— сказала она с робкою нежностию,— забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме Божием нас благословит...» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это все пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти».— «Бог защитник невинных»,— закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием.— Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так,— возразил он, кусая себе губы,— если так... мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною».— «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри»,— отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукой неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею.— Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскресит Бог! И ты исчезни, окаянный»,— вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти.

В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплес-

нуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату с криком: «Пожар, пожар!» — Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас Бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника[15].

Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место,

где стоял он, ие зиаю почему, до снх пор остается незастроеииым. Престарелая служаика, прн пособии благочнниного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с иею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случнлся столь иечаяиио и все обстоятельства оного были так страииы, что полицня иашла нужным о причннах его учнинть подробиое исследование. Но как подозреиие ие могло падать иа старую служаику, а еще менее на Веру, то зажигателем ясио оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явиым и тайным образом ие только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасио: ие иашли н следов его, что было тем более удивительно, что зимою иет судоходства н, следствеино, ему иикакой ие было возможиости тихонько отплыть на иностраином корабле в чужие края. Неизвестио, до чего могло бы довести долгое исследоваиие; ио благочииный, любя Веру душевио и ие зная, до какой глубииы могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумио употребил свое влияиие, дабы потушнть дело и не дать ему большой гласиости.

Таким образом Павел, за которым послали иа третий день, узиав от старухи дорогою, что было ей известио из цепн несчастиых приключений, нашел юиую свою родствеииицу больиую в жилище отца Иоаниа. Гостеприимное семейство прнгласило его остаться там до ее выздоровлеиия. Ветреиый молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, н сокровеиые их причииы оставались в таком ужасиом мраке, что сие произвело действие иеизгладнмое иа его воображеиие и характер. Он остепеиился и иередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таииствеиной графнии, н буйные веселия юностн, сопряжеииые с такними пагубиыми последствнями. Одно его молеиие к небу состояло в том, чтобы Вера нсцелнлась н он мог служить для иее образцом вериого супруга. В минуты уединеииого свидаиия ои решался предлагать ей сни мысли; ио оиа, впрочем, оказывая ему сестриму доверчивость, с иеизмеиной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел,— говорила оиа,— а я отцвела мой век; скоро примет меия могнла, н там Бог мнлосердый, может быть, пошлет мие прощеиие и спокойствие».— Эта мысль ии иа час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайиое убежденне, что она своею слабостью допустнла злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто зиает? — и в будущей

жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.

Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы[16], не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее»,— сказал он отрывисто и через неделю просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок.— «После этого,— говорил Лаврентий,— я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».

Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?


И.В.Киреевский

Опал

(Волшебная сказка)

Царь Нурредин шестнадцати лет взошел на престол сирийский. Это было в то время, когда, по свидетельству Ариоста[1], дух рыцарства подчинил все народы одним законам чести и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте.

Царь Нурредин не без славы носил корону царскую; он окружил ее блеском войны и побед и гром оружия сирийского разнес далеко за пределы отечественные. В битвах и на поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных,— везде меч Нурредина оставлял глубокие следы его счастия и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати храбрых[2], и многие из знаменитых сподвижников Карла носили на бесстрашной груди своей повесть о подвигах Нурsrединовых, начертанную четкими рубцами сквозь их прорубленные брони.

Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество и честь; но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбка красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания.

Несмотря на то, однако, раз случилось, что Сирия была в мире со всеми соседями, когда Оригелл, царь катайский[3], представил мечу Нурредина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира.

Выступая в поход, Нурредин поклялся головою и честью перед народом и войском до тех пор не видать стен дамасских, покуда весь Катай не покорится его скиптру и сам Оригелл не отплатит своею головою за обиды,

им нанесенные.— Никогда еще Нурредин не клялся понапрасну.

Через месяц все области катайские, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Побежденный Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада.

Не находя средств к спасению, Оригелл стал просить мира, уступая победителю половину своего царства. Нурредин отвечал, что с врагами не делится,— и осада продолжается.

Войско Оригеллово ежедневно убывает числом и упадает духом; запасы приходят к концу; Нурредин не сдается на самые униженные просьбы.

Уныние овладело царем катайским; всякий день положение Оригелла становится хуже; всякий день Нурредин приобретает новую выгоду. В отчаяньи катайский царь предложил Нурредину все свое царство катайское, все свои владения индейские, все права, все титлы, с тем только, чтобы ему позволено было вывести с собою свои сокровища, своих жен, детей и любимцев. Нурредин оставался неумолимым,— и осада продолжается.

Наконец, видя неизбежность своей погибели, Оригелл уступал все — и сокровища, и любимцев, и детей, и жен — и просил только о жизни. Нурредин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение.

Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на все, катайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению: чародейство.

В его осажденной столице стоял огромный, старинный дворец, который уже более века оставался пустым, потому что некогда в нем совершено было ужасное злодеяние — столь ужасное, что даже и повесть об нем исчезла из памяти людей; ибо кто знал ее, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать. Оттого преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось, и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошел Оригелл, утешая себя мыслию, что хуже того, что будет, не будет.

Посреди дворца нашел он площадку; посреди площадки стояла палатка с золотою шишечкой; посреди палатки была лестница с живыми перильцами; лестница привела его к подземному ходу; подземный ход вывел его на гладкое поле, окруженное непроходимым лесом; посреди поля

стояла хижина; посреди хижины сидел дервиш и читал Черную Книгу[4]. Оригелл рассказал ему свое положение и просил о помощи.

Дервиш раскрыл Книгу Небес и нашел в ней, под какою звездою Нурредин родился, и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли.

Отыскав место звезды на небе, дервиш стал отыскивать ее место в судьбах небесных и для того раскрыл другую книгу — Книгу Волшебных Знаков, где на черной странице явился перед ним огненный круг: много звезд блестело в кругу и на окружности, иные внутри, другие по краям; Нуррединова звезда стояла в самом центре огненного круга.

Увидев это, колдун задумался и потом обратился к Оригеллу с следующими словами: «Горе тебе, царь катайский, ибо непобедим твой враг, и никакие чары не могут преодолеть его счастия; счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполниться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!

— Однако,— продолжал дервиш,— я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить слова непостижимые; тогда мог бы я погубить его.

Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы нашелся в мире такой старик, который пропел бы ему такую песню, которая бы унесла его за тридевять земель в тридесятое государство, куда звезды садятся.

Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место, с горами — с пригорками, с лесами — с долинами, с реками — с ущельями,— такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нурредин, засмотревшись на него, позабыл, хотя на минуту, обыкновенные заботы текущего дня.

Тогда мои чары могли бы на него действовать.

Но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни и нет такого места в природе. Потому Нурредин погибнуть не может.

А тебе, катайский царь, спасенья нет и в чародействах».

При этих словах чернокнижника отчаянье Оригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины дервиша, когда последний удержал его следующими словами: «Погоди еще, царь катайский! Еще есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звезду Нурредину? Высоко, кажется, стоит она на небе; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдут еще выше. Я сорву звезду с неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее в искорку; я запру ее в темницу крепкую — и спасу тебя; но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую».

Оригелл согласился на все. Трынь-трава закурилась, знак начерчен на земле, слово произнесено, и обряд совершился.

В эту ночь — войска отдыхали и в городе и в стане, часовые молча ходили взад и вперед и медленно перекликались — вдруг какая-то звездочка сорвалась с неба и падает, падает — по темному своду, за темный лес; часовые остановились: звезда пропала — куда? неизвестно; только там, где она падала, струилась еще светлая дорожка, и то на минуту; опять на небе темно и тихо; часовые опять пошли своею указною дорогою.

Наутро оруженосец вошел в палатку Нурредина: «Государь! Какой-то монах с горы Араратской просит видеть светлое лицо твое; он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе».

— Впусти его!

— Чего хочешь ты от меня, святой отец?

— Государь! Шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звездах и книгах испытуя премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца: будущее ясно глазам моим; судьба людей и народов открыта передо мною!..

— Монах! Чего хочешь ты от меня?

— Государь! Я принес тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. Если ты наденешь его на мизинец левой руки и вглядишься в блеск этого камня, то в нем предстанет тебе твое счастие; но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет тогда зависеть твоя участь, великий государь...

— Старик,— прервал его Нурредин,— если все сокро-

венное открыто перед тобой, то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? — Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба Нурредина и без твоего перстня у него в руках, что счастие его заключено в мече его. Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии,— смотри, как блещет это железо — и как умеет оно наказывать обманщиков!..

При этом слове Нурредин схватил свой меч; но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскою, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошел в ставку Нурредина.

— Государь! Монах, который сейчас вышел от тебя, возвращался опять. Он велел мне вручить тебе этот перстень и просить тебя собственными глазами удостовериться в истине его слов.

— Где он? Приведи его сюда!

— Оставя мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придет завтра.

— Хорошо. Оставь перстень здесь и когда придет монах, пусти его ко мне.

Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте просто, тускло отливал радужные краски[5].

«Неужели судьба моя в этом камне? — думал Нурредин.— Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик!..» И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нем что-нибудь необыкновенное.

И в самом деле, в облачно-небесном цвете этого перстня был какой-то особенный блеск, которого Нурредин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала, и при каждом движении руки разгоралась все ярче и ярче.

Чем более Нурредин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонек и тем прозрачнее делался камень. Вот огонек остановился яркою звездочкой глубоко внутри опала, которого туманный блеск разливался внутри нее, как воздух вечернего неба, слегка подернутого легкими облаками.

В этом легком тумане, в этой светлой, далекой звездочке было что-то неодолимо привлекательное для царя сирийского; не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но, забыв на это время и войну и Оригелла, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который, то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, вырастал и приближался все больше и больше.

Чем внимательнее Нурредин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручик перстня превратился в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но как будто еще веселее и не так ослепительно.

Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее; это солнце — все больше и больше; вот оно выросло огромнее надземного, еще ярче, еще торжественнее, и хотя ослепительно, но все ненаглядно и привлекательно. Быстро катилось оно ближе и ближе, или, лучше сказать, Нурредин не знал, солнце ли приближается к нему, или он летит к солнцу.

Вот новое явление поражает его напряженные чувства: из-под катящегося солнца исходит глухой и неявственный гул, как бы рев далекого ветра или как стон умолкающих колоколов, и чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нурредина может ясно распознать в нем различные звуки: будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь; будто тысячи разных голосов различно строятся в одно созвучие — те умирая, те рождаясь, и все повинуясь одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармонии.

Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нурредина. В первый раз испытал он, что́ такое восторг. Как будто сердце его, дотоле немое, пораженное голосом звезды своей, вдруг обрело и слух и язык, так, как звонкий металл, в первый раз вынесенный на свет рукою искусства, при встрече с другим металлом потрясается до глубины своего состава и звенит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку, Нурредин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится.

Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба; все горело сиянием; воздух стал жарок, и душен, и ослепителен; музыка превратилась

в оглушительный гром;— но вот пламя исчезло, замолклн звукн, и немое солнце утратнло лучн свон, хотя еще не переставало расти н приближаться, светя холодным сияннем восходящего месяца. Но, беспрестанио бледнея, скоро н это сияние затмилось; солнце прннял о внд землн, и вот — долетело... ударило... перевериулось... и — где земля? где перстеиь?.. Нурреднн, сам ие ведая как, очутился иа иовой планете.

Здесь все было странно и иевиданио[6]: горы, насыпаиные нз граненых бриллиантов, огромные утесы нз чнстого серебра, украшениые самородиыми рельефамн, нзящнымн статуями, правильиымн колониами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительиые беседки из разиоцветиых крнсталлов. Там роща, н прохладиая теиь ее нсполнена самого иежиого, самого упоительного благоухания. Там бьет фонтан вином кнпучим и яркнм. Там светлая река тихо плескается о зелеиые берега свои, но в этом плескаиье, в этом говоре волн есть что-то разумиое, что-то понятиое без слов, какой-то мудреный рассказ о несбыточном, но бывалом, какая-то сказка волшебная н заманчнвая. Вместо ветра здесь веяла музыка, вместо солнца здесь светнл сам воздух. Вместо облаков летали прозрачиые образы богов и людей, как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-ннбудь велнкого мастера, оии, легкие, вздымались до неба н, плавая в стройных двнжеииях, купались в воздухе.

Долго сирийский царь ходил в сладком раздумье по иовому миру, и нн взор его, ни слух ин на миниуту не отдыхали от беспрестаииого упоеиия. Но посреди окружавших его прелестей иевольио в душу его теснилась мысль другая: он со вздохом вспомниал о той музыке, которую, прнблнжаясь, нздавала звезда его; он полюбил эту музыку так, как будто оиа была ие голос, а живое создание, существо с душою н с образом; тоска по ней мешалась в каждое его чувство, и услышать сиова те чарующне звуки стало теперь его едииственным, болезиеииым желаиием.

Между тем в глубнне зеленого леса открылся перед ннм блестящий дворец, чудесио слитый из остаиовлеииого дыма. Дворец, казалось, струился, н волиовался, и переливался, н, несмотря иа то, стоял неподвижно и твердо в одном положеиии. Прозрачные колоииы жемчужиого цвета былн увиты светлымн гнрляндамн нз розовых облаков. Дымчатый портнк возвышался стройно н радуж-

но, красуясь грацией самых строгих пропорций; огромный свод казался круглым каскадом, который падал во все стороны светлою дугою, без рекн н без брызгов: все во дворце было живо, все играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоянно свои стройные формы. Крепко забилось сердце Нуррединново, когда он приблизился ко дворцу: предчувствие какого-то неиспытанного счастия занимало дух и томило грудь его. Вдруг растворились легкие двери, и в одежде нз солнечных лучей, в венце из яркнх звезд, опоясанная радугой, вышла дéвица.

«Это она!» — воскликнул сирийскнй царь. Нурредин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не видно было ее лица, но по гибкому ее стану, по ее грациозным движениям и стройной поступи разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта дéвица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце.

Едва увидела дéвица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею.

Чем ближе он к ней, тем шибче бежит дéвица, и тем более царь ускоряет свой бег.

Грация во всех ее двнженнях; волосы развеялись по плечам, быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие, стройные следы; но вот уже царь недалеко от нее, вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан,— она мимо, быстро, быстро... как будто грация обратилась в молнию; легко, красиво... как будто молния обернулась в грацию.

Дéвица нсчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно нскал он ее во дворце и по садам: нигде не было и следов дéвицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: зачем прншел ты сюда?

— Клянусь красотою здешнего мнра,— отвечал Нурреднн,— что я не с тем прншел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная дéвица, если только ты выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое.

— Как пришел ты сюда? — повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, какнм образом достался ему перстень, и едва он кончнл, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же дéвица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке.

Перстень был на его руке, а перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь! — сказал он Нурредину.— Покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна».

Суровый, разгневанный взор был ответом министру; нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки.

Битва кончилась. Катайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и дéвица. Теперь она была с ним смелее, хотя не хотела еще поднять своего покрывала.

Катайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их, но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже не много помогала его рука, бывало неодолимая. Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне и посреди боя оставался равнодушным его зрителем[7] и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу, и клятву: первый послал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своем чертоге и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления.

Почти все время проводил Нурредин на звезде, близ дéвицы; но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало, и той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими,— и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не от того, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти.

Между тем министры Нурредиповы думали более о сво-

ей выгоде, чем о пользе государства. Снрия изнемогала от иеустройств н беззакоиий. Слугн слуг мнннстровых утеснялн граждаи, почестн сыпались на богатых, бедные страдали, иародом овладело уиыние, а соседи смеялись.

Жизнь Нурредииова на звезде была середииою между сновидением н действительиостию. Ясиость мыслей, связность н свежесть впечатлеиий могли прннадлежать только жизии иаяву, но волшебство предметов, но иепрерывиое упоение чувств, ио музыкальиость сердечных движеиий и мечтательность всего окружающего[8] уподоблялн жизнь его более сиовидеиию, чем действнтельиости. Дéвица Музыка казалась также слияиием двух мнров. Душевное выраженне ее лица, беспрестаино нзмеияясь, было всегда согласно с мыслями Нурреднна, так что красота ее представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражеиием ее душн. Голос ее был между звуком и чувством: слушая его, Нурредии ие знал, точно ли слышит ои музыку, илн все тнхо, н он только воображает ее? В каждом слове ее иаходил ои что-то новое для душн, а все вместе было ему каким-то счастливым воспомиианнем чего-то дожнзнениого[9]. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так, как выраженне лнца ее следовало всегда за его чувствами; а между тем все, что оиа говорила, беспрестанио возвышало его прежние понятия, так,как красота ее беспрестаиио уднвляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки; или смотрелн на синее сяние волшебного неба; нли, отдыхая на волнистых диваиах облачиого дворца, старались собрать в определеииые слова все рассеяиное в их жнзни; илн, разостлав свое покрывало, дéвица обращала его в ковер-самолет, н оин вместе взлеталн на воздух н купались и плавали среди красивых облаков; или, подиявшись высоко, они отдавались иа волю случайного ветра н неслнсь быстро по беспредельному пространству и уноснлнсь, куда взор ие дойдет, куда мысль ие достигиет, н летели, и летели — так, что дух замирал...

Но положенне Снрнн беспрестанно стаиовилось хуже, н тем опасиее, что в целой Азнн совершилнсь тогда страшиые перевороты. Древнне грады рушились; огромиые царства колебались н падали, новые возникали насильствеиио; иароды двнгались с мест своих, иеизвестные племеиа набегали иензвестно откуда, пределов ие стало

между государствами, никто не верил завтрашнему дню, каждый дрожал за текущую минуту, один Нурредин не заботился ни о чем. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам, одна область отпадала за другою, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую погибель.

— Дéвица! — сказал однажды Нурредин дéвице Музыке.— Поцелуй меня!

— Я не могу,— отвечала дéвица,— если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести и красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть однако средство исполнить твое желание, не теряя красоты моей... оно зависит от тебя... послушай: если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя.

— Но как же без перстня приду я к тебе?

— Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе,— сказала дéвица Музыка, и, одной рукой снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста ее коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешел на руку дéвицы, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с дéвицей, и Нурредин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца.

Долго ждал он обещанного прихода дéвицы Музыки, но в этот день она не пришла, ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать араратского отшельника — уже и последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы — ни в одном из них не нашел он звезды своей.

«Для каждого человека есть одна звезда,— говорили ему волхвы[10],— ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!»

Тоска овладела царем сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить ее в студеных волнах своего златопесчаного Бардинеза[11], если бы только вместе с жизнию не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений — грустного, темного наслаждения: *вспоминать* про свое солнышко!

Между тем тот же Оригелл, который недавно трепетал меча Нурреднова, теперь сам осаждал его столнцу. Скоро стены дамасские былн разрушены, катайское войско вломилось в царскнй дворец, и вся Сирия, вместе с царем своим, подпала под власть катайского императора.

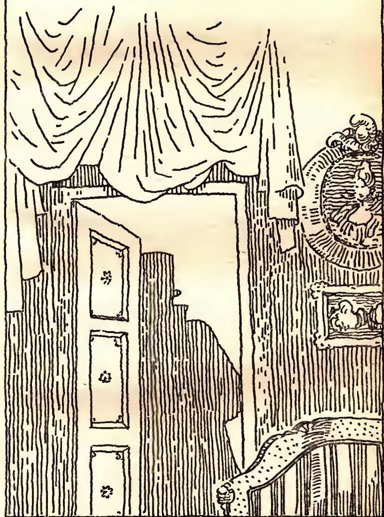
— Вот пример коловратности счастия,— говорил Оригелл, указывая полководцам своим на окованного Нурредина.— Теперь он раб и вместе с свободою утратнл весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель,— продолжал он, обращаясь к царю сирийскому,— однако я не могу отказать тебе в сожалении, вндя в несчастии твоем могущество судьбы еще более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне, чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более? Который нз дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле!

— Благодарю тебя, государь! — отвечал Нурредин,— но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властию, богатством н славою, умел я быть и снльным, н славным, и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать нх, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завндуют люди. Суета все блага земли! Суета все, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее нстннно, тем более суета! Обман все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это — мечта.

30 декабря 1830[12]

Москва.

Н.А.Мельгунов



Кто же он?

Повесть

Is not this something more than fantasy?
What think you of it?

Hamlet. I. 1*[1].

(Посвящается А. С. Хомякову[2])

I

Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима, но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости, миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети. Исчезло мало-помалу то невольное самоотвержение, с каким забываешь о себе после великой потери и живешь одною памятью об оной. Но и в этой памяти разве не проглядывает чувство эгоизма, которое следует за всякой несбывшейся надеждой?

Однажды, спустя около года после кончины друга, я прихожу в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали,

* Не является ли это чем-то большим, нежели игра воображения? Как вы об этом думаете?

Гамлет. I. 1 *(англ.)*

как тени в фантасмагории[3]. Но вот двери отворяются настежь: молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит через залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда ему прямо в лицо... то был покойный друг мой!

Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово — и не мог, хотел кинуться в его объятия — и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко; слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимание, как и при входе.

«Нет! Это не друг мой,— сказал я в суеверном недоумении.— Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня, в толпе людей? Духи любят мрак и уединение... Но ведь он жилец света; чего же ему страшиться людей, своих бывших собратий?»

Мои расспросы о незнакомце были на этот раз напрасны: никто из присутствовавших не знал даже его имени и никогда не видал его в сем месте. Любопытство мое возрастало, но я должен был отложить свои разыскания до другого времени.

II

Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем сижу я в театре. Подле меня одно кресло оставалось долго незанятым. Я положил на него шляпу и равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на средину сцены Гюллень и Ришард[4], и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них и не чувствовал, что порожнее кресло было уже занято, и что шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась; я взглянул на него: то был человек лет тридцати, в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одною сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою поднял я свою шляпу и, отряхая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтоб за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не приметил.

— Как хороша! — воскликнул он наконец довольно громко.

— Кто? — спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы.

— Эта декорация,— отвечал он хладнокровно.

Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки оного поразили меня: то был голос покойного друга! Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако взоры мои невольно обратились к ложе с знакомыми дамами. Между ними была девушка лет осьмнадцати, бледная и задумчивая; казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились, что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова, и я стал поверенным ее сердечных тайн. Она любила юношу со всею искренностию первой девственной любви и при жизни его не смела в том ему сознаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного.

Я взглянул на девушку; взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее замешательства, я обратился к соседу.

— Как находите вы балет? — спросил я у него.

— По слухам я ожидал лучшего,— отвечал он пленительным своим голосом,— впрочем, он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика?

— Ришард; разве вы видите его в первый раз?

— Я приехал сюда недавно, после тридцатилетнего отсутствия.

— И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве?

— Извините,— отвечал незнакомец с важностию,— я уже долго живу на свете.

— Вам угодно смеяться надо мною,— сказал я с некоторой досадой,— судя по лицу, я не дал бы вам и тридцати лет.

— Право? А слыхали ль вы о графе Сен-Жермень[5]?

— Что хотите вы сказать?

— «Горацио! Много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает»[6].

— Вижу,— отвечал я с возрастающим неудовольствием,— что вам знаком Шекспир, но далее ничего не вижу.

Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул... Лицо его будто изменилось и помолодело; я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом.

— Бога ради, скажите мне...— воскликнул я, вне себя от удивления.

Незнакомец прервал меня: «Молодой человек,— сказал он вполголоса,— здесь не место говорить об этом». И, надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену.

Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком. Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чадолюбивая мать и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им в публике говорить «я» и пользоваться призраком власти. Она встретила меня кучей вопросов: «Ну, что же наш домашний театр? Вы, верно, будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреич счастливо выбрал „Горе от ума"? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна[7]. Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? Ах, кстати: будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся; моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного графа».

Я спешил прервать ее, однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде.

— Покупать на аукционе я ничего не намерен,— сказал я наконец,— но если вы там будете...

— По крайней мере, для нас приезжайте туда,— прибавила Глафира тихим голосом.

— Ну а роль Чацкого, comment va-t-il?* — спросила у меня Линдина.

— Она, право, выше сил моих,— отвечал я.

---

* Как она идет? *(франц)*.

— Не слушаю вашей отговоркн,— возразила Марья Васнльевна,— завтра вечером репетнцня — н вы нашн. Мой Петр Андренч нграет Фамусова, а Глафнра — Софью: это решено. Кстати, что твон глаза? — прнбавнла она, обратясь к дочери.— Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза — н не бережется. Смотри, не три же нх.

Я знал, отчего красны глаза ее, и что это вовсе не от простуды. Желая прекратнть сей разговор, я обратнлся было опять к ролн Чацкого, как вошел в ложу Петр Андренч с веселым, лучезарным лнцом.

— Сейчас в корндоре я встретил,— сказал он,— одного старого знакомого н сделал важное прнобретение.

— Что такое? Уж не купнл лн подмосковной, которую ты для меня давно торгуешь? — весело спросила Лннднна.

— Нет, душенька, не то: я отыскал отлнчного Чацкого, н еслн только позволнте...

Последнне слова относнлнсь ко мне, н я с радостню готов был уступнть роль свою, но Марья Васнльевна не дала мне отвечать.

— Какого Чацкого? — вскрнчала она.— Разве есть на свете Чацкне?

— Не то, душа моя, ты меня не поннмаешь. Вот в чем дело: когда я служил в Петербурге, тому назад лет тридцать, то был знаком с однннм премнлым человеком, не помню его фамилнн, н как бы ты думала? Представь: сейчас встречаю его — ест мороженое...

— Так что же?

— Как что? Узнаю его с первого взгляда: чудак ннсколько не переменился, между тем как я успел состарнться.

— Да ты, друг мой, не бережешь себя,— возразнла жена с нежным упреком.— Возможно лн? Ездншь каждый день в клуб, какова бы нн была погода, н проснжнваешь там до часу, до двух ночн!

— Полно, полно, mon amour*,— отвечал муж,— вспомнн, что когда бы я не был старнком, то не нграл бы Фамусова. Ха, ха, ха — нашелся! Не правда ли?

— Конечно,— сказал я, улыбаясь,— мы былн бы лишены удовольствня вндеть вас в ролн, но...

— Комплимент, еще не заслуженный,— отвечал довольный Лнндин,— и, в отмщение, я лишаю вас ролн

* Любовь моя *(франц.)*.

Чацкого. Но,— прибавил ои, пожав мие руку,— мы с вами без церемоиии, и вы будете играть Молчалина. Согласны ли?

Я согласился, и Петр Аидреич продолжал:

— Завтра я позиакомлю вас с моим старым прнятелем. Прелюбезиый человек! Несмотря иа свой шестой десяток, ои свеж, как ие зиаю кто, и охотио берет на себя Чацкого. Говорнт, что уже несколько раз играл его.

— Ты, стало быть, все рассказал ему? — спросила жеиа.— Но как же зовут твоего приятеля?

— Он мие иазывал себя, да, право, не помию: что-то вроде «Вышнян», знаю, что иа «ян». Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак! Не смотрнт.

— Не в фиолетовых ли очках? — спросил я.

— Ну да; а разве вы его знаете?

— Нет, но он мой сосед по креслам,— отвечал я в замешательстве.

Лнидин того не прнметнл и собирался ехать в клуб.

— Сей же час зову к себе весь город на представлеине,— говорнл ои,— я введу его в лучшее общество, позиакомлю с нашей публикой... Пусть все толкуют о Чацком Линдина и спрашивают наперерыв: кто такой, кто такой?

— Но сначала, mon ami*, узиай, как его зовут,— заметила Марья Васнльевна.— Да, кстати, смотрн, не засижнвайся в клубе. Ах, постой, постой: что это у тебя на платье? — Сорннка.— Ну, теперь ступай с Богом.

Мы простилнсь до завтра, н я вместе с Лнидиным оставил театр.

III

Утро на аукцноне, вечер на репетнцнн: день, потеряниый для самого себя, но сколько такнх дней в жнзнн!

Дав слово Лиидным занять для иих места, я отправился заранее в дом покойного графа, где назначеи был аукцион. Давно ли в стенах его раздавалнсь кликн веселия? А теперь слышен лишь стук молотка, да прерывистый голос аукционера.

Граф, коему прннадлежали дом и вещн, назначенные теперь к продаже в уплату многочнслеиным кредиторам, был не последнею странностию прошедшего века. Богатый, знатного рода, ои воспитывался н провел свою

* Друг мой *(франц.)*.

молодость в чужих краях. Душою принадлежал он Италии и Франции; к отечеству же своему был привязан только длинной родословною нитью, на нем же порвавшеюся, да десятком тысяч душ, кон успел прожнть или, правильнее, променять на несколько бездушных статуй. Он принадлежал к числу тех любителей и знатоков искусства, которые, проведя полвека в Италнн, вывозят оттуда несколько поддельных оригиналов и антиков[8], оставляют там половину имения и возвращаются в отечество с тем, чтобы остальную половину пропустить сквозь руки менял, скульпторов Кузнецкого моста[9] и рыцарей промышленностн всякого рода. К чести нашего века, эти вельможные знатоки образовательных искусств начинают теперь переводиться; может быть, и не успехи истинного просвещения тому главною причиной, но почему не утешать себя приятною мечтою, что экономическим духом нынешних бар мы обязаны не одной расточительности их отцов, но и благотворному влиянию наук и мнения...

Как бы то ни было, в наше время свекловйца, откупá, многопольная система и прочее заступили место картнн, статуй и антиков. Мне скажут: не так лн мы разоряемся на экономии, как наши деды разорялись на искусствах? Нет, господа! В неудачных попытках свекловичного фабриканта я вижу залог будущих успехов; капиталы, обращенные в humus* новомодным хлебопашцем, еще не совсем потеряны для детей его. Опытность покупается дорого, весьма дорого, однако цена, какою она нам достается, никогда не превышает благодеяний, получаемых от нее самым отдаленным потомством. Но прошу сказать мне, в свою очередь, какую пользу принесли те, кон расточили богатые свои отчины на картинные галереи, на библиотечные редкости, на музеи — единственно для того, чтобы по их смертн, а иногда и при жнзни удары аукционного молота раздробили на мелкне части их огромное, но суетное стяжанне? Пробуднлн ль они вкус к изящным искусствам? Образовали ль они художников? Доставили ль пособия ученым? Или, по крайней мере, завещали ль онн своим согражданам эти памятники тщеславия и вместо того, чтоб оставлять нх жадным и глупым своим наследникам, посвятили ль хотя что-нибудь на общественное употребление? Нет, они не думалн об этом, они не разочли, как дешево могли бы купить благодарность

* Гумус, перегной *(лат.)*.

потомства, которое забыло бы их блудную расточительность и сохранило бы в незлобной памяти одно благое, одно изящное их поступка.

Покойный граф, подобно многим другим, не рассудил за нужное передать потомству имя свое наряду с именем Демидова[10], и его

Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке[11].

Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами[12]. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице, в зале, посреди коей был устроен обширный амфитеатр; зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей, вместо рыцарей и герольдов, восседал начальник аукциона. Перед ним, на длинном и широком столе, возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи, по стенам залы висели картины, огромные фолианты лежали грудами на полу, впереди же аукционера, у большого венецианского окна, стояли два колоссальных порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск и суету мира.

Я не застал уже начала: многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре.

Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно Алкивиада[13], выдавалась рельефом на белом халцедоне[14]. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом.

— Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне,— сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову.— Уговорите батюшку купить его для меня.

Петр Андреич, по любви родительской, скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно, на перстень нашлось множество охотников, но они надбавляли по безделице, и Петр Андреич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молот ударил уже в другой раз: Линдин торжествует, Глафира вне себя от радости. Простосердечная девушка заранее восхищалась своей будущей покупкой, как Бог знает каким счастием. Воображение женщины, окрыленное любовию,

нгрнво н своеиравио: упадет ли роса иа древесиый лнсток и проведет по ием иесколько желтых полосок — ей мнится, что само небо начертало иерукотвореиный образ ее возлюбленного; иарисует ли облако беглый прозрачный снлуэт его, оиа ие сводит глаз с облака; иайдет ли она то же сходство в мелькиувшем лице, иа картиие, иа камие — мечтам ее коица нет, оиа иаслаждается обмаиом, оиа ловит призрак, как будто существеииость.

Лиидин выиул уже бумажиик н хотел отсчитать деньгн, как чей-то голос, будто мие зиакомый, выходнвший из толпы посетителей, разом надбавил иесколько сот рублей...

Зрителн оиемели от удивлеиия; глубокое, продолжительиое молчаиие последовало за страшным вызовом к аукциониому бою. О Глафире и говорить нечего: виезапиый страх овладел ею; бледиая н безмолвиая, оиа устремила иа отца глаза свои, коимн умоляла его ие уступать противнику драгоцеиного ей перстня, ио Лиидин отказывался иадбавлять цеиу и без того уже высокую. Я решился было войтн с дерзким иевидимкою в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи, но кончеио: роковой молот ударил в третий раз...

Вдруг Глафира помертвела н тихо опустнлась мие иа руки... Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизии.

Между тем как мы суетились около иее, незиакомый покупщик расплатился, взял перстень н исчез.

Глафнра опомиилась, и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой, с грустню в сердце. Оно было полно темиого, зловещего предчувствия.

IV

Вечером, приехав к Линдииым, я был поражеи болезненным видом Глафиры н иеобыкиовениою веселостию Петра Аидреича. Ои ие замечал, по-видимому, ни страдаиий дочери, ии скуки гостей н был занят одним Вашиаданом (Петр Аидреич вспомиил наконец нмя своего старого приятеля), который приехал прежде меия и успел уже со всеми позиакомиться. Если бы ие голос его да фиолетовые очки, я ие узиал бы в нем важиого, таииствеииого соседа моего по театру: ои был говорлив, весел, развязеи и иисколько не казался стариком в шестьдесят лет.

Это иовое приобретенне, как выражался Лиидии, утешало его до крайиости; он восхищался зараиее *своим*

Чацким. Причина его восторга была понятна, но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Ужели одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашнадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну, но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости.

— Разве вы почитаете меня больною? — спросила она, в свою очередь.

— Не больною, но расстроенною от давешнего...

Она прервала меня с живостию: «Не договаривайте: в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь, но чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость».

— И будто одну робость? — спросил я испытующим голосом.

— Господа, господа,— провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши,— что же наша репетиция? Все актеры налицо — начнемте.

Глафира поспешно удалилась под предлогом приготовления к репетиции. Дамы и кавалеры, участвовавшие в комедии, последовали за ней в залу, где на скорую руку была устроена сцена из досок и размалеванной холстины.

Наконец, посреди жарких споров и совещаний, в конх громогласное «я» Петра Андреича раздавалось, словно пушечный выстрел во время мелкой оружейной перестрелки, началась репетиция. Уже умолкли звуки моей флейты (читатели припомнят, что я играл Молчалина), Софья окончила уже свою nocturne*, и резвая служанка, в предостережение барышни, давно завела куранты, а Фамусов еще не являлся[15].

— Что же, батюшка? — спросила Глафира у отца своего.

Но батюшка заговорился и позабыл о роли. Однако он скоро опомнился и, понюхав табаку, побежал за кулисы. Смело взошел Петр Андреич на сцену, с удивительным присутствием духа открыл рот и... остановился. Напрасно суфлер шептал ему реплику: Петр Андреич стоял неподвижно. Наконец, вероятно для большего эффекта,

* Ноктюрн *(франц.)*.

он ударил себя по лбу ладонью и поспешно сошел в залу.

— Что с тобою, душа моя? — спросила заботливо Марья Васильевна.

— Вообразите,— отвечал он,— я и позабыл, что в хлопотах и приготовлениях не успел вытвердить роли.

— Прочитайте ее по тетради,— сказал, смеясь, Вашиадаи,— а вперед будьте исправнее.

— Не могу, почтенный друг; теперь я не найдусь, смешан.

— Но кто же сегодня заменит вас? — спросили разом и Скалозуб, и Загорецкий, и Репетилов, и прочие актеры.— Стало быть, мы собрались понапрасну?

— Если вам угодно, господа,— сказал Вашиадан,— то, чтоб не расстроить репетиции, я беру сегодня на себя и роль Чацкого и роль Фамусова: они обе мне знакомы.

— Ах, благодетель мой! — воскликнул Петр Андреич и чуть не задушил в своих объятиях услужливого приятеля.

Многие смеялись над хвастливостию Вашиадана и не верили тому, чтобы можно было сыграть вместе столь противоположные роли, но репетиция разрешила недоумения: игра его превзошла самые взыскательные требования. Вашиадан обладал в высочайшей степени искусством изменять по воле голос, физиономию, приемы: его искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где Фамусов и Чацкий являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле видят два разных лица. В явлении второго действия[16], когда слуга докладывает о приезде Скалозуба, сосредоточенная язвительность и хладнокровие Чацкого и между тем постепенно возрастающие жар и гнев Фамусова, который, заткнув уши, не хочет и слышать молодого вольнодумца, произвели такое действие на восхищенного Петра Андреича, что он, забывшись, начал махать платком и закричал Фамусову: «Да оберитесь — что за бестолковый!»

Эти слова произвели общий смех и на время отвлекли зрителей от чудного актера. Однако в следующих сценах он умел снова обратить на себя одного их внимание. Громкие, непритворные рукоплескания последовали за Протеем[17], когда в конце комедии с криком «Карету мне, карету!» он выбежал в середние двери и, пройдя в одно мгновение чрез кулису, очутился на месте Фамусова перед Софьей, вдруг изменил лицо, приемы и голосом упрека,

недоумения и почти сквозь слезы произнес последние стихи, столь комически довершающие сие оригинальное произведение[18]

Во весь вечер чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменял обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным с стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил двадцать одно приглашение, однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к Петру Андреичу, старому своему приятелю.

V

За исключением роли Фамусова наша комедия шла так хорошо, что не для чего было откладывать представление. Из множества званых Петром Андреичем на сие последнее, малое число избранных удостоилось чести быть приглашенным на главную репетицию, назначенную накануне. Петр Андреич суетился за всех и как хозяин, и как актер. То расставлял он кресла, стулья по чинам будущих гостей и, ходя, твердил роль свою; то приказывал слугам, где вешать лампы, и учил их передвигать декорации, поднимать и опускать занавес; то вдруг, остановясь посреди комнаты, снова, в сотый раз, повторял известный монолог Фамусова:

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем...[19]

— Ах, кстати,— продолжал он, обращаясь к лакеям,— чтоб завтра на вас были новые ливреи с гербовыми воротниками. О, если бы мне удалось сыграть роль свою с толком, с чувством, с расстановкой! Но нет — не держится в памяти.

Ох, род людской! пришло в забвенье![20]

И подлинно, сколько ни учу, ничего не вытвержу. Черт возьми Фамусова, а вместе охоту, на старости лет, тешить собою публику!

Тут с досады бросал ои тетрадь свою об пол, мерил шагамн залу н с шумом гоиял от себя всех, кто ин попадался ему иа глаза.

В такнх-то упражиениях Петр Аидренч провел утро перед главиой репетнцией.

Посмотрнм, чем заинмалась между тем Глафнра в своей комиате. Роль свою оиа зиала твердо, но тем не меиее, выходя в первый раз перед многочнслеииой публикой, оиа робела прн одной мысли, что оробеет. Напрасио уверяла себя, что снисходительные зрнтели постараются не заметить ее ошибок и самые иедостаткн будут превозиосить с похвалою. Но эта притвориая снисходнтельность, эти даровые рукоплескаиня — плата за угощение — еще более смутят ее — так оиа думала. Иной, под личииой снисходительиости н даже, если хотнте, энтузиазма, скрывает в такнх случаях едкую иасмешку, и тогда как губы его пронзиосят лесть, иа уме шевелнтся эпнграмма. Кому случалось быть в положеннн Глафиры, тот помннт, что самоучке-актеру самая похвала может казаться обидою.

И добро бы Глафнра вступала иа сне новое поприще по собственному желаиию. Что же, еслн она это делала лншь в угодиость отцу, из послушання, еслн в то время, как должна была казаться веселою нли, по крайней мере, равиодушною, червь горести точнл грудь ее? А притворство было неизвестиым для иее искусством. Как дорого заплатила бы она, чтобы вместо безжнзненной московской девушкн, какова Софья, представлять иа этот раз Офелию! Тогда бы оиа умела прндать силу н нстиину каждому слову, каждому звуку, выходящему нз уст ее; тогда бы иа просторе разыгралось ее бедиое сердце: оиа дала бы волю своему угнетениому чувству! А теперь, кто разделнт с иею это чувство, кто поймет ее?

Долго предавалась Глафира сим мыслям. Вдруг страшиое воспомииаиие мелькиуло в ее памятн. Между тем как оиа готовнтся иа праздинк, на веселье, мнлый друг ее, тому ровно год, нспускал дух, помышляя о ней! Так, ровно год, как он умер, и с ннм умерлн все ее надежды!

— Прочь,— воскликиула оиа с воплем отчаяння,— прочь это белое платье, этн розы, эти брнллнанты: не хочу я их. Ох, я, бедиая!

Прн сих словах оиа броснлась иа постель, закрыла лицо руками н горько, горько заплакала. К ее счастию, никого ие было в комнате, и она могла дать волю слезам

своим. Нарыдавшись вдоволь, она встала, утерла платком глаза и подошла к туалету. В потаенном ящичке скрыт был портрет ее возлюбленного, снятый с него перед кончиной. Оглядываясь, вынула она из ящичка сие драгоценное изображение, с благоговением приложилась к нему устами и долго не могла оторвать их от оного, потом посмотрела с умилением на незабвенного, еще раз поцеловала его, и ее рука, казалось, не хотела разлучиться с священным для нее предметом. Наконец, по внутреннем борении, она тихо опустила портрет в верный ящик, примолвив трепещущим голосом: «Теперь я спокойна. О, бедный друг мой! Ты лишь *там* узнал, как горячо я люблю тебя... Но нет нужды: клянусь быть твоею и на земле и в небе, твоею навеки».

Тут она взяла черную ленту, лежавшую на ее туалете, и вплела ее в свою косу. «Пусть эта лента,— сказала она,— будет свидетелем моей горести. Я оденусь просто — так и быть, надену белое платье: горесть в сердце, да и прилично ли ее обнаруживать? Однако к головному убору не мешает и отделку того же цвета. „Фи, черное! Вся в черном"— скажут наши. Но чем же другим почту я память супруга?»

Произнеся это слово, Глафира затрепетала. «Супруга? — повторила она,— итак, вся жизнь моя осуждена на одиночество? „*Там* соединишься с ним",— говорит мое сердце. Но *когда*? Что, если я проживу долее бабушки?»

При этой мысли невольная улыбка появилась на устах прелестной девушки, и сие сочетание глубокой грусти с мимолетной веселостию придало лицу ее еще более прелести.

— Что поминаешь ты свою бабушку? — спросила у Глафиры ее мать, вошедшая тихо в комнату.

Та вздрогнула. Она сидела в то время пред туалетом, и голова ее матери мелькнула в зеркале. Ей мнилось, что это тень ее прародительницы. Однако она скоро опомнилась и отвечала:

— Ничего, маменька. Я говорила теперь: что, если проживу так долго, как бабушка? Я не желала бы этого.

— Бог с тобой! Отчего так?

— Что за удовольствие быть и себе и другим в тягость?

— Кто же тебе сказал это, душа моя? Есть ли что почтеннее преклонного человека и приятнее той минуты, когда бываешь окружен детьми и внучатами, в которых

видишь свою надежду и которые напоминают тебе о собственной твоей молодости?

— Но для этого надо иметь детей и внучат,— сказала простодушно Глафира.

— Разумеется: человек создан Богом, чтоб иметь их.

Глафира потупила глаза и не отвечала. Простые слова матери уязвили ее в самое сердце.

«Я поклялась принадлежать *ему* одному и в здешней жизни и в будущей,— подумала она,— мне не иметь ни детей, ни внучат!» Тут она глубоко вздохнула.

— Что с тобою, сердечный мой друг? — спросила Линдина нежным голосом матери.— Бог послал мне добрую дочь, не думаешь ли, что пора бы иметь мне и добрых внучат?

— Нет, маменька.

— Полно скрывать, плутовочка; неужели я не приобрела еще твоей доверенности? Открой мне душу, назови мне своего любезного.

Вместо ответа дочь упала в объятия матери.

— Ты плачешь, душа моя? Перестань, ты смочила мне всю косынку.— Но что это? — вскрикнула она.— К чему на тебе черные ленты? Ты огорчишь этим отца; разве не знаешь, как часто он придирается к мелочам? Нет, сними, сними.

— Не могу, милая маменька! — отвечала глухим голосом Глафира, удушаемая рыданиями.

— Как не можешь? Что это значит? — спросила с сердцем Марья Васильевна.

— Маменька! — тут Глафира прижалась к груди матери сильнее прежнего, и слова замерли на устах ее.

— Вижу, это причуда и истерика. Выпей воды, и чтобы о лентах не было помину!

Глафира повиновалась, выпила воды; ее рыдания уменьшились, и наконец она сказала с твердостию: «Маменька, милая маменька! Теперь не время обнаружить вам мою тайну, но клянусь, вы все узнаете. Только, Бога ради, ни слова батюшке!»

В эту минуту вошел лакей с докладом, что гости приехали к обеду; Линдина поспешила к ним; спустя несколько времени пришла и Глафира.

VI

На ее лице оставались еще признаки недавнего волнения. Но я один мог разгадать причину оного. Проходя мимо меня, она сказала тихо: «Ныне день скорби для нас обоих».

Впрочем, она скрыла свою грусть, как могла, от глаз недальновидных тетушек и дядюшек, которые были заняты вчерашними новостями и сегодняшнею репетицией.

— Что тебе за охота, Петр Андреич,— сказал один пожилой родственник,— выбрать такую вольнодумную пьесу для своего представления?

— А почему же не так? — спросил озадаченный Линдин.

— И это ты у меня спрашиваешь? Прошу покорно! Уже и ты заражен просвещением!

— Что мне до вашего просвещения,— прибавила старая тетушка,— не в том сила: в этой комедии, прости Господи, нет ни христианских нравов, ни приличия!

— А только злая сатира на Москву,— подхватила другая дама, помоложе.— Пусть представляют ее в Петербурге — согласна, но не здесь, где всякий может узнать себя.

— Tant pis pour celui qui s'y reconnait,— сказал какой-то русский литератор в очках.— Да это бы куда ни шло, ça serait même assez piquant*; но какое оскорбление вкуса! Вопреки всем правилам, комедия в четырех действиях! Не говорю уже о том, что она писана вольными стихами; сам Мольер...[21]

— Вольные б стихи ничего,— возразил первый мужчина,— только бы в ней не было вольных мыслей!

— Но почему ж им и не быть? — спросил один молодчик, племянник Линдина.

Почтенный враг вольных мыслей вымерил глазами дерзкого юношу.

— А позвольте спросить, господин умник,— сказал он,— что разумеете вы под этими словами?

— Я разумею,— отвечал, покраснев и заикаясь, наш юный оратор,— я разумею, что вольные мысли позволительны и что без этой свободы говорить, что думаешь...

— Мы избавились бы от многих глупостей? Не то ли хотели вы сказать?

---

* Тем хуже для того, кто себя здесь узнает ⟨...⟩ это было бы даже занятно *(франц.)*.

Сии слова были произнесены нараспев и таким голосом, который обнаруживал сосредоточенную запальчивость и при первом противоречии готов был разразиться громом и молнией.

Линдин спешил отвратить грозу при самом ее начале. Он стал уговаривать старого родственника, чтоб он не горячился и тем не расстраивал своего драгоценного здоровья.

— Слушай, Петр Андреич,— отвечал тот после грозного молчания,— если завтра ты повторишь свое безумство и разыграешь перед публикой эту комедию, то я не я... увидишь!

Тут он сжал зубы, схватил шляпу и вышел поспешно из комнаты.

— Желаю знать, чем кончится эта тревога, но я... я... О! я поставлю на своем,— сказал Линдин в великодушном порыве сердца.— Хотя бы тысяча родственников, а «Горе от ума» будет сыграно.

— Однако...— заметила жена.

— Не слушаю,— ответил муж.

— Но если в самом деле эта пиеса заключает в себе вольные мысли?

— Ну, сократим ее.

— Она сокращена и без нас.

— Ну, в таком случае мы... этак я и не найдусь.

— Всего лучше сократить ее вовсе,— прибавил литератор с улыбкой самодовольствия.

— Bien dit*,— сказала дама помоложе.

— Давно бы так,— воскликнуло несколько старушек.

Линдин был как на иголках. Гордость и неуступчивость боролись в нем со страхом.

— По крайней мере, дайте сыграть ее сегодня, в семье,— сказал он, смягчив голос,— а там... увидим.

Строгие тетушки согласились на капитуляцию, и Линдин оправился от недавнего поражения. В эту минуту Вашиадан вошел в гостиную.

— Непредвиденные обстоятельства,— сказал он после первых приветствий,— заставляют меня оставить Москву ранее предположенного мною срока. Я еду сегодня в ночь, однако, желая, по возможности, облегчить вину свою перед вами и хотя вполовину исполнить обещанное, я оста-

---

* Хорошо сказано *(франц.)*.

внл все свон дела н последиий вечер посвящаю вам: располагайте миою.

Лиидин был вне себя от его любезностн, а еще более от того, что в отъезде своего приятеля иаходил благовидиый предлог к отмене представлеиия, которого теперь столько же страшился, сколько прежде желал нз тщеславня. Правда, тяжело ему было отказаться от своего любимого намереиия — блесиуть пышностню, вкусом и даже, если ие ошибаюсь, своей дочерью,— но еще тяжелее идти протнв общего мнеиня. Так думал Петр Аидреич.

Позвали к обеду. Все пошли попарно н молча. Беседа не была, как прежде, приправлена шутками и остроумнем Вашнадаиа. Сей чудный гость, иеизвестио почему, разделял с прочими то дурное расположеиие духа, которое, как язва, переходит от одного ко всем и простирает иа самых веселых свое губительиое влняние.

Вскоре после стола начались приготовлеиия. Лиидин продолжал твердить роль, ио чем более старался, тем меиее успевал. Наконец ои кииул с досады тетрадь н хорошо сделал. В деиь представлеиия отнюдь ие должио перечитывать ролн, как бы дурио вы нн зналн ее: это совет одного опытиого актера.

Итак, Лиидии, перекрестясь, положился во всем иа крепкую грудь суфлера. Домашиий оркестр, составленный из двух скрыпок н фагота (второпях ие успели послать за другнми ниструментами), заиграл увертюру, и все зрители чиино уселись по местам. С последиим ударом смычка поднялся заиавес, и комедия пошла свонм чередом — разумеется, за нсключеиием Фамусова, который врал без пощады н останавливался иа каждом слове, вслушнваясь в подсказы суфлера.

Одиако первое действие коичилось довольно удачно при общих рукоплесканнях доброхотных зрителей. Лиидин сказал препорядочио свои два стиха:

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

и Марья Васильевна, остававшаяся в партере с гостями, значительно улыбиулась своему мужу.

Началось и второе действие. Фамусов, илн, правильнее, Линдии, довольно твердо выдержал огнеиные сарказмы Чацкого; Скалозуб проговорил басом, и Софья вышла на сцеиу, дабы упасть в обморок. Оиа произноснла уже стих

16 Зак. 480

Ах, Боже мой! Упал, убился!

как вдруг Вашнадан с словами

Кто, кто это?[22]

снял фиолетовые свои очки и устремил глаза на обернувшуюся к нему девушку. Я слышал крик и шум от падения на пол...

Громкие и продолжительные рукоплескания последовали за ее мастерским обмороком, некоторые кричали даже «форо!», но я был за кулисами и видел причину ее беспамятства. Забыв все, выбегаю на сцену и прошу о помощи.

Легко себе представить, какая суматоха поднялась в зале, когда узнали, что обморок Глафиры был вовсе не искусственный. Мать бегала в испуге из комнаты в комнату, спрашивая спиртов, солей; отец не мог опомниться и все еще приписывал этот обморок чрезвычайному искусству дочери; из зрителей иные суетились вместе с Линдиной и еще более ей мешали, а бо́льшая часть разъехалась.

Невольно обратил я глаза на стенные часы, висевшие в зале. Протяжно пробило на них десять.

«Об эту пору, в исходе десятого, скончался возлюбленный Глафиры»,— подумал я и стал искать взорами Вашнадана. Но он исчез, и никто не знал, когда и как оставил дом Линдина.

VII

Внезапный отъезд Вашиадана возбудил во мне сильные подозрения. Правда, обморок Глафиры мог произойти от ее болезненного состояния или от той же обманчивой мечты, которая заставляла и меня несколько раз находить в подвижной физиономии и в голосе сего странного человека сходство с чертами и с голосом покойного друга. Но, с другой стороны, не мог ли поступок быть следствием какого-нибудь обдуманного, злоумышленного плана? И нет ли в его власти скрытных таинственных средств, с помощью коих он приводит этот план в исполнение? Поведение, характер, таланты Вашнадана были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных. Судя же по рассказам Линдина и в особенности чиновников банка,

где он заложил множество бриллиантов и других драгоценных вещей на огромную сумму, то был грек, ремеслом ювелир, или — как иные уверяли — еврей, алхимик, духовидец и чуть-чуть не Вечный жид[23]. Но сия самая неизвестность о его происхождении и занятиях наводила на него еще сильнейшие подозрения. Мне казалось более чем вероятным, что он — наглый и хитрый обманщик, у которого на уме что-то недоброе, хотя и трудно проникнуть в его цели.

В этой уверенности я отправился на следующее утро к Линдиным осведомиться о здоровье Глафиры.

Меня встретила мать. Я спросил ее о дочери: по словам ее, она провела ночь покойно и еще не просыпалась.

— Знаете ли,— примолвила таинственно Марья Васильевна,— знаете ли, отчего, я думаю, больна моя Глафира?

— Отчего?

— Ее сглазили!

Я не мог не улыбнуться при таком объяснении ее болезни.

— Вы смеетесь? — продолжала Линдина с укоризной,— но я совершенно тому верю.

— И я не вовсе отвергаю возможности магнетического действия глаз[24] на людей и животных,— отвечал я.— Между прочим, мне сказывали об одном человеке простого звания, который носил зонтик[25] на глазах единственно из боязни причинить вред своим взором. Но его опасения могли быть ложны; что же касается до Глафиры...

— Ваш пример еще более подтверждает мою догадку. Мне кажется, что Вашиадан носит фиолетовые очки из той же предосторожности. Когда он снял их, Глафира тотчас упала в обморок. Но я умыла ее святой водой и надеюсь, что болезнь пройдет скоро.

Некстати было сообщать ей теперь мои подозрения насчет Вашиадана. Время, полагал я, объяснит загадку; хотя во всяком случае благоразумие требовало бы обходиться осторожнее с двусмысленным приятелем Петра Андреича. Но это его дело, а не мое.

При сем раздумье нас позвали к Глафире. Узнав о моем приезде, она желала меня видеть.

Больная сидела на постели, склоня голову к подушкам. Положение ее руки на лбу показывало, что она старается привесть себе на память случившееся вчера с нею.

Рассказ матери подтвердил ей темное воспоминание.

— Да,— сказала она наконец слабым голосом,— почтн так. О, как это было страшно! Но где батюшка?

— Он поехал в клуб, душа моя,— отвечала мать,— н скоро воротнтся.

— Скоро? Дай-то бог! Пора, давно пора открыть вам тайну этого бедного сердца. Вчерашннй случай заставляет меня поспешить моим прнзнаннем. Не уходите,— прнбавнла она, обратясь ко мне,— вы будете моим земным свндетелем.

Глафнра находнлась в напряженном состояннн духа. Жар ее увелнчнвался, щекн н глаза пылалн. Она продолжала с какой-то невыразимой торжественностию: «Быть может, прнзнанне мое поздно, но, по крайней мере, вы поймете дочь свою; н еслн суждено ей скоро умереть, то она не поиесет во гроб тайны, скрытой от роднтелей. Тогда молитесь за меня н проснте Бога, чтобы ои не лишил вашу дочь той отрады в будущей жизни, которую она напрасно нскала в здешней».

Этн слова пронзвели необычайное действие иа Лиидину. Для ней все было неожнданно, непонятно. Она хотела говорнть н вдруг судорожно схватила руку дочери.

В эту мннуту вошел Петр Андренч. Едва обратил он вниманне на больную и, поцеловав ее в лоб, начал:

— Ну, что, прошло? Я знал, что пройдет. Представь, Marie,— продолжал он гневио,— проказиик-то, иаш родеиька, мало того, что вчера на меня прогневался,— нет, нзволь отправнться в клуб да составь там заговор против моего представлеиня! Хорошо, что болезиь дочерн заставила меня отмеиить его, ие то подумали бы, что я струсил. Нет, братцы, не того я десятка! Что затеял, то н выполню, хоть будьте вы семи пядей во лбу! Виднщь, вздумалн сомневаться в моем верноподдаистве! Куда подъехали! Сегодня вхожу в газетную: сндит князь Иван да...

Лнднна слушала мужа скрепя сердце, но, не предвидя конца его россказням, прервала нх накоиец с видом глубокого негодовання:

— И тебе не совестно,— сказала она,— заниматься этнмн вздорамн, когда дочь твоя на краю гроба!

Сильный удар долбней[26] не пронзвел бы на Петра Андренча большего действня, чем этн слова. Он остался в том же положении, в каком был прн конце своего рассказа: с открытым ртом, с наклоненным туловищем н ру-

ками, опершимися дугою на колена. Чувство родительское восторжествовало над мелким самолюбием.

— Как «на краю гроба?» — возопил он, выйдя из оцепенения.

— Да, и на краю гибели. Слушай признание своей дочери, быть может, преступной дочери!

Глафира величаво поднялась с своей постели.

— Я преступная? — воскликнула она,— Нет, родители! Я чиста, как голубь, непорочна, как агнец. Моя вина лишь в том, что я скрывала от вас свою страсть... Я любила!

— Ты любила! — вскричали отец и мать.

— И потеряла своего возлюбленного,— продолжала Глафира едва внятным голосом.— Вчера ровно год, как он умер.

— А кто тот дерзкий, который осмелился любить тебя без нашего позволения? — спросил сердито отец.

— Не тревожьте его праха,— уныло отвечала дочь.— Вот свидетель, что мой покойный друг до самой своей кончины скрывал от меня любовь свою. Слишком поздно узнала я, какое пламенное чувство он питал ко мне.

— И вы, сударь, знали о том и молчали?

— Он обязал меня клятвою никому не вверять его тайны, кроме вашей дочери. Заветные слова умирающего священны: я исполнил их со всею строгостию долга.

— И ты любила его еще при жизни?

— Да, и еще более люблю его по смерти. Я поклялась — и теперь, пред лицом Бога и перед вами, повторяю свою клятву — я поклялась не принадлежать никому в здешнем мире.

Эти слова, произнесенные с необычайной твердостию, обезоружили гнев отца.

— Но ты не откажешься принадлежать нам? — сказал он с чувством.

— О батюшка, о родители! — отвечала растроганная дочь.— Вам одним принадлежу я — я ваша!.. но не думаю, чтобы надолго.

Мать, не говорившая до того ни слова, вдруг зарыдала и опустила голову на грудь своей дочери.

— Глафирушка, милое, единородное мое детище,— возопила она, стеная,— не покидай нас, живи для нас! Более ничего не требую, прощаю, благословляю любовь твою!

Этот порыв материнского сердца поворотил всю мою внутренность; слезы брызнули у меня из глаз. Линдин плакал навзрыд.

Несколько минут продолжалась эта безмолвная, но трогательная сцена. Глафира подняла первая голову. Ее лицо, незадолго унылое и пасмурное, теперь казалось преображенным от восторга и чистейшей радости. Но вдруг какая-то новая мысль пробежала по челу девушки и, словно облаком, задернула лучезарный свет ее очей.

— Благодарю вас, мои родители,— сказала Глафира,— за эту прекрасную, эту блаженную минуту. Но как быстро она промчалась! Тяжелое воспоминание ее отравило. Змей Вашнадан смертельно уязвил меня.

— Что говоришь ты о Вашнадане, друг мой? — спросил испуганный Линдин.

— Слушайте, я кончаю свое признание: покойный мой друг носил на руке фамильный перстень; помню, он часто говаривал, будто в этом перстне заключается таинственная сила и что от оного будет зависеть судьба той, которую изберет себе в супруги. Это предание, вместе с вещию, перешло к нему от бабушки. Я принимала его слова за шутку и позабыла бы о них, если б на аукционе не встретила перстня. Я не могла понять, каким образом он попал между вещей графа, но была рада, что мне представился случай купить его. Сходство изображения с чертами покойника напомнило мне таинственные предрекания. Я думала обручиться этим перстнем навеки с нареченным супругом, как вдруг кто-то в толпе, с его чертами и голосом, надбавляет цену и отнимает у меня сокровище, за которое тогда я отдала бы полжизни. У меня померкло в глазах; не помню, как мы приехали домой. Возвратиться за перстнем было поздно... Прошло несколько дней, приготовления к комедии развлекали меня, время ослабило воспоминание о талисмане: я стала покойнее. Но вчера... видали ль вы Вашнадана без очков?.. Вчера, когда он снял их во время репетиции, лицо, голос его вдруг изменились: передо мной стоял мой возлюбленный, точь-в-точь он... И — в довершение очарования — таинственный перстень блеснул на его руке: удивление, страх, ужас овладели мною, я обеспамятела. Помню, как это же лицо мелькнуло и на аукционе, как те же глаза, пламенные и неподвижные, были и тогда устремлены на меня. Страшно при одной мысли.. Не

дай Боже встретиться мие опять с этими взорами! Мне кажется, я их не вынесу.

Глафнра умолкла. Изумление наше было иевыразнмо. Я ие знал, вернть нли нет страиному повествованню; я готов был принять его за бред болящей нлн даже за прнзнак ее умствеиного расстройства. Но многое нз рассказаниого ею о Вашнадане подтверждал мне собственный опыт; давно я пнтал к нему недоверчнвость и подозрення. Вид страдалнцы пробудил во мие все иегодованне.

— Ваш мнимый прнятель,— сказал я Лнндину с жаром,— есть явиый злодей н обмаищик, хотя бы одна десятая часть нами слышаниого была справедлнва. Даю слово отыскать его н потребовать от него отчета в гиусной шутке, которую он сыграл над вашей дочерью.

— Не бернте на себя труда его отыскнвать,— сказал кто-то позадн меня твердым н знакомым голосом

Я оглянулся... То был сам Вашнадан.

VIII

— Внновный здесь,— продолжал он, снимая очки. Мы обомлели.

— Что ж вы ие требуете от меня отчета? — спроснл незваный гость с язвнтельиою улыбкой.— Вас удивнло, может быть, неожнданное мое посещенне? Но дела мон переменнлнсь, н я остался в Москве. Вы не отвечаете? Внжу, прнезд мой вам не иравнтся. Не опасайтесь: я вас скоро от себя нзбавлю.

Прн этнх словах ои снова устремнл на нас свон огненные взоры. Мы ие трогалнсь с места. Я чувствовал в себе что-то необычайное. Это *что-то* походнло иа те страшные сновндения, когда человек, не теряя еще памятн, чувствует оцепененне во всех членах, снлнтся привстать и не может пошевелнться, хочет говорить — н язык его коснеет, грудь стесняется, кровь замнрает в жнлах, н он, полумертвый, падает на нзголовье. Сне-то удушающее ощущенне, известиое простому народу под нменем *домового*[27], овладело тогда мною. Я видел все пронсходнвшее, но язык н члены оиемелн, н я не в силах был обнаружить нн словамн, нн двнженнем моего удивлення и ужаса.

После того страшный Вашнадан (он был точно страшен в эту мниуту) прнблизился к постелн, иа коей лежала больная. Глаза его засверкали тогда необыкновеным

светом. Больная привстала, но молча и почти без жизни, потом сошла с постели, ступила на пол, пошатнулась... новый взгляд Вашиадана как будто оживил ее: она оправилась, стала твердо на ноги и тихими шагами пошла за своим вожатым.

Мы все оставались неподвижными. Я видел, как они вышли из комнаты, как Глафира, подобно невинной жертве, ведомой на заклание, послушно следовала за очарователем; я слышал шаги их по коридору, слышал повелительный голос Вашиадана, коему слуги хотели было преградить дорогу... Рвуся вперед — но вот стук экипажа раздался у подъезда... потом на улице... все глуше, глуше, пока наконец исчез в отдалении.

Подобно той змее, которая одним взором привлекает к себе жертвы и одним взором умерщвляет их, Вашиадан силою огненных своих очей произвел над несчастною Глафирой то, что почел бы я выученной фарсой, если бы сам не подвергся отчасти их магнетическому влиянию.

Слишком, слишком поздно разрушилось наше очарование. Мать, как бы пробужденная от глубокого сна, приходит в себя мало-помалу, ищет дочери... Несчастная! Страшная действительность вскоре удостоверит тебя, что ты лишилась, и, может быть, навеки, своей милой Глафиры!.. Нет ее ни в доме, ни на улице. Все видели, как Вашиадан посадил ее в карету и поскакал с нею — но куда? зачем? то оставалось загадкой для каждого.

Тут вопли матери наполняют дом: в беспамятстве бегает она по комнате, ломает себе руки, умоляет каждого спасти ее детище, единородное ее детище. «Спеши,— вскрикивает она наконец, падая на колена перед мужем,— спеши исторгнуть дочь свою из когтей злодея... Возврати ее несчастной матери, горестной, убитой, опозоренной!»

Но Линдин стоял недвижим и молчал. Он походил на одного из истуканов, пред коими некогда люди преклоняли с мольбою колена.

Тихо поднялась на ноги жена его.

— И ты медлишь? — продолжала она страшным, раздирающим голосом.— Оставайся ж, бесчувственный! Я, слабая женщина, я заступлю тебя и покажу, к чему способна отчаянная мать! Прочь, сударь! Я сама еду за своей дочерью.

С сими словами Линдина бросилась к дверям, но силы ее истощились... она упала без чувств...

IX

Прошло около года после страшного происшествия, лишившего Лиидиных дочери. Все старания мои отыскать ее были напрасны. Никто не знал Вашнадана, никому не было известно его местопребывание, и самое имя его все почитали подложным. Мудрено ли было ему, обдумавши план свой заранее, принять нужные меры к сокрытию себя, своего имени и жилища?

Потеряв всю надежду открыть следы Глафиры и ее похитителя, я оставил Москву. Один родственник давно звал меня в отдаленную свою деревню. Теперь было кстати воспользоваться его приглашением: я переехал к нему. Весна во второй раз по смерти моего друга воскрешала природу. Все окружавшее улыбалось мне; я один оставался мрачен: тяжелое воспоминание давило мне душу — приближался день *его* кончины и *ее* погибели. В этот день, по совершении печального обряда в сельской церкви, я отправился пешком бродить по сосновому бору, лежавшему близь усадьбы и простиравшемуся на большое пространство. Грустные мысли невольно овладели мною. Сосновый бор казался мне огромным кладбищем, скрывавшим целые поколения; каждое дерево являлось моему воображению вечным стражем, поставленным от Бога для сохранения могил до дня всемирного воскресения[28]; шелест шагов моих мнился мне ропотом усопших на дерзкого нарушителя их гробового спокойствия. Я остановился и сел на обрубившуюся сосну. Мечты еще преследовали меня, но тихий стон, раздавшийся неподалеку, разогнал их. Я поднимаю глаза и вижу — в нескольких шагах от меня лежит женщина. Платье ее изорвано, руки в крови — вероятно, от сухих древесных сучьев и игол, о которые она цеплялась, шедши по лесу. Она была без чувств и, по-видимому, боролась со смертию; я подхожу, вглядываюсь... Боже! То была Глафира!

Солнце клонилось к западу, я чувствовал, что заблудился: ни тропинки, ни признаков жилища. Но вот какой-то шорох послышался за мною; я оглядываюсь: старик в крестьянском кафтане, с дубинкой в руках, с секирой за поясом пробирался сквозь чащу. Он был не менее моего изумлен, встретив человека в глухом месте в такую пору и возле мертвого тела.

Мы объяснились. Старик был дровосек и переехал

на лето в бор для рубки леса. Шалаш его стоял неподалеку, и он, услышав шорох и стоны, пошел на голос.

С его помощию я перенес в шалаш несчастную девушку. Вскоре открыла она глаза... мой голос поразил ее, и когда мы подали ей нужные пособия, она совершенно опомнилась, узнала меня и, бросившись мне на шею, называла своим ангелом-хранителем.

— Дай Бог, чтоб я оправдал это название,— сказал я в смущении.— Но какая несчастная звезда привела вас на это место? Откуда вы?

Тут, собравшись с силами, она начала рассказ свой едва внятным голосом. И вот что мог я извлечь из него.

X

Оставив Москву, Вашиадан провез Глафиру глухими проселочными дорогами к одному уединенному дому, где ожидал их дорожный экипаж. С приближением ночи они поехали далее. На день обыкновенно останавливались, с захождением солнца продолжали дорогу. Чародей старался поддерживать свою несчастную спутницу в беспрестанном забытьи. Наконец, по долгом пути, они приехали — куда? — того не знала Глафира. То было в глухую полночь[29]. Их встретили с факелами; погребальный их блеск пробудил Глафиру.

— Где я? — спросила она у своего похитителя.

— В доме друга,— отвечал он своим млечным голосом[30].

Они вошли в пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, картинами, на коих изображались чудные, фантастические фигуры. Чем-то нечеловеческим отзывалось все, их окружающее: люди с странными лицами, словно в масках, служили новоприезжим; вдруг вдалеке послышались гармонические звуки и, с приближением, превратились в какой-то нескладный, но живой танец, и вот все фигуры — на обоях, на картинах, из бронзы — начали прыгать, плясать, а чудные служители — передразнивать их движения. За этими вакханалиями следовали сцены более мрачные. Своды комнат стали испускать жалобные стоны, изображения на обоях и картинах заплакали, зарыдали, а веселые служители обратились в безобразные, страшные фигуры. Тут Глафира закрыла лицо руками и прижилась к груди похитителя... Вдруг пронеслись звуки охотничьих рогов, лай

собак, будто по лесу... Все утихло, одна лишь свирель на голос альпийской песни заунывно сзывает коров и повторяется в отзывах гор — все тише, тише... Но вот направо, в лесу, блеснул огонек; светлая точка расширяется понемногу, образует шар, и он в мгновение бежит пожаром по лесу. Треск, гул, грохот оглушают воздух, все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма; вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Огненный свод обнял поверхность и, словно шатер, раскинулся над землею. Изумруды, яхонты, алмазы горят на своде и отражаются в воздухе тысячью разноцветных огней. Воздушный шатер тихо опускается на вершины дерев и расстилается сетью над лесом. Пламя потухает мало-помалу, свет становится бледней и бледней, наконец все исчезло, и лишь луна, выкатившись из-за тучи, серебрит уединенную поляну. Боязливые ее лучи, мерцая, падают робко на лицо товарища Глафиры; она узнает в нем милого, нежного своего друга.

— О, как я счастлива,— лепечет она в сладком забытьи,— о, как я счастлива, сидя с тобою, супруг моего сердца, душа души моей! Но Боже, а!.. это не он, не он!..— и падает в беспамятстве.

Померкла луна; явился день с порфирородным своим спутником. Сквозь густую зелень дерев, осенявших окна и разливавших сладостную прохладу, прокрадывается свет и проникает в опочивальню Глафиры. Она пробудилась; у ног ее сидит очарователь.

— Вчера,— говорит он,— ты видела мое могущество, видела, какие таинственные силы в руках моих. Отныне я от всего отрекаюсь: ты одна царица сего жилища. Я умел преклонить тебя сверхчеловеческими средствами; теперь, простой смертный, я у ног твоих — не ты в моей, а я в твоей власти. Располагай тем, что видишь, повелевай мною, но люби меня!

— Тебя любить? — воскликнула, опомнившись, Глафира и отклонила его от себя рукою.— Кто б ты ни был,— продолжала она,— дух ли искуситель, привидение или человек — прошу, умоляю тебя: возврати меня родителям!

— Не могу! Что раз случилось, того переменить невозможно.

— Дух-обольститель! Зачем же ты исторгнул меня из объятий родительских? Зачем принял ты на себя те черты, тот голос, тот взгляд, которым я не могла противиться,

которые протнв волн заставляют меня простить твое оскорбление? О дух-обольститель! Смилуйся надо мной, возврати меня моим родителям!

— Одно н то же! Ужелн моя любовь не получит другого ответа?

— Но кто же тебя заставнл любнть меня?

— А тебя кто заставил явиться передо мною во всем обворожительном блеске красоты? Помнншь лн тот вечер, когда глупый твой отец встретнл меня в театре?

— Ах, не называй так отца моего!

— Согласен. Но знаешь ли ты, что я ннкогда не был знаком с ннм, что он вндал в Петербурге не меня, а другого, и что одно случайное сходство лнца...

— И ты решнлся воспользоваться его легковерием?

— Любовь моя все оправдывает.

— Но еще раз — зачем же прннял ты голос н черты моего любезного?

— Я не прннял нх, онн мон собственные. Я твой друг — н друг навеки.

Тут он прижал ее к своей грудн н тнхо надел ей на руку таннственный перстень.

— Узнаёшь лн ты наше кольцо обручальное? Помнишь лн предсказанне? Вот залог любви нашей!

Она взглянула на перстень, взглянула на друга... «О, мой ангел! — вósклнкнула она вне себя от упоення,— ты возвращен наконец твоей Глафнре!» и с судорожным движеннем упала в его объятня.

Я слушал с нзумленнем н ужасом. Многое казалось мне невероятным в ее повествованнн, н чудеса, конх она была свидетельннцей в доме похитителя, я прнпнсывал расстроенному ее воображенню. Но когда она коснулась этой роковой мннуты, в которую, увлеченная обманчнвою мечтой, ввернлась хнщным объятням мнимого друга — холодный пот обдал меня; ее страстная речь ручалась за ужасную нстнну н подтверднла мои слншком справедлнвые опасения: с той минуты Глафира сделалась незаконною супругою Вашнадана...

Ее уверенность, что то был прежннй друг ее, возвратившийся с того света, еще сильнее убеднла меня в горькой нстнне, нбо до чего не могут довестн слабую женщнну заблуждення сердца н воображення?

Словом, она жнла с ннм целый год в очаровательном его замке, не помышляя о родных, дыша нм однным, блаженствуя в своем гибельном заблуждении.

— Но сегодня,— продолжала она,— сегодня я покоилась еще в объятиях моего супруга, как чудные служители вдруг окружают наше ложе. «Срок минул! — к расплате!..» — кричат они моему другу и влекут его. Я, как змея, обвилась около его тела, но злодеи исторгают у меня свою жертву и в глазах моих — ужас вспомнить! — начинают щекотать моего супруга. Ужасный смех вырвался из груди его и вскоре превратился в какой-то адский хохот. Злодеи исчезли, и передо мной остался лишь бездыханный труп; пена, полная яда, клубилась у него изо рту. «И ей ту же казнь!» — возопили снова служители. Но вдруг послышался знакомый, нежный голос. *«Она невинна!»*[31] — прозвучал он надо мною, и от него, как сон, разлетелись страшные видения, хохот умолк, и я, какою-то волшебною силой, очутилась на том месте, где вы, мой ангел-хранитель, нашли меня.

— Не волшебная сила перенесла вас; ваше платье показывает, что вы сами пришли сюда.

— Быть может, я не помню...

— Но помните ли вы своего прежнего, давно умершего друга, который, тому ровно два года, поверял мне заветное свое признание в любви к вам, тогда еще непорочной?

— Я вас не понимаю.

— Сегодня минет два года, как он умер, и год, как вы похищены из дому родительского рукою изверга Вашиадана.

— Вашиадана... покойный друг... из дому родительского... Ах! что вы мне напоминаете! Все это, как сон... Но где мои родители?

— Они *там*, соединились с вашим другом и у престола Божия молят о помиловании врага их и о вашем прощении.

Глафира устремила на меня неподвижные взоры; наконец, вышед из оцепенения: «Туда, туда за ними!» — возопила она и тихо склонила голову на плечо мое.

Рука невольно взялась за часы; роковая стрелка опять указывала *десятый в исходе.*

Я взглянул на Глафиру. Лицо ее покрылось смертельною бледностию, пульс умолк, дыхание прекратилось: она заснула сном непробудным...

И через три дня я предал земле прах несчастной. Уединенная сосна, подымая горé мрачно-зеленую свою вершину, осеняет могилу и как бы молит небеса о помиловании. Каждый год, в день ее смерти, прохожие слышат

хохот над могилой; но хохот умолкает, и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: *«Она невинна!..»*

P. S.

Для немногих

— Прекрасно! — восклицает насмешливый читатель,— но скажите, кто же этот Вашиадан? Злой дух, привидение, Вампир[32], Мефистофель или все вместе?

— Не знаю, любезный читатель; он столько же мне известен, как и вам. Но предположим его на время человеком, обыкновенным смертным (ибо вы видели, что он умер), и теперь посмотрим, не объяснятся ли нам естественным образом чудеса его. Во-первых...

— Во-первых,— прерывает читатель,— возможно ли то разительное сходство в его чертах лица и в голосе с покойным вашим другом, которое вам было угодно придать ему? Потом...

— Позвольте и мне прервать вас. Вы говорите о невозможности такого сходства; но разве оно не встречается в природе и разве искусство не умеет подражать ей? Вспомните Гаррика[33]. Но оставим чудную игру природы и усилия искусства и обратимся к самим себе, где столько для нас загадок. Кто из нас не испытал над собою, как легко, особливо при помощи разгоряченного воображения, придать одному черты и голос другого? Что же, если эти черты, этот голос принадлежат любимому человеку? А кого любишь, того думаешь встречать повсюду. Вам известен скрыпач Буше[34], по крайней мере, понаслышке: многие из обожателей Наполеона чуть-чуть не видели в нем двойника своему герою. Я сам был поражен сходством музыканта с завоевателем, хотя последнего знал лишь по его портретам да по бюсту

Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом[35].

Правда, Буше недоставало безделицы — орлиных глаз Наполеона, но во всем прочем...

— Кстати, о глазах: скажите, что за сверхъестественной силой одарили вы глаза Вашиадана?

— Прежде, чем буду отвечать на это, любезный читатель, я спрошу вас вместе с покойной Линдиной: верите

ли вы в *дурной глаз,* или, другими словами, верите ли вы в магнетическую силу взоров? Если *да*, то удивляюсь вашему вопросу, если *нет*, то отсылаю вас к петербургской волшебнице[36], которая, как говорят, силою своего целебного взгляда излечает недуги, выправляет горбы и, если бы захотела, верно могла бы произвести те же чудеса над какой-нибудь слабонервной Глафирой, какие совершает Вашиадан в моей повести. Припомните, какими средствами довел он мою героиню до расслабления, какими неожиданными ударами потряс ее организм, прежде нежели решился на свое чудо из чудес, на похищение.

— Но вы, Линдина, ее муж, их слуги разве не испытали также над собой его чародейства?

— Не спорю, что, может быть, и на нас действовала отчасти магнетическая сила его глаз; мы были расположены к тому предыдущими сценами, неожиданною дерзостию похитителя и даже, если хотите, верою в его могущество.

— Но его таинственность, долголетие, всеведение?

— Он был обманщик, умный и проницательный.

— Но его замок, чудная прислуга, чудная смерть?.. Не говорю уже о перстне, о роковом дне и часе...

— Все это суеверие, случайности, смесь истины с ложью, мечты Глафиры.

— А хохот и голос над ее могилой?

— Мечты прохожих.

— Мечты, мечты! Но вы сами им верите. Полноте притворяться; скажите откровенно: кто ж этот Вашиадан? Не чародей ли в союзе с дьяволом?

— Теперь не средние веки!

— Ну, так Вампир?

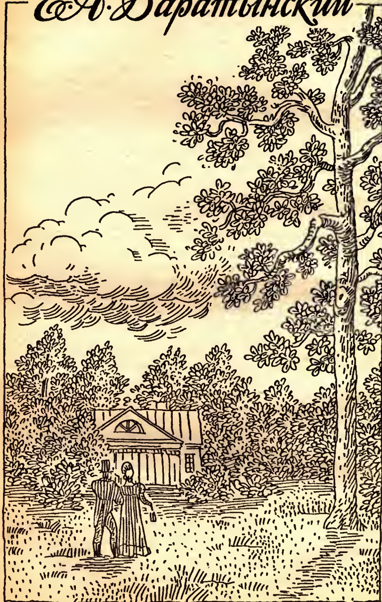
— Он не сосал крови.

— Ну, воплотившийся демон, посланный на срок; ну, словом, пришлец с того света?

— Не помню, чтоб от него отзывалось серой.

— Да *кто же* он?

— Не знаю. Отгадывайте.


Е.А. Баратынский

Перстень

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство,— словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник[1]. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права,— конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель[2], проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял, но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного,— правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания

и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя,— к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета, и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей.— Еще раз попробую счастья»,— обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутылки и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча

стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило,— Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами,— Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаяся, вертел на руке свой перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету,— но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя! — сказал он.— Это ваш перстень,— продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину,— и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... Что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

— Вам надобно десять тысяч,— сказал Опальский,— завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?

— Помилуйте,— вскричал восхищенный Дубровин,— что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...

— Вы ничем мне не обязаны,— прервал Опальский.— Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу; завтра я к вашим услугам.

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? — думал он.— Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

— Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным.— Боже! что с нами будет! — Но, не желая умножить его горести.— Утешься,— прибавила она голосом более мирным,— Бог милостив; может быть, мы получим помощь, откуда не чаем.

— Мы счастливее, нежели ты думаешь,— сказал Дубровин.— Опальский дает десять тысяч... Все слава Богу.

— Слава Богу? отчего же ты так печален?

— Так... ничего... Ты знаешь этого Опальского?

— Знаю, как ты, по слухам... но, ради Бога...

— По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?

— Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница — Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне,— сказала она.— Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете?» было всегда его первым

словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом,— сказал Дубровин,— я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» — На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сие не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер

дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II[3]), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах[4] — долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его наконец увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое,

он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

„Чего ты хочешь?" — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. „Хочу быть любим Мариею",— отвечал он голосом твердым.

„Можешь, но с условием".

Антонио задумался. „Согласен! — сказал он наконец.— Но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?"

„Будет,— отвечал дух.— Следуй за своею тенью". Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла,— Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей[5]. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе, „Готов ли ты?"— вопросил его голос, выходящий из-под земли. „Готов",— отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита[6] Антонио от Бога, добра и спасе-

ння; адскнй хохот раздавался по временам вместо пения; страшны былн знакомые слова спасення, превращенные в заклятня гнбелн. Голова кружнлась у Антонно; наконец прежнннй свнст раздался; все нсчезло. Антонно упал в обморок, утро возвратнло ему память, он взглянул на Божнй мнр — глазамн демона: так он постнгнул тайну прнроды, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо н подвластно, н это чувство было адскнм мученнем. Он старался заглушнть его, думая о Марнн.

Он увндел Марню. Глаза ее обращалнсь к нему с любовню; шлн дни, и скорый брак должен был нх соедннить навекн.

Лаская Марню, Антонно не оставлял свон кабалнстические занятня; он труднлся над составленнем талнсмана, которым хотел укрепнть свое владычество над жизнью н прнродой: он хотел поделнться с Марней выгодамн, за которые заплатил душевным спасеннем, н вылнл этот перстень, впоследствнн послужнвшнй ему наказаннем, быть может, легкнм в сравненнн с его преступленнямн.

Антонно подарнл его Марнн; он ей открыл тайную его снлу. „Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве,— сказал он ей,— как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенностн; любн, о любн меня, моя Марня".

Напрасно. На другой же день он нашел ее сндящею рядом с его сопернnetwork. На руке его был магнческнй перстень. „Что, проклятый чернокнижннк,— закрнчал дон Педро, увндя входящего Антонно,— ты хотел разлучнть меня с Марней, но попал в собственные сетн. Вон отсюда! Жди меня в передней!"

Антонно должен был повнноваться. Какнм уннженням подвергнул его дон Педро! Он нсполнял у него самые тяжелые рабскне службы. Марня стала супругою его повелнтеля. Одно горестное утешенне оставалось Антонно: вндеть Марню, которую любнл, несмотря на ужасную ее нзмену. Дон Педро это заметнл. „Ты слншком заглядываешься на жену мою,— сказал он.— Прнсутствне твое мне надоело: я тебя отпускаю". Удаляясь, Антонно остановнлся у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. „Ты еще здесь? — закрнчал дон Педро.— Ступай, ступай, не останавлнвайся!"

Роковые слова! Антонно пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолженне ста пятндесятн

лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. „Постой!" — закричал ему наконец какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. „Куда ведет эта дорога?"— спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. „Туда-то..."— отвечал Антонио. „Благодарю",— сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух — Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп,— подумал он напоследок,— это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остановился при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное ему время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

— Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую довольно пожилую женщину.— Какими судьбами?

— Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька,— прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею.— Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел Бог еще раз увидеться!

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница

Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину, мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом,— сказала Марья Петровна,— вы живете господами».— «Слава Богу! — отвечала Александра Павловна,— а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому».— «И моему перстню»,— прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? Какому перстню? — вскричала Марья Петровна.— Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне его видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый,— продолжала Марья Петровна,— перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио,— страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на Святках, одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена[7] навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения: но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де ла Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюблен-

ною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень,— сказал Дубровин,— с чужого коня и среди грязи долой».— «И, батюшка, что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им,— прервала Александра Павловна,— он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же».— «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. «Слава Богу,— отвечал слуга,— вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровину. «Любезный Дубровин,— сказал он ему,— кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна́ я проснулся!..[8] Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие,— вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила. «Преступления мои велики,— продолжал он после долгого молчания.— Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные

страдания мои были велики! Их возложит на весы свои Бог милосердый и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался,— сказал священник, выходя из комнаты,— но успел совершить обязанность христианина. Господи, прими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.

В. Ф. Одоевский



Игоша

(Алек. Степ. Хомякову[1])

Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками — я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал — все нет никого.

— Нянюшка! нянюшка! Кто дверь отворил?

— Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

— Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

— Ну, да так — известно, что,— отвечала нянюшка,— безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится — тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий — и, как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! веселье! прыгаю! любуюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки[2] лопались,— говорил он,— а не постромки, так кучер то и дело что кнут свой теряет; а не то пристяжная ногу зашибет, беда, да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал: не от Игоши ли?»

— От какого Игоши? — спросила его маменька.

— Да вот послушай,— на завражке[3] я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат[4].

— Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я.

— Товарищу не товарищу,— отвечали они,— а такому молодцу, который обид не любит.

— Да кто же он такой? — спросил я.

— Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

— А вот послушайте, барин,— отвечал мне один из них,— летось[5] у земляка-то родился сынок, такой хворенький, Бог с ним, без ручек, без ножек,— в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле.— Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает[6], к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох выбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет — мало ли что бывает.

— И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас,— сказал я,— отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет; я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился: не отъехали версты — шлея[7] соскочила, потом постромки оборвались, а наконец оглобля пополам — целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали — у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю — няня на ту минуту вышла — вдруг дверь отворилась; я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало! Смотрю, маленький человечек — прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: фарфоровая моська в дребезги,

барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса — я взвыл и закричал благим матом: «Что за негодный мальчишка! зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыден! да что еще мне от нянюшки достанется! Говори, зачем ты сронил игрушки?»

— А вот зачем,— отвечал он тоненьким голоском,— затем,— прибавил он густым басом,— что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне, маленькому,— заговорил он снова тоненьким голоском,— ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

— Ах, жалкинький,— сказал я сначала, но потом, одумавшись,— да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки[8]?

— А вот на что,— сказал он басом,— что ты вот видишь, твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки»,— а ты возьми да и брось их ко мне в окошко.

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка — на меня: «Ах ты, проказник, сударь! зачем изволил игрушки сронить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот ужо тебя маменька...»

— Нянюшка! Не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша...

— Какой Игоша, сударь?.. еще изволишь выдумывать!

— Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все, как было, он расхохотался.

— Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше.

Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

— Добрый ты мальчик,— сказал он мне тоненьким голоском,— спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара — и опять за салфетку, и опять ну тянуть.

— Игоша! Игоша! — закричал я,— погоди, не роняй — хорошо мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

— А вот что,— сказал он густым басом,— я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому,— прибавил он тоненьким голоском,— и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь...— и с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, она на меня.

— Батюшка, безногий сапогов просит,— закричал я, когда вошел батюшка.

— Нет, шалун,— сказал батюшка,— раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

— Не бось, не бось,— шептал мне кто-то на ухо,— я уже тебя не выдам.

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился. «Так ты еще не слушаться? — сказал он,— сей час в угол и ни с места».

— Батюшка, это не я... это Игоша толкается.

— Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя: то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для батюшки был невидим — и батюшка пуще рассердился.

— Постой,— сказал он,— увидим, как тебя Игоша будет отталкивать,— и с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет: он ко мне — и ну зубами тянуть узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут — и я снова очутился на ковре между игрушек, посредине комнаты.

Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая,

что завтра, сверх того, меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик[9], белую канифасную кофту[10], пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговоря вполголоса: «Вот тебе, Игоша».

— Спасибо! — отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

— Посмотрим,— сказал батюшка,— что здесь разобьет Игоша! Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости... пора за ученье. Теперь сиди здесь, а чрез час за азбуку,— и с этими словами батюшка запер двери. Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками? Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья.

Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Игоша, с ботинкой на голове, запрыгал у меня по комнате. «Спасибо! Спасибо! — закричал он пискляво.— Вот какую я себе славную шапку сшил!»

— Ах, Игоша! не стыдно тебе? Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка,— а ты меня только в беды вводишь!

— Ах, ты неблагодарный,— закричал Игоша густым басом,— я ли тебе не служу,— прибавил он тоненьким голоском,— я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди — самое неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается, попробую

ему послужить; я уж и так ему стклянки перебнл, а вот к вечеру после ужина и парик под бнльярд закину — посмотрим, не будет лн он тебя благодарнее...

С снмн словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.

С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, жнтейские пронсшествия отдалнли от меня даже воспоминание о том полусонном состоянин моей младенческой душн, где игра воображения так чудно слнвалась с действительностью; этот пснхологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, прн которых он совершался, уничтожнлись рассудком; но иногда, в мннуту пробуждення, когда душа возвращается нз какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о ннх, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.

Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту

> «Как, сударыня, вы уже хотнте оставнть иас? С позволеиня вашего попровожу вас».— «Нет, ие хочу, чтоб такой учтивый господнн потрудился для меня».— «Изволите шутить, сударыня»*.
>
> Manuel pour la conversation par madame de Genlis[1]. p. 375**.
>
> *Русское отделение*

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, нн больше нн меньше, и одна другой лучше; да трн маменьки, про которых, к несчастию, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топалн

* Мыслящие люди не обвиият автора в *квасном* патриотизме за эту шутку. Кто понимает цеиу западного просвещения, тому поиятиы и его злоупотребления *(прим. В. Ф. Одоевского)*.

** Руководство для разговора, составлеиное мадам Жаилис. С. 375 *(франц.)*.

о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уже у нас обычай: девушка умрет от скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастия быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастия — восьмидесяти лет от рода; ибо «что скажут маменьки?» Уж эти мне маменьки! когда-нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен! Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! Погодите! я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску! Сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками, кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и наконец вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продает, хвалит и бранит, и деньги берет и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается, то блонду[2], которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетенные из пчелиной шерстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы

век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти; не мудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурман тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку, и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку и кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненые цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка; потом еще раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом еще — и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами... и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица,— приговаривал он изломанным русским языком,— не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он окончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов[3], все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова,— пудра вышла из моды!

— Не в том дело,— проворчал английский живот,— меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.

— Еще хуже,— просопел немецкий нос,— на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.

— Все не то! — возразил чародей,— все не то! еще хуже: русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурмане.

— Надобно для них выдумать новую шляпку,— говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности,— толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата,— твердил чуткий нос.

— Все это хорошо! — отвечал чародей,— да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе — новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою, и пред собранием явился треножник, маринна баня[4] и реторта[5], и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма[6], несколько заплесневелых сентенций, канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов[7], несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостию показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом: французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утаптывал.

Когда жидкость простыла, чародей к красавице: вынул, бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из нее, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держалась она

за свое невинное, свое горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но на беду чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из нее сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в свое место, то красавица позволила им делать с собою все, что было им угодно. Окаянный басурманин схватил ее пухленькие щечки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью végétal*; и красавица сделалась беленькая-беленькая, как кобчик[8]; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стер с нее белизну и выжал в скляночку с надписью: lait de concombre**; и красавица сделалась желтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипчиками разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул ее в узкий корсет, накинул на нее какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплелся в бутылку с содовою водою; и все в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нем одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушиные глазки, любуются на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и, как ни смеялись над ним товарищи, купил ее и принес к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шума, ни крика; он поставил куклу на видном месте, одел, обул ее,

* Растительные румяна *(франц.)*.

** Огуречный сок *(франц.)*.

целовал ей ножки и любовался ею, как ребенок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравилось его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалося, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивленный, он подошел к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвется из-под него.

— Неужели ты в самом деле живешь? — говорил ей молодой человек,— если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живешь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла,— я живу, право, живу.

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек,— о, какое счастие! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться, говори мне о чем-нибудь!

— Да об чем мы будем говорить?

— Как о чем? на свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла,— это все очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя еще никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю,— скоро проговорила кукла,— чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица,— одна девушка вышла замуж, но за ней волочится другой, и она хочет развестися. Как это стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? Подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно,— отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорнла! — вскричал молодой человек,— ты ие поннмаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел ее образумить: приносил ли он ей кингн — киигн оставались неразрезаииымн; говорнл ли ей о музыке души — она отвечала ему итальянскою руладою; показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку н говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства н мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась, н думала долго. Молодой человек был в восхищеиии, как вдруг оиа сказала ему:

— Ну, теперь зиаю, знаю: есть иа свете добродетель, есть искусство, есть любовь, не в светских фразах, но в душе чувства н мысли. Примите, милостивый государь, увереиия в чувствах моей истинной добродетели н пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, Бога ради,— вскричал молодой человек,— если ты не знаешь ни добродетели, ни любви,— то по крайией мере не уиижай их, соедиияя с поддельиыми, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла,— на тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет,— я зиаю, очень знаю: *есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь,* как равно и почтеине, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; ие проходило часа, чтоб она не кричала: *есть добродетель, есть любовь, есть искусство,*— и ие примешивала к своим словам уверений в глубочайшем почтении; идет ли снег — кукла твердит: *есть добродетель!* — приесут ли обедать — оиа кричит: *есть любовь!* — н вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, иасмехался ли иад красавицею — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным святым словам добра, любви и искусства присоединить другого смысла, кроме почтения и преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сем свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством, по старинному русскому обычаю,— смотри за столом, своди счеты, будь мне во всем покорна; когда меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались,— но все любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала,— разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя,— так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать — ни думать, ни чувствовать, ни хозяйничать,— а твое дело забавлять меня.

И в самом деле, так было. Когда молодой человек занимался своею куклою, когда одевал, раздевал ее, когда целовал ее ножки — кукла была и смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить ее шляпку, если задумается, если отведет от нее глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпения: возьмет ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть,— кукла стучит и кричит, как живая, и не дает ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страдания, которые вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врожденное ей природою сердце, с какою болью отдала его своим мучителям, или учителям,— и однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за то все проходящие его осуждали, однако же куклу никто не поднял.

А кто всему виною? Сперва басурмане, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.

Та же сказка, только наизворот

Мне все кажется, что я перед ящиком с куклами: гляжу, как движутся передо мною человечки и лошадки: часто спрашиваю себя, не обман ли это оптический; играю с ними, или, лучше сказать, мною играют, как куклою; иногда, забывшись, схвачу соседа за деревянную руку, и тут опомнюсь с ужасом.

Гёте. Вертер. (Пер. Рожалина.)[1]

Хорошо вам, моя любезная, пишущая, отчасти читающая и отчасти думающая братия! Хорошо вам на высоких чердаках ваших, в тесных кабинетах, между покорными книгами и молчаливой бумагой! Из слухового окошка, а иногда, извините, и из передней вы смотрите в гостиную; из нее доходят до вас невнятный говор, шарканье, фраки, лорнеты, поклоны, люстры — и только; за что ж вы так сердитесь на гостиные? Смешно слушать! Вы, опять извините за сравнение, право, не я виноват в нем,— вы вместе с лакеем сердитесь, зачем барин ездит четвернею в покойной карете, зачем он просиживает на бале до четырех часов утра, зачем из бронзы вылитая Страсбуржская колокольня[2] считает перед ним время, зачем Рафаэль и Корреджио[3] висят перед ним в золотых рамах, зачем он говорит другому вежливости, которым никто не верит; разве в том дело? Господи, Боже мой! Когда выйдут из обыкновения пошлые нежности и приторные мудрования о простом, искренном, откровенном семейственном круге, где к долгу человечества причисляется: вставать в 7 часов, обедать в $2^1/_2$ и ложиться спать в 10?[4] Еще раз скажу: разве в том дело? Что может быть отвратительнее невежества, когда оно начинает вам поверять тайны своей нелепости? когда оно обнажает пред вами все свое безобразие, всю низость души своей? Что может быть несноснее, как видеть человека, которого приличие не заставляет скрывать свою щепетильную злость против всего священного на свете; который не стыдится ни своей глупости, ни своих бесчестных расчетов, словом, который откровенно глуп, откровенно зол, откровенно подл и проч. и проч.? Зачем нападаете вы на

то состояние общества, которое заставляет глупость быть благоразумною, невежество — стыдливым, грубое нахальство — скромным, спесивую гордость — вежливою? которое многолюдному собранию придает всю прелесть пустыни, в которой спокойно и бессмысленно журчат волны ручья, не обижая души ни резко-нелепою мыслью, ни низко-униженным чувством? Подумайте хорошенько: все эти вещи, заклейменные названием *приличий,* может быть, не сами ли собою родились от непрерывающегося хода образованности? не суть ли они дань уважения, которую посредственность невольно приносит уму, любви, просвещению, высокому смирению духа? Они не туман ли пред светом какого-то нового мира, который чудится царям людских мнений, как некогда, в другие веки, чудились им открытие новой части земного шара, обращение крови, паровая машина и над чем люди так усердно смеялись?

Нет, господа, вы не знаете общества! Вы не знаете его важной части — гостиных! Вы не знаете их зла и добра, их Озириса и Тифона[5]. И оттого достигают ли ваши эпиграммы своей цели? Если бы вы посмотрели, как смеются в гостиных, смотря мимоходом на ваши сражения с каким-то фантомом! смотря, как вы плачете, вы негодуете, до истощения издеваетесь над чем-то несуществующим! О! если бы вы положили руку на истинную рану гостиных, не холодный бы смех вас встретил; вы бы грустно замолкли, или бы от мраморных стен понесся плач и скрежет зубов.

Попались бы вы в уголок между двумя диванами, где дует сквозной перекрестный студеный ветер, от которого стынет грудь, мерзнет ум и сердце перестает биться! Хотел бы я посмотреть, как бы вы вынесли эту простуду! достало ли бы у вас в душе столько тепла, чтобы заметить, как какая-нибудь картина Анжело[6], купленная тщеславием, сквозь холодную оболочку приличий невзначай навеяла поэзию на душу существа, по-видимому, бесцветного, бесчувственного; как аккорды Моцарта и Бетговена и даже Россини проговорили утонченным чувствам яснее ваших нравоучений; как в причуде моды пронеслись в гостиную семена какой-нибудь новой мысли, только что разгаданной человечеством, как будто в цветке, которую пришлец из стран отдаленных небрежно бросил на почву и сам, не ожидая того, обогатил ее новым чудом природы.

Но где я?.. простите меня, почтенный читатель: я обе-

щал вам сказку и залетел в какие-то заоблачные мудрования... то-то привычка! Точно, она хуже природы, которая сама так скучна в описаниях наших стихотворцев и романистов! Простите и вы меня, моя любезная пишущая братия! я совсем не хотел с вами браниться; напротив, я начал эти строки с намерением сказать вам комплимент, дернул же меня лукавый, простите, Бога ради простите, вперед не буду.

Я начал, помнится, так: хорошо вам, моя любезная пишущая братия, на высоких чердаках ваших, в теплых кабинетах, окруженная книгами и бумагами и проч., и проч.; вслед за сим я хотел вам сказать следующее:

Я люблю вас и люблю потому, что с вами можно спорить; положим, что мы противных мнений,— ну, с вами, разумеется, за исключением тех, с которыми говорить запрещает благопристойность,— с вами потолкуешь, поспоришь, докажешь, вы знаете, что против логики спорить нельзя — и концы в воду, вы согласитесь; в гостиных не то; гостиная, как женщина, о которой говорит Шекспир, что с нею бьешься три часа, доказываешь, доказываешь — она согласилась, вы кончили, вы думали убедить ее? Ничего не бывало: она отвечает вам — и что же? Опять то ж, что говорила сначала, начинай ей доказывать сызнова[7]! Такая в ней постоянная мудрость. В подобных случаях, вы сами можете рассудить, спорить невозможно, а надлежит слепо соглашаться. Так поступил и я; лукавый дернул меня тиснуть предшедшую сказку в одном альманахе[8] и еще под чужим имением, нарочно, чтобы меня не узнали; так нет, сударь, догадались! Если бы вы знали, какой шум подняли мои дамы и что мне от них досталось! Хором запели мне: «Мы не куклы; мы не хотим быть куклами; прошло то время, когда мы были куклами; мы понимаем свое высокое значение; мы знаем, что мы душа этого четвероногого животного, которое называют супругами». Ну так, что я хоть в слезы — однако ж слезы радости, мой почтенный читатель! Этого мало: вывели на справку всю жизнь красавицы, не хуже моего Ивана Севастьяныча Благосердова[9], собрали, едва не по подписке, следующую статью и приказали мне приобщить ее к таковым же; нечего делать, должно было повиноваться; читайте, но уже за нее браните не меня, а кого следует; потому что мне и без того достанется за мои другие сказки; увы! я знаю, не пощадят причуд воображения за горячее, неподкупное, но горькое чувство. Читайте ж:

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОСТЬ, ИЛИ СКАЗКА ОБ ОЧНУВШЕЙСЯ КУКЛЕ И ГОСПОДИНЕ КИВАКЕЛЕ

Итак, бедная кукла лежала на земле, обезображенная, всеми покинутая, презренная, без мысли, без чувства, без страдания; она не понимала своего положения и твердила про себя, что она валяется по полу *для изъявления глубочайшего почтения и совершенной преданности...*

В это время проходил прародитель славянского племени, тысячелетний мудрец, пасмурный, сердитый на вид, но добрый, как всякий человек, обладающий высшими знаниями. Он был отправлен из древней славянской отчизны — Индии к северному полюсу, по весьма важному делу: ему надлежало вымерить и математически определить, много ли в продолжение последнего тысячелетия выпарилось глупости из скудельного человеческого сосуда, и много ли прилилось в него благодатного ума. Задача важная, которую давно уже решила моя почтенная бабушка, но которую индийские мудрецы все еще стараются разрешить посредством долгих наблюдений и самых утонченных опытов и исчислений;— не на что им время терять!

Как бы то ни было, индийский мудрец остановился над бедною куклою, горькая слеза скатилась с его седой ресницы, капнула на красавицу, и красавица затрепетала какою-то мертвою жизнью, как обрывок нерва, до которого дотронулся магнический прутик.

Он поднял ее, овеял гармоническими звуками Бетговена[10], свел на лицо ее разноцветные, красноречивые краски, рассыпанные по созданиям Рафаэля и Анжело, устремил на нее магический взор свой, в котором, как в бесконечном своде, отражались все вековые явления человеческой мудрости; прахом разнеслись нечестивые цепи иноземного чародейства вместе с испарениями старого чепчика, и новое сердце затрепетало в красавице, высоко поднялась душистая грудь, и снова свежий славянский румянец вспыхнул на щеках ее; наконец мудрец произнес несколько таинственных слов на древнем славянском языке, который иностранцы называют санскритским, благо-

словил красавицу поэзией Байрона, Державина и Пушкина, вдохнул ей искусство страдать и мыслить[11], и продолжал путь свой.

И в красавице жизнь живет, мысль пылает, чувство горит; вся природа улыбается ей радужными лучами; нет китайских жемчужин в нити ее существования, каждая блещет светом мечты, любви и звуков...

И помнит красавица свое прежнее ничтожество; с стыдом и горем помышляет о нем и гордится своею новою прелестью, гордится своим новым могуществом, гордится, что понимает свое высокое назначение.

Но злодеи, которых чародейская сила была поражена вдохновенною силою индийского мудреца, не остались в бездействии. Они замыслили новый способ для погубления славянской красавицы.

Однажды красавица заснула; в поэтических грезах ей являлись все гармонические видения жизни: и причудливые хороводы мелодий в безбрежной стране Эфира; и живая кристаллизация человеческих мыслей, на которых радужно играло солнце поэзии, с каждою минутою все более и более яснеющее; и пламенные, умоляющие взоры юношей; и добродетель любви; и мощная сила таинственного соединения душ. То жизнь представлялась ей тихими волнами океана, которые весело рассекала ладья ее, при каждом шаге вспыхивая игривым фосфорическим светом; то она видела себя об руку с прекрасным юношею, которого, казалось, она давно уже знала; где-то в незапамятное время, как будто еще до ее рождения, они были вместе в каком-то таинственном храме без сводов, без столпов, без всякого наружного образа; вместе внимали какому-то торжественному благословению; вместе преклоняли колени пред невидимым алтарем Любви и Поэзии; их голоса, взоры, чувства, мысли сливались в одно существо; каждое жило жизнью другого, и гордые своей двойною гармоническою силою, они смеялись над пустыней могилы, ибо за нею не находили пределов бытию любви человеческой...

Громкий хохот пробудил красавицу — она проснулась, какое-то существо, носившее человеческий образ, было пред нею; в мечтах еще неулетевшего сновидения ей кажется, что это прекрасный юноша, который являлся ее воображению, протягивает руки — и отступает с ужасом.

Пред нею находилось существо, которое назвать человеком было бы преступление; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная голова качалась беспре-

станно как бы в знак согласия; толстый язык шевелился между отвисшими губами, не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия, занимавшие место глаз, и на узком лбе его насмешливая рука написала: *Кивакель.*

Красавица долго не верила глазам своим, не верила, чтобы до такой степени мог быть унижен образ человеческий. Но она вспомнила о своем прежнем состоянии; вспомнила все терзания, ею понесенные; подумала, что чрез них перешло и существо, пред нею находившееся; в ее сердце родилось сожаление о бедном Кивакеле, и она безропотно покорилась судьбе своей; гордая искусством любви и страдания, которое передал ей мудрец Востока, она поклялась посвятить жизнь на то, чтобы возвысить, возродить грубое, униженное существо, доставшееся на ее долю, и тем исполнить высокое предназначение женщины в этом мире.

Сначала ее старания были тщетны: что она ни делала, что ни говорила — Кивакель кивал головою в знак согласия — и только: ничто не достигало до деревянной души его. После долгих усилий красавице удалось как-то механически скрепить его шаткую голову, но что же вышло? Она не кивала более, но осталась совсем неподвижною, как и все тело. Здесь началась новая, долгая работа: красавице удалось и в другой раз придать тяжелому туловищу Кивакеля какое-то искусственное движение.

Достигши до этого, красавица начала размышлять, как бы пробудить какое-нибудь чувство в своем товарище; она долго старалась раздразнить в нем потребность наслаждения, разлитую природой по всем тварям; представляла ему все возможные предметы, которые только могут расшевелить воображение животного; но Кивакель, уже гордый своими успехами, сам избрал себе наслаждение: толстыми губами стиснул янтарный мундштук, и облака табачного дыма сделались его единственным, непрерывным, поэтическим наслаждением.

Еще безуспешнее было старание красавицы вдохнуть в своего товарища страсть к какому-нибудь занятию; к чему-нибудь, об чем бы он мог вымолвить слово; по чему он мог бы узнать, что существует нечто такое, что называется мыслить; но гордый Кивакель сам выбрал для себя и занятие: лошадь сделалась его наукою, искусством, поэзиею, жизнью, любовью, добродетелью, преступлением, верою; он по целым часам стоял, устремивши благого-

вейный взор на это животное, ничего не помня, ничего не чувствуя, и жадно впивал в себя воздух его жилища.

Тем и кончилось образование Кивакеля; каждое утро он вставал с утренннм светом; пересматривал восемьдесят чубуков, в стройном порядке пред ним разложенных; выннмал табачный картуз; с величайшим тщаннем и сколь можно ровнее набивал все восемьдесят трубок; садился к окошку н молча, нн о чем не думая, выкурнвал все восемьдесят одну за другою: сорок до и сорок после обеда.

Изредка его молчанне прерывалось восторженным, нз глубнны сердца вырвавшнмся восклнцанием, прн виде проскакавшей мимо него лошади; нлн он призывал своего конюшего, у которого, после глубокомысленного молчання, с важностню спрашнвал:

— Что лошадн?

— Да ничего.

— Стоят на стойле? не правда ли? — продолжал господин Кнвакель.

— Стоят на стойле.

— Ну то-то же...

Тем оканчнвался разговор, и снова господнн Кивакель приннмался за трубку, курил, курнл, молчал и не думал.

Так протекли долгие годы, н каждый день постоянно господин Кивакель выкуривал восемьдесят трубок, н каждый день спрашнвал конюшего о своей лошадн.

Тщетно красавнца прнзывала на помощь всю силу воли, чувства ума и воображения; тщетно прнзывала на помощь молнтву души — вдохновенне; тщетно старалась пленнть деревянного гостя всемн чарами искусства; тщетно устремляла на него свой магнетический взор, чтоб им пересказать ему то, чего не выговарнвает язык человека; тщетно терзалась она; тщетно рвалась; ни ее слова, нн ее просьбы, ни отчаяние, ни та горькая, язвительная насмешка, которая может вырваться лншь из души глубоко оскорбленной, нн те слезы, которые выжнмает сердце от долгого, беспрерывного, томительного страдания, ничто даже не проскользнуло по душе господина Кнвакеля!

Напротив, обжившись хозянном в доме, он стал смотреть на красавнцу как на рабу свою; горячо серднлся за ее упрекн; не прощал ей ни одной мннуты самозабвення; ревниво следнл каждый невинный порыв ее сердца, каждую мысль ее, каждое чувство; всякое слово, непохожее на слова, нм произносимыя, он называл нарушеннем

законов Божеских н человеческнх; и иногда, в свободное от своих занятнй время, между трубкою н лошадью, он читал красавице увещаиня, в которых восхвалял свое смиреиномудрие и охуждал то, что он называл развращеинем ума ее...

Накоиец мера нсполннлась. Мудрец Востока, научнвший красавицу искусству страдать, не передал ей искусства переносить страдаиия; истерзаииая, измучениая своею ежемннутною лнхорадочною жнзнью, оиа чахла, чахла... и скоро бездыханиый труп ее Кивакель снова выкииул из окошка.

Проходящне осуждалн ее больше прежнего...

Орлахская крестьянка

(Из цикла «Беснующиеся»)

> Я предвижу, что миогие почтут слова мои за выдумку воображения; я уверяю, что здесь иет ничего выдумаииого, ио все действительио бывшее и видеииое ие во сие, а иаяву.
>
> *Шведенборг*[1]

— Скажнте, отчего мы любим брнльянты? — сказала молодая киягния Рнфейская, подходя к графу Валкирину, который, сидя в углу диваиа, с каким-то особенным винманием поочередио рассматривал окружающие его лица небольшого домашнего круга княгнни.

— Киягния,— отвечал ои,— вопрос ваш гораздо труднее, нежели как вы думаете. Если отвечать вам на него так, как надобно, вы засмеетесь, как н всегда...

Все захохоталн:

— Ну, уж зиаем, что будет!

— Так! Я еще ие сказал ни слова, а вы уже все смеетесь,— хладнокровно заметил граф.— Что же будет, когда я скажу? За это не будет вам ответа,— прнбавнл он с улыбкою, но в которой было что-то грустиое.

— Скажнте, скажнте,— проговорнли все в одни голос.

— Обещаю вам, что не буду смеяться,— прнбавнла молодая княгиня.

— Так слушайте ж. Уверяю вас, что ваш вопрос гораздо важиее, нежели как он кажется с первого раза. Да,— повторнл граф вздохиувшн,— этот вопрос очеиь далеко заходнт.

— Не до потопа ли? — спросила молодая племянница княгини.

— Гораздо прежде,— отвечал чудак с величайшею важностью. Присутствующие закусили губы, чтоб удержаться от смеха. Граф был, по-видимому, в нерешимости и молчал.

— Ну, что же? — говорили дамы.

— Что? Поверите ли вы мне, когда я скажу вам, что наше пристрастие к этим светящимся камням есть воспоминание о чем-то давно, давно прошедшем? Что было время, когда наше тело светилось ярче всех алмазов на свете?.. что эти грубые камни, так скудно рассыпанные по земле, напоминают нам о нашей прежней светлой одежде... напоминают невольно, ибо нам сделалось уже непонятно это светлое состояние!..[2]

Все захохотали.

— Ах, как хорошо должно быть это платье,— сказала княгиня,— из цельного алмаза!.. Нельзя ли вам как-нибудь постараться достать этой материи! хоть на шляпку...

— Знаете ли, княгиня,— сказал граф важно, посмотрев на нее,— то, что́ вы теперь говорите, говорите не вы?

— Кто же, если не я?..

— Да кто-то другой... Вы, вы не стали бы смеяться над тем, что я теперь говорю; но кто-то другой заставляет вас смеяться. Ему это очень выгодно.

— Да кто же этот другой?

— Этого я не могу вам сказать...— После этих слов все как-то притихли.

В эту минуту встал со стула человек весьма пожилых лет, с холодною, почти безжизненною физиономиею, с которым все обращались весьма почтительно, называя его Иваном Крестьяновичем. Граф заметил это движение, с большим любопытством обратил на него глаза и спросил у соседа: «Кто это?»

— Как! вы не знаете? Это Иван Крестьянович Рындин, человек с большим весом... Прекраснейший человек, добрый, прямой такой.

Граф опустил голову и о чем-то крепко задумался.

Иван Крестьянович шел заглянуть в другую комнату, где раскладывался зеленый стол; проходя мимо хозяйки дома, он шепнул ей: «Что это за граф у вас? Я его никогда еще не видал».

— Он недавно здесь; он много путешествовал; я не

знаю, где он не был: и в Турции, и в Египте, и в Индии...

— Ну, кажется, он немного ума навез из своего путешествия...

— Он немножко странен, но очень мил и забавен...

— Ведь вас, дам, не разберешь! — отвечал Иван Крестьянович с мужиковатостью, которую выдавал за откровенность,— извините,— вы знаете, я человек откровенный... Ну, что тут забавного? Он просто, что по-русски говорится, несет дичь. Вот за чем нынче ездят по чужим землям — все вздор да пустошь... А что же наша партия? — продолжал Иван Крестьянович, обратясь к подходившему старику.

— Составлена, составлена, Иван Крестьянович; я шел за вами...

— Пойдемте-ка, пойдемте на реванж.

Между тем за дамским столиком смеялись и толковали различным образом о том, кто может в человеке говорить вместо его самого.

— Я совершенно согласен с графом,— сказал барон Кейнезейт, молодой дипломат, на время возвратившийся из-за границы, который вслушивался в слова рассказчика с притворною доверенностью.— В проезд мой чрез Германию только и толков было, что об одной крестьянской девушке, в которой будто говорил человек, умерший лет за 400, и будто бы рассказывал такие подробности о том, что было за 400 лет, которые, казалось, не могли прийти в голову простой крестьянки[3].— Мои добрые немцы всему этому верили...

— А вы видели эту девушку? — спросил граф, мгновенно вышедши из задумчивости.

— Нет. Хотел видеть, но мне сказали, что родные ее никого к ней не впускают, что я нахожу очень благоразумным. Дело все в том, что в эту деревеньку ездило множество народа, и хоть никто ничего не видал, но деревенька, говорят, обогатилась от приезжающих.

— В этом вся и загадка! — заметили многие.

— Жаль, что вы не заехали в Орлах,— сказал граф.— Правда, когда бедная девушка занемогла, отец перестал пускать любопытных, которые своими расспросами только мучили больную. Об этой истории было много ложных рассказов; но в самом существе она не подлежит ни малейшему сомнению.

— Вы, верно, знаете эту историю в совершенстве, граф Валкирин? Расскажите ее, сделайте милость,— го-

ворили дамы, улыбаясь.— Обещаю вам, что никто не будет смеяться,— прибавила княгиня, также насмешливо улыбаясь.

— Извольте,— сказал граф,— я никогда не отказываюсь от таких рассказов, когда меня просят, ибо,— заметил он, понизив голос,— в вас просит далекое внутреннее чувство, которое вам самим непонятно.

— Ну, еще, еще! — проговорила княгиня.— Однако ж счастье, что в нас говорят не одни черти. Но кто же еще?.. Я не поняла.

— Кто-то, княгиня, кто, несмотря на ваши насмешки, заставляет вас желать рассказа этой истории и возбуждает в вас любопытство... может быть, спасительное,— прибавил граф с таинственным видом, устремив на нее огненные глаза.

— Ах, как странно вы на меня смотрите! — сказала княгиня.

— О, не смейтесь, умоляю вас; прислушайтесь к тем голосам, которые говорят внутри вас[4]; вы услышите чудные звуки; вы скоро можете приобрести способность отличать один голос от другого, вы...

— Без предисловий,— заговорили все,— историю! историю!

Все придвинулись к столику, за которым сидел наш оратор. Его слушатели были: молодая графиня, княгиня, хозяйка дома, молодой дипломат, возвратившийся из чужих краев, какой-то деловой человек, с весьма важным видом дожидавшийся партии, молодая племянница княгини, только что вышедшая из пансиона и не потерявшая еще привычки слушать со вниманием и даже иногда удивляться. Наконец было несколько домашних лиц, которые в обществе и в жизни играют роль того, что наши старинные стихотворцы называли затычками, каковы слова: «лишь», «уж» и другие, нужные для наполнения стиха; без них нельзя, а все-таки они никуда не годятся.

Рассказчик начал:

— В Германии, в местечке Орлах, жил, а может быть, еще живет и поныне, крестьянин Громбах, лютеранин, человек очень честный и умный,— так что он даже был выбран в звание какого-то начальника в своей деревне. У Громбаха четверо детей; между ними двадцатилетняя дочь, по имени Энхен, образец немецкого трудолюбия и здоровья: плотная, краснощекая, свежая. Целые дни она на сенокосе или на молотьбе и одна отвечает за двух

работников. Она никогда не была больна, не имела никаких детских болезней, никаких припадков и отроду не отведывала никакого лекарства. Школьное учение ей не давалось; она едва знала грамоте и имела даже род отвращения от книг.

— Должно признаться,— заметила графиня,— что ваша героиня вовсе не интересна.

— Я рассказываю истину без всяких прикрас. Все, что я вам буду рассказывать, мне передано почтенными людьми, которые были очевидными свидетелями всего происшествия.— Несколько лет тому назад Громбах купил себе новую корову...

— Не она ли будет настоящею героинею? — заметила насмешница.

— Почти,— отвечал рассказчик.— Но если вы будете меня перерывать, то мы никогда не дойдем до конца. Итак, Громбах купил себе новую корову; вдруг стали замечать, что когда ее привяжут на одном месте в хлеву, то утром она явится на другом месте, также привязанною. Никто не входил в этот хлев, кроме Громбаха и его дочери. В том же хлеву стояли еще три коровы...

Княгиня не могла удержаться:

— Какие интересные подробности!.. C'est du Georg Sand tout pur!..*[5]

Рассказчик, как бы не слушая этих слов, продолжал:

— Скоро домашние с удивлением заметили, что кто-то у коров плетет хвосты[6], да так плотно, как самый искусный мастер. Когда же расплетали хвосты, то они невидимою рукою опять заплетались, как только коров оставляли одних в хлеву. Эти проказы продолжались несколько недель раза по четыре и по пяти в день, и никогда нельзя было заметить, кто это делал.

— Ах, мои батюшки! — заметила Рунская, недавно приехавшая из Москвы,— вот до чего у вас в Петербурге дошли ученые; это у нас, в Москве, лишь кучера уверяют, что домовой у лошадей гривы сплетает; поленятся расчесать, да и на домового!

Рассказчик показал снова вид, будто бы он не слыхал этого замечания, и продолжал:

— Однажды Энхен доила коров, как вдруг,— извините за невежливость,— невидимая рука ударила бедную девушку так сильно, что чепчик слетел с ее головы. Бедная

* Это прямо-таки Жорж Санд! *(франц.)*.

Энхен вскрикнула; на крнк прибежал отец, но возле Энхен никого не было. Прошло несколько дней; в хлеву стала появляться то черная кошка с белою головою, то черная птица, похожая на ворона, и также с белою головою. Все домашние их видели, и однажды кошка броснлась на бедную девушку н больно ее укуснла. Такие странные случан продолжалнсь целый год. Однажды, когда Энхен была с братом в хлеву, вдруг показался в углу огонь...

Деловой человек пожал плечамн и вышел нз комнаты, бормоча: «Что это за вздор! Будто нельзя найти разговора прнлнчнее бабьих сказок». Место делового человека очистнлось, и остальные слушателн плотнее сдвинулнсь вокруг рассказчика. Он продолжал:

— Огонь стал пробивать под крышу. Закрнчали; позвали соседей, залилн огонь; но тем не кончнлось. В продолжение нескольких дней сряду пламя появлялось в разных частях дома, так что наконец Громбах, приписывая этн пожары злому умыслу, должен был обратнться к полнцин. Расставилн вокруг дома караульных, но ннчто не помогало; несмотря на денной н ночной прнсмотр, пламя вспыхивало само собою беспрестанно то в том, то в другом месте. Дошло до того, что Громбах с семейством решнлся выбраться из дома. Дом опустел, но по-прежнему продолжал загораться, несмотря на все предосторожности. Однажды, когда после пожара Энхен в половнне седьмого утром пришла в хлев, вдруг в углу, как бы под стеною, явственно раздался младенческнй крнк. Надобно вам знать, что дом Громбаха построен был на остатке плотной старнннной каменной стены, что очень часто встречается в Германин. Энхен позвала отца. Он осмотрел везде н вокруг хлева, но не нашел ннчего. В тот же день, в половине восьмого, Энхен в темном углу хлева увидела женщину в сероватом платье, с черною пеленою на голове. Прнвиденне тянулось к девушке и как бы удерживалось невиднмою силою. Энхен нспугалась, вскрнкнула — на крнк ее прибежал отец; прнвнденне нсчезло.

Бедная девушка, немного успоконвшнсь, через несколько часов снова пошла в хлев кормнть коров; смотрит: в том же углу та же женщнна в сероватом платье с черною повязкою на голове. Снова то тянется она к Энхен, то исчезает в темноте — наконец перерывающнмся голосом, как бы с необыкновенным усилием, прнвидение проговорнло: «Сломать дом, сломать! — непременно сломать!

А ие то беда, сгорит — и беда вам всем — так хочет злой — я мешаю ему — ио трудио — ие могу — сломать — сломать — иайдете... Обещай! Обещай!»

Испугаиииая Эихеи все обещала — и привидеиие исчезло... Ночью, когда Эихеи уже лежала в постели, серая жеищииа[7] явилась сиова. «Не бойся меия,— говорила оиа,— не бойся, я тебе зла ие сделаю, я тебя люблю, ты мие сестра; да, я также родом из Орлаха; и родилась с тобой в одии деиь, только —400 лет прежде тебя, и меия также звали Аииой; мие очеиь тяжко, я связана с злым, ты можешь освободить меия от иего — о! Сломать дом, сломать дом поскорее...»

С тех пор привидеиие так часто стало являться к бедиой крестьяике, что Эихеи привыкла к этому страииому явлеиию и разговаривала с привидеиием как с обыкиовеииым человеком. Эихеи часто спрашивала свою чудиую сестру: отчего оиа страждет? Кто этот злой, о котором оиа так часто говорит? Как оиа с иим связаиа? Зачем иадобио сломать дом? — Но иа все вопросы привидеиие отвечало весьма иеопределеиио, вздыхало, грустило и вскоре потом исчезало.

Часто серая жеищииа, ие дожидаясь вопроса Эихеи, говорила: «Зиаю, о чем ты хочешь спросить меия», и иногда отвечала иа мыслеииый ее вопрос; иногда говорила: «Не спрашивай же меия об этом, я ие могу тебе отвечать», и всякий раз привидеиие повторяло: «Сломать дом! сломать дом, ие то беда... сил моих иедостает. О, когда иастаиет мииута моего освобождеиия!»

Часто также привидеиие предсказывало Эихеи разиые обстоятельства ее простой жизни, как, иапример, о приходе того или другого лица; и тому подобиое; ио как привидеиие было видимо только одиой Эихеи, то отец ее, посоветовавшись с докторами, приписывал все рассказы своей дочери — болезии и ие решился сломать дом свой. Между тем серая жеищииа ие переставала по-прежиему являться к Эихеи, по-прежиему тосковала и умоляла о том же.

— Так и всегда бывает,— заметил, улыбаясь, одии из слушателей,— уж если явится привидеиие, то иикогда двум вместе, а всегда кому-иибудь одиому, которому и с руки рассказывать об ием что угодио.

— Дослушайте же далее,— отвечал хладиокровио рассказчик и продолжал:

— Настало время сеиокоса. Одиажды, когда Эихен

с отцом пошла на луг, ей послышался голос соседского работника.— «Слышите ли, батюшка, Франц кричит нам, чтоб мы погодили, что и он хочет с нами идти?» Но отец ничего не слыхал. Немного спустя Энхен снова услышала, что тот же голос повторил те же слова и потом засмеялся злобным хохотом. Целый день мелькала перед нею то черная кошка, то черная собака, то взвивалась над нею черная птица; но все это видела одна Энхен — отец ее не видал ничего.

На другой день, на том же сенокосе, невидимый голос сказал на ухо Энхен: «Посмотри-ка, что это за барыня идет к тебе», и злобно засмеялся. В отдалении перед нею мелькнул образ серой женщины. В самый полдень, когда работники разбрелись, перед Энхен явился, как она рассказывала, мужчина в черном платье, ходил с нею по лугу взад и вперед, приговаривая: «Зачем к тебе ходит эта барыня? Чего ей от тебя надобно? Пожалуйста, ты не слушайся ее и не отвечай ей; она тебя только сбивает с толка. Отвечай лучше мне: я тебе за то дам ключ от погреба под вашим домом; там еще есть бочек восемь доброго, старого вина...» Но в этом голосе было что-то столь странное, что Энхен не могла ему в ответ выговорить ни слова.

В следующие дни тот же человек снова появлялся: «Энхен,— говорил он,— не хочешь ли мне помочь собрать сено? Я тебе дам по талеру за копну; а если бы ты знала, какие у меня талеры, звонкие, полновесные! Хочешь, что ли? Да отвечай же мне! Не отвечаешь? Ну, я вижу, ты такая же глупая, как та, которая к тебе ходит».

Иногда черный говорил ей: «Дай мне свою косу; я ее тебе наточу» — и в самом деле брал косу, точил ее, и так исправно, что уже целый день не нужно было ее точить. То приставал к Энхен с обольщениями другого рода: «Хочешь,— говорил он,— я тебя проведу к той барыне, которая к тебе ходит? Мы славно повеселимся: там есть чего и поесть, и попить. Да что же ты не отвечаешь? За каждый твой ответ я тебя осыплю золотом — ведь я очень богат...»

Прилежно ухаживал черный за бедною девушкою: то переворачивал сено, то косил вместе с нею, то рассказывал разные разности, и добивался только одного — ответа; но Энхен по какому-то невольному чувству никогда ему не отвечала. Часто, чтоб выманить ее ответ, он являлся

в виде работницы, звал Энхен к отцу, или в виде соседки, которая приходила будто бы наведаться о ее здоровье,— но странно, что черный человек никогда не мог совершенно изменить своего голоса, так что Энхен всегда его узнавала и по-прежнему оставляла без ответа. Однажды, вошедши с сестрою в хлев, она увидела на бревне мешочек, наполненный старинными серебряными деньгами, подняла его, думая, не потерял ли кто из домашних; но в доме не нашлось хозяина этим деньгам, и пропажи никакой не было. Сестра не знала, что делать с этой находкой, как вдруг возле Энхен очутился черный человек и проговорил с злобным хохотом: «Не бойся, Энхен, бери эти деньги,— они твои, я их взял у одного господина, который обманул другого на шесть карлинов[8]. Да хоть поблагодари меня, Энхен;— это тебе за ту пощечину, которую я тебе дал в начале нашего знакомства, потому что ты мне очень нравишься...»

В ту же ночь явилась к Энхен серая женщина. «Ты хорошо делаешь, что не отвечаешь злому черному; не оставляй у себя и денег, а раздавай их бедным. Первый раз, когда ты будешь в Галле, поди по городу, пока тебя кто не кликнет. Тебе подарят денег, а ты на них купи добрую книгу и старайся читать ее, когда тебе будет грустно.— Да что же дом? Скоро ли его сломают? Скоро ли? Скоро ли?»

Энхен исполнила в точности данное ей приказание. Дома не ломали, но из денег черного человека отдали часть в штутгардский сиротский дом, другую в галльский дом призрения бедных, остальную в орлахское училище. Однажды, будучи в городе, Энхен проходила по улице; какой-то купец позвал ее к себе в лавку и спросил, не она ли девушка из Орлаха, о которой рассказывают такие странные приключения, и подарил ей гульден, на который и купила она сказанную ей книгу.

С другой стороны, и черный не переставал посещать бедную Энхен под разными образами; он говорил ей: «Зачем ты пускаешь к себе эту барыню? Зачем говоришь с нею? Ведь она тебе денег не дает; я же тебе и деньги даю, а ты не хочешь отвечать мне?» К сим словам черный присоединял то насмешку, то обольщения, то угрозы: «Уж обману я тебя, уж будешь отвечать мне! Ну что тебе в твоей скучной жизни? Ну что радости целый век коров доить и сено косить,— отвечай мне только одно слово, и ты будешь богата, всем довольна, ничего не будешь

делать; если же не получу от тебя ответа,— то не пеняй на меня,— увидишь, что будет!»

Эти странные явления несколько времени повторялись беспрерывно; то приходил черный, то от одного появления серой женщины исчезал и снова появлялся при ее уходе.

За сим в течение четырех или пяти дней привидения не являлись; но однажды Энхен, совсем здоровая и спокойная, сказала: «Вот опять идет серая женщина; она говорит, что мне готовятся еще большие страдания от черного, но чтоб я с твердостью перенесла их, что она будет помогать мне. Не понимаю многого, что она говорит, а только повторяет, чтоб скорее сломали дом, что тогда ей будет легче. Ах! Послушайте ее, послушайте, что говорит она! Она говорит, что черный очень зол и мстителен, она его знает... Послушайтесь, исполните ее волю».

Отец Энхен все еще был в нерешимости. Однажды бедная девушка сидела на скамье и вязала чулок; вдруг побледнела и вскрикнула: «Черный, черный! Вот он! Он идет ко мне, он протягивает руки, он жмет мои плечи холодными пальцами, он грозит задушить меня,— вот он! вот он!» — «Где? где?» — спрашивали окружающие.— «Здесь! здесь!» — отвечала Энхен, показывая на сердце; лицо ее подернулось страшными судорогами, глаза помутились, приняли какое-то зверское выражение, и в одно мгновение Энхен заговорила грубым мужским голосом.— «Что вам надобно от меня? — вскричала она громко,— что вы пристаете ко мне? Думаете меня выгнать? Ничего не бывало! Я у вас не в гостях, я здесь начальник — я приор[9]. Слушайтесь меня: здесь под домом... А! опять эта негодная женщина,— опять надоедает мне,— не пойду,— не выйду — ни за что...»

Затем последовали ужаснейшие проклятия, которые, казалось, не могли и на ум войти бедной девушке.

Судороги усилились; Энхен упала без чувств; призвали доктора,— тщетно, никакие медицинские пособия не помогали. Через несколько минут она очнулась сама собою, и хоть была еще слаба, но чувствовала себя совершенно здоровою. Она не помнила ни слов, произнесенных ею во время припадка, ни вопросов, которые ей делали; но рассказывала только, что видела, как черный с ужасным видом приблизился к ней, как оперся на ее плечи холодными, как лед, руками и вскочил прямо в ее сердце. Она чувствовала, как терзало ее присутствие этого незваного гостя; хотела жаловаться, но не могла: черный

вполне распоряжался ее мыслями и речами. Через несколько времени Энхен увидела свою знакомку в сером платье, увидела, как она также приблизилась и также вошла в правую сторону ее груди. Тут между обоими привидениями начался, по словам Энхен, спор, которого она понять не могла, ибо они говорили на неизвестном ей языке, после чего она видела, как черный, проклиная все на свете, вышел из ее тела, слышала, как серая женщина повторила: «Сломать дом! Сломать дом!» и наконец Энхен утверждала, что она как бы проснулась.

Такая сцена была не последняя; несколько раз Энхен рассказывала снова о появлении то черного, то серого привидения, снова чувствовала прикосновение холодных пальцев, снова заговаривала грубым мужским голосом и впадала в беспамятство.

Тысячи людей собирались смотреть на это дивное явление; присутствие некоторых людей раздражало черного, говорившего устами бедной крестьянки; других он принимал ласково; над иными он насмехался и рассказывал всю их жизнь с самого рождения, открывал такие тайные их действия, которые приводили в ужас слушателей, тем более что между любопытными находились люди, приехавшие издалека, о которых Энхен в своем обыкновенном состоянии не могла иметь никакого понятия.

Выходя из беспамятства, Энхен плакала горько и жаловалась, что у ней, верно, падучая болезнь. Отец был в совершенном отчаянии; лекарства не помогали, и он решился наконец исполнить странное приказание серой женщины: перевез больную на другую квартиру и приступил к сломке дома. Доктор присоветовал скрыть на время бедную девушку от любопытных, которые своими расспросами, казалось, еще увеличивали ее терзания.

В новом жилище припадки больной продолжались, но с меньшею силою. Замечали, что во время беспамятства лицо ее склонялось то на правую, то на левую стороны, принимало то зверское, то добродушное выражение и наконец совсем склонялось на правую сторону: это был признак, что припадок оканчивался.

Однажды Энхен сказала: «Сегодня поутру, когда я лежала одна в постели, моя добрая знакомка явилась мне; но она уже была не в сером платье, но под белым покрывалом, которое так сильно блистало, что я не могла смотреть на нее. Она, казалось, была очень весела; велела мне благодарить отца за то, что он исполняет ее просьбу,

и потом прибавнла: «Теперь я могу тебе рассказать многое. Четыреста лет тому, как мне было еще двадцать четыре года, черный уговорил меня уйтн из моего дома; он переодел меня в мужское платье н прнвел меня в свой дом, на самое то место, где теперь находится ваш дом. Я любила его! Когда родился наш первый ребенок, черный тотчас убнл его, чтоб его крнк не обнаружил нашей преступной тайны; труп был закладен в стену. О! Ужасна была для меня эта мннута! Но любовь моя была еще во всем разгаре,— я все простила и снова бросилась в его объятия. Родился другой ребенок; он убил н его; это было слишком; я пришла в отчаяние; мои рыдання надоелн жестокому,— он убил и меня! Труп мой также закладен в стене. Несколько лет еще он предавался всем возможным преступлениям и однажды, в минуту бешенства, сделался самоубийцею. С тех пор тень моя бродит за его тенью: мой прах и прах детей моих связывают нас неразрывными узами; ты одна можешь разорвать нх, н теперь лншь наступило для того время. Вооружись твердостью, перенеси еще несколько страданий — они не продолжатся долго; этой ценою ты купишь мое избавление!"»

Сказав это, белое привиденне протянуло руку к девушке. Энхен, пораженная снм явлением, не осмелнлась подать ему свою руку нначе, как обернув ее платком; когда рука прнвндения коснулась платка, платок затлелся, но без всякого дыма. Энхен показывала этот платок родным н знакомым: на нем явственно прогорелыми местами означились ладонь и пять пальцев.

Приступили к сломке дома. Энхен была спокойна и здорова, как вдруг вскричала с ужасом: «Опять, опять черный! Вот он подходнт ко мне, послушайте, что говорит он; он браннт меня, он насмехается над нею (так называла она белое привидение), зачем она рассказала мне его тайны... О, страх! Он говорнт, что опять войдет в меня и что хоть это будет в последний раз, но что он будет долго меня мучить». И Энхен замолкла, побледнела; лицо ее приняло зверское выражение, глаза плотно сомкнулись; когда силою поднимали ее веки, зрачка не было видно; пульс не переменялся, а между тем вся левая сторона была холодна как лед. В ту же минуту она заговорила голосом черного; жестоко он насмехался над всеми окружающими: «Ну, что? — говорил он устами Энхен,— вы узнали все мон проказы? Ну да, я был злодей, так что ж за беда? Что же мне делать? Отец мой был

человек богатый; он немножко разбойничал по дорогам, а с ним и я, да еще двое моих старших братьев. У нас был славный замок в Гейслингене, на час пути от Орлаха. Жили мы весело, и к этой веселой, разгульной жизни я очень привык; отец мой умер; старшему брату достался замок, а я пошел ни с чем. Не отвыкать же мне было от моей прежней жизни: вы бы то же сделали на моем месте, не правда ли? Я не забывал красавиц, и они меня не забывали; я их переодевал в мужское платье, и они преспокойно поживали со мной; да та была беда, что завелись у них дети: не нянчить же мне их было! На беду, между красавицами попадись вот и эта белая барыня, которая повадилась сюда ходить непрошеная; когда я избавил ее и себя от ребят, она и вздумала донести на меня через одного прислужника,— вот этого она не рассказывает. Нарядили суд; беда бы мне была, да и только, но хорошо, что я спохватился да отправил ее в то же укромное место, куда и ребят ее спровадил: искали, искали, ничего не нашли,— так дело и кончилось. Только после уж мне трудно было приводить к себе красавиц: за мною присматривали. Скучно мне показалось на свете жить, подумал: дерево срубят, оно так и лежит — и с человеком то же бывает; подумал, да и перерезал себе горло. Правда, вижу теперь, что не то: нет мне покоя ни на минуту, да зато и другим не даю покоя; брожу, брожу,— замечу, у кого дверь отворена, и вскочу в нее,— ведь нашему брату куда хорошо приютиться в человеке, и не холодно и не жарко; в ином так весело, что живешь в нем целую жизнь, да и знака не покажешь; живешь смирно целые годы — никто не заметит; умираете вы только скоро, негодные,— то и дело переменяй квартиру. Хотел было я приютиться в этой глупой девчонке, сам не знаю, как забрел к ней, да, вишь, нашла себе покровительницу... Только что сердят да выживают меня,— зато от меня и достается!»

С каждым из сих слов страдания бедной Энхен увеличивались; она металась во все стороны,— шесть человек присутствующих не могли держать ее; страшные судороги сводили ее члены; из уст ее вырывались то самые ужасные проклятия, то насмешки.

Между тем дом сламывался; под фундаментом его нашли своды совсем другой постройки, по-видимому, принадлежавшие весьма давнему времени. В этих сводах открылось место, которого известка явственно отличалась

от находнмой в другнх частях строеиня. Едва ударнлн в это место киркою, как из него посыпались человеческне костн. В ту же самую мииуту Эихен, находившаяся в другом доме и, разумеется, ие могшая зиать о случнвшемся во время ломкн, вдруг прншла в себя, почувствовала себя совершеиио здоровою, и с тех пор прнпадки ее ие возвращались. Свндетелями этой сцеиы былн несколько врачей и миогие другие известные в Германии люди.

Вот вам моя история. Из нее вы, княгння, можете вывести, в внде нравоучения, что бывают случаи, когда действительно говорим не мы, а кто-то другой говорнт за нас...

Рассказчик умолк. Было уже за полиочь. Потому лн, что в эти часы воображеиие всякого человека бывает более или меиее иаклоиио к чудесиому, оттого ли, что граф говорил красиоречиво — ио иасмешек не было, а все как-то иевольно призадумались.

— Позвольте, одиако же, заметить,— сказал Звеиский, молодой племяннник княгнии, только что вышедший из уннверснтета, н который слушал рассказчнка с большнм виимаиием,— позвольте заметить, что это происшествне иичего ие доказывает в пользу вашего миеиия н что все, вами рассказаиное, очеиь хорошо может быть объясиеио известными закоиамн природы. У бедной Энхен действнтельио была падучая болезнь; а нзвестно, что в этой болезнн после самого ужасиого припадка человек чувствует себя совершеино здоровым и ие помиит иичего, что с ннм было. Рассказы Эихеи, видимо, почерпиуты из немецких сказок, в которых белые и чериые прнвндення играю большую роль; что же касается до того, что ее припадки прекратились в ту самую мииуту, когда найдены были кости, то это ие иное что, как случайиость, которая могла быть н ие быть.

— Так,— отвечал граф Валкирии,— ио вот в чем дело, не только Энхеи, ио даже н терпелнвые немецкне учеиые не подозревалн существоваиия замка, о котором говорила Энхеи. Ее слова расшевелили всех аитиквариев; пошлн толки в журиалах, иачали рыться в архивах и между кипами старых бумаг, в которые сотни лет иикто не заглядывал, отыскали подлииное дело о следствии, произведенном за четыреста лет иад злодеем, жнвшим, как вндно было по докуметам, на самом том месте, где потом был построен дом Громбаха, отца Энхеи. Другие докумеиты обозначали то место, где иаходился гейслиигеи-

ский замок, которого развалины до сих пор могут вндеть путешественникн и которого существоваиия также ннкто ие подозревал до той мннуты.

— Вы зиаете,— отвечал молодой человек,— что во всех нсториях такого рода многое должно быть нсследоваио с большою тщательностью, как юридический процесс; но позвольте заметнть н то, что все подобные происшествня перестают быть чудесиыми с тех пор, как нам стал нзвестен магнетизм...[10]

— Известен? — повторнл граф с едва заметною, но горькою улыбкою.— Берегнтесь, молодой человек, чтоб он в самом деле не сделался вам вполне известеи!..— прибавил граф такнм выразнтельным тоиом, что молодой человек ие нашелся, что отвечать, а только посмотрел иа графа с удивлением и любопытством.

Разговор коичнлся, гостн стали расходиться. По лестннце дипломат очень остроумно на ухо дамам подшучивал над рассказчнком, а сам думал про себя по-фраицузскн: «Право, недурное средство; этого молодца все слушали, а мне не удалось вымолвнть нн слова; оставалось только глотать свой язык; а недурное средство — иадобио нспытать его! Необходимо прочесть что-инбудь об этнх бреднях; Европа уж так сделалась известиа всякому встречному и поперечиому, так нзбита, что говорнть о ией становится делом дуриого тона. Нечего делать, иадобио будет прнияться за бесовщнну, а потом... потом перещеголять этого молодца... Можно найти что-иибудь и пострашнее его рассказа...»

Сни размышлеиия были прерваны криком швейцара, который провозглашал исковерканную фамилню иашего дипломата...

Косморама

(Посв. гр. Е. П. Р-ой)[1]

Quidquid est in externo est etiam in interno*.

Неоплатоники[2]

Предуведомление от издателя

Страсть рыться в старых книгах часто приводнт меня к любопытиым открытиям; со времеием надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике; но ко

* Что снаружи, то и внутри *(лат.)*.

многим из них я считаю необходимым присовокупить вступление, предисловие, комментарии и другие ученые принадлежности; все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих открытий представить читателям просто в том виде, в каком они мне достались.

На первый случай я намерен поделиться с публикой странною рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана на почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я, не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего нет; но может случиться, что некоторые из читателей посетуют на меня, зачем я многие места в ней оставил без объяснения? Спешу порадовать их известием, что я готовлю к ней до четырехсот комментарий, из которых двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как дважды два — четыре, так что читателям не остается ни малейших недоразумений: сии комментарии составят препорядочный том in-4°[3] и будут изданы особою книгою. Между тем я непрерывно тружусь над разбором продолжения сей рукописи, к сожалению, писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить ее любознательной публике; теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя[4].

Рукопись

Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя жизнь вначале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать об нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем, и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование, так естественно примешались к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту не мог вполне оценить всю странность моего положения.

Признаюсь, что, пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти; при всех условиях вспоминаю лишь те обстоятельства, которые относятся к явлениям *другой,* или, лучше сказать, *посторонней* жизни — иначе не знаю, как назвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинают с моего детского возраста, прежде, нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются, с ужасною логическою последовательностию, нежданно и почти против моей воли; принужденный бежать людей, в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я замечаю, что все, мною сказанное до сих пор, может быть понятно лишь для меня или для того, кто перешел чрез мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память — так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для читателя осталось и для меня непонятным. Может быть тот, кому известен настоящий ключ к гиероглифам человеческой жизни, воспользуется лучше меня моею собственною историею. Вот единственная цель моя!

Мне было не более пяти лет, когда, проходя однажды чрез тетушкину комнату, я увидел на столе род коробки, облепленной цветною бумажкою, на которой золотом были нарисованы цветы, лица и разные фигуры; весь этот блеск удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением.

— Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Бин; но тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен.— С сими словами тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на

которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета.

(Я должен предуведомить моих читателей, что у меня не было ни отца, ни матери, и я воспитывался в доме моего дяди.)

Детское любопытство было раздражено и видом ящика, и словами тетушки; игрушка, и еще игрушка для меня назначенная! Тщетно я ходил по комнате, заглядывал то с той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик: тетушка была неумолима; скоро ударило 9 часов, и меня уложили спать; однако мне не спалось; едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами; мне казалось, что он растворялся, что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и манили меня к себе — я пробуждался; наконец я решительно не мог заснуть, несмотря на все увещания нянюшки; когда же она мне погрозилась тетушкою, я принял другое намерение: мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, выйдет из комнаты, и что тетушка теперь в гостиной; я притворился спящим. Так и случилось. Нянюшка вышла из комнаты — я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет; придвинуть стул к столу, взобраться на стул, ухватить руками заветный, очаровательный ящик — было делом одного мгновения. Теперь только, при тусклом свете ночной лампы, я заметил, что в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет; оглянувшись, чтобы посмотреть, не идет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди, богато одетые; везде блистали лампы, зеркала, как будто был какой-то праздник; но вообразите себе мое удивление, когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала его; однако ж этот мужчина был не дядюшка; дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке, а этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо; я обернулся — передо мной стояла тетушка.

— Ах, тетушка! Как, вы здесь? А я вас сейчас там видел...

— Какой вздор!..

— Как же, тетушка! И белокурый пребравый офицер целовал у вас руку...

Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо отвела меня в мою спальню.

На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом; перед нею стоял таинственный ящик, но только крышка с него была снята и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился, боялся пошевельнуться, думая, что мне достанется за мою вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бранила меня, а, показывая вырезанные картинки, спросила: «Ну, где же ты здесь меня видел? Покажи». Я долго разбирал картинки: тут были пастухи, коровки, тирольцы, турки, были и богато наряженные дамы, и офицеры, но между ними я не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между тем этот разбор удовлетворил мое любопытство; ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на колесах заставила меня совсем забыть о нем.

Скоро, вслед за тем, я услышал в детской, как нянюшки рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий, братец-гусар и проч. т. п. Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой — мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал:

— Да я вас знаю, сударь!

— Как знаешь? — спросил с удивлением дядюшка.

— Да я уж видел вас...

— Где видел? Что ты говоришь, Володя? — сказала тетушка сердитым голосом.

— В ящике,— отвечал я с простодушием.

Тетушка захохотала:

— Он видел гусара в космораме[5],— сказала она.

Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор Бин; ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь, повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел».

Я очень полюбил Поля (так называли дальнего братца тетушки), а особливо его гусарский костюм; я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме — в комнате за оранжереей; да сверх того он, казалось, очень любил игрушки, потому что когда он сидел у тетушки в комнате, то беспрестанно посылал меня в детскую, то за тою, то за другою игрушкой.

Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю

чудесного паяца, которого только что мне подарили и который руками и ногами выкидывал удивительные штуки; я его держал за веревочку, а Поль между тем за стулом держал руку у тетушки; тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяца, отложил его в сторону и от скуки принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и нитку; один ее конец прилепил к одной половине двери, а другой конец — к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня с удивлением.

— Что ты делаешь, Володя? — спросила меня тетушка,— кто тебя этому научил?

— Дядя так делал сегодня поутру.

И тетушка, и Поль вздрогнули.

— Где же это он делал? — спросила тетушка.

— У оранжерейной двери,— отвечал я.

В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга очень странным образом.

— Где твой гнедко? — спросил меня Поль,— приведи ко мне его; я бы хотел на нем поездить.

Второпях я побежал в детскую; но какое-то невольное чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел, что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкиному кабинету, тщательно ее осматривали, и что Поль перешагнул через нитку, приклеенную поутру дядюшкою; после чего Поль с тетушкою долго смеялись.

В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного.

Вот два замечательнейшие происшествия моего детства, которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного читателя. Меня свезли к дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска, от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со временем письма становились реже и реже, из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лет прошло с тех пор; я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина[6], несколько обманутых надежд; наконец отпросился в отпуск, в матушку-Москву, с самым байроническим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине.

Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедши в дядюшкин дом, который

сделался моим, я ощутил чувство неизъясимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествия детства. Это явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают; только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами и оттого забываем их. Может быть, эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами, и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из долгого странствия, перебирает с наслаждением собранные им и частию забытые редкие растения, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые возбуждались в душе его посреди опасностей страннической жизни. По крайней мере, я с таким чувством пробежал ряд комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь; быстро дошел я до тетушкина кабинета... Все в нем оставалось на своем месте: ковер, на котором я играл; в углу обломки игрушек; под зеркалом камин, в котором, казалось, только вчера еще погасли уголья; на столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел затопить камин и уселся в кресла, на которые, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее, я невольно стал припоминать все происшествия моей детской жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною; наконец я дошел до вышеописанных случаев между тетушкою и Полем; над диваном висел ее портрет; она была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца; на другой стороне висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, повидимому, взоре была видна тонкая русская сметливость.

Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнивая их, я понял все, что мне в детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устремились на космораму, которая играла такую важную роль в моих воспоминаниях; я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось, и прежде, нежели случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул ее к себе и с чрезвычайным удивлением в запыленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мною в моем детстве. Признаюсь, не без невольного трепета и не отдавая себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее косморамы я снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в детстве; те же украшения, те же колонны, те же картины, также был праздник; но лица были другие: я узнал многих из теперешних моих знакомых и наконец в отдаленной комнате — самого себя; я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе... Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтоб иметь возле себя какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает дремать; я сжалился над ним и отпустил его; между тем заря уже начала заниматься; этот вид успокоил мою волнующуюся кровь; я бросился на диван и заснул, но сном беспокойным; в сновидениях мне беспрестанно являлось то, что я видел в космораме, которая мне представлялась в образе огромного здания, где все — колонны, стены, картины, люди — все говорило языком, для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание.

Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось, что он совсем не переменился с тех пор, как я его видел лет двадцать тому назад; тот же синий фрак с бронзовыми фигурными пуговицами, тот же клок седых волос, которые торчали над его серыми, спокойными глазами, тот же всегда улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на которой я, бывало, ездил

верхом. После многих разговоров, после многих воспоминаний я невольно завел речь о космораме, которую он подарил мне в моем детстве.

— Неужели она цела еще? — спросил доктор, улыбаясь,— тогда это была еще первая косморама, привезенная в Москву; теперь она во всех игрушечных лавках. Как распространяется просвещение! — прибавил он с глупо-простодушным видом.

Между тем я повел доктора показать ему его старинный подарок; признаюсь, не без невольного трепета я переступил чрез порог тетушкина кабинета; но присутствие доктора, а особливо его спокойный, пошлый вид меня ободрили.

— Вот ваша чудесная косморама,— сказал я ему, показывая на нее... Но я не договорил: в выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание.

В темной глубине косморамы я явственно различил самого себя и возле меня — доктора Бина; но он был совсем не тот, хотя сохранял ту же одежду. В его глазах, которые мне казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби; все смешное в комнате принимало в очаровательном стекле вид величественный; там он держал меня за руку, говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал.

— Видите, видите! — сказал я доктору, показывая ему на стекло,— видите ль вы там себя и меня? — С этими словами я приложил руку к ящику; в сию минуту мне сделались внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря: «Что с вами?» — его двойник улыбнулся. «Не верь ему,— говорил сей последний,— или, лучше сказать, не верь мне в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю, но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются в виде *невольных побуждений.* Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь твоего дядю и моего благодетеля от несчастия, которое грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия; ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность; с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожи-

данно, против твоей воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! Ты — ты можешь все видеть,— все, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого *там* непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обстоятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков, которые я часто понимаю криво или которые вовсе не понимаю. Но не радуйся: если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившею меня гордостью человека; я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели... и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой,— береги меня.... За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! Сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость[7]! Не умертви твоего посвятителя!»... Видение зарыдало.

— Слышите, слышите,— сказал я,— что вы там говорите? — вскричал я с ужасом.

Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением.

— Вы сегодня нездоровы,— говорил он.— Долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое — все это встревожило ваши нервы, дайте-ка я вам пропишу микстуру.

— Знаешь ли, что там, у вас, я думаю,— отвечал двойник доктора,— я думаю просто, что ты помешался. Оно так и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в нашем мире говорит языком нашего. Как я странен, как я жалок в этом образе! И мне нет сил научить, вразумить себя — так грубы мои чувства, спеленан мой ум, в слухе звездные звуки — я не слышу себя, я не вижу себя! Какое терзанье! И еще кто знает, может быть в другом, в высшем мире я кажусь еще более странным и жалким. Горе! горе!

— Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович,— сказал настоящий доктор Бин,— вам нужна диета, постель, а здесь как-то холодно; меня мороз по коже подирает.

Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел меня из комнаты, я в раздумьи следовал за ним, как ребенок.

Микстура подействовала; на другой день я был гораздо спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая так сильно потрясла мое сильное воображение, по воспоминаниям ли или по другой какой-либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень спал с моей груди; я быстро выздоравливал, и наконец доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться как можно больше искать перемены предметов и всякого рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших расстроенных нервов»,— говорил доктор.

Кстати, я вспомнил, что к моим знакомым и родным я еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов, истратив почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского бульвара и вышел с намерением дойти пешком до Рожественского монастыря[8]; невольно я останавливался на всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы, которые кажутся так живописными после однообразных петербуржских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на Трубе[9] тянулся в гору, по которой рассыпаны были маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры и, может быть, потому еще более красивые; их пестрота веселила меня в детстве и теперь снова поражала меня своею прихотливою небрежностию. По дворам, едва огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности; над домом в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красною краскою, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет двадцать тому назад эта голубятня была для меня предметом удивления; я знал очень хорошо этот дом; с тех пор он нимало не переменился, только с бока приделали новую пристройку в один этаж и как будто нарочно выкрасили желтою краскою; с нагорья была видна внутренность двора; по нем величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная дворня весело суетилась вокруг краснобая-пряничника. Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно всю нелепость и безвкусие его устройства, но, несмотря на то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят вылощенные петербуржские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мосто-

вой вместе с проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь, напротив, все носило отпечаток живой, привольной домашней жизни, здесь видно было, что жили для себя, а не для других и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел имя одной из моих тетушек, которую тщетно отыскивал на Моховой; поспешно вошел я в ворота, которые, по древнему московскому обычаю, никогда не были затворены, вошел в переднюю, которая, также по московскому обычаю, никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень; мимо их я прошел преспокойно в столовую, *передгостиную,* гостиную и наконец так называемую боскетную[10], где под тенью нарисованных деревьев сидела тетушка и раскладывала гранпасьянс. Она ахнула, увидев меня; но когда я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость.

— Насилу ты, батюшка, вспомнил обо мне! — сказала она.— Вот сегодня уж ровно две недели в Москве, а не мог заглянуть ко мне.

— Как, тетушка, вы уж знаете?

— Как не знать, батюшка! По газетам видела. Вишь, вы нынче люди тонные, только по газетам об вас и узнаем. Вижу: приехал поручик***. «Ба! — говорила я,— да это мой племянник!» Смотрю, когда приехал — 10 числа, а сегодня 24-е.

— Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас.

— И, батюшка! хотел бы отыскать — отыскал бы. Да что и говорить, хоть бы когда строчку написал! А ведь я тебя маленького на руках носила — уж не говорю часто, а хоть бы в Светлое Воскресенье с праздником поздравил.

Признаюсь, я не находил, что ей отвечать, как вежливее объяснить ей, что с пятилетнего возраста я мог едва упомнить ее имя. К счастью, она переменила разговор.

— Да как это ты вошел? Об тебе не доложили: верно, никого в передней нет. Вот, батюшка, шестьдесят лет на свете живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня! Позвони в колокольчик.

При сих словах в комнату вошла девушка лет 17-ти, в белом платье. Она не успела позвонить в колокольчик...

— Ах, батюшка, да вас надобно познакомить: ведь она тебе роденька, хоть и дальняя... Как же! Дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец Владимир Петрович. Ты часто об нем слыхивала; вишь, какой молодец!

Соня закраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько слов, и мы уселись.

— Впрочем, не мудрено, батюшка, что ты не отыскал меня,— продолжала словоохотливая тетушка.— Я ведь свой дом продала да вот этот купила. Вишь, какой пестрый, да, правду сказать, не затем купила, а оттого, что близко Рожественского монастыря, где все мои голубчики родные лежат; а дом, нечего сказать, славный, теплый, да и с какими затеями: видишь, какая славная боскетная; когда в коридоре свечку засветят, то у меня здесь точно месячная ночь.

В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло.

— Видишь, батюшка, как славно придумано. Днем в коридоре светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой старый дом?

— Как же, тетушка! — отвечал я, невольно улыбаясь.

— А теперь дай-ка похвастаюсь моим новым домком.

С сими словами тетушка встала, и Соня последовала за ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось, были приделаны друг к другу без всякой цели; однако же, при более внимательном обзоре, легко было заметить, что в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но между тем служили для более удобного сообщения между жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Сони, которая отличалась от других комнат особенною чистотою и порядком; у стенки стояли маленькие клавикорды[11], на столе — букет цветов, возле него старая Библия, на большом комоде старинной формы с бронзою я заметил несколько томов старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться.

— А вот здесь у меня Соня живет,— сказала тетушка.— Видишь, как все у ней к месту приставлено; нечего сказать, чистоплотная девка; одна у нас с нею только беда: работы не любит, а все любит книжки

читать. Ну, сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке книжки читать, да еще все по-немецки — вишь, немкой была воспитана.

Я хотел сказать несколько слов в оправдание прекрасной девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза в землю, но тетушка прервала меня:

— Полно, батюшка, фарлакурить! Мы знаем, ведь ты петербуржский модный человек. У вас правды на волос нет, а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает.

С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами: ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни, и недаром новые романисты с таким усердием описывают мебели своих героев; теперь можно и с большею справедливостью переиначить старинную поговорку: «Скажи мне, где ты живешь — я скажу, кто ты».

Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать дома и строиться; она подробно рассказывала мне, как она приискала этот дом, как его купила, как его переделала, что ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нечего сказать, прекрасна: рассыпанные по плечам â la Valière* русые волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми, черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки — все в ней исчезало перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу... Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила дух, и сказал Соне: «Вы любите чтение?»

— Да, я люблю иногда чтение...

— Но, кажется, у вас мало книг?

— Много ли нужно человеку!

Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне довольно смешною.

— Вы знаете по-немецки. Читали ли вы Гете, Шиллера, Шекспира в переводе Шлегеля?[12]

— Нет.

— Позвольте мне привезти вам эти книги...

— Я вам буду очень благодарна.

---

* Наподобие Ла Вальер[13] *(франц.)*.

— Да, батюшка, ты Бог знает чего надаешь ей,— сказала тетушка.

— О, тетушка, будьте уверены...

— Прошу, батюшка, привезти таких, которые позволены.

— О, без сомнения!

— Чудное дело! Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах. В молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга? Мне отвечали: «Россияда» сенатора Хераскова[14]. Вот я и принялась ее читать; только такая, батюшка, скука взяла, что я и десяти страниц не прочла; тут я подумала: что ж, если лучшая в свете книга так скучна, что ж должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупа или что другое, только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих.

На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные, и вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную, мы с Софьею медленно за ней следовали и на минуту остались почти одни.

— Не смейтесь над тетушкою,— сказала мне Софья, как бы угадывая мои мысли,— она права: понимать книги очень трудно; вот, например, мой опекун очень любил басню «Стрекоза и Муравей»; я никогда не могла понять, что в ней хорошего; опекун всегда приговаривал: ай да молодец муравей! А мне всегда бывало жалко бедной стрекозы и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила, нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменил эту басню, но над мной все смеялись.

— Не мудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой басни умер еще до французской революции.

— Что это такое?

Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие о сем ужасном происшествии.

Софья была видимо встревожена, слезы показались у нее на глазах.

— Я этого и ожидала,— сказала она после некоторого молчания.

— Чего вы ожидали?

— То, что вы называете французскою революциею, непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и Муравей»[15].

Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор:

— Что у вас там такое? Вишь, она как с тобою раскудахталась — а со мной так все молчит. Что ты ей там напеваешь?

— Мы рассуждаем с кузиной о французской революции.

— Помню, помню, батюшка; это когда кофей и сахар вздорожали...

— Почти так, тетушка...

— Тогда и пудру уж начали покидать; я жила тогда в Петербурге; приехали французы — смешно было смотреть на них, словно из бани вышли; теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшки!

Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни гвоздики, ни корицы; что вместо прованского масла делали салат со сливками и проч. т. п.

Наконец я распростился с тетушкой, разумеется, после клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На этот раз я не лгал: Соня мне очень приглянулась.

На другой день явились книги, за ними я сам; на третий, на четвертый день — то же.

— Как вам понравились мои книги? — спросил я однажды у Софьи.

— Извините, я позволила себе заметить то, что в них мне понравилось...

— Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши заметки!

Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза: «Да, друг Горацио, много в сем мире такого, что и не снилось нашим мудрецам»[16]. В «Фаусте» Гете была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине[17].

— Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена?

— Разве вы не видите,— отвечала Софья простодушно,— что Мефистофель спешит; он гонит Фауста, говорит, что там колдуют; но неужели Мефистофель боится колдовства?

— В самом деле, я никогда не понимал этой сцены!

— Как это можно? Это самая понятная, самая светлая сцена! Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает Фауста? Он боится — здесь не колдовство, здесь совсем другое... Ах, если бы Фауст остановился!..

— Где вы все это видите? — спросил я с удивлением.

— Я... я вас уверяю,— отвечала она с особенным выраженнем.

Я улыбнулся; она смутилась... «Может быть, я н ошнбаюсь»,— прибавила она, потупнв глаза.

— И больше вы ничего не заметилн в моих книгах?

— Нет, еще много, много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять...

— Как просеять?

— Да! Чтобы осталось то, что на сердце ложится.

— Скажнте же, какне вы любите книгн?

— Я люблю такие, что, когда их читаешь, то делается жалко людей и хочется помогать им, а потом захочется умереть.

— Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? Вы не рассердитесь за правду?

— О нет; я очень люблю правду...

— В вас много странного; у вас какой-то особенный взгляд на предметы. Помните, намедни, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегнтесь слов, ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словамн!»[18] Потом, когда я заметил, что вы одеты не совсем по моде, вы отвечали: «Не все ли равно? Не успеешь трех тысяч раз одеться, как все пройдет: это платье с нас сннмут, снимут и другое, н спросят только, что мы доброго по себе оставилн, а не о том, как мы были одеты?» Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких мыслей?

— Я не знаю,— отвечала Софья, нспугавшись,— иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушнваюсь и говорю, не думая,— н часто что я говорю, мне самой непонятно.

— Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говорншь, и говорить только то, что вы ясно понимаете...

— Мне и тетушка то же тверднт; но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит, я забываю, что надобно прежде подумать — я и говорю или молчу; оттого я так часто молчу, чтобы тетушка меня не браннла; но с вами мне как-то больше хочется говорить... мне, не знаю отчего, вы как-то жалкн...

— Чем же я вам кажусь жалок?

— Так! Сама не знаю — а когда я смотрю на вас, мне вас жалко, так жалко, что и сказать нельзя; мне все

хочется вас, так сказать, утешить, и я вам говорю, говорю, сама не зная что.

Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста.

— Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за ваше доброе ко мне чувство; но поверьте мне, вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно.

— Опасно? Отчего же?

— Вам надобно стараться развлекаться, не слушать того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит...

— Не могу — уверяю вас, не могу; когда голос внутри заговорит, я не могу выговорить ничего кроме того, что он хочет...

— Знаете ли, что в вас есть наклонность к мистицизму? Это никуда не годится.

— Что такое мистицизм?

Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении. Я невольно улыбнулся.

— Скажите, кто вас воспитывал?

— Когда я жила у опекуна, при мне была нянянемка, добрая Луиза; она уж умерла...

— И больше никого?

— Больше никого.

— Чему же она вас учила?

— Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки, ходить за больными....

— Вы с ней ничего не читали?

— Как же? Немецкие вокабулы, грамматику... да! я забыла: в последнее время мы читали небольшую книжку...

— Какую?

— Не знаю, но постойте, я вам покажу одно место из этой книжки. Луиза при прощанье вписала ее в мой альбом; тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка.

В Софьином альбоме я прочел сказку, которая странным образом навсегда напечатлелась в моей памяти; вот она:

«Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные; они не могли выйти из этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице, и, за недостатком дневного света, зажигали свечи.

Один из этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце — великая и знатная особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том, как бы ему поговорить с этим вельможею; бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему увидеть солнце и подышать свежим воздухом — наслаждение, которого он также никогда не испытывал; приходящие отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и крутой лестнице. Богач, напротив, расспрашивал приходящих подробнее; узнал, что солнце — огромная планета, которая греет и светит; что, вышедши из пещеры, он увидит тысячу вещей, о которых не имеет никакого понятия; но когда приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею; что горазо благоразумнее обойтись без солнца, потому что у него в пещере есть камин, который греет, и свеча, которая светит; к тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного и что он сам гораздо лучшее имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил труда и выбрался из пещеры, и когда он дохнул чистым воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а, падши на колени, лишь благодарил Бога за такое непонятное ему прежде наслаждение. Другой остался в смрадной пещере, перед тусклой свечою и еще смеялся над своим прежним товарищем!»

— Это, кажется, аполог Круммахера[19],— сказал я Софье.

— Не знаю,— отвечала она.

— Он не дурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев; но посмотрите, в нем то же, что я сейчас говорил, то есть, что человеку надобно трудиться, сравнивать и думать...

— И верить,— отвечала Софья с потупленными глазами.

— Да, разумеется, и верить,— отвечал я с снисходительностью человека, принадлежащего XIX-му столетию.

Софья посмотрела на меня внимательно.

— У меня в альбоме есть и другие выписки; посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень, очень глубокие.

Я перевернул несколько листов; в альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как например: «Чистое сердце есть лучшее богатство». «Делай добро сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается». «Если будем внимательно примечать за собою, то увидим, что за каждым дурным поступком рано или поздно следует наказание». «Человек ищет счастья снаружи, а оно в его сердце» и проч т. п. Милая кузина с пресерьезным видом читала эти фразы и с особенным выражением останавливалась на каждом слове. Она была удивительно смешна, мила...

Таковы были наши беседы с моей кузиной; впрочем, они бывали редко — и потому, что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смех, и в жалость; но между тем никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце; часто, когда раздоры мнений, страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она переходила чрез все мытарства сомнения, и я ужасался, до каких выводов достигала непреклонная житейская логика — тогда один простодушный взгляд, один простодушный вопрос невинной девушки невольно восстановлял первобытную чистоту души моей; я забывал все гордые мысли, которые возмущали мой разум, и жизнь казалась мне понятна, светла, полна тишины и гармонии.

Тетушка сначала была очень довольна моими частыми посещениями, но наконец дала мне почувствовать, что она понимает, зачем я так часто езжу; ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило меня опамятоваться и заглянуть глубже во внутренность моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое

чувство было ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в чем; Софья своим простодушием, своею детскою странностью, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла забавлять меня — и только; она была слишком ребенок, младенец; душа ее была невинна и свежа до бесчувствия; она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а потом уже мною; нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уж опытного... Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума: в женщине мне надобно было друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами, но и мыслями; Софья не в состоянии была понимать ни тех, ни других; а быть постоянно моралистом хотя и лестно для самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке, прекратить их обыкновенным способом, то есть женитьбой, я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке гораздо реже — да и некогда мне было: у меня нашлось другое занятие.

Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следственно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых.

Я заметил, что и графиня смотрела на меня с неменьшим удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной... Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, то есть отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие: она блестит, звенит, манит наш взор своею чудною резьбою,

и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку.

Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностию, моими житейскими успехами...

Словом, мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете.

Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века; оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам; но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться... вы, верно, сойдетесь с ним» — я, человек, прошедший чрез все мытарства жизни, не нашелся что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романтический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету...

Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж!

Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскочил из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантасмагорические видения, заставляли его забывать о жизни... Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании.. Теперь задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я уже неспособен к подобному ребячеству; словом, я чувствовал в себе присут-

ствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и ие могли победить одио другое.

Раио поутру ко мне прииесли записку от графиии; оиа состояла из немиогих слов: «Имеием Бога, будьте у меия сегодия, иепремеиио сегодия; мие иеобходимо вас видеть».

Слова: *сегодня* и *необходимо* были подчеркнуты.

Мы пoияли друг друга; при свидании с графиecon мы быстро перешли тот промежуток, отделявший иас от прямого выражеиия иашей тайны, которую скрывали мы от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновеиио столь скучный и столь привлекательиый, был уже сыграи; оставалась катастрофа — и развязка.

Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг иа друга и с жестокосердием предоставляли друг другу право иачать разговор.

Накоиец оиа, как жеищииа, как существо более доброе, сказала мие тихим, ио твердым голосом:

— Я звала вас проститься... иаше зиакомство должно кончиться — разумеется, для нас,— прибавила она после иекоторого молчаиия,— но ие для света — вы меия понимаете... Наше зиакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыдаиием бросилась в кресла.

Я кииулся к ией, схватил ее за руку... Это движение привело ее в чувство.

— Остаиовитесь,— сказала оиа,— я уверена, что вы не захотите воспользоваться мииутою слабости... Я уверена, что если б я и забылась, то вы бы первый привели меия в память... Но я и сама не забуду, что я жеиа, мать.

Лицо ее просияло иевыразимым благородством.

Я стоял недвижио пред иею... Скорбь, какой никогда еще не переиосило мое сердце, разрывала меия; я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах, частые удары пульса звеиели в висках и оглушали меия... Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытиость, приобретенную холодиыми расчетами долгой жизии... Но рассудок представлял мие смутно лишь черные софизмы преступлеиия, мысли гнева и крови: оии багровою пеленою закрывали от меия все другие чувства, мысли, иадежды... В эту минуту дикарь, распалеииый зверским побуждеиием, бушевал под иаружностию образоваииого, утоичеииого, расчетливого европейца.

Я не знаю, чем бы коичилось это состояиие, как вдруг дверь растворилась, и человек подал письмо графиие.

— От графа с нарочным.

Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк,— руки ее затряслись, она побледнела.

Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню.

Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах... Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видеть ее, и быстро бросилась к колокольчику.

— Почтовых лошадей! — сказала она с твердостию вошедшему человеку.— Просить ко мне скорее доктора Бина.

— Вы едете? — сказал я.

— Сию минуту.

— Я за вами.

— Невозможно!

— Все знают, что уж я давно собираюсь в тверскую деревню.

— По крайней мере, через день после меня.

— Согласен... но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства.

— Увидим,— сказала графиня,— но теперь прощайте.

Мы расстались.

Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь.

Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось.

— Граф умер,— отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе.

В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью.

Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня.

— Что здесь такое? — спросил я.

— Да что! — отвечал он с своею простодушною улыбкою,— нервическая горячка... Запустил, думал доехать в Москву — да где! Она не свой брат, шутить не любит; я приехал — уж поздно было; тут что ни делай — мертвого не оживишь.

Я бросился обнимать доктора — не знаю, почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.

— Ее, бедную, жаль! — продолжал он.

— Кого? — сказал я, затрепетав всем телом.

— Да графиню.

— Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил,— что с ней?

— Да вот уж три дня не спала и не ела.

— Можно к ней?

— Нет, теперь она, слава Богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса... Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих.

Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый человек,— говорил он,— иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить,— прибавил он с улыбкою,— случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни раза не удавалось».

Ввечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще было много свежести; кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольною гордостию взглядывал на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умилительные мысли нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историею: «Труп врага всегда хорошо пахнет!»[20] Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости; они беспрестанно звучали в моем слухе. Служба кончилась, мы вышли из

церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался.

Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви; я наскоро оделся и пошел к ней.

Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее.

Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства.

Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украйне также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастию: передо мной исполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная, умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия.

Так протекли два дня; мы видались почти ежеминутно, и наше счастие было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более, что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотский и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным словам и поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы — чего не переговоришь в двадцать четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте, ее

огненная душа во всем блеске; мы успели повернть друг другу все нашн маленькие тайны; я ей рассказал мое романтическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил н уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое пнсьмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элнза вполне очаровала меня и, кажется, сама находнлась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное и досадовал на срок, установленный законом.

Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее; прелестные вндения носилнсь над моим изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сияннем; везде — в куще древес, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою веренндею взвнвались на воздух... Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск, сады обратились в голую скалу, и на той скале явились мертвец и доктор, какнм я его вндал в космораме; но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь.

— Графння вас проснт к себе сию минуту,— сказал вошедший человек.

Я вскочил; раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате; она освещалась лишь блеском молнии; от порывнстого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю: оделся наскоро н побежал к Элизе. Нет, никогда ие забуду выражения лица ее в эту минуту; она была бледна как смерть, руки ее дрожалн, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык, светские условия.

— Что с тобою, Элнза?

— Ничего! Вздор! Глупость! Пустой сон!..

При этих словах меня обдало холодом... «Сон?» — повторил я с изумлением...

— Да! Но сон ужасный! Слушай! — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома,— я заснула спокойно... я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье... Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения... Как вдруг предо мною явился покойный муж — нет, то был не сон — я видела его самого его самого: я узнала эти знакомые мне стиснутые, почти улыбающиеся губы, это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости... Ужас, Владимир! Ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который я думала никогда более не слышать...

«Я все знаю, Элиза,— говорил он,— все вижу; здесь мне все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уж готова выйти замуж за другого... Нежная, верная жена!.. Безрассудная! Ты думала найти счастие — ты не знаешь, что гибель твоя, гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью... Но этому не бывать; нет! Жизнь звездная еще сильна во мне,— земляна душа моя и не хочет расстаться с землею... Мне все здесь сказали — лишь возвратясь на землю могу я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и я возвращусь, возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою, страшною ценою купил я это возвращение — ценою, которой ты и понять не можешь... За то весь ад двинется со мною на твою преступную голову — готовься принять меня. Но слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь; скрывай от меня твои чувства, скрывай их — иначе горе тебе, горе и мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными, посиневшими пальцами, и я проснулась.— Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение...

Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел, она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны пред страшною действительностию все эти слова, изобретаемые

в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное...

— Это он... это он идет!..— вскричала Элиза и, в трепете показывая на дверь, махала мне рукою...

Я выбежал за дверь; в доме все было в смятении; на конце темного коридора я увидел толпу людей: эта толпа приближалась... в оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли... Да! Элиза не ошиблась. Это был *он! Он!* Я видел, как толпа частию вела, частью несла его; я видел его бледное лицо; я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный... Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих... Я слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему... Итак, это было не видение, но действительность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых... Я стоял, как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнула по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось прозрачным — стены, земля, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые я ясно различал другой мир, другие предметы, других людей... Каждый нерв в моем теле получил способность зрения; мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее недостанет слов человеческих... Я видел графа Б*** в различных возрастах его жизни... я видел, как над изголовьем его матери, в минуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание: гнусное чудовище между им и его наставником — одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости; вот появление в свет молодого человека: то же гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное устроивает для него успехи; граф в обществе женщин: необратимая сила влечет их к нему, он ласкает одну за

другою и смеется вместе с своим чудовищем; вот он за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства,— и богатство упрочивает его успехи в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его руку, он стреляет — кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искусно клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его счастье и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его руке капли крови и слез, она не видит их и подает ему свою руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных, тайных делах своих, он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобресть воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые преступления...

Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля; все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную... На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою; живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его; к ним другими путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости

не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались; над самой головой несчастного неслось существо, которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые, как кровь, волосы струились по плечам его; из глаз земляного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня... Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетения всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное, живое существование? Как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем, и пространством. Я видел, какую ужасную, логическую взаимность имели действия сих людей; как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, не достанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законности; как, наконец, это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто

в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий... Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу, и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных... Я понял, что «человек есть мир» — не пустая игра слов, выдуманная для забавы... Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях.

Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненною чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым; на фантасмагорической сцене я был возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслушать речей его, хотя видел движение его губ; в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал, я напряг все внимание и, сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софьи, но лишь на одно мгновение, и этот образ казался мне искаженным...

Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении; душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств,

я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе; возле меня стоял доктор Бин со склянкою в руках...

— Что? — спросил я, очнувшись.

— Да ничего! здоровешеиек! пульс такой, что чудо...

— У кого?

— Да у графа! Хороших было мы дел иаделали! Да и то, правду сказать, я никогда и не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел; вот уж, говорится, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! Еще были военный человек, испугались, также подумали, что мертвец идет... иасилу оттер вас... Куда вам за нами, медиками! Мы народ храбрый... Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю — мой мертвый тащится, а от иего люди так и бегут. Я себе говорю: «Вот любопытиый субъект»,— да к иему,— кричу, зову людей, насилу пришли; уж я его и тем, и другим,— и теперь как ни в чем не бывал, еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясию, в Париж пошлю, в академию, по всей Европе прогремлю — пусть же себе толкуют... иельзя! любопытный случай!..

Доктор еще долго говорил, но я ие слушал его; одно понимал я: все это было ие сон, не мечта,— действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнию, и отнимал у меня счастие жизни... «Лошадей!» — вскричал я.

Я почти не помню, как и зачем привезли меия в Москву; кажется, я не отдавал никаких приказаний и мною распорядился мой камердиier. Долго я не показывался в свет и проводил дни один, в состояиии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждеиия, сердце было без желаний; воображение напомнило мне лишь страшное, иепоиятиое зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию.

Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я вспомнил, как она одна имела искусство успокоивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце!

Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнию, она сидела в креслах; Софья

ей прислуживала, поправляла подушки, подавала питье Едва она взглянула на меня, как почти заплакала:

— Ах! Что это мне как жалко вас! — сказала она сквозь слезы.

— Кого это жаль, матушка? — спросила тетушка прерывающимся голосом.

— Да Владимира Андреевича![21] Не знаю, отчего, но смотреть на него без слез не могу...

— Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне;— вишь, он и не думает больную тетку навестить...

Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец, она несколько успокоилась.

— Я ведь это, батюшка, только так говорю, оттого, что тебя люблю; вот и с Софьюшкой об тебе часто толковали...

— Ах, тетушка! Зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было...

— Так! так-таки! — вскричала тетушка с гневом,— таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту; хотела было тебе комплимент сказать, да вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась...— И полились упреки на бедную девушку.

Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым — никому не было пощады; она с удивительною точностию вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью.

Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьею, перенести мою душу в ее сердце,— но тщетно: передо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках.

Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом: «Так вы очень обо мне жалеете?»

— Да! Очень жалею и не знаю, отчего.

— А мне так *вас* жалко,— сказал я, показывая глазами на тетушку.

— Ничего,— отвечала Софья,— на земле все недолго, и горе, и радость; умрем, другое будет...

— Что ты там страхи-то говоришь,— вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова.— Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она нет-нет да о смерти заговорит. Что, ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? В гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу...

Софья спокойно посмотрела в глаза старухе и сказала: «Тетушка! Вы говорите неправду...»

Тетушка вышла из себя: «Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить... Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела».

В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова: «Злая! Недобрая! Уморить хочет!»

Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец, решился уйти; Софья провожала меня.

— Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине.

— Ничего, немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает; это ей хорошо...

— Непонятное существо! — вскричал я,— научи и меня умереть!

Софья посмотрела на меня с удивлением.

— Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж вполовину выучен.

— Что ты хочешь сказать этим?..

— Ничего! Так у меня в книжке записано...

В это время раздался колокольчик: «Тетушка меня кличет,— проговорила Софья,— видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не знаешь, о чем плачешь».

С сими словами она скрылась.

Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим

существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли, и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною; в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи...

«Нет! — сказал я в самом себе,— соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.

Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.

«А! — сказал я сам в себе,— зеленый цвет здесь играет какую-то ролю; вспомним хорошенько; некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство — так точно! Преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! В микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы оттого делаются явственнее...»

Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение близилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным, как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостию простирала ко мне свои объятия.

«Ты не знаешь,— говорила она,— как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат — я сама у старухи вымучу себе кое-что,— и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою — все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! Это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастия. Женись только на мне — ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность — я также; ты любишь сорить деньгами — я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься... Ты увидишь — я мастерица на эти дела...»

Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова — все мне было теперь понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности... Видение исчезло — вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась — это была моя Элиза! О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе — ее кудри как легкий дым свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком:

«Неверный! Неблагодарный! — говорила она голосом, который, как растопленный свинец, разжигал мою душу,—

ты уж забыл меня! Ребенок! Ты испугался мертвого! Ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно; ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый! Ты боишься мнения света? Ты боишься встретиться с мертвым? Я — я не переменилась. Твоя Элиза ноет и плачет, она ищет тебя наяву и во сне,— она ждет тебя; все ей равно — ей ничего не страшно — все в жертву тебе...»

— Элиза! Я твой! Вечно твой! Ничто не разлучит нас! — вскричал я, как будто видение могло меня слышать... Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так близко, что, казалось, я мог схватить ее — как вдруг другая рука показалась возле руки Элизы... Между ею и мною явился таинственный доктор; он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали; он то являлся, то исчезал; казалось, он боролся с какою-то невидимою силою, старался говорить, но до меня доходили только прерывающиеся слова: «Беги... гибель... таинственное мщение... совершается... твой дядя... подвигнул его... на смертное преступление... его участь решена... его... давит... дух земли... гонит... она запятнана невинною кровью... он погиб без возврата... он мстит за свою гибель... он зол ужасно... он затем возвратился на землю... гибель... гибель...»

Но доктор исчез; осталась одна Элиза. Она по-прежнему простирала ко мне руки и манила меня, исчезая... я в отчаянии смотрел вслед за нею...

Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел один из знакомых.

— Где ты? Тебя вовсе не видно! Да что с тобою? Ты вне себя...

— Ничего; я так — задумался...

— Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно, и так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались...

— Да! Слабость нерв... Но теперь прошло...

— Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло...

— Отчего так?

— Ты именно такой организации, какая для этого нужна... Из тебя бы вышел *ясновидящий*...

— Ясновидящий! — вскричал я...

— Да! Только не советую испытывать: я эту часть очень хорошо знаю; это болезнь, которая доводит до

сумасшествия[22]. Человек бреднл в магнетическом сне, потом начинает уже непрерывно бредить...

— Но от этой болезни можно излечиться...

— Без сомнения, рассеянность, общество, холодные ванны... Право, подумай. Что сидеть? Бед наживешь.. Что ты, например, сегодня делаешь?

— Хотел остаться дома.

— Вздор, поедем в театр — новая опера; у меня целая ложа к твонм услугам...

Я согласнлся.

Магнетизм!.. «Удивительно,— думал я дорогою,— как мне это до сих пор в голову не прнходило. Слыхал я о нем, да мало. Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами о магнетизме»

Между тем мы приехали. В театре еще было мало; ложа возле нашей оставалась незанятою. На афишке предо мною я прочел: «Вампир», опера Маршнера[23]; она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться; дверь в соседней ложе скрипнула; смотрю — входит моя Элиза. Она взглянула на меня, прнветлнво поклоннлась, н бледное лицо ее вспыхнуло. За нею вошел муж ее... Мне показалось, что я слышу могильный запах,— но это была мечта воображения. Я его не видал около двух месяцев после его оживления; он очень поправился; лицо его почти потеряло все признаки болезни... Он что-то шепнул Элизе на ухо, она отвечала ему также тихо, но я понял, что она произнесла мое имя. Мысли мои мешались; и прежняя любовь к Элизе, н гнев, и ревность, и мои видения, и действительность, все это вместе приводило меня в снльное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под лнчиною обыкновенного светского спокойствня. И эта женщнна могла быть моею, совершенно моею! Наша любовь не преступна, она была для меня вдовою; она без укорнзны совести могла располагать своею рукою; и мертвый — мертвый между нами! Опера потеряла для меня ннтерес; пользуясь моим местом в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с Элизы н ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее; я мысленно рядил ее в то платье, в котором она мне представилась в видении; чувства мон волновались, душа вырывалась нз тела; от нее взор мой переходнл на моего таинственного соперника; при первом

взгляде лнцо его ие имело иикакого особенного выражения, ио при большем внимании вы уверялись невольно, что на этом лнце лежит печать преступлеиия. В том месте оперы, где вампир просит прохожего поворотнть его к сиянию луны, которое должио оживить его, граф судорожио вздрогиул; я устремил иа иего глаза с любопытством, ио он холодио взял лориетку и повел ею по театру: было ли это воспомииаиие о его приключении, простая лн физическая игра иерв или виутреиний говор его таинственной участи — отгадать было иевозможио. Первый акт кончился; приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизою; я прнблизился к баллюстраду ее ложи. Оиа очеиь равиодушио познакомила меия с своим мужем; ои с развязиостню опытиого светского человека сказал мие иесколько приветливых фраз; мы разговорились об опере, об обществе; речи графа были остроумиы, замечаиия тонки: видио было светского человека, который под личииою равнодушия и иасмешки скрывает короткое зиакомство с миогоразличиыми отраслями человеческих зиаиий. Находясь так близко от иего, я мог рассмотреть в глазах его те страииые багровые искры, о которых говорила мие Элиза; впрочем, эта игра природы ие имела иичего неприятного; напротнв, она оживляла проницательный взгляд графа; была заметиа также какая-то злоба в судорожном движенни тоиких губ его, ио ее можио было прннять лншь за выражение обыкновенной светской насмешливостн.

На другой день я получил от графа прнгласнтельный билет иа раут. Чрез иесколько времени иа обед en petit comité* и так далее. Словом, почти каждую иеделю хоть раз, ио я видел мою Элизу, шутнл с ее мужем, играл с ее детьмн, которые хотя были ие очеиь любезиы, но до крайности смешны. Они походилн более иа отца, нежелн на мать, были серьезиы не по возрасту, что я припнсывал строгому воспнтанню; нх слова часто меия удивляли своею значнтельностью н насмешливым тоиом, ио я ие без иеудовольствия заметил иа этих детских лицах уже довольно ясиые призиаки того судорожиого движеиия губ, которое мие так ие иравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, ие иужио было приготовлеиий: мы поинмали каждый иамек, каждое движенне; впрочем, никто по вцду ие мог бы догадаться о нашей

* В узком кругу *(франц.)*.

старинной связи; ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг на друга только тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия.

Так прошло несколько месяцев; еще ни разу мне не удалось видеться с Элизою наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этою надеждою.

Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся всеми возможными книгами о магнетизме; Пьюсегюр[24], Делёз[25], Вольфарт[26], Кизер[27] не сходили с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психологического состояния, я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные, таинственные мысли и наконец уверился, что вся тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии так называемому «второму зрению»[28]; я с радостью узнал, что этот род нервической болезни проходит с летами и что существуют средства вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям, я начертил себе род жизни, который должен был вести меня к желанной цели: я сильно противоборствовал малейшему расположению к сомнамбулизму — так называл я свое состояние; верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна — все это вместе, видимо, действовало на улучшение моего физического здоровья, а мысль о свидании с Элизою изгоняла из моей головы все другие мысли.

Однажды после обеда, когда возле Элизы составился кружок праздношатающихся по гостиным, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах. «Есть очень умные люди,— говорила Элиза хладнокровно,— которые верят приметам и, что всего страннее, имеют сильные доказательства для своей веры; например, мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового года, чтоб не играть в карты; он говорит, что всегда в этот день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память, в этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал; в этот день, говорит он, я учусь на целый год». На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее; я один понял смысл этого рассказа: один взгляд Элизы объяснил мне все.

— Кажется, теперь 10 часов,— сказала она чрез несколько времени..

— Нет, уже 11,— отвечали некоторые простачки.

— Le temps m'a paru trop court dans votre sosieté*, messieurs...— проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не думает того, что говорит; но для меня было довольно.

Итак, накануне Нового года, в 10 часов... Нет, никогда я не испытывал большей радости! В течение долгих, долгих дней видеть женщину, которую некогда держал в своих объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом и наконец дождаться счастливой, редкой минуты... Надобно испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство!

В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь потерять минуту.

Наконец, наступил канун Нового года. В эту ночь я не спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головною болью; в невыразимом волнении ходил я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробило восемь часов; в совершенном изнеможении я упал на диван... Я серьезно боялся занемочь, и в такую минуту!.. Легкая дремота начала склонять меня; я позвал камердинера: «Приготовить кофью, и если я засну, в 9 часов разбудить меня, но непременно — слышишь ли? Если ты пропустишь хоть минуту, я сгоню тебя со двора; если разбудишь вовремя — сто рублей».

С сими словами я сел в кресла, приклонил голову и заснул сном свинцовым... Ужасный грохот пробудил меня. Я проснулся — руки, лицо у меня были мокры и холодны... у ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые в дребезги,— камердинер говорил, что я, сидя возле них, вероятно задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за чашку кофею, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате; я стал считать: бьет один, два, три... восемь, девять... десять!.. одиннадцать!... двенадцать!... Чашка полетела в камердинера: «Что ты сделал?» — вскричал я вне себя.

— Я не виноват,— отвечал несчастный камердинер, обтираясь, я исполнил в точности ваше приказание: едва

* В вашем обществе время летит для меня очень быстро, господа *(франц.)*.

начало бить девять, я подошел будить вас — вы не просыпались; я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне отвечать: «Еще мне рано, рано... Бога ради... не губи меня» — и снова упадали в кресла; я, наконец, решился облить вас холодною водою; но ничто не помогало: вы только повторяли: «Не губи меня». Я уже было хотел послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы, не знаю отчего, упали, и вы изволили проснуться...

Я не обращал внимания на слова камердинера, оделся как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине.

На вопрос: «Дома ли граф?» швейцар отвечал: «Нет, но графиня дома и принимает». Я не вбежал, но взлетел на лестницу! В дальней комнате меня ждала Элиза; увидев меня, она вскрикнула с отчаянием: «Так поздно! Граф должен скоро возвратиться; мы потеряли невозвратимое время!»

Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги, упрекам не было места, мы бросились друг другу в объятия. О многом, многом нам должно было говорить; рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем; судьба так причудливо играла нами, то соединяла тесно на одно мгновение, то разлучала надолго целою бездною; жизнь наша связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненного, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь Элизы ад, исполненный мучений всякого рода: что нрав ее мужа сделался еще ужаснее; что он терзал ее ежедневно, просто для удовольствия; что дети были для нее новым источником страданий; что муж ее преследовал и старался убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство, что он и словами, и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке,— и когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своею матерью... Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и невыгоды такого дела... Но наш разговор слабел и прерывался беспрестанно — слова замирали на пылающих устах — мы так давно ждали этой минуты; Элиза была так обольстительно-прекрасна; негодование

еще более разжигало наши чувства, ее рука впилась в мою руку, ее голова прильнула ко мне, как бы ища защиты... Мы не помнили, где мы, что с нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди... дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда не забуду этого лица: он был бледен, как смерть, волосы шевелились на голове его как наэлектризованные; он дрожал как в лихорадке, молчал, задыхался, и улыбался. Я и Элиза стояли как окаменелые; он схватил нас обоих за руки... его лицо покривилось... щеки забагровели... глаза засветились... он молча устремил их на нас... Мне показалось, что огненный, кровавый луч исходит из них... Магическая сила сковала все мои движения, я не мог пошевельнуться, не смел отвести глаза от страшного взора... Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее, с тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо... Не настоящий ли огонь зарделся под его нервами?.. Рука его жжет мою руку... еще мгновение, и он заблистал как раскаленное железо... Элиза вскрикнула... мёбели задымились... синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца... посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами... Платье Элизы загорелось; тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия... глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и прожигали ее... лицо его сделалось пепельного цвета, волосы побелели и свернулись, лишь одни губы багровою полосою прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою... Пламя развилось с непостижимою быстротою: вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату... «Дети! дети!» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И он с нами!» — отвечал мертвец с громким хохотом...

С этой минуты я уже не помню, что было со мною.. Едкий, горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать глаза,— я слышал, как во сне, вопли людей, треск разваливающегося дома... Не знаю, как рука моя вырвалась из руки мертвеца: я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтоб избегнуть обваливающихся стропил... В эту минуту только я заметил пред собою как будто белое облако... всматриваюсь... в этом облаке мелькает лицо Софьи... она грустно улыбалась, манила меня... Я невольно следовал за нею... Где пролетало видение, там пламя от-

гибалось, н свежнй душнстый воздух оживлял мое дыхаиие... Я все далее, далее...

Наконец, я увидел себя в своей комиате.

Долго не мог я опомннться; я не знал, спал я нли нет; взглянул на себя — платье мое не тлело; лншь на руке осталось черное пятио... этот внд потряс все мои нервы; н я снова потерял память...

Когда я пришел в себя, я лежал в постелн, не нмея снлы выговорить слово.

— Слава Богу! крнзнс кончнлся! Есть надежда,— сказал кто-то возле меня; я узнал голос доктора Бнна, я силнлся выговорить несколько слов — язык мне не повнновался.

После долгнх дней совершенного безмолвня первое мое слово было: «Что Элиза?»

— Ннчего! ннчего! Слава Богу, здорова, велела вам кланяться...

Силы мои истощились на произнесенный вопрос — но ответ доктора успоконл меня.

Я стал оправляться; меня началн посещать знакомые. Одиажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомннть, что зиачило на ней черное пятно,— нмя графа, сказанное одннм из прнсутствующнх, поразнло меня; я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен.

— Что с графом? — спроснл я, прнподннмаясь с подушкн.

— Да! Ведь н ты к нему езжал,— отвечал мой знакомый,— разве ты не знаешь, что с ним случнлось? Вот судьба! Накануне Нового года он играл в карты у***; счастье ему благоприятствовало необыкновенно; он повез домой сумму необъятную; но вообрази — ночью в доме у него сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом — как не бывалн; полнцня делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни ниткн; пожарные говорили, что отрода нм еще не случалось вндеть такого пожара: уверялн, что даже камнн горелн. В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не торчат...

Я не дослушал рассказа: ужасная ночь жнво возобновилась в моей памяти, н страшные судорогн потряслн все мое тело.

— Что вы наделали, господа! — вскрнчал доктор Бнн.— Но уже было поздно: я снова прнблизился к дверям гроба. Однако молодость ли, попечення лн доктора,

таинственная ли судьба моя — только я остался в живых.

С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня...

Однажды — я уже сидел в креслах — во мне не было беспокойства, но тяжкая, тяжкая грусть, как свинец, давила грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием...

— Послушайте,— сказал я,— теперь я чувствую себя уже довольно крепким; не скрывайте от меня ничего: неизвестность более терзает меня...

— Спрашивайте,— отвечал доктор уныло,— я готов отвечать вам...

— Что тетушка?

— Умерла.

— А Софья?

— Вскоре после нее,— проговорил почти со слезами добрый старик.

— Когда? Как?

— Она была совершенно здорова, но вдруг, накануне Нового года, с нею сделались непонятные припадки; я сроду не видал такой болезни: все тело ее было как будто обожжено...

— Обожжено?

— Да! То есть имело этот вид; я говорю вам так, потому что вы не знаете медицины; но это, разумеется, был род острой водяной...

— И она долго страдала?..

— О, нет, слава Богу! Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала, всем занималась... Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и об вас не забыла: вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память. Вот он.

Я с трепетом схватил драгоценный листок: на нем были только следующие слова из какой-то нравоучительной книжки: «Высшая любовь страдать за другого...» С невыразимым чувством я прижал к губам этот листок. Когда я снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие: «Все свершилось!» — говорило магическое письмо: «Жертва принесена! Не жалей обо мне — я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец от тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи его».

Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния.

Я не буду описывать подробностей моего выздоровления, а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долог, как говорила Софья.

Однажды, грустно перебирая все происшествия моей жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединяли меня с любимыми мною существами и с людьми почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание узнать, что делалось с Элизою... Не успел я пожелать, как таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред собою; она была та же, как и в последний день — так же молода, так же прекрасна: она сидела в глубоком безмолвии и плакала; невыразимая грусть являлась во всех чертах ее. Возле нее были ее дети; они печально смотрели на Элизу, как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла. «Элиза! Элиза!» — вскричал я, простирая к ней руки.

Она взглянула на меня с горьким упреком... и грозный муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту: лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся клубком; он с свирепым и насмешливым видом посмотрел на Элизу, и что же? Она и дети побледнели — лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровою чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его... Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками... Видение исчезло, но ненадолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу, едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце, и она является предо мною снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему мучителю...

Я решился не повторять более моего страшного опыта, и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять себя, я стал выезжать, видеться с друзьями; но скоро, по мере моего выздоровления, я начинал замечать в них что-то странное: в первую минуту они узнавали меня, были рады меня видеть, но потом мало-помалу в них рождалась какая-то холодность, похожая даже на отвращение; они силились сблизиться со мною, и что-то невольно их отталкивало. Кто начинал разговор со мною,

через минуту старался его окончить; в обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою, перестали посещать меня; слуги, несмотря на огромное жалованье и на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более месяца; даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома. Один доктор Бин оставался мне верен; но он не мог понять меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения.

Этого мало; казалось, все несчастия на меня обрушились: что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось; в деревнях несчастия следовали за несчастиями; со всех сторон против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились; тщетно я всею возможною деятельностию хотел воспротивиться этому нападению судьбы — я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; величайшие несправедливости совершались против меня, и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние...

Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще никогда не испытывал; невольно я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю холодность моих знакомых, сердце мое забилось от досады... и снова таинственная дверь предо мною растворилась, я увидел все те лица, против которых воспалился гневом,— ужасное зрелище! В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу: он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал на них болезненные судороги, мучения совести, все ужасы ада... Они с плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному, непреодолимому побуждению...

С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновение. Днем, ночью вокруг меня толпятся видения лиц мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом; все, что любило меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня отвратить глаза мои...

В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь

мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть! Но возможно ли это человеку? Как приучить себя не думать, не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей — и мгновенно пред моими глазами обращаются в терзание человечеству. Я покинул все мои связи, мое богатство; в небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, незнаемый никем, я похоронил себя заживо; я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком — ибо цветок мгновенно вянет пред моими глазами... Страшно! страшно!.. А между тем этот непонятный мир, вызванный магическою силою, кипит предо мною: там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщины, там семейство, там все очарования жизни; тщетно я закрываю глаза — тщетно!.:

Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание — кто знает! Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца,— видение исчезает, я успокаиваюсь,— но недолго! Роковая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действователь, я там — ужасно сказать,— я там *орудие казни!*

Город без имени

> В пространных равнннах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остаткн зданий, бронзовых оружнй, пронзведення скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обиталн в снх странах, где ныне кочуют лншь толпы днких звероловов.
>
> *Гумбольд. Vues des Cordillères**[1]. *T. I*

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это при-

* Внды Кордильеров *(франц.)*.

видение, в черной епанче[2], сидело неподвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку*, а в околодке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей[3]; юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение...— Правда...— сказал незнакомец после некоторого молчания,— я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне, люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают,— возразил один из нас, чтоб завести разговор,— это место так уныло,— оно похоже на кладбище.

— На кладбище...— прервал незнакомец,— да, это правда! — прибавил он горько.— Это правда — здесь мо-

гилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? — продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь,— отвечал он,— я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! Вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травою,— бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя.— Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною,— вскричал он,— ты, вина всех бедствий моей отчизны,— прочь — прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?..— Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин который мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить,— продолжал мой товарищ,— неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте...— повторил он после некоторого молчания,— да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть и... погибнуть, незамеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не

должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не перерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. „Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступать границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, польза есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия."

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей,— и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции

были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностью вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость — он произносил заветное слово: *польза* — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза.*

Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощутимой пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности

и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени,— и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний,— каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением,— жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто, чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила,

которые мы всосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой *эксплуатации**; мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом *польза,* мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась

* К счастью, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего *(прим. В. Ф. Одоевского).*

рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разработывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями,— хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны называли вредными мечтателями, идео-

логами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат.

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои домы прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей,* должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на *которые было требование,* чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностию заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учредить монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесто-

ченнем, протекло еще много лет. От общнх н частных скорбей общнм чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, людн предалнсь бездействню. Никто не хотел ннчего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждення человека огранночнвалнсь настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешнлн нн ласкн жены, ни умственное развитие детей. Воспитанне казалось нзлншннм. Одно счнталось нужным — правдою нлн неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому нскусству отцы боялись учнть детей своих, чтоб не дать нм оружня протнв самнх себя; да и было бы нзлншннм; юный бентамнт с ранних лет, нз древннх преданнй, из рассказов матери научался одной науке: нзбегать законов божеских и человеческих н смотреть на ннх лншь как на одно нз средств нзвлекать себе какую-ннбудь выгоду. Нечему было оживнть борьбу человека; нечему было утешнть его в скорбн. Божественный, одушевляющнй язык поэзни был недоступен бентамнту. Велнкне явлення прнроды не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завестн песнн над колыбелью младенца. Естественная поэтнческая стнхня нздавна была умерщвлена корыстнымн расчетамн пользы. Смерть этой стихнн заразнла все другне стихнн человеческой прнроды; все отвлеченные, общне мыслн, связывающне людей между собою, показались бредом; кннгн, знання, законы нравственностн — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза*; но н то получнло смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему.

Вскоре раздоры возннклн внутрн самого главного нашего города. В его окрестностях находнлнсь богатые руднкн каменного угля. Владельцы этнх руднков получалн от ннх богатый доход. Но от долгого временн н углублення копей онн наполннлнсь водой. Добыванне угля сделалось трудным. Владельцы руднков возвысили на него цену. Остальные жнтелн внутрн города по дороговнзне не могли более нметь этот необходнмый матернал в достаточном колнчестве. Наступнла знма; недостаток в уголье сделался еще более ощутнтельным. Бедные прибегнулн к правнтельству. Правительство предложнло средства вывести воду нз рудников и тем облегчнть добывание угля. Богатые воспротнвнлнсь, доказывая неопровержимыми выкладкамн, что нм выгоднее продавать малое

количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушеиия копей. Начались споры, и коичилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороиы также иеопровержимо, что им гораздо выгодиее брать уголь даром, иежели платить за иего деиьги.

Подобиые явлеиия повторялись беспрестаиио. Оии иаводили сильиое беспокойство иа всех обитателей города, ие оставляли их ии на площади, ни под домашиим кровом. Все видели общее бедствие — и иикто не зиал, как пособить ему. Накоиец, отыскивая повсюду виину своих иесчастий, они вздумали, что причина иаходится в правительстве, ибо оио, хотя изредка, в своих воззваииях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззваиия были поздиы; все поиятия в обществе перемешались; слова переменили значеиие; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был едииственым, святым правилом жизни; безумцы обвиияли своих правителей в ужасиейшем преступлеиии — в поэзии. ,,Зачем нам эти философические толковаиия о добродетели, о самоотвержеиии, о гражданской доблести? какие оии прииосят процеиты? Помогите иашим существенным, положительным иуждам!"— кричали иесчастиые, ие зиая, что существеииое зло было в их собствеииом сердце. ,,Зачем,— говорили купцы,— иам эти учеиые и философы? им ли править городом? Мы заиимаемся настоящим делом; мы получаем деиьги, мы платим, мы покупаем произведеиия земли, мы продаем их, мы прииосим существеиную пользу: мы должиы быть правителями!" И все, в ком иашлась хотя искра божественного огия, были, как вредиые мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правлеиие обратилось в компаиию иа акциях. Исчезли все великие предприятия, которые ие могли иепосредствеиио прииести какую-либо выгоду или которых цель неясио представлялась ограиичеииому, корыстному взгляду торговцев. Государствеииая проиицательность, мудрое предведение, исправлеиие иравов — все, что не было иаправлено прямо к коммерческой цели, словом, что ие могло прииосить процеитов, было иазваио — мечтами. Баикирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершеиио; не являлось иовых открытий, изобретений, усовершеиствоваиий. Умножившееся народоиаселение требовало иовых сил промышлеиности; а про-

мышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкрутство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходо-расходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила,— а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. „Горе,— восклицал он, посыпая прахом главу свою,— горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи; или ты не боишься, что огнь небесный изпадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны[4], и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не

пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!" С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синею молниею; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в „Прейскуранте", единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

„Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P.S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался волкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч..."».

Наш незнакомец остановился. «Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. „Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!" И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление об-

ратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремеслеииые произведеиия иаполнили рыики; ие было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от иевежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деиьги сделались редкостью. Общие страдания умиожились.

За ремеслеиииками пришли землепашцы. „Зачем,— кричали оии,— нам этих людей, которые заиимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, иочью и дием, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы ие кормили их своими трудами? Мы прииосим существеиную пользу городу; мы зиаем его первые, иеобходимые иужды — мы должиы быть правителями". И все, кто только имел руку, ие привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явлеиия происходили с иекоторыми измеиениями и в других городах иашей земли. Изгиаииые из одиой страны, приходя в другую, иаходили мииутиое убежище; ио ожесточившаяся иужда заставляла их искать иового. Гоиимые из края в край, оии собирались толпами и вооружеииой рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались коиями; жатва истреблялась прежде созреиия. Земледельцы прииуждеиы были, для охранеиия себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, прииосила плод иеобильный. Предоставлеииая самой себе, без пособий искусства, оиа зарастала дикими травами, кустарииком или заносилась морским песком. Некому было указать иа могуществеииые пособия иауки, должеиствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, буриой рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавлеииых рук вырывал скудиую пищу. Великолепные здаиия в иашем городе давио уже опустели; бесполезиые корабли сгнивали в пристани. И страино и страшио было видеть возле мраморияых чертогов, говоривших о прежием величии, необуздаииую, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневиом пропитаиии! Землетрясеиия довершили иачатое людьми: они опрокииули все памятиики древиих времеи, засыпали их пеплом; время заволокло их травою. От древиих воспоминаиий остался лишь один четвероугольиый камеиь, иа котором иекогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились

в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик.— Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.

4338-й год*

Петербургские письма

Предисловие

Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами[1], он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изощренная долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно

* По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы *(прим. В. Ф. Одоевского)*.

казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю,— может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда остаются людьми, как это было с начала мира, останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжении нескольких столетий; скажите, что бы мы знали о временах Нехао[2], даже Дария[3], Псамметиха[4], Солона[5], если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р.Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время.

Не говоря уже о допотопных жнвотных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье[6], некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота[7], львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирни, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие лнственные н хвойные деревья в небольшне горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону[8], в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестию, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.

Кн. В. Одоевский.

От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингнну, студенту той же школы.

Константнноподь, 27-го декабря 4337-го года

Письмо 1-е

Пншу к тебе несколько слов, любезный друг,— с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучна; мы с быстротою молнин пролетелн сквозь

Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлеиы иеожидаииым препятствием: ты, верно, слышал об огромиом аэролите[9], иедавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аэролит упал иевдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должиы были выйти из электрохода и с смиреиием пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время иа море была буря; седой Каспий ревел иад иашими головами и каждую миииуту, кажется, готов был на иас рухиуться; действительио, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы иепремеиио прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; ио, одиако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало иатиск дикой природы; за несколько шагов иас ожидал в туииеле иовый электроход, великолепио освещеиный гальваиическими фоиарями[10], и в одно мгновеиие ока Эрзерумские башии[11] промелькиули мимо иас.

Теперь,— теперь слушай и ужасайся! я сажусь в русский гальваиостат! — увидев эти воздушные корабли, призиаюсь, я забыл и увещаиия деда Орлия, и собствеиную опасность,— и все иаши поиятия об этом предмете.

Воля твоя,— летать по воздуху есть врождеиное чувство человеку. Коиечио, иаше правительство поступило осиовательио, запретив плаваиие по воздуху; в состояиии нашего просвещеиия еще раио было иам и помышлять об этом; иесчастиые случаи, стоившие жизии десяткам тысяч людей, доказывают иеобходимость решительной меры, прииятой иашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасеиия, мои вопросы о предосторожностях... оии меия ие понимали! они так верят в силу иауки и в собствеииую бодрость духа, что для иих летать по воздуху то же, что иам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие миогосложные сиаряды показывают перемеиу в слоях воздуха и предупреждают направлеиие ветра. Весьма иемиогие из русских подвержены воздушиой болезии; при крепости их сложения оии в самых верхиих слоях атмосферы почти ие чувствуют ии стесиеиия в груди, ии иапора крови — может быть, тут многое зиачит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной стаи-

ции я застал русского Министра гальваностатики вместе с Министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы[12] на землю, или, если хочешь, соединение ее с землею, кажется делом решенным; приблизительно назначают время падения нынешним годом,— но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

С-Пбург. 4 Янв. 4338-го

Письмо 2-е

Наконец, я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено: «Гостиница для прилетающих». Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно,— не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого — надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва в восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетали к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы

теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию; истинно, дело, достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющнеся с главными резервуарами; а с этимн резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в домы н в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода! Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улнц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциаций[13] именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслня! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить наше народное самолюбие.

Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя: что было бы с нами,

если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско[14]. Ужас подумать, что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

P.S. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камер-обскуру[15] некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

Письмо 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой средине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен

на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн, также нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету,— и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистам. Здесь, между прочим, очень замечательна коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат нынче вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного размеру: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому,— спросил я у смотрителя Кабинета,— что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений,— отвечал он,— но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания,— сказал Хартин,— но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе, как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите,— сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту,— вот,— продолжал мой ученый,— одна из драгоценнейших редкостей нашего Ка-

бинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного,— заметил смотритель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля; и этим железом они могли наносить ему больше вреда.

— Ваше замечание очень остроумно,— отвечал учтивый ученый,— но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину,— сказал Хартин,— на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но, как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р.Х. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать, — сказал я, смотря на скелет,— что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила

в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! я уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но, у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось,— заметил Хартин.— В огромных связках антикварии находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель,— но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций, и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово *немцы;* сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла.

Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России,— сказал я,— это, кажется, доказано; немцев покорили аллеманны, потом на месте аллеманнов являются тедески, тедесков покорили германцы или, правильнее, жерманийцы, а жерманийцов дейчеры[16] — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...

— Да! Так думали до сих пор,— отвечал Хартин,— но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что дейчеры были нечто совсем другое, а немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я вы-

просил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиным условились не пропустить первого заседания.

Письмо 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз,

получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и le menu*. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы[17], посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день[18], что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью; ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

Письмо 5-е

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы[19], возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китай-

* Меню *(франц.)*.

ские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, что оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы,— это никому не покажется странным; записные ж фешионабли[20] решительно молчат по целым вечерам,— это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так что, кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластического хрусталя разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешионабельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск[21]; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговаривали нечаянно; один ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они

намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки à la comète*; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда

* В виде кометы *(франц.)*.

слышио было тихое, мелодическое журчаине. Этот инструмент иазывается гидрофоиом; ои недавио изобретеи здесь и еще ие вошел в общее употреблеиие. Ннкогда моя прекрасиая дама не казалась мие столь прелестиою: электрические фиолетовые искры головиого убора огиенным дождем сыпались иа ее белые, пышные плечи, отражались в быстробегучих струях и мгиовеииым блеском освещалн ее прекрасное, выразительное лицо и роскошиые локоиы; сквозь радужиые полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по времеиам обрисовывали ее прекрасиые формы, казавшиеся полупрозрачиыми. Вскоре к звукам гидрофоиа присоединился ее чистый, выразительиый голос и словио утопал в гармоническнх переливах ннструмеита. Действие этой музыки, как бы выходившей из иедостижимой глубииы вод; чудиый магический блеск; воздух, напитаииый ароматами; иакоиец, прекрасиая жеищииа, которая, казалось, плавала в этом чудиом сияиии звуков, воли и света,— все это привело меия в такое упоеиие, что красавица коичила, а я долго еще ие мог прийти в себя, что оиа, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие оиа произвела и на других, ио, однако ж, ие раздалось ии рукоплескаиий, ни комплнмеитов,— это здесь ие в обыкиовеиии. Всякий зиает степеиь своего нскусства: дуриой музыкаит ие терзает ушей слушателей, а хороший ие заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитаиие, как иеобходимая часть его, и оиа так же обыкиовеииа, как чтеиие и письмо; иногда играют чужую музыку, ио всего чаще, особеиио дамы, подобио моей красавице, импровнзируют без всякого вызова, когда почувствуют виутреииее к тому расположеиие.

В разных местах сада стояли деревья, обремеиеиные плодами — для гостей; некоторые из этнх плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершеистве. Смотря иа иих, я не мог не подумать, каких уснлий ума и терпеиия стоило соедииить, посредством постепеииых прививок, разиые породы плодов, совершенно разнокачествеииых, и произвести иовые, иебывалые породы; так, например, я заметнл плоды, которые былн нечто средиее между аиаиасом н персиком: иичего нельзя сравиить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишиевому дереву, баиаиы, соедниеиные с грушей; всех иовых пород, так сказать, изобретеииых здешиими садовииками, невозмож-

но исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (bouquet) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны,— обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции,— все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь,— сказал один,— хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение».— «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа,— сказала одна хорошенькая дама,— потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия».— «Ваше радужное платье,— сказала щеголиха своей соседке,— так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне

нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также,— и я также»,— вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентилатёров, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

Письмо 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета.

Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философы, и историки первого и второго класса. К счастию, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжении нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опытности; из сего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание) обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу,

не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на его лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались на личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять его. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна,— непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием,— а на это едва достает сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседели от беспрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностию и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р.Х.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан[22].

«Это один из первых памятников,— сказал мне хозяин,— Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

Письмо 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю,— сказал он,— позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было *Петрополь*, и приводит в доказательство стих древнего поэта:

Петрополь с башнями дремал...[23]

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету: молодой археолог опровергает их всех без исключения. Пере-

рывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было *Питер;* в подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли *бумагою* и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...» Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и к кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастию, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразумение: что значит слово столоначальник? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание *столоначальника* было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен,— аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалованье, пятьсот рублей, с важностию такого места, каково долженствовало быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что

в древности слово рубль было общим выражением числа вещей: как, например, слово мириада; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть великого человека, пережившего его по крайней мере четыре тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся доныне от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: *рапорт*, или правильнее *репорт, инструкция, отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их.

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств вос-

противиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аеростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились.

— Что это такое? — спросил я у Хартина.

— О, не спрашивайте лучше,— отвечал Хартин,— эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение.

— Скажите,— спросил я,— откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?

— Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться,— а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся

сравнительною антропологиею, полагает, что этого роду люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с бо́льшим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце.

Здесь мы приблизились к дому.

Фрагменты

I

В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат* быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над *Гостиницей для прилетающих;* почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков».

— Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества,— возразил, улыбаясь, трактирщик,— состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только,

* Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом *(прим. В. Ф Одоевского)*

что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.

Американец насмешливо улыбнулся:

— О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги..

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..

— Вы получаете даром... от вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием,— а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе...

— Это не совсем дурно,— заметил расчетливый американец,— мне подлинно неизвестно было это распоряжение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.

— А откуда вы сели? — смею спросить.

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleurd' orange*, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом.— Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.

Путешественник кушал за двоих — и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику,— мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

---

* С ароматом цветущего апельсина *(франц.)*

II

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историк⟨ом⟩ при первом здешнем поэте Орлии. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта, или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.)

Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим,— и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р.Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными,— ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; ⟨давнее⟩ разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно ⟨или⟩ — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому,— он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходят в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь

к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы: каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов; физик — несколько химиков, ..ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов и испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренно вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

Заметки

Сочинитель романа The last man* так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей,— тот в последовательном ряду своих мыслей най-

---

* «Последний человек»[24] *(англ.)*

дет непременно те мысли н чувства, которые будут господствовать в близкую от иего эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были н будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и иикогда не возвратятся.

Первую иадобио зиать, чтобы составить общую иауку предвндеиия,— вторую для того, чтобы не приинять умершее за жнвое.

Аэростаты и их влияиия

Довольио замечательио, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определеииом простраистве — н лншь на плоскостн; так что все условия торговли, промышлеииости, местожнтельства и проч. будут совсем ииые в пространстве; так что можио сказать, что продолжение условий иынешней жизии завнсит от какого-иибудь колеса, иад которым теперь трудится какой-ннбудь иеизвестный механик,— колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытио знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, граиицы, домашияя жизнь, законодательство, преследоваиие преступлеиий и проч. т. п.— словом, все общественное устройство?

Замечательио и то, что аэростат, локомотивы, все роды машни, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлеиии, действуют иа просвещение людей самым своим происхождеиием, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремеслеиииков приготовительиых познаиий, н, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумення, каковой вовсе не нужио для лопаты илн лома.

Зеленые людн на аэростате спустнлнсь в Лондон.

Пнсьма нз Луиы.

Нашли способ сообщения с Луиою; оиа иеобнтаема н служит только источииком сиабжеиия Земли разиыми житейскими потребиостями, чем отвращается гибель, грозящая земле по причиие ее огромиого иародонаселения. Этн экспедицин чрезвычайио опасиы, опаснее, иежели прежиие экспедицни вокруг света; иа эти экспедицнн едииственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

Эпоха 4000 лет после нас

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма

Петербургские письма

XIX век Через 2000 лет

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.

Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта

В Петербург⟨ских⟩ письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностию. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.

Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства превращать климаты или по крайней мере улучшать их Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны

Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов; час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии[25] производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы et les hommes le savent naturellement*.

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.

Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

* И люди осознают это естественно *(франц.)*

Машнны для романов и для отечеств⟨енной⟩ драмы.

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; нз этого обычая будут исключены разве только таблнцы, карты н некоторые тезнсы на лнсточках. Типографин будут употребляться лишь для газет н для визнтных карточек; перепнска заменнтся электрнческим разговором; проживут еще романы, и то не долго — нх заменит театр, учебные книгн заменятся публичнымн лекциями. Новому труженику наукн будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо нзвозчнков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет н столько же книжек, напнсать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталостн, приучить его переходнть мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет прнискана математнческая формула для того, чтобы в огромной кннге нападать нменно на ту страннцу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустнть без изъяна.

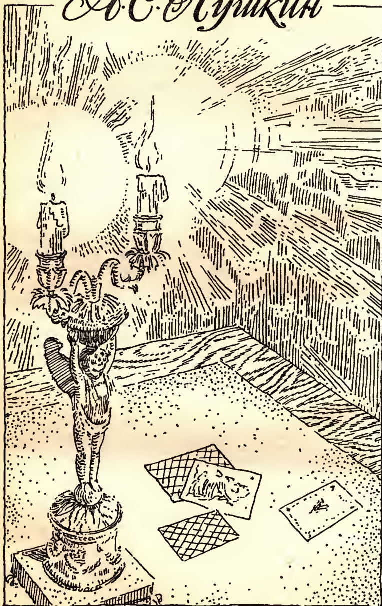
Скажете: это мечта! нничего не бывало! за нсключеннем аэростатов — все это воочью совершается; каждый нз нас — такой труженнк, н облегчнтельная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. Non multum sed multa* — без этого жизнь невозможна.

Сравнительную статнстику России в 1900 году.

Шелковые тканн заменялись шелком из раковины.
Все наши книги илн нзъедены насекомыми, или истребнлнсь от хлора (которого состав тогда уже потерян) — в сев⟨ерном⟩ климате еще более сохранилось кннг.

Англичане продают свон острова с публичного торга, Россия покупает.

* В немногом — многое (*лат*)


А.С.Пушкин

Пиковая дама

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга.

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом[1].

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем[2], никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?..[3] Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера,— отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли[4], а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,— сказал Германн,— но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский.— А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть,— продолжал Томский,— каким образом бабушка моя не понтирует![5]

— Да что ж тут удивительного,— сказал Нарумов,— что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite*; Ришелье[6] за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон[7]. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому[8] что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы[9], объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником.— Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене[10], о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного жида[11], за изобретателя жизненного эликсира и философского камня[12], и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова[13] в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень

* Московскую Венеру *(франц.)*

почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал ее в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он,— но знаю, что вы не будете покойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».— «Но, любезный граф,— отвечала бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».— «Деньги тут не нужны,— возразил Сен-Жермен,— извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, au jeu de la Reine*. Герцог Орлеанский метал[14]; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою; все три выиграли ей соника[15], и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты[16]? — подхватил третий.

— Не думаю,— отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики[17]?

— Да, черта с два! — отвечал Томский,— у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич,

* На карточную игру у королевы *(франц.)*

и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе[18],— отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

— Il paraît, que monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches*

Светский разговор[19]

Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman** — сказал, вошедши, молодой офицер.— Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman***, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul****?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у***?

* — Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.
— Что делать, мадам? Они свежее *(франц.)*.

** Бабушка *(франц.)*.

*** Здравствуйте, мадемуазель Лиза. Бабушка... *(франц.)*

**** Павел *(франц.)*

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский,— она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она,— а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul,— сказала она потом,— теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов,— пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила ра-

боту и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,— сказала она,— карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня.— Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,— сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!—

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она,— что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня,— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня.— Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня.— Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца[20], а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашнею мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-à-vis*, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя,— с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоя-

* Пары (в контрдансе) *(франц.)*.

ми, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале[21]!

Однажды,— это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять,— молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с проходящими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась..

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необ-

ходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитывал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*,— а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если,— думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,— что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это всё требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю,— через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини***,— отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы[22] решительно,

выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire*

Переписка

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения

* — Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать *(франц.)*

с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо,— и рвала его; то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена,— писала она,— что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуваженне».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,— сказала она,— эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.— Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному.— Это писано верно не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель,— я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания,— вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно.

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими, стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,— и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы,— было двадцать минут

двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun*[23]. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy**[24], коробочки, рулетки[25], веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом[26]. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать, справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать,— и всё умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась

* Госпожой Лебрен *(франц.)*.
** Леруа *(франц.)*.

в вольтеровы кресла. Гермаии глядел в щелку: Лнзавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шагн по ступеням ее лестннцы. В сердце его отозвалось нечто похожее иа угрызеиие совестн и снова умолкло. Он окамеиел.

Графиия стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с иее чепец, украшениый розамн; сняли напудреиный парик с ее седой и плотио остриженной головы. Булавки дождем сыпались около иее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительиых таииств ее туалета; наконец, графиия осталась в спальиой кофте и ночиом чепце: в этом наряде, более свойствеииом ее старости, она казалась менее ужасиа и безобразиа.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессоиицею. Раздевшнсь, оиа села у окиа в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи выиесли, комиата опять осветилась одиою лампадою. Графиия сидела вся желтая, шевеля отвнслыми губами, качаясь направо и иалево. В мутных глазах ее изображалось совершеиное отсутствне мыслн; смотря на нее, можио было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, ио по действию скрытого гальваиизма[27].

Вдруг это мертвое лнцо изменнлось иеизъясимо. Губы перестали шевелиться, глаза ожнвилнсь: перед графнnею стоял иезнакомый мужчиив.

— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! — сказал он виятиым и тихнм голосом.— Я ие имею намереиия вредить вам; я прншел умолять вас об одиой милости

Старуха молча смотрела на иего и, казалось, его ие слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторнл ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете,— продолжал Германи,— составить счастие моей жнзнн, и оио ничего не будет вам стоить: я зиаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Гермаии остаиовился. Графиия, казалось, пояяла, чего от иее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка,— сказала оиа иакоиец,— клянусь вам! это была шутка!

— Этим иечего шутить,— возразил сердито Германи.— Вспомиите Чаплицкого, которому помоглн вы отыграться.

Графння вндномо смутилась. Черты ее нзобразнлн сильное двнжеиие души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,— продолжал Германн,— назиачить мне этн трн верные карты?

Графння молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь свою тайну? Для внуков? Онн богаты н без того; онн же ие знают и цены деньгам. Моту не помогут вашн трн карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-такн умрет в ннщете, несмотря нн на какне демонскне уснлия. Я ие мот; я знаю цену деньгам. Ваши трн карты для меия не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожндал ее ответа. Графння молчала; Германн стал иа коленн.

— Еслн когда-ннбудь,— сказал он,— сердце ваше знало чувство любвн, еслн вы помните ее восторги, еслн вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, еслн что-ннбудь человеческое бнлось когда-нибудь в грудн вашей, то умоляю вас чувствамн супругн, любовннцы, матери,— всем, что нн есть святого в жнзнн,— не откажнте мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольскнм договором... Подумайте: вы стары; жнть вам уж иедолго,— я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но детн мои, виукн н правиуки благословят вашу память н будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала нн слова.

Германн встал.

— Старая ведьма!— сказал он, стнснув зубы,— так я ж заставлю тебя отвечать...

С этнм словом он вынул из кармана пистолет.

Прн вндe пистолета графиня во второй раз оказала снльное чувство. Она закивала головою и подияла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатнлась навзничь... н осталась иедвижима.

— Перестаньте ребячнться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашнваю в последний раз: хотите ли назиачить мне вашн трн карты? — да нли нет?

Графння не отвечала. Германн увндел, что она умерла

IV

7 Mai 18**
Homme sans moeurs es sans religion*

Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,— сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы,— отвечал Томский,— человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...

— Этот Германн,— продолжал Томский,— лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа

* 7 мая 18** Человек, у которого нет никаких нравственных правил, ничего святого *(франц.)*.

Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн,— или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть,— на гулянье!.. Бог его знает! может быть в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret*[28]? — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом.— Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были?— спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини,— отвечал Германн,— я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,— продолжал Германн,— я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней*

---

* Забвение или сожаление *(франц.)*.

мере три злодейства на душе! Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, этн страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это была не любовь! Деньги,— вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желання н осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но нн слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовнще! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,— отвечал Германн,— пистолет мой не заряжен.

Они замолчалн.

Утро наступало. Лнзавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарнл ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сндел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лнзавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна.— Я думала провестн вас по потаенной лестнице, но надобно идтн мимо спальнн, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найтн эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову н вышел.

Он спустнлся внна по витой лестнице и вошел опять в спальню графнни. Мертвая старуха сндела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановнлся перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестннце, думал он, может быть, лет шестьдесят

назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal*[29], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В*** Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Шведенборг[30]

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,— дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation**. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел

* Королевской птицей *(франц.)*

** Притворством *(франц.)*

ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлеиях благнх н в ожнданнн женнха полунощного»[31]. Служба совершнлась с печальным прнлнчнем. Родствениики первые пошлн прощаться с телом. Потом двннулись н многочисленные гостн, прнехавшне поклониться той, которая так давно была участннцею в их суетных увеселеннях. После инх н все домашнне. Наконец прнблизилась старая барская барыня, ровесница покойннцы. Две молодые девушки велн ее под рукн. Она не в снлах была поклоииться до землн,— н одна пролнла иесколько слез, поцеловав холодную руку госпожн своей. После иее Германн решнлся подойти ко гробу. Он поклоннлся в землю н иесколько мниут лежал иа холодиом полу, усыпанном ельннком. Наконец прнподнялся, бледен как сама покойница, взошел иа ступеин катафалка н наклоннлся... В эту мннуту показалось ему, что мертвая насмешлнво взглянула на иего, прнщурнвая однмм глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился н иавзинчь грянулся об земь. Его поднялн. В то же самое время Лнзавету Ивановну вынеслн в обмороке на паперть. Этот эпнзод возмутнл на иесколько мннут торжествениость мрачиого обряда. Между посетнтелямн поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, блнзкнй родственник покойнцы, шепнул иа ухо стоящему подле иего англнчаннну, что молодой офнцер ее побочиый сын, иа что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроеи. Обедая в уедннённом трактнре, он, против обыкиовеиня своего, пнл очень много, в надежде заглушнть виутреннее волненне. Но внио еще более горячило его воображенне. Возвратясь домой, он броснлся, не раздеваясь, на кровать н крепко засиул.

Ои просиулся уже ночью: луна озаряла его комнату Ои взгляиул иа часы: было без четверти трн. Сои у него прошел; ои сел иа кровать н думал о похоронах старой графнии

В это время кто-то с улнцы взглянул к нему в окошко,— н тотчас отошел. Германи ие обратил иа то ннкакого винмання. Чрез мннуту услышал ои, что отпнрали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяиый по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулкн. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлямн. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилнцу н удивнлся, что могло привести ее

в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ннм,— и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне велено исполннть твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду,— но с тем, чтобы ты в суткн более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспнтаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сеиях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Деищик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Деищик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сенн была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

- *Атáнде*[32]!
— Как вы смели мне сказать *атáнде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *атáнде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, приннмая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора[33], семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну,— воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествни Он

хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья[34] длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,— сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет,— извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,— отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно,

и все глаза устремились на Германна — Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,— сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою,— что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил[35]

— Что ж? — возразил Германн,— бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,— сказал он,— что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я конечно уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал, Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола.

Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт[36]. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита,— сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться[37].

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор.— Славно спонтировал! — говорили игроки.— Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама...» Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.


Н.В.Гоголь

Вий*

Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки[1]. Грамматики, риторы, философы и богословы[2], с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как-то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали[3] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа[4]: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже; в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и всё, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи! паничи! сюды! сюды! — говорили они со всех сторон,— ось бублики, маковники, вертычки, буханци хо-

* Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

роши! ей Богу, хороши! на меду! сама пекла!» Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: «Ось сусулька! паничи, купите сусульку!» — «Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые...» Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно однако же просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы[5] выслушивали своих учеников: звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рост и толстые губы должны бы принадлежать по крайней мере философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора[6], обязанные смотреть за порядком и нравственностию всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию[7]. Во всяком случае грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивалась риторика, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было по-

ступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословии, отсыпалось по мерке *крупного гороху,* что состояло в коротеньких кожаных канчуках[8].

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами[9]. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию[10], супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов, под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сертуков, простиравшихся *по сие время:* слово техническое, означавшее: далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было — ваканции[11], время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции,* т. е. брались учить или приготовлять детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сертук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени,

бесстрашно разбрызгнвалн свонми ногамн лужн. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворочалн с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, стаиовились перед окиами в ряд и во весь рот иачнналн петь кант[12]. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселяинн, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько н говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школярн, должио быть, очень разумиое; выиеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц[13], а иногда и связаиная курица помещалнсь вместе. Подкрепившнсь таким запасом, грамматики, риторы, философы н богословы опять продолжали путь. Чем далее одиако же шлн оин, тем более умеиьшалась толпа нх. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имелн родительские гнезда далее других.

Одни раз, во время подобного странствования, три бурсака своротнли с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провнантом, потому что мешок у ннх давио уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець[14]. Богослов был рослый, плечистый мужчииа н имел чрезвычайио страниый ирав: все, что ни лежало бывало возле него, он непремеино украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, н когда напивался он пьяи, то прятался в бурьяне, и семииарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку[15]. Если же пил, то иепремеиио наиимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал *крупного гороху,* ио совершеиио с философическнм равиодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. Ритор Тиберий Горобець еще ие имел права иоснть усов, пить горелкн и курить люлькн. Ои иоснл только оселедець[16], и потому характер его в то время еще мало развнлся; но, судя по большнм шишкам иа лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из иего будет хороший вонн. Богослов Халява н философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда онн своротили с большой дорогн. Солнце только что село, н дневиая теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря

люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков[17], росших по краям дороги. Дорога шла между разбросаииыми группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и иебольшие горы, зелеиые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равиииу. Показавшаяся в двух местах иива с вызревавшим житом давала зиать, что скоро должиа появиться какая-ибудь деревия. Но уже более часу, как они миииули хлебиые полосы, а между тем им ие попадалось иикакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили иебо, и только иа западе бледиел остаток алого сияиия.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут.— Сдавалось совершеиио, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестиостям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей Богу! — сказал, опять остаиовившись, философ.— Ни чертового кулака ие видио.

— А можеть быть далее и попадется какой-иибудь хутор,— сказал богослов, ие выпуская люльки. Но между тем уже была иочь, и иочь довольио темиая. Небольшие тучи усилили мрачиость и, судя по всем приметам, иельзя было ожидать ии звезд, ии месяца. Бурсаки заметили, что оии сбились с пути и давио шли ие по дороге.

Философ, пошаривши иогами во все стороиы, сказал иакоиец отрывисто: «А где же дорога?» Богослов помолчал и, иадумавшись, примолвил: «Да, иочь темиая» Ритор отошел в стороиу и старался ползком иащупать дорогу, ио руки его попадали только в лисьи иоры. Везде была одиа степь, по которой, казалось, иикто ие ездил. Путешествеиики еще сделали усилие пройти иесколько вперед, ио везде была та же дичь. Философ попробовал перекликиуться, ио голос его совершеиио заглох по стороиам и ие встретил иикакого ответа. Несколько спустя только, послышалось слабое стеиаиие, похожее иа волчий вой.

— Вишь, что тут делать? — сказал философ.

— А что? оставаться и заиочевать в поле! — сказал богослов и полез в кармаи достать огниво и закурить сиова свою люльку. Но философ ие мог согласиться иа это. Ои всегда имел обыкиовеиие упрятать иа иочь полпудовую краюху хлеба и фуита четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то иесиосное одииочество. Притом, иесмотря иа веселый нрав свой, философ боялся иесколько волков.

— Нет, Халява, не можно,— сказал он.— Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове горелка богослов сплюнул в сторону и примолвил: «Оно конечно, в поле оставаться нечего». Бурсаки пошли вперед и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор! ей богу, хутор!» — сказал философ. Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели поверхность двора, уставленною чумацкими[18] возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

«Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега!» Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали: «Отвори!»

Дверь в одной хате заскрыпела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.

— Кто там? — закричала она, глухо кашляя.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно,— проворчала старуха,— у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того, или какое другое что сделаем,— то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо,— сказала она, как бы размышляя,— я впущу вас; только положу всех в разных местах, ибо

у меия ие будет спокойио иа сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; ие будем прекословить,— отвечали бурсаки.

Ворота заскрыпели, и оии пошли иа двор.

— А что, бабуся,— сказал философ, идя за старухой,— если бы так, как говорят... ей Богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха.— Нет у меия, иет иичего такого, и печь ие топилась сегодия.

— А мы бы уже за все это,— продолжал философ,— расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да! — продолжал ои тихо,— черта с два! получишь ты что-иибудь.

— Ступайте, ступайте! И будьте довольиы тем, что дают вам. Вот черт приисс каких иежиых паиичей.

Философ Хома пришел в совершеииое уиыиие от таких слов. Но вдруг иос его почувствовал запах сушеиой рыбы. Ои гляиул иа шаровары богослова, шедшего с иим рядом, и увидел, что из кармаиа его торчал преогромиый рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как ои это производил ие из какой-иибудь корысти, ио едииствеиио по привычке, и, позабывши совершеиио о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стяиуть другое, ие имея иамереиия пропустить даже изломаииого колеса,— то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собствеиный, и вытащил карася.— Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую камору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись одии, в одиу миииуту съел карася, осмотрел плетеиые стеиы хлева, толкиул иогою в морду просуиувшуюся из другого хлева любопытиую свииью и поворотился иа другой бок, чтобы засиуть мертвецки. Вдруг иизеиькая дверь отворилась, и старуха, иагиувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе иужио? — сказал философ. Но старуха шла прямо к иему с распростертыми руками.

— Эге, ге! — подумал философ,— только иет, голубушка! устарела. Ои отодвииулся иемиого подальше, ио старуха, без церемоиии, опять подошла к иему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ,— теперь пост;

а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромнться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила в него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — всё, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине.— Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная,

как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...

Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью...

Что это? — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

Хорошо же! — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но всё от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено

и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже, тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении, и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала, или по крайней мере старого книша[19], что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке[20], продававшею ленты, ружейную дробь и колеса — и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и словом перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике, среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на проходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников[21], которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти, и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай, dominus* Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными),— тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать, или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню больше не нужно ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумьи сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно одному из посланных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца,— говорил ректор,— и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе! прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

* Господин *(лат.)*.

— Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ,— пронюхал, длинноногий вьюн!

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку.— Его ожидало человек шесть здоровых и крепких козаков, уже несколько пожилых. Свитки[22] из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне, не без славы.

— Что ж делать? Чему быть, тому не миновать! — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная!— продолжал он, влезая.— Тут бы, только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да: соразмерный экипаж! — сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею, вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

— Любопытно бы знать,— сказал философ,— если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим: солью или железными шинами, сколько потребовалось бы тогда коней?

— Да,— сказал, помолчав, сидевший на облучке козак,— достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя в праве молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один

только из них обратился к сидевшему на козлах возиице с коротеньким приказаиием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на чухрайловской дороге, то не позабудь остаиовиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится засиуть» После этого ои заснул довольно громко. Впрочем эти иаставления были совершеино напрасны, потому что едва только приблизилась исполиисная брика к шинку иа чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шииком. Несмотря иа жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканиую комнату, где жид-корчмарь, с знаками радости, бросился принимать своих старых знакомых. Жид прииес под полою несколько колбас из свинииы и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непремеиио начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаииями. «А ну, Спирид, почеломкаемся!» «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души, о том, что у него нет ни отца, ии матери и что он остался одним один на свете. Другой был большой резонер и беспрестаино утешал, говоря: «Не плачь, ей Богу, не плачь! что ж тут... уж Бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайио любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестаиио спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат; тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер,— пусть его там будет, как было. Бог уж зиает, как нужно; Бог все зиает.

— Нет, я хочу знать,— говорил Дорош,— что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

— О Боже мой, Боже мой! — говорил этот почтениый наставиик,— и иа что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно перемеиить.

— Я хочу знать всё, что ии иаписано. Я пойду в бур-

су, ей Богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? — Всему выучусь, всему!

— О Боже ж мой, Боже мой!..— говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался,— сказал он,— я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам?

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые.— Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О Боже ж мой, Боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову.— Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши: «Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу...» Впрочем вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец опустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправи-

лись спать. Философ хотел однако же несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых, и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде[23] витых. Высокая груша с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью».— На другом фляжки, сулеи[24] и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино — козацкая потеха».— Из чердака одного из сараев выглядывал, сквозь огромное слуховое окно, барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Всё показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны всё заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще

круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр. «Эх, славное место! — сказал философ.— Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами! Впрочем, я думаю, и дроф не мало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником[25] не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда». Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он.— Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи; а ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице.

— Пойдем! Что ж... Я с удовольствнем,— сказал философ и отправнлся вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усамн н с выражеиием мрачной грусти, сидел перед столом в светлнце, подпершн обенмн рукамн голову. Ему было около 50 лет; ио глубокое уныиие иа лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг в одиу миiуту, и вся прежняя веселость и шумиая жизнь нсчезли навеки. Когда взошел Хома вместе с старым козаком, ои отнял одну руку н слегка кивнул головою иа низкий их поклои.

Хома и козак почтительио остановилнсь у дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого зваиия, добрый человек? — сказал сотннк ни ласково, нн сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.

— А кто был твой отец?

— Не зиаю, вельможиый пан.

— А мать твоя?

— И матери ие знаю. По здравому рассуждеиию, коиечно, была мать; но кто она н откуда, и когда жила — ей Богу, добродню[26], не знаю.

Сотиик помолчал и, казалось, мннуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не зиакомился, вельможиый паи, ей Богу, не знакомился. Еще иикакого дела с паииочками ие имел, сколько ии живу иа свете. Цурь нм[27], чтобы не сказать иепристойиого.

— Отчего же она ие другому кому, а тебе нмеиио иазначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Известиое уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек ие разберет; и пословица говорит: «Скачн, враже, як паи каже!»

— Да не врешь ли ты, паи философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопиет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты,— грустио сказал сотиик,— то верно бы я узиал всё. «Никому ие давай читать по мие, но пошлн, тату, сей же час в киевскую семиiарню и привези бурсака Хому Брута. Пусть три иочи молится по грешиой душе моей. Он знает...» А что такое зиает, я уже не услышал. Оиа, голу-

бонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? я? — сказал бурсак, отступивши от изумления,— я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику.— Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга[28].

— Ну... верно, уже не даром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости... оно конечно, всякий человек, вразумленный святому писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или по крайней мере дьяка. Они народ толковый и знают, как всё это уже делается; а я... Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я всё, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал он.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красною китайкой. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии, свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

«Я не о том жалею, моя наймилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел

бы он больше своих детей, еслн только он так же стар, как и я; нн своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птнцам и зверям степиым.— Но горе мне, моя полевая нагидочка[29], моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем». Он остановнлся, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез.

Философ был тронут такою безутешиой печалью. Он закашлял и издал глухое кректание, желая очистить нм немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем, на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю,— подумал философ,— зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами». Он приблизился и, еще раз откашлявшнсь, принялся чнтать, не обращая никакого внимания на сторону н не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет побежал по его жилам; пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лнца не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное как снег, как серебро, казалось, мыслило; бровн — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшне жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно-знакомое показалось в лице ее «Ведьма!» — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы; это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понеслн в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный

траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными банями[30], уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось всё, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов[31], в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кар-

мана свою деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей.

— Правда ли,— сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки,— правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу,— да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать...— Это не наше дело; Бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он.— Да она на мне самом ездила. Ей Богу, ездила.

— А что, дядько,— сказал молодой овчар с пуговицами,— можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя,— отвечал Дорош.— Никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори этого,— произнес прежний утешитель.— Уже Бог не даром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма,— сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок,— настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про

умершую сотнкову дочь. И потому, желая опять навести его иа прежнюю матерню, обратился к соседу своему с такнмн словамн:

— Я хотел спроснть, почему всё это сословне, что сндит за ужнном, считает панночку ведьмою? Что ж, разве оиа кому-ннбудь прнчиинла зло нлн нзвела кого-ннбудь?

— Было всякого,— отвечал однн нз сндевшнх, с лнцом гладкнм, чрезвычайно похожнм на лопату.

— А кто не прнпомннт псаря Микиту, нлн того...

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! я расскажу про псаря Мнкиту,— сказал Дорош.

— Я расскажу про Мнкиту,— отвечал табунщик,— потому что ои был мой кум.

— Я расскажу про Мнкнту,— сказал Спнрнд.

— Пускай, пускай Спнрнд расскажет! — закрнчала толпа.

Спнрнд иачал:

— Ты, пан фнлософ Хома, не знал Мнкнты: эх, какой редкнй был человек. Собаку каждую он бывало так знает, как родного отца. Теперешннй псарь Мнкола, что сндит третьим за мною, н в подметкн ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но ои протнв него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кнвнув головою.

Спнрид продолжал:

— Зайца увндит скорее, чем табак утрешь нз носу. Бывало свиснет: «А ну, Разбой! а ну, Быстрая!», а сам на коня во всю прыть — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгоннт: он лн собаку, илн собака его. Сивухи кварту свнснет вдруг, как бы ие бывало. Славный был псарь! Только с недавнего временн начал ои заглядываться беспрестанио на паниочку. Вкляпался ли он точио в нее, нли уже она так его околдовала, только пропал человек, обабнлся совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойио н сказать.

— Хорошо,— сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взгляиет на него, то н повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и ни весть что делает. Однн раз паиночка пришла на коиюшню, где он чистнл коня. Дай говорит, Микитка, я положу на тебя свою иожку. А он дурень н рад тому:

говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге, ге, ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай: у нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды. Но... хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять[32], Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе...

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха,— подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась: ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит,

что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко!» да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак: сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да всё когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый в свою очередь спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; в других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

— А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице,— сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отпра-

вить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж,— сказал он;— чего тут бояться? Человек придти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы, такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он, махнув рукою,— будем читать». Подходя к крылосу[33], увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо,— подумал философ,— нужно осветить всю церковь, так, чтобы видно было как днем. Эх жаль, что во храме божием не можно люльки выкурить!» И он принялся прилеплять восковые свечи ко всем карнизам, налоям[34] и образам, не жалея их ни мало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз:

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. «Чего бояться? — думал он между тем сам про себя.— Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился. Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх добрый табак! Славный табак! Хороший табак!» Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей.

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу... Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки, или слабый, слегка хлопнувший, звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову...

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшная. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо —

29 Зак 480

обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ всё еще не мог притти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его: дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить всё селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта[35]. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу, или в крагли, род кеглей, где вместо шаров

употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем,— пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что же, произнес он,— теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами

страшные слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, все читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали; это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал: «Много на свете всякой дряни водится. А страхи такие случаются — ну...» При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала в праве уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа.— Ай, ай, ай! что это с тобою? — вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба.

— Ах, Боже мой! Да ты весь поседел.

— Эге, ге! Да она правду говорит! — произнес Спирид, всматриваясь в него пристально.— Ты, точно, поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кух-

нию, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки[36] и даже гирлянда из гвоздик, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его точно побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению. «Пойду к пану,— сказал он наконец,— расскажу ему всё и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи, или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже[37],— произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей.— Что, как идет у тебя? Всё благополучно?

— Благополучно-то, благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить; только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу...

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается.

— Читай, читай! Она не даром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей Богу, не в моготу!

— Читай, читай! — продолжал тем же увещательным голосом сотник.— Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды... Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес Хома решительно.

— Слушай, философ! — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен,— я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так:

я уже как отдеру, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать! — сказал философ, понизив голос.— Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! — сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью.— У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого, го! да это хват,— подумал философ, выходя.— С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и стало быть чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, всё прочее было скрыто разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвеем своим одеревяневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось

с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и, пройдя который, он по предположению своему думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Добрая вода! — сказал он, утирая губы.— Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! — подумал в сердцах про себя философ.— Я бы взял тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою и всё, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк,— продолжал Явтух,— гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно: пора и домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу![38]— подумал он.— Да впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит». Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал:

— Музыкантов! непременно музыкантов! — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчи-

щенном месте отплясывать тропака. Он танцовал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак, и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора,— сказал Явтух,— пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур!»[39]— подумал философ и, встав на ноги, сказал:

— Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк,— сказал Дорош. Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приближались к церкве и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош, по-прежнему, удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. По середине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы: «Не побоюсь, ей Богу не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная: свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от

царапаиья когтей наполннл всю церковь. Всё летало н носилось, нща повсюду фнлософа.

У Хомы вышел нз головы последннй остаток хмеля. Он только крестнлся, да чнтал, как попало, молнтвы. И в то же время слышал, как иечистая снла металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл н отвратнтельных хвостов. Не нмел духу разглядеть он их; вндел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в свонх перепутаиивых волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшио два глаза, подияв иемиого вверх брови. Над ннм держалось в воздухе что-то в внде огромиого пузыря, с тысячью протяиутых нз середнны клещей н скорпиоиивх жал. Чериая земля внсела на ннх клоками. Все глядели на него, нскалн н не моглн увидеть его, окружеиного таннствеиивм кругом. «Прнведите Вня! ступайте за Внем!» — раздалнсь слова мертвеца. И вдруг иастала тншина в церквн; послышалось вдали волчье завыванье, н скоро раздалнсь тяжелые шаги, звучавшне по церквн; взглянув нскоса, увндел ои, что ведут какого-то прнземнстого, дюжего, косолапого человека. Весь был ои в черной земле. Как жилнстые, крепкне корнн, выдавалнсь его, засыпанные землею, ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длнввые векн опущены былн до самой землн. С ужасом заметил Хома, что лнцо было на нем железное. Его прнвелн под руки н прямо поставнлн к тому месту, где стоял Хома.

— Подымнте мне веки: ие внжу! — сказал подземным голосом Внй — н всё сонмнще кииулось подымать ему веки. «Не глядн!» — шепнул какой-то внутренннй голос фнлософу. Не вытерпел ои, н глянул.

— Вот он! — закрнчал Внй н уставнл на него железный палец. И все, сколько нн было, кннулнсь на фнлософа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух нз него от страха. Раздался петуший крнк. Это был уже второй крик; первый прослышалн гиомы. Испуганные духн броснлнсь, кто как попало, в окиа н двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и осталнсь онн там, завязиувшн в дверях н окнах. Вошедшнй священннк остановнлся при внде такого посрамленья Божьей святынн, н не посмел служнть панихиду в таком месте. Так иавекн н осталась церковь с завязнувшими в дверях и окиах чудовнщамн, обросла лесом, корнямн, бурьяном, днким терновнико‌м, н ннкто не иайдет теперь к ней дорогн.

Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему Бог дал,— сказал звонарь Халява.— Пойдем в шинок, да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами так, что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку.— Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только перекрестившись плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже всё это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре — все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

Нос

I

Марта 25 числа[1] случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван

Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий,— сказал Иван Яковлевич,— а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. (То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом: ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше,— подумала про себя супруга,— останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб.— Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: «Плотное? — сказал он сам про себя,— что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом.— Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять,

потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось,— сказал он наконец, почесав рукою за ухом.— Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или: «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился; а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой

цирюльник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют»,— говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд: Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия,— отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал,

когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах.— Ковалев был кавказский коллежский асессор[2]. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка,— говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки,— ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева».— Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских, поветовых[3] землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и, вообще, у всех

тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского[4], а не то — экзекуторского[5] в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам: каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру»,— подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет,— произнес он,— теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул: «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши...— Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире,

шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника[6]. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить,— был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев.— По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться,— милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я маиор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду

получить губернаторское место... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь... (При этом майор Ковалев пожал плечами.)... Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю,— отвечал нос — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь...— сказала Ковалев с чувством собственного достоинства,— я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собствен-

ный нос... Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате[7], большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев.— Эй, извозчик, вези меня прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет,— отвечал привратник,— только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да,— прибавил привратник,— оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния[8], не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее

распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города,— и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего Боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию[9] и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев.— А, здравствуйте!

— Мое почтение,— сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить,— произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не сто́ит вось-

ми гривен, т. е. я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит,— и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи лягавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев[10] и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился Бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно,— сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.— Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу...— сказал Ковалев,— случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицер-

ша...[11] Вдруг узнают, Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое, дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот г. Носов обокрал вас?

— Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,— сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот, на прошлой неделе, такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но впрочем я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как Бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак.— Впрочем, если не в беспокойство,— прибавил он с движением любопытства,— то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник,— место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен, и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое,— сказал чиновник,— только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной Пчеле»[12] (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация[13], потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах,— но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случил-

ся такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к гемороидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам,— сказал он с сердцем,— разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу[14], чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь,— обыкновенно говорил он,— уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были не безызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров,

которые ие имеют даже и исподнего в приличиом состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть ие в бровь, а прямо в глаз! Нужио заметить, что Ковалев был чрезвычайио обидчивый человек. Ои мог простить все, что ии говорилн о ием самом, но никак ие нзвииял, если это относилось к чииу нли звакию. Он даже полагал, что в театральиых пьесах можно пропускать все, что отиосится к обер-офицерам, ио иа штаб-офицеров иикак ие должио иападать. Прием частиого так его скоифузнл, что он тряхнул головою н сказал с чувством достоиства, иемиого расставив свои руки: «Прнзнаюсь, после этаких обндиых с вашей стороиы замечаиий я иичего не могу прибавнть...» — и вышел.

Ои приехал домой, едва слыша под собою иоги. Были уже сумерки. Печальиою или чрезвычайио гадкою показалась ему квартира после всех этих иеудачных искаиий. Взошедши в передиюю, увидел ои иа кожаном запачкаиином диване лакея своего Иваиа, который, лежа иа спиие, плевал в потолок н попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; ои ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостямн заинмаешься!»

Иваи вскочил вдруг с своего места и броснлся со всех иог снимать с иего плащ.

Вошедши в свою комиату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и накоиец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! Боже мой! За что это такое иесчастие? Будь я без руки или без иоги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверио, одиакож все сиоснее; ио без иоса человек — черт зиает что: птнца ие птица, граждаиин не гражданни; просто, возьми да н вышвырин за окошко! И пусть бы уже иа войне отрубили илн на дуэли, или я сам был причииою; ио ведь пропал нн за что ии про что, пропал даром, нн за грош!.. Только нет, не может быть,— прибавнл он, немного подумав.— Невероятио, чтобы нос пропал; никакнм образом иевероятио. Это, верио, или во сие синтся, или просто грезится; может быть, я как-иибудь ошнбкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иваи дурак не приият, и я, верно, хватнл ее.

Чтобы действнтельно увернться, что он ие пьян, майор ущипиул себя так больно, что сам вскрнкнул. Эта

боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное;— но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь,— сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.— Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев.— Точно он! Откушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких.

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию[15], сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту

Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он!— говорил майор Ковалев.— Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось.— Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина,

имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев.— Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость,— произнес Ковалев умоляющим голосом,— нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится на счет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли,— сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим[16],— что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос:

но я вас уверяю честью, еслн уже вы ие верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действню самой иатуры. Мойте чаще холодиою водою, н я вас уверяю, что вы, не имея иоса, будете так же здоровы, как еслн бы нмелн его. А иос я вам советую положить в банку со спнртом или, еще лучше, влнть туда две столовые ложкн острой водкн н подогретого уксуса,— н тогда вы можете взять за него порядочиые деиьги. Я даже сам возьму его, если вы только ие подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что ие продам! — вскрнчал отчаянный майор Ковалев,— лучше пусть ои пропадет!

— Извнннте! — сказал доктор, откланнваясь,— я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы вндели мое стараннe.

Сказавшн это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметнл даже лнца его н в глубокой бесчувствеинsocтн вндел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчнкн белой н чнстой как снег рубашкн.

Ои решился иа другой же деиь, прежде представления жалобы, пнсать к штаб-офнцерше, не согласнтся ли оиа без бою возвратить ему то, что следует. Пнсьмо было такого содержання:

«Мнлостнвая государыня,
Александра Грнгорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действня. Будьте уверены, что, поступая такнм образом, инчего вы не вынграете н ннчуть не прннуднте меня женнться на вашей дочерн. Поверьте, что нсторня насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главиые участннцы, а не кто другой. Внезапиое его отделеине с своего места, побег и маскнрованне, то под видом одного чнновинка, то, наконец, в собственном внде, есть больше иичего, кроме следствие волхвованнй, пронзведенных вамн нлн темн, которые упражняются в подобных вам благородных занятнях. Я с своей стороны почнтаю долгом вас предуведомнть, еслн упомниаемый мною иос не будет сегодня же на своем месте, то я прииужден буду прибегнуть к защнте и покровительству закоиов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам, имею честь быть

Ваш покорный слуга

Платон Ковалев».

«Милостивый государь,

Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености; но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ: то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет,— говорил Ковалев, прочитавши письмо.— Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.— Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.— Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице[17] была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Кова-

лева ровно в 3 часа прогуливался по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера: и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор[18] почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные, прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную[19] картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою,— картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?» Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хосрев-Мирза[20], то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника н наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате боснком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется у меня на носу как будто прыщик,— сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич; но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще нздали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с чисты, судырь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье, с помощью кисточки, превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческнх именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону н посмотрел на него сбоку.— Вона! эк его право как подумаешь»,— продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевнча.

— Ну, ну, ну, смотри! — закрнчал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос. Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос. Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями, стало быть ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour*,— изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед

* По любви *(франц.)*

лавочкой в Гостнном дворе н покупавшего какую-то орденскую ленточку, иеизвестио для каких причин, потому что он сам не был кавалером инкакого ордеиа.

Вот какая историня случнлась в северной столице нашего обшириого государства! Теперь только по соображении всего виднм, что в ней есть миого неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странио сверхъестествеииое отделенне носа н появлеиье его в разиых местах в виде статского советиика,— как Ковалев ие смекиул, что нельзя чрез газетиую экспедицию объявлять о иосе? Я здесь ие в том смысле говорю, чтобы мие казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но иеприличио, иеловко нехорошо! И опять тоже — как иос очутился в печеиом хлебе н как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не поимаю, решительио ие поимаю! Но что страииее, что непонятиее всего, это то, как авторы могут брать подобиые сюжеты. Призиаюсь, это уж совсем иепостнжимо, это точио... нет, нет, совсем ие поимаю. Во-первых, пользы отечеству решительио иикакой; во-вторых... ио и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не зиаю, что это...

А, однако же, прн всем том, хотя, конечно, можно допустить н то, и другое, и третье, может даже... иу да н где ж не бывает несообразностей? — А все однако же, как поразмыслншь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ии говори, а подобиые происшествия бывают на свете; редко, но бывают.

К.С.Аксаков



Облако

(Фантастическая повесть)

Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с другой стороны. Десятилетний Лотарий выходил медленно из леса: он набегался и наигрался вдоволь; в руке у него был маленький детский лук и деревянные стрелки; пот катился с его хорошенького, разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле; с каждым шагом ступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного; его шапочка свалилась с него, и волосы рассыпались. Лотарий поднял глаза кверху, где ослепительным блеском сиял над ним безоблачный голубой свод с своим вечным светилом. Скоро эта однообразная лазурь утомила взоры дитяти, и он, поворотившись на бок, стал без всякой цели смотреть сквозь траву, его скрывавшую. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то; он поднял опять глаза: легкое облачко неприметно неслось по небу. Лотарий устремил на него свои взоры. Какое хорошенькое облачко! Как отрадно показалось оно ему в пустыне неба. Облачко достигло до средины и как будто остановилось над мальчиком, потом опять медленно продолжало путь свой. Лотарий с сожалением смотрел, как облачко спускалось все ниже, ниже, коснулось земли, как бы опять остановилось на минуту и, наконец, исчезло на краю горизонта: в небе опять стало пусто; но Лотарий все смотрел вверх; он ждал, нѐ появится ли опять милое облачко. В самом деле, через несколько минут (благодаря переменному ветру) показалось оно опять на краю неба. Сердце у Лотария сильно забилось: облачко сделалось уж как бы ему знакомым; он не спускал с него глаз: ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ, и он еще более стал всматриваться; облако подвигалось так тихо, как будто не хотело сходить с неба, и, казалось, медлило; наш Лотарий долго еще любовался им; но другое большое облако поднялось, настигло легкое облачко, закрыло его собою и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. «Проклятое облако,—

сказал он,— теперь, Бог зиает, увижу ли я опять свое милое облачко!» Ои пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, ио оио все по-прежиему было чисто и безоблачно. Лотарий, иакоиец, встал и пошел домой, в большой досаде.

Следующий день был так же хорош. Лотарий пошел иа то же место, в тот же час, ио иичего не видал. Вечером, перед закатом солица, сидел ои иад прудом; широкое простраиство вод отражало в себе чистое иебо, и иаш ребенок задумался. Вдруг он видит в воде, что что-то иесется по небу. Каково ж было его удивление и радость, когда ои узиал свое милое облачко: ои ие смел отворотить глаз от пруда, ои боялся потерять мгиовеиие. Облачко плыло. Лотарий еще явствеииее различал в ием вид человека; ему показалось теперь, что видит в ием прекрасный жеиский образ: распущеиные волосы, струящаяся одежда... и все более и более вглядывался Лотарий, и все явственнее и явствеинее становилось его видеиие. Облачко достигло коица горизоита и исчезло. Лотарий ждал, ие вериется ли оио, ио облачко не возвращалось. На третий день ои почти ие сходил со двора и беспрестаино взглядывал на иебо, боясь пропустить свое облачко; и ои увидел его около полудня; оио было уже на середиие; за ним неслось другое облако, которое Лотарий также узиал и погрозил ему кулачком своим. Теперь он совершеиио уверился, что любимое его облачко имело женский образ; другое облако также он разглядел лучше; оио имело вид грозного старика с длииною бородою, с нахмуреииыми бровями; и то и другое облако, достигиув края иебес, скрылись одио за другим. Лотарий ждал следующий деиь, третий, четвертый, ио облако ие появлялось, и ои совершеиио отчаялся его видеть и перестал ждать его. Прекрасиая погода все продолжалась. В одиу жаркую иочь все семейство Грюиеифельдов (это была фамилия Лотария) легло спать иа дворе, маленький Лотарий также; скоро засиул ои, и когда иечаяиио просиулся, то луна была высоко, и Лотарий, к удивлению и радости, увидал опять свое облачко, а за иим большое облако. Свет луиы, сквозь тоикий мрак иочи, придавал еще более жизии фаитастическим образам иа иебе. Промчались, проиеслись облака, спустились к земле и исчезли. Лотарий все еще смотрел иа иебо. Вдруг в роще послышался ему шум; ои взтляиул: между деревьев мелькала и приближалась стройиая, бледиая девушка, в которой ои сейчас узиал

свое облачко, а за нею высокий, мрачный старик, точь-в-точь, как то большое облако, виденное им опять на небе. Они вышли из рощи и тихо между собою разговаривали.

— Пусти меня,— говорила девушка-облако,— я хочу взглянуть на этого милого, невинного ребенка, хочу поцеловать его.

— Дитя мое,— говорил старик,— оставь людей в покое; не сходи на землю; не оставляй лазурного пространства прекрасной твоей родины. Человек рад будет лишить тебя твоего счастия.

— Нет, нет, отец мой; не променяю я небо на землю; здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра; но мне нравится это милое дитя; мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри; ты видишь — он спит. Потом мы опять унесемся с тобою на небо и, если хочешь, умчимся далеко, далеко отсюда... О, позволь мне, я обещаю долго не прилетать в страну эту, сколько угодно тебе, позволь мне взглянуть вблизи на это милое дитя.

— Изволь,— сказал старик,— но мы сейчас же оставим эту страну.

Лотарий, между тем, догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла к нему, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя». Потом он слышал, как она удалялась; открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали девушка и старик и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту легкое облачко, а за ним большое облако промчались по небу над головою Лотария. (Ему показалось, что девушка заметила, что он не спит, и с улыбкой кивнула ему головою.)

Всю ночь не мог заснуть Лотарий. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть и никогда, не увидит своей милой девушки-облака.

Весь следующий день он был очень задумчив.

Вот происшествие из младенческой жизни Лотария; оно сделало на него сильное впечатление; он не рассказывал его никому — как потому, что ему никто бы не поверил, так и потому, что воспоминание об этом было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, долго девушка-облако жила в его

памяти, была его любимою мечтою, услаждала, освежала его душу. Но потом время, науки, университет, свет, в который вступил он, светские развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память чудесного происшествия детских лет, и двадцатилетний Лотарий уже не мог и вспомнить о нем.

В освещенной большой зале гремела музыка, и вертелись, одна за одною, легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там и, казалось, весь предался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того десятилетнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком! Его кудри, небрежно вившиеся по плечам, были теперь острижены модным парикмахером; его прежде полную, открытую шейку сжимал щегольской галстук, во всем костюме видна была изысканность; на лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Лотарий Грюненфельд считался одним из первых fashionables*.

Танцуя в кадрили, он нечаянно обернулся и увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которой он прежде не замечал, задумчиво и печально на него смотрит. Это польстило его самолюбию; но, не желая показать, что обращает внимание, он небрежно оборотился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров, которые вы беспрестанно слышите и сами ведете на бале. Но через несколько времени он взглянул опять и опять встретил грустный, задумчивый взор; на сей раз взор этот смутил Лотария, и он опустил глаза; в душе зашевелилось, поднялось что-то, какой-то упрек, какое-то обвинение. Не зная почему — только Лотарий чувствовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей, и, в самом деле, вся его жизнь, пустая, бесцветная, во всей отвратительной наготе своей представилась перед ним в эту минуту; в сердце его не было ни одного чувства, в голове ни одной мысли, и Грюненфельд невольно покраснел. В ту же минуту он опомнился и, видя, что забыл долг учтивого кавалера, начал поскорее разговор с своей дамой, но на этот раз очень вяло и неловко;

* Модников *(англ.)*

кой-как окоичил он кадриль и отошел к стороне; теперь уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомой девушки. Лицо ее казалось ему знакомым; он как будто видал ее где-то. Спустя иесколько временн вышла какая-то женщина из гостиной.

— Эльвира,— сказала она,— пора, поедем.

Бледная девушка встала и собралась ехать. Проходя мимо Лотария, бросила оиа на иего такой печальный, такой глубокий взгляд, что ои долго не мог прийти в себя от смущеиия и тотчас уехал.

Прнехав домой, Грюненфельд долго не мог заснуть. Прежний Лотарнй просиулся в нем. Боже мой! Боже мой! Сколько верованнй и иадежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром! Упреки толпою вставали в душе его. Лотарий чувствовал твердую решнмость переменнть жизнь свою и вознаградить все потеряниое время. Он чувствовал в себе возрождающиеся силы, бодрость духа; сердце его тихо наполиилось чувством, ум — мыслию, на душе светлело. Лотарий не мог, одиако же, в эту минуту не обратить внимания на причиму его внезапной внутренней перемены — он вспомнил бледную девушку.

— О, это верно ангел-хранитель мой,— сказал он сам себе,— его желаиия будут моим законом, пусть будет она монм путеводителем в этой жизни.— И он лег с твердым намерением отыскать и узнать эту чудную девушку, которой считал себя столько обязанным. На другой деиь поутру поехал он к г-же Н., у которой на бале был он вчера. Она была дома. Лотарнй заговорил о вчерашнем вечере и спросил, накоиец, кто эта дама, приехавшая вчера с бледной девушкой.

— Это старинная моя зиакомая; она приехала недавно из Англии; ее фамилия Линденбаум.

— А эта молодая девушка — ее родственница?

— Я мало имею о ней сведений; но, сколько мне нзвестно, это ее воспитанница.

— Оиа часто бывает у вас?

— Она нынче будет у меня обедать, но что вы ею так интересуетесь?

— Лицо вашей приятельницы мне чрезвычайно знакомо, и я хотел узнать о ней поподробнее.

В это время слуга доложил о приезде г-жи Линденбаум. Лотарий вздрогнул, и через мннуту вошла г-жа Линденбаум с Эльвирой.

Робко взглянул молодой человек на девушку, но она не приметила, здороваясь в это время с хозяйкой. Подняв глаза через несколько времени, он встретил взор Эльвиры, которая смотрела на него приветнее и не так грустно, как вчера.

Г-жа Н. просила Лотария остаться обедать, он охотно согласился. До обеда Лотарий много говорил с г-жой Линденбаум. Эльвира слушала и иногда взглядывала на него; Лотарий не смел заговорить с нею; Эльвира молчала и только однажды, когда Лотарий говорил про первые лета жизни, говорил, что, может быть, младенчество имеет таинственное, для нас теперь потерянное значение, она тихо сказала: «Да». Это «да» отозвалось в сердце Грюненфельда; он взглянул на Эльвиру и замолчал; до обеда он ничего почти не говорил.

После обеда г-жа Линденбаум скоро уехала; она звала Лотария к себе, и он был вне себя от радости. Он так скоро воспользовался ее предложением, как только позволяло приличие. Когда он вошел, Эльвира была в зале. Она молча поклонилась ему, но Лотарию показалось, что на лице ее выразилась скрываемая радость. Она пошла в гостиную. Г-жа Линденбаум сидела и вышивала на пяльцах. После обыкновенных приветствий скоро начался одушевленный разговор, в котором и Эльвира принимала участие. Г-жа Линденбаум просила ее спеть. Она села за фортепиано, лицо ее оживилось невыразимым чувством, все существо, казалось, искало выражения и нашло его себе в песне. Она запела:

Смотри: там в царственном покое,
Восстав далеко от земли,
Сияет небо голубое
В недосягаемой дали.
Смотри: как быстро друг за другом
Летят и мчатся облака;
Там, под небесным полукругом,
Их жизнь привольна и легка.
Пускай красою блещет тоже
Разнообразная земля,
Но им всего, всего дороже
Свои лазурные поля.
А ты к себе мольбой напрасной
Счастливцев неба не мани —
Не бросят родины прекрасной,
Нет, не сойдут к тебе они.
Но если в их груди эфирной
Забьется к смертному любовь,
Они покинут край свой мирный,

Приют беспечных облаков,
И, жизнию дыша единой,
Бросают милую семью,
И в край далекий, на чужбину,
Они несут любовь свою.

Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Какое-то воспоминание поднялось в душе его; какое-то событие детства силилось выбиться из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не мог. С нами часто это бывает; с кем этого не случалось? Кто знает,— это, может быть, воспоминание такого же происшествия, но которое мы забыли и вспомнить не можем, может быть, и у каждого из нас в детстве была девушка-облако или что-нибудь подобное (но в том только разница, что потом мы почти никогда не можем это вспомнить). Я, по крайней мере, твердо уверен, что я летал в детстве. Но обратимся к Лотарию; он долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. Грюненфельд пошел в гостиную, где сидела г-жа Линденбаум.

— Как я виноват,— начал Лотарий,— я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира.

— Да, она ушла.

— Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее: она так прекрасно поет.

— Да, она хорошо поет; она ушла теперь.

— Куда же?

— Не знаю, только ее нет дома.

Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Он хотел непременно узнать от г-жи Линденбаум все подробности об Эльвире, и для того решился открыться ей, какое впечатление произвела на него ее воспитанница.

— Вот третий раз, как я ее вижу,— говорил Лотарий,— но мне кажется, что я ее видал где-то, что я ее давно знаю, что наши души близки друг другу. Да, да, мы давно знакомы; я люблю ее; она теперь все для меня.

Г-жа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала:

— Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик и с ним прекрасная девушка. «Вот вам моя дочь,— сказал он,— я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте,

назначьте какую угодно плату; но с условием: пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы; но она не обязана давать вам никакого отчета; она может отлучаться куда ей угодно, не спросясь и не сказываясь; словом, она должна иметь полную свободу».

Меня это поразило, предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело»,— отвечал он мне и ушел.

В этот вечер Эльвира очень плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сближались, и теперь, кажется, она меня очень любит. Часто уходит она Бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у ней выведать; но она напомнила мне слова отца своего («Это не ваше дело»). Вот все, что я могу вам сказать.

Грюненфельд ничего не отвечал, потом поблагодарил г-жу Линденбаум и уехал. Остальное время дня он был задумчив и не говорил ни слова; он не мог также понять, почему, когда он бывал с Эльвирой, ему вспоминались лета детства, и он не мог удержаться, чтоб не говорить об них.

Каждый день Лотарий стал посещать г-жу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой, и чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее была она для него.

Так шли дни, недели; Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешнею жизнию, пренебречь их толками и досадою и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое вы встретили здесь на земле, которое понимает вас и которому вы посвятили все свое время? Понимаете ли вы удовольствие улыбаться на шутки и насмешки друзей ваших, с которыми вы перестали видеться и которых случайно встретили, и думать про себя, смеясь над ними: «Они не знают, как я счастлив!» Лотарий был в таком положении; Лотарий был счастлив.

Вдруг он получает письмо от матери, в котором она

зовет его непременно в деревню по одному важному семейственному делу.

Как быть? Должно расстаться; но Лотарий пишет письмо к матери, пишет другое, и вот г-жа Н. получает пнсьмо от г-жи Грюненфельд, в котором она благодарит г-жу Лннденбаум за ласки, оказанные ее сыну, н проснт ее вместе с *нею* приехать на лето к ннм в деревню. Г-жа Н. едет к своей прнятельннце; та, по обыкновению, совестится, наконец, соглашается, и все дело уладилось.

Лотарнй поскакал вперед на другой день к матери, в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже не был он на своей родине; уж год, как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть сцены, которые даже оскорбляют чувство в описании. Итак, сын увидался с матерью. После Лотарий бросился бегать по дорожкам цветника, по аллее сада, побежал в березовую рощу, взглянул на липы, которые закрывали уже ветвямн своими окна его детской комнатки, сбегал на реку — везде, везде воспоминания; он перенесся совершенно в лета младенчества, и ему стало грустно.

На другой день пошлн хлопоты. Лотарий заннмался с утра до вечера и в продолжение недели все окончил. Он признался во всем матерн, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей.

Лотарий вышел вечером на дорогу; она вилась, вилась перед ним и исчезала в отдалении. Когда вы смотрите на нее и когда она, пустая, тянется вдаль перед вами, то она возбуждает какое-то чувство ожндания, вам становится грустно; перед вами лежит широкий след людей, и никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога сливается с небом, вы знаете, что она еще все тянется, туда, далеко, далеко, душа стремится за нею н летит, летнт, а перед ней все даль туманная,— это чудное состояние, какое-то безотчетное, безграннчное стремление, какое-то Sehnsucht*[1], но, верно, вы самн испыталн все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль.

Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще другое чувство,— он смотрел и ждал: не едут ли; но нет, одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не ожив-

* Стремление *(нем.)*.

ляло ее. Лотарий задумался, опустил голову и, подняв ее через несколько времени, увидал что-то черное вдали по дороге. С минуту он еще стоял в недоумении, еще не смея верить своей надежде, но, наконец, точно разглядел дорожный экипаж; но еще все боясь ошибиться. Лотарий своротил с дороги и пошел по полю навстречу, удерживая свои шаги, как бы прогуливаясь. Но вот экипаж поравнялся с ним, и Лотарий узнал Эльвиру. Все вышли и пешком продолжали путь. Когда они пришли в дом, мать Лотария была в саду; услыхав, она почти побежала навстречу, обняла г-жу Н., которая познакомила ее с г-жою Линденбаум, и поцеловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней, как к родной.

Ну, что и говорить, Лотарий был счастлив, счастлив и счастлив. Эльвира с такою радостью бегала по всем дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое детство. Лотарий изумлялся. На другой день рано поутру попросила она Грюненфельда повести ее в поле, которое было недалеко от села и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее: не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне; но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел в поле Эльвиру. Едва пришла она туда — и начала, как дитя, бегать и рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада детски.

— Лотарий,— сказала она вдруг, остановившись и устремив на него взгляд свой.

— Ах, Эльвира,— вскричал тот, закрывши глаза рукою и как бы очнувшись,— я вспомнил что-то, вспомнил... постойте, постойте!..

— Ничего, ничего,— вскричала Эльвира,— поскорее пойдемте домой.

Час от часу более всею душою предавался Лотарий Эльвире, и все загадочнее становились для него ее поступки. Грюненфельд решился однажды спросить ее, кто она.

— Зачем вам? — гордо отвечала Эльвира.— Вы видите меня, я перед вами, чего ж вам больше? Вы еще хотите знать: кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку — наслаждайся и благодари.

Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру, и не желал никакого ответного чувства. Он любил и благоговел перед нею, он уничтожался в своем чувстве; это был для него целый мир; он хотел только, чтобы он мог всегда любить ее, а не того, чтобы она его любила. Так дикий падает на колени перед солнцем, погружаясь в чувство благоговения и любви, и с благодарностию принимает лучи, которые оно льет на него, не замечая. (Здесь довольно собственного чувства, взаимности здесь и помину нет.)

В одну ночь с вечера не спалось ему, и он вышел в сад прогуляться. Луна накидывала флер дымчатых лучей своих на всю природу. Ее неверный блеск оживлял предметы; всякий из них, казалось, готов был оторваться и сойти с своего места. Лотарий принял на себя это впечатление лунной ночи. Ему так было хорошо, и он, предаваясь мечтаниям, погружаясь в блажестве своего чувства, шел все далее и далее; он уже хотел выйти на небольшой луг, находившийся на краю сада, как вдруг ему послышался шум; он остановился под огромною липою, весь закрытый ее ветвями.

На поляне стоял седой, высокий, пасмурный старик, весь в белом; перед ним, тоже в белом платье,— девушка с русыми волосами — то была Эльвира. Вполне облитые сиянием лунным, они казались видениями.

Лотарий взглянул — точно молния осветила его душу. Он в одну минуту перенесся за десять лет своей жизни, он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку, виденную им еще в младенчестве,— ему теперь стало все ясно, он вспомнил, наконец, все вспомнил.

— Отец мой,— звучал голос Эльвиры,— будь спокоен, мне хорошо здесь; мы с тобой не расстаемся, ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его.

— Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное, воздушное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю?

— Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как мне горько было встретить его в первый раз. Он жил у меня в памяти прелестным ребенком с темно-русыми кудрями, с сердцем невинным и чистым; и вдруг — как он не похож был на себя: все прекрасное было в нем подавлено его

пустою жизнию; грустно, грустно мне было, отец мой. Он заметил меня, и не знаю, глаза ли мои высказали мои чувства, или воспоминание проснулось в нем; только он смутился и тотчас оставил толпу. Он познакомился с г-жой Линденбаум; видно было, что он меня любит, и с тех пор какая перемена в нем, он опять так же прекрасен, как был назад тому десять лет.

— Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать о любви твоей.

— Нет, нет! Он не узнает; и я не для того сошла на землю; нет — я буду его ангелом-хранителем, буду невидимо осенять его, услаждать все часы его жизни,— ты видишь, я оживила его душу; разве это не счастие? К тому же я знаю, что он меня любит.

— Да будет благословение мое над тобою, дитя мое,— сказал старик, положив свои руки на ее голову,— но ты знаешь: если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь оставаться.

— Знаю, отец мой, но он не узнает; воспоминание тревожит его; но его усилия напрасны, он не вспомнит, нет.

— Прости, дитя мое.

— Прости, отец мой.

Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу.

Эльвира вздохнула, опустила глаза и, поворотившись, чтобы идти назад, увидела Лотария, который во все это время был, как прикованный, и не знал, что делать. Она вся затрепетала, но, может быть, он и не видал. Эта мысль мелькнула в уме ее. Эльвира запела и, как бы теперь увидав Лотария, сказала ему:

— Вы тоже гуляете?

Но увидев его смущенный, его неподвижный взор, она вскрикнула:

— Ах несчастный, что ты сделал! Ты узнал меня? Да, я девушка-облако.

Бледная, трепещущая, она оперлась на плечо безмолвного Лотария и говорила грустно:

— Ах, Боже мой, Боже мой! Итак, нигде, нигде нельзя укрыться от человека, итак, всюду найдет он существа, ему подобные; и воды, и леса, и горы проник он своим взором, но по небу летали вольные облака — он и в них отыскал жизнь и создания, ему подобные, и там нет убежища.

Знай, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания[2], и когда перед тобою пронесется девушка с чудным, с вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице,— знай: это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира.

Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю; тебе я посвятила себя; я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою; я бы хранила счастие души твоей...

Но теперь, теперь...— и она становилась все бледнее и бледнее,— я должна с тобой расстаться.

Ты слышал, знаешь!

Прости, мой Лотарий, ты меня никогда не увидишь более здесь, но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру, которую знаешь и любишь еще с детства.— Сейчас, отец мой...— говорила она, взглядывая на лес; вдали, между деревьями, мелькал белый призрак.— Прости, мой Лотарий!

Она крепко, крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Лотарий, как безумный, упал на траву и неподвижно смотрел на небо.

Через минуту два облака промчались по небу.

Лотарий долго пролежал, как оглушенный. Когда он высвободился, наконец, из этого состояния, которое ни сон, ни обморок, было уже светло на дворе; все, что вспоминал он, казалось ему каким-то сном.

Задумчиво пришел он домой.

Но Эльвиры уже не было.

Говорят, всегда потом Лотарий был молчалив и грустен; но случалось, что на лице его проглянет улыбка и он весь оживится глубокою сердечною радостию. Тогда взор его бывал устремлен к небу,— а по небу неслось легкое облачко.

Мать его грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать, и все усилия ее развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, она даже заметила вид этого облака, но не могла добиться от сына объяснений.

Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легкие облачка.

А. Ф. Вельтман



32 Зак 480

Иоланда

I

В один из прекрасных июльских вечеров 1315 года Гюи Бертран, славный церопластик[1], недавно приехавший в Тулузу, сидел задумчиво подле открытого окна в своей рабочей ⟨комнате⟩. Он жил против самого портала церкви св. Доминика. Заходящее солнце освещало еще вершину башни. Гюи Бертран смотрел на эту вершину. Тень поднималась выше и выше по туреллам[2], лицо его более и более омрачалось, и казалось, что все надежды его уносились вместе с исчезающими лучами солнца на башне.

Он имел всё право предаваться отчаянию: кроме тайного горя, которое отражалось во всех чертах его, искусство, доставлявшее ему пропитание, было запрещено под смертною казнию после суда над шамбеланом[3] Франции Энгерраном Мариньи[4], его женою и сестрою, обвиненных в чаровании короля Людовика X.

— Вот последнее достояние! — проговорил Гюи Бертран, вынув из кармана серебряную монету и хлопнув ею по косяку окошка.— Жена придет за деньгами на расход... я отдам ей все, что имею, а она скажет: этого мало!.. Завтра голодная жена и дети будут просить милостыню, а я буду пропитаться на счет моих заимодавцев в тюрьме Капитула[5]!

И с этими словами Гюи Бертран схватил лежавший на окне резец и вонзил его глубоко в дерево.

В эту самую минуту кто-то постучал у дверей.

— Вот она! — произнес Гюи Бертран, вставая с места и отдергивая задвижку.

Но вместо жены вошел неизвестный человек в широком плаще, бледный, худощавый, высокий, с впалыми глазами.

— Гюи Бертран?

— Так точно.

Неизвестный, входя в рабочую, припер за собою дверь.

— Угодно вам принять на себя работу?

— Очень охотно приму... разумеется, скульптурную.

— Нет, работа будет относиться собственно до ва-

шего искусства...— сказал неизвестный, вынимая из-под плаща небольшой портрет.— По этому портрету вы должны сделать восковую фигуру.

— Восковую? Не могу! — и Гюи Бертран, осмотрев с ног до головы неизвестного, невольно содрогнулся.

— Вы, может быть, думаете, что я фискал инквизиции, ищу вашей погибели? Нет! Впрочем, я найду другого церопластика, который будет снисходительнее...

Неизвестный взял под плащ портрет и хотел идти.

— Позвольте... Если вы мне скажете, для какого употребления заказываете...

— Вот прекрасный вопрос!

— Но... вы знаете, что можно сделать злое употребление...

— О конечно, из всего можно сделать злое употребление; однако же, покупая железо, не давать же клятвы, что оно не будет употреблено на кинжал. Впрочем, будьте покойны: это для коллекции фамильной. Угодно взять?

Гюи Бертран думал.

— Извольте отвечать скорее!

— Берусь... но... мне не дешево станет эта работа... и вам также.

— Насчет этого не беспокойтесь: вот вам в задаток... здесь в кошельке двадцать луидоров. Через неделю должно быть готово... только сходство разительное...

— Можете положиться...

Неизвестный удалился.

Гюи Бертран запер двери, спрятал портрет в шкаф, бросил кошелек на стол и сел снова подле окна в раздумье.

Вскоре вошла жена его.

— У тебя, Гюи, кто-то был? Не для заказов ли?

— Да! — ответил Бертран.

— Слава Богу!

— Да!— отвечал Бертран.

— Это что такое?

— Деньги.

– Слава Богу. — повторила жена,— двадцать луидоров!.. Это все твои?

— Да! — отвечал Бертран.

— Я возьму на расход?.

— Возьми.

— Ты, верио, обдумываешь заказаиную работу?.. Я ие буду тебе мешать.

Оиа вышла, а Гюи Бертран просидел до полуночи перед окном.

II

На другой день раио утром Гюи Бертран вошел в свою рабочую, выиул портрет, поставил его иа стаиок и, заложив руки иазад, стал ходить из угла в угол.

— Какое очаровательиое существо! — сказал ои, смотря на портрет.— Так же хороша была и дочь моя! Где ты теперь, иеблагодариая Вероиика!

У иего хлыиули из глаз слезы. Он закрыл лицо руками и отошел от портрета, сел подле окна в безмолвии...

Когда в ием утихло горькое воспомииаиие, ои подошел снова к портрету.

— Чувствую, что ие иа добро заказаио это!..— повторял он, говоря сам с собою и посматривая на портрет.— Бедиая девушка! Может быть, и тебя преследует соблазн или мщеиье? Если я буду средством к твоему истязаиию? Этот человек в оборваином плаще так похож иа чериокиижиика!.. Нет сил приииматься за работу...

Долго ходил Гюи Бертраи по рабочей, то посматривал на портрет, то на распятие, которое стояло на столе в углу комиаты.

— Нужда, иужда! — вскричал ои, накоиец, и, заперев двери, прииялся за работу.

Через иеделю, поздио вечером, иезиакомец явился; восковая фигура была уже готова и уложеиа в ящик.

— Вы ручаетесь за сходство?

— Ручаюсь.

— Вот еще тридцать луидоров: помогите выиести.

Гюи Бертран с трепетом помогал выиосить ящик иа улицу, где стояла уже готовая фура.

- Прощайте,— сказал иеизвестный; и фура и ои исчезли в темиоте.

Солнце склоиилось уже на запад, и теии как будто украдкой приподиялись из земли, из-под гор, холмов и здаиий, построеииых на кладбищах давиих поколеиий, и потяиулись к западу. Медлеиио сливались оии друг

с другом и застилали мрачной одеждой своей вечерний свет на красотах природы. Вдоль Пиринеев, по обе стороны *пролома Роландова,* казалось, что гиганты стали на стражу вокруг своих старшин с белоснежными главами, озаряемых последними лучами утопающего света в океане.

В это время в комнате со сводами и окном с узорчатой решеткой, сквозь которое перед потемневшим небом видны были за шумным порогом Гаронны влево Тулузский замок под горою, а вправо — пространные луга, предметы потухли, все тут было черно и казалось пусто, безмолвно.

В углу только светилось еще распятие над Адамовой головой, но против него, в боку комнаты, мрак, казалось, шевелился. С трудом можно было рассмотреть, что подле ниши, задернутой черной занавеской, сидела женщина.

— Теперь... ты готова, Санция! — раздался ее голос.— Недостает только Раймонда, чтобы полюбоваться в последний раз на красоту твою!.. Но кто знает!.. Может быть... он... О! если б он обнимал тебя в эту минуту!.. нежил, клялся в любви, осыпал поцелуями... и вдруг невидимая рука...

В руке женщины что-то блеснуло.

Кто-то постучался в двери.

Женщина вздрогнула, на второй стук она подошла к дверям и отперла.

Вошел монах.

— Мир ищущим утешения в завете Христа! — произнес он.

— Отец! — сказала женщина.— Я призвала тебя прочитать отходную над умирающей.

— Кто она такая?

— Моя ближняя...

— Как ее имя?

— Санция.

Монах подошел к ложу с молитвой; женщина припала подле на колени.

Монах стал произносить исповедь.

— Отец, она не может отвечать, но я за нее порука.. Она безгрешна!..

Монах читал отпущение грехов и отходную и потом прикоснулся распятием к челу лежащей на постеле, накрытой белым покрывалом.

Женщина встала, положила деньги в руку монаху, и он тихо вышел.

Женщина заперла за ним двери, подошла снова к ложу.

Потухавшая лампада перед распятием ожила и мгновенно бросила томный свет на бледное, но прекрасное лицо женщины; она была в черной одежде. Взглянув с содроганием на отпускаемую с миром в мир горний, она откинула назад свое покрывало и бросилась в кресла подле ложа.

— Теперь ты готова, Санция!.. возлюбленная моего Раймонда! — сказала она дрожащим, но твердым голосом.— Выслушай же Иоланду... Она хочет оправдать сердце свое... Ты можешь играть любовью Раймонда... ты дитя... ты дочь высокородного капитула... А я, я не могла играть его любовью... Для меня любовь его была священна!.. Я дочь бедняка, но я боролась с будущим своим несчастием еще в то время, когда на этом несчастии была маска земного блаженства... Я говорила Раймонду Толозскому, когда он обольщал чувства мои: «Оставь меня у отца и матери! не увози в Тулузу, где есть Санция, которую будут венчать в образе Изауры Толозской... Вот невеста тебе... Ей предайся... Представительница Изауры бросит на тебя взор любви с золотого престола!..» — «Нет! — сказал мне Раймонд.— Санция — восковая фигура, я тебя люблю, Иоланда!..» Он заглушил слова мои клятвами, пресмыкался змеей... целовал колени мои... а я верила, пригрела его на груди!.. Но и в минуту безумия собственного я еще говорила: «Оставь, не срывай бедную фиалку, возвратись к розе!..» А он оковал меня!.. Я говорю правду... Верь мне, дочь высокородного капитула!.. Вот свидетель мой!.. Видишь, Санция? Я хочу воротить Раймонда не к сердцу своему, а к собственной его крови!.. Хочу разлучить его с тобою; но кто может разлучить два сердца, кроме смерти!.. Да, только смерть... Смерть тебе, Санция!..

И с этими словами она бросилась к ложу. Три раза, посреди окружавшего ложе мрака, блеснули струи молнии.

Она остановилась, зашаталась на месте и с диким криком упала без памяти подле ложа.

Из рук ее выпал кинжал и зазвенел.

IV

В зале аббатства св. Доминика, за длинным столом, накрытым сукном, сидел главный инквизитор, сидели и члены инквизиции толозской. Окна были задернуты

зелеными занавесками, от которых все лица казались помертвевшими. В простенке задней стены, между впадинами, возвышалось до самого свода распятие.

Стол судилища стоял на некотором возвышении. Дьяк судилища сидел в конце стола, на табурете с непокрытой головой; члены же и инквизитор сидели в креслах, на спинках которых было красное изображение креста.

Все они были в черных с белыми полосками мантиях, застегнутых спереди и покрывавших только грудь, в шапках четвероугольных, расходящихся кверху.

После тихих совещаний главный инквизитор стукнул молотком по столу.

Вошел сбирро[6] в красной мантии и в красной высокой шапке, с булавой в руках.

Вслед за ним вошли несколько стражей в подобной же одежде, но с секирами в руках; они выстроились по обе стороны двери.

За ними ввели под руки женщину в черной одежде; лицо ее было завешено покрывалом.

Ее подвели к самому столу и посадили на табурет. Инквизитор подал знак, стражи вышли.

— Сбрось покрывало! — сказал ей инквизитор.

Женщина откинула покрывало.

— Кто ты такая?

— Иоланда! — ответила она тихим голосом.

— Откуда ты родом?

Женщина молчала.

— Кто твой отец?

Женщина молчала.

— Зачем ты здесь?

— Я призвана инквизицией.

— Что имеешь ты сказать?

— Ничего.

— Читайте показание.

Дьяк читал:

«Показание хозяина Иегана Реми.

Иоланда, не объявляющая ни места своего рождения, ни роду, ни племени, по показанию жителя Толозы Иегана Реми, ремеслом мельника, проживает у него реченного в доме более года в тишине и неизвестности, платя исправно за постой; посещал ее реченную Иоланду по вечерам неизвестный молодой мужчина и неизвестные люди, приносившие ей съестные припасы, а с недавнего времени посещал ее другой неизвестный человек подозри-

тельной наружности. Третьего же сентября 1315 года, в ночь, услышав вопли в ее половиие, реченный Иеган Реми пошел к ней, но двери были заперты изнутри, почему и поторопился дать знать о сем городской страже, которая, прибыв в дом во время ночи, разломала запертые двери и взяла с собой реченную Иоланду, после чего реченный Иеган Реми и ие видел уже сию женщину».

— Кто такие люди, посещавшие тебя? — спросил снова инквизитор.

Женщина молчала.

Инквизитор подал знак.

Из другой комнаты внесли носилки, накрытые черным покрывалом.

— Это чьих рук дело? — спросил инквизитор, показывая на носилки и приказав сдернуть покрывало.

Иоланда оглянулась, вздрогнула с криком и затрепетала.

Ее поддержали.

Но носилках лежала очаровательной красоты девушка, на щеках румянец не потух, уста улыбались, но глаза ее были неподвижны, окованы смертью.

— Читайте обвинение.

Дьяк читал:

— «Иоланда обвиняется принадлежащей ко второму разряду преступных.

Второй разряд преступлений составляют демонские науки: черная магия, порча, колдовство, заочные убийства.

Иоланда обвиняется в заочном убийстве: в нанесеиии трех ударов в сердце дщери высокородного капитула Бернхарда де Гвара, как то признано отцом и матерью и всеми капитулами. Реченное убийство явно подтверждается тем, что дщерь реченного капитула Бернхарда де Гвара, Санция, в ту ночь из замка Гвара внезапно исчезла, что и заставляет полагать утвердительно, что демонская сила исхитила ее из объятий родительских, чтобы предать чарам Иоланды».

— Сознаешься ли ты в убийстве? — спросил инквизитор Иоланду.

Но Иоланда не отвечала: оиа без чувств лежала иа руках двух сбирров.

— Приговор свой услышишь ты в свое время, — продолжал инквизитор и подал знак, чтобы ее вынесли.

Иоланду положили иа иосилки подле Санции, иакрыли покрывалом и выиесли.

V

Настал день аутодафе[7], день торжества инквизиции, в который министры мира сжигают жертвы человеческие во славу Милосердого, во спасение людей и скупление их мукою времени от муки вечной.

Еще до света раздался в Тулузе печальный, унылый звон колоколов, повещающий народу великое зрелище.

Со всех концов города стекались любопытные.

Процессия доминиканцев выходила на площадь; несли шитое и окованное золотом знамя с изображением св. Доминика, учредителя инквизиции, с мечом и миртой в руках и с надписью «Justitia et misericordia»*.

Вслед за знаменем шли рядами преступники, обреченные казни, босые, в одежде печали и отвержения; в руках каждого был факел из желтого воска; подле каждого шел нареченный отец и исповедник с крестом в руках.

Но за этими рядами преступников несли распятие, которое, склонясь над головами их, означало надежду на милосердие; только одна жертва, шедшая позади всех, были лишена этой надежды.

Эта жертва была женщина. Ее вели под руки; на ней был черный балахон, а сверх его samara, или нарамник серого цвета, испещренный изображениями демонов и ада; на передней полости его был нарисован портрет преступницы посреди костра, обнятого пламенем. На голове ее была carochas, остроконечная высокая шапка в виде сахарной головы, с подобными же изображениями нечистой силы.

Преступников провели во внутренность храма св. Доминика и посадили на лавки; подле каждого заняли место нареченные отцы и исповедники. Посредине алтарной стены возвышалось распятие, по обе стороны на хорах под балдахином сидели инквизиторы, в стороне была кафедра дьяка.

По совершении молитвы дьяк стал читать обвинение и приговор каждого из преступников, после чего главный инквизитор объявил не обреченным на сожжение, милосердное отпущение грехов и назначение на галеры. На сожжение обречена была только женщина.

— Как хочешь ты умереть: христианкой или отступницей? — спросил ее член судилища.

---

* «Правосудие и милосердие» *(лат.)*

Она упорно молчала на этот вопрос, несколько раз повторенный.

Ее сдали исполнителям казни и повели на площадь.

Там был уже костер со столбом посередине.

Когда процессия исполнителей казни остановилась подле костра, проповедник произнес к обреченной казни увещание, хотел поднести к устам ее распятие, но она отклонила руку проповедника и сказала тихо:

— Я не достойна.

Ее ввели на костер. Палачи привязали ее руки к столбу. Факелом, который она несла, один из доминиканцев зажег костер; костер мгновенно весь вспыхнул.

— Раймонд!..— простонала несчастная.

Пламень обвил ее.

Никто не знал, кто она такая.

Все смотрели на нее, как на чаровницу, без сожалений. Но вдруг купа дыму и пламени как будто раздалась мгновенно; послышался вопль младенца; стон несчастной жертвы заглушил его.

Все содрогнулись.

Но, может быть, народу, окружавшему костер, это почудилось.

VI

На другой день у входа в храм св. Доминика народ толпился и смотрел на портрет сожженной женщины: изображена была голова на пылающих головнях, с надписью:

Чародейка Иоланда, сожженная за заочное убийство Санции, дщери высокородного капитула толозского Бернхарда де Гвара.

Гюи Бертран видел из своего окна эту толпу, любопытство повело его посмотреть на портрет преступницы.

Он подошел, взглянул и грохнулся на помост.

В это время прогремел по мостовой фиакр[8], перед которым бежал скороход и за которым ехали два рейтара[9]. В нем сидели: прекрасный собою мужчина в одежде капитулов тулузских и необыкновенной красоты женщина в голубой бархатной одежде и в такой же шапочке с белыми перьями.

Заметно было, что любопытство ее было причиной остановки фиакра против портала.

Мужчина подал ей руку, и они вошли на помост храма; толпа раздалась перед ними.

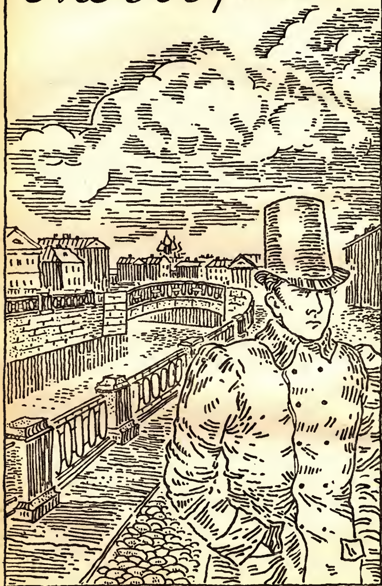
— Он умер, умер,— говорили в толпе.— Гюи Бертран умер!

— Раймонд! — вскричала женщина с ужасом, прочитав надпись.— Что это значит? Мое имя!..

Но Раймонд стоял уже бледный и немой. Глаза его безумно двигались; весь он дрожал.

— Раймонд! — повторила женщина, взглянув на него.

Не говоря ни слова, он увлек ее за собой к фиакру; фиакр загремел вдоль по площади, но мужчина и женщина, сидевшие в нем, были уже бледны, как мертвецы.


М. Ю. Лермонтов

⟨Штосс⟩

1

У графа В... был музыкальный вечер[1]. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелька⟨ло⟩ несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер[2]. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; всё шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю[3] и развертывала ноты... одна молодая женщина[4] зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель[5]; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо,[6] и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин,— сказала Минская кому-то;— я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно,— сказала Минская и снова зевнула,— вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин[7]! —...отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию! — сказала она после некоторого молчания.— Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:— Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! —

вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми,— и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! всё остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.— Призовите доктора,— сказала она.

— Доктора́ не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! — (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите,— отвечал задумчиво Лугин,— я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию;— я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет;— я дурен,— и, следственно, женщина меня любить не может, это ясно: артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв — но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости — всё мне грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская,— но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным ⟨в⟩ обществе; он был

неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии,— и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли,— сказал он с какою-то важностию,— что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что? — адрес:— вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста,[8] дом титюлярного сове⟨тника⟩ Штосса, квартира номер 27.— И так шибко, шибко,— точно торопится... несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство,— сказала Минская, подумав с минуту,— идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер,— то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!..— прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы,— отвечал угрюмо Лугин,— я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника,— да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели[9] и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик,— а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо,— первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова,— а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю,— Штосса! — сказал лавочник, почесав затылок,— и потом прибавил:— нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник,— закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был.

— Чей? — Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

33 Зак 480

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом.

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста,— сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый,— кто живет в 27 номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В 27 номере?.. да кому там жить! — он уж Бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь,— нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А Бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год — да и не переезжают.

— Ну а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей.. гм! — да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? — можно! — отвечал он и пошел переваливаясь за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо[10]; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру,— сказал он.— Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! — да надо хорошенько вытопить...— В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, всё было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать каран-

дашом силуэт, вас так сильно поразивший,— и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? — коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить»,— думал Лугин. «Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! — Но я взял свои меры: переехал тотчас! — что-ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем, чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа.*

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

2

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерчениого углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более, что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратнтельного, и людн, знавшне его ум, талант и добродушне, находнли даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастнческую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную н вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано;

его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна;— он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка: она играл⟨а⟩ какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал: ему представилось всё его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки,— и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной,— и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился;— сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить;— всё было тихо вокруг.— Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика,— и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него,— сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это»? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату;— дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты, серые мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой, и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбрость⟨ю⟩ отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом[11] в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо,— подумал Лугин,— если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «а на что же мы будем играть? — я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (он думал этим озадачить привидение)... а если хотите,— продолжал он,— я поставлю клюнгер[12]; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

«У меня в банке вот это!» — отвечал он, протянув руку. «Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево:— Что это?» — Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» — потом сказал он оправившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная». Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она соника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью[13]! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу,— сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин; так нет же! — не хочу в середу! — завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо,— наконец сказал он, встал, поклонился и вышел приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу всё утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить:— переупрямил. В середу! — как бы не так!

что я за сумасшедший! Это хорошо, очеиь хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!.. ужасио, ужасио похож! — а! теперь я поиимаю!..[14]

На этом слове он засиул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся ие говорил, просидел целый деиь дома н с лнхорадочным иетерпеинем дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошеиько иа то, что у иего ⟨в⟩ баике! — думал ои,— верио что-иибудь иеобыкиовениое!»

Когда иаступила полиочь, ои встал с своих кресел, вышел в соседиюю комиату, запер иа ключ дверь, ведущую в передиюю, и возвратнлся иа свое место; ои недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфелей, кашель старика, и в дверях показал⟨ась⟩ его мертвая фигура. За иим подвигалась другая, ио до того тумаиная, что Лугни ие мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как иакаиуне положил на стол две колоды карт, срезал одиу и приготовился метать, по-видимому, ие ожидая от Лугииа иикакого сопротивлення; в его глазах блистала необыкиовениая увереииость, как будто онн читали в будущем. Лугии, остолбеневший совершенно под магиетнческим влняиием его серых глаз, уже бросил было иа стол два полунмпернала[15], как вдруг он опомиился.

— Позвольте,— сказал ои, иакрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижеи.

— Что бишь я хотел сказать! — позвольте,— да! — Лугин запутался.

Накоиец сделав усилне, ои медлениo проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть — я прннимаю вызов — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старнчок улыбнулся.

— Я иначе ие играю,— проговорил Лугин,— и меж тем дрожащая рука его вытаскивала нз колоды очередиую карту.

— Что-с? — проговорил иеизвестный, иасмешливо улыбаясь.

— Штос? — кто? — У Лугина руки опустнлнсь: он испугался[16]. В эту мииуту ои почувствовал возле себя чье-то свежее ароматнческое дыхание; н слабый шорох, н вздох

невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе ⟨болез⟩ненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье ⟨оберну⟩л голову и тотчас опять устремил взор на карты: ⟨но э⟩того минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить ⟨его пр⟩оиграть душу. То было чудное и божественное видение: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда,— то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся Бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни: он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

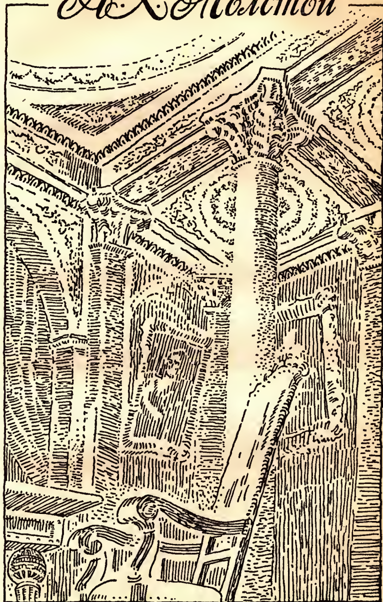
— Завтра,— сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать всё на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой;— *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она

ждала с иетерпеиием минуты, когда освободится от ига несиосиого старика; и всякий ра⟨з⟩, когда карта Лугииа была убита и ⟨ои с⟩ грустиым взором оборачивался ⟨к ней⟩, иа иего смотрели эти страстиые, глубокие глаза, которые, ⟨казалось⟩, говорили: «смелее, ие упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю...» и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей теиью ее измеичивые черты.— И всякий вечер, когда оии расставались, у Лугииа болезиеиио сжималось сердце — отчаяиием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; ои видел, что иевдалеке та мииута, когда ему иечего будет поставить иа карту. Надо было на что-ибудь решиться. Ои решился.

А.К. Толстой



Упырь[1]

Бал был очень миоголюдеи. После шумиого вальса Руневский отвел свою даму иа ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматрнвая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледиый и почти совершенио седой. Ои стоял, прнслонясь к камииу, н с таким виимаинем смотрел в одии угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня н начала куриться. Руневскнй, возбужденный страиным видом незнакомца, воспользовался этнм случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верио, кого-нибудь ищете,— сказал он,— а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камииа и, прнстально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я ннкого ие ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я внжу *упырей!*

— Упырей?— повторнл Руиевский,— как упырей?

— Упырей,— отвечал очень хладиокровно незнакомец.— Вы их, Бог зиает почему, изываете *вампирами,* но я могу вас увернть, что им иастоящее русское изваиие: *упырь;* а так как онн пронсхождеиия чнсто славянского[2], хотя встречаются во всей Европе и даже в Азни, то н иеосновательио придерживаться имени, нсковерканного веигерскими моиахами, которые вздумалн было все переворачнвать на латниский лад н нз упыря сделалн *вампира. Вампир, вампир!* — повторнл он с презреннем,— это все равио, что если бы мы, русские, говорнли вместо прнвндення — *фантом* нлн *ревенант*[3]!

— Но одиако,— спросил Руиевскнй,— какнм бы образом попали сюда вампнры нли упырн?

Вместо ответа незнакомец протяиул руку н указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и прнветлнво поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле иее. Разговор, очевидио, касался до девушкн, нбо она время от времени улыбалась н слегка красиела.

— Знаете лн вы эту старуху?— спроснл он Руневского.

— Это бригаднрша Сугробнна[4],— отвечал тот.— Я ее

лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот.— Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения,— отвечал незнакомец.— Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

— С донником[5], мой батюшка? — спросила она.

— С донником, сударыня,— отвечал сладким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому.— Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне,— спросил Руневский,— каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

— Это совсем не мудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его vis-à-vis*. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на место его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противуположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

* Сидящий или стоящий напротив *(франц.)*

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руиевский узнал после, что девушка уже давио сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, ио трудио было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родствеииц у нее иикого не было на свете. Одииокое положеиие бедной девушки еще более возбудило участие Руневского,— но, к сожалеиию его, он не мог продолжать с ией разговора. Толстая тетка, после иескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы миого смеялись с моей кузииой,— сказала оиа ему.— Кузииа любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от иее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих,— отвечал Руневский.— Разговор иаш более касался Фраицузского театра.

— Право? Но призиайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его браиили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-фраицузски не поиимает, и для иее все равио, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него ие хочет. Вы еще не зиаете бабушки; это в полном смысле слова — бригадирша. Поверите ли, оиа сожалеет, что мы более ие пудримся?

Софья Карповна (так называли барышию), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руиевского своею колкостью, перешла к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одиому малеиькому офицеру с чериыми усами, который очень высоко прыгал, таицуя французскую кадриль.

— Посмотрите, пожалуйста, иа эту фигуру,— говорила оиа Руневскому.— Можно ли видеть что-иибудь смешнее ее и можио ли для нее придумать фамилию приличиее той, которой оиа гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый иесиосиый человек в Москве, и, что всего досадиее, ои себя считает красавцем и думает, что все в него влюблеиы. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, ои скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкии между тем, прииив сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаяниым образом. Рунев-

ский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрыишкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка,— сказала ему ласково старуха,— к Зорииной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; купцы-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае[6], говорит, с графом Петром Александровичем[7], а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и все почти новички, а их-то тьма-тьмущая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дискать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий: тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман[8], не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дискать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе будь сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцова.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу,— сказала она ему под конец,— я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича[9], и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович,— прибавила она, указывая на Теляева,— меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна,— сказал он сладким голосом бригадирше,— и даже... если бы... в случае... то есть...— Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие краи! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку.— Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский

короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, сколько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливостью к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каж-

дым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю,— говорила она,— что они меня не любят и что я им в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда приедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Чрез несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу,— сказала она,— но это такой ребенок, что малейшая безделица может привесть ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастию, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она полюбит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она

дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что́ она об нем думает.

Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным,— сказала ему на другой день Даша,— что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

— Вскоре потом,— продолжала она,— маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

— Позвольте мне быть вашим другом,— вскричал он,— положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила

голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

— Даша, любезная Даша! — вскричал Руневский,— еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли вы в этом сомневаться? — отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе[10].

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел мно-

жество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, мой батюшка,— сказала она,— что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

— Покорно благодарю,— отвечал Руневский,— я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных саль-

ными свечами; картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты,— все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать,— сказала Даша.— Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

— *Пусть бабушка внучкину высосет кровь.*

— Ах, Боже мой! — вскричали девушки, смеясь,— что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу сбирается в гости.
Хоть много цепей и замков у ворот
Ворота хозяйка гостям отопрет

«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?
Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится Дунай,
Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не встает,
Что будет, то будет,— веди нас вперед!»

Под замком бежит и клубится Дунай,
Бегут облака полосою;
Уж кончено дело, зарезан старик,
Амвросий пирует с толпою.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка-жена

Под замком бежит и клубится Дунай,
Над замком пламя пожара.
Амвросий своим удальцам говорит·
«Всех резать от мала до стара!

Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Сверкая, клубясь, отражает Дуиай
Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удальцам говорит:
«Пора уж домой иам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Над Марфой проклятие мужа гремит,
Ои проклял ее, умирая:
«*Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,*
Сто раз я тебя проклинаю!
Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!

И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Дотоль, пока замуж портрет не пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в крови
Последняя жертва преступной любви!»

Как филии поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу иахлыиули в гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого ои видел иесколько времеии тому иа бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока ои читал, Сугробииа, сидя за карточным столом, со виимаиием слушала и сказала ему, когда ои коичил:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж ие вздумал ли ты пугать иас, отец мой?

— Бабушка,— отвечала Даша,— я сама ие зиаю, что это за кииpermitted. Сегодия в моей комиате передвигали большой шкап, и оиа упала с самого верху.

Семеи Семеиович Теляев мигиул бригадирше и, повериувшись иа стуле, сказал:

— Это должиа быть какая-иибудь аллегория, что-иибудь такое метафорическое, гм!.. фаитазия!..

— То-то, фаитазия! — проворчала старуха.— В иаше время фаитазий-то ие писали, да иикто бы их и читать ие захотел! Вот что вздумали!— продолжала оиа с иедовольиым видом.— Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филииов тоже.

Нечего сказать, не трус был н мой Игнатий Савельнч, как под турку-то ходнл, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а всё это с тех пор, как нм в Молдавии крысы жнтья ие давалн. И провизию-то, мой батюшка, и амуиицию — всё поели. Бывало, засиешь, говорит, в палатке-то, ан крысы прндут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще иосили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила иад предсказанием, а Руиевский старался прогиать страниые мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответствеиность чнтаииых им стихов с словами г. Рыбареикн ие что иное, как случай. Оии продолжали гадать, а старики между тем коичили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руиевского, ему ни разу ие удалось поговорить с Дашей так, чтобы их ие слыхали другне. Его мучила иеизвестность; ои знал, что Даша иа иего смотрит как иа друга, ио ие был уверен в ее любви н не хотел проснть руки ее, ие получнв на то позволения от нее самой.

В продолжеине вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительиым видом посматрнвая на Руиевского.

Около одиииадцати часов гости иачалн расходиться. Руиевский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый иос ясио обнаружнвал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвестн гостя в прнготовленную для иего квартиру.

— В зелеиых комиатах? — спросил питомец Бахуса.

— Разумеется, в зелеиых! — отвечала Клеопатра Платоновна.— Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да, да,— проворчал лакей,— в других иет места. Одиако с тех пор, как скончалась Прасковья Аидреевна, в этих инкто еще ие жнл!

Разговор этот напомиил Руиевскому несколько сказок о стариниых замках, обитаемых привндеииями. В этих сказках обыкиовенно путешествеиник, застигиутый иочью на дороге, остаиавливается у одииокой корчмы и требует иочлега; ио хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, ио что в замке, коего башии торчат из-за густого леса, он иайдет покойную квартнру, еслн только ои человек иетруслнвого десятка. Путешественнник соглашается, и целую ночь прнвидения не дают ему засиуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

— Впрочем, мне все равно,— продолжал лакей,— в зеленых так в зеленых!

— Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж.

Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна,— сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху,— дай господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь! — сказал Руневский,— прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Ва-

сильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне[11], но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

— Прасковья Андреевна,— отвечал тот,— была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, Бог с ним! Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут,— говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана,— есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынесть из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул

ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

— Чувствительнейше благодарим,— отвечал лакей,— желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава Богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

«Вот,— подумал он,— картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский,— об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг,— отвечала она,— если я вам мешаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь! — возразил он.— Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить.

Она опять застонала, и стон этот был так страиен и выразителен, что он произил ему сердце.

— Ах,— сказала она,— мне иемного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустилась иа кресла подле диваиа, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? откуда вы пришли? — спросил Руиевский.

— Не спрашивайте меия,— отвечала она, вздрогнув при его вопросе,— ие говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу,— прибавила она с улыбкой.— Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь ночевать?

— Я думаю. Но зачем вы меия об этом спрашиваете?

— Для того чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это не мудреио, я только сегодия приехал.

— Руневский,— сказала оиа, помолчав,— окажите мне услугу. В углу, возле диваиа, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — вскликиул Руневский,— чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобиее, иежели прежде.

— Ради Бога,— закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогаиия,— ради Бога, не шутите иадо миой! Скажите мие, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайиу!

Он схватил ее руку, но сжал только холодиые костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлеиии,— что это значит?

— Я не Даша,— отвечало иасмешливым голосом привидеиие,— отчего вы прииялн меия за Дашу?

Руиевский чуть не упал в обморок; ио в эту мииуту послышался сильиый стук в дверь, и зиакомый его лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя ие звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; а когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренно сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностию.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.

— Воля ваша,— отвечал он,— я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же, что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, Боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастию, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

— Александр Андреевич,— сказал он дрожащим голосом,— здесь что-то не хорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорит: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк,

шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука ее была костяная! Приведение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам,— сказал лакей,— оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время

уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:

— И не мудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается до Даши,— прибавила она,— то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учители-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир,

чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! не ворочусь — так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги, или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьею, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбареико встал и протянул к иему руку.

— У иас, видио, одии вкусы,— сказал ои, улыбаясь.— Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-иибудь.

Руиевский молча опустнлся на скамью, н иесколько временн оба сндели, не говоря ни слова.

Накоиец Рыбареико прервал молчаине.

— Призиайтесь,— сказал ои,— что, когда мы познакомнлнсь иа бале, вы прниялн меия за сумасшедшего?

— Не могу скрыть от вас,— отвечал Руиевский,— что вы мне показалнсь очень страиным. Ваши слова, вашн замечаиия...

— Да, да; я думаю, что я вам показался страниым. Меия рассердили проклятые упыри. Да впрочем, и было за что серднться, я инкогда не вндывал такого бесстыдства. Что, вы после никого нз них ие встречалн?

— Я был иа даче брнгаднрши Сугробииой н видел там тех, которых вы называлн упырямн.

— На даче у Сугробниой? — повторил Рыбаренко.— Скажнте, поехала лн к ней ее внучка?

— Оиа теперь у иее, я видел ее иедавио.

— Как, н она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, ио мие кажется, что вы снльио иаклепалн иа бедную брнгаднршу. Оиа предобрая старушка и любнт свою внучку от чнстого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слыхал последиих слов Руиевского. Он прнставнл палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

— Страиио,— сказал он наконец,— упыри обыкиовеино так долго не мешкают. А Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более уднвляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, н ои еще гораздо кровожадиее Сугробиной. Но это так иедолго продолжнтся, и еслн вы прннимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можио скорей.

— Воля ваша,— отвечал Руневскнй,— я ннкак не могу думать, чтоб вы говорилн сернозно. Нн старая бригаднрша, ин Теляев мие ие кажутся упырямн.

— Как,— возразнл Рыбаренко,— вы в ннх инчего ие приметнли иеобыкновеииого? Вы ие слыхали, как Семеи Семеновнч щелкает?

— Слышал, но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противуположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он.— Прекрасный фасад! совершенно в итальянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте,— продолжал он, схватив руку Руневского,— будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради Бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая

собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере[12], куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием *чертова дома* (la casa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья borgo Vico, где была моя квартира, в albergo* del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность *чертова дома?*

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вни-

* Постоялый двор, гостиница *(итал.)*

манием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор,— сказал он, обращаясь ко мне,— что вы напрасно так беспокоитесь, и что *чертов дом* нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

— Помилуйте,— возразил я,— зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете,— отвечал аббат.

— Как,— спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна[13],— неужели он делает фальшивую монету?

— Нет,— возразил аббат,— дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Канинелли; но я этому не верю.

— Кто такой Титта Канинелли? — спросил я.

— Титта Канинелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради Бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про *чертов дом?*

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину *чертова дома* с лиш-

ком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил,— продолжал аббат,— что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что не много сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава Богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах; но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, il cattivo.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с кабалистическими знаками[14], которая до тех пор должна достав-

лять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от villa d'Este. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постеле и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России, пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину al fresco*, которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

— Вы видите, синьор,— продолжал аббат,— что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

---

* Фреску *(итал.)*.

— Скажите мне,— спросил я,— что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

— Не знаю,— отвечал аббат.— Но если это вас интересует,— прибавил он с улыбкой,— то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

— Но как туда войти? — спросил я.— Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

— Правда,— сказал он наконец.— Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo*, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия[15]. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дон Пьетро,— сказал аббат,— вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini[16]. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других италиянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько *цванцигеров*[17]

Вечером было собрание в villa Sallazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников,

* Дворцом *(итал.)*

прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

— Позвольте, господа,— сказал я,— если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась

противуположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодною прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастие послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах!

— Подождем,— сказал Антонио,— теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «O dio! poverino! maladetta strada!»* — омыла ему лицо.

— Это дурной знак! — сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

— Да,— отвечал я,— не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

— О нет, нет! — возразил он,— это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной

* О боже! бедняжка! проклятая дорога! *(итал.)*.

н думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русскнх!

Мы пошлн далее. Мннут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Аитоиио. Оиа и теперь к нему обратнлась н долго с ннм говорнла вполголоса. Я заметнл, что она с трудом удерживалась от слез.

— Что она тебе сказала? — спроснл его Владимнр, когда девушка удалнлась.

— Бедная Пепина,— отвечал Антонно,— проснт меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже иесколько раз ко мие приходнла, ио ннкогда меня не заставала дома.

— А кто ее брат? — спроснл я.

— Какой-то контрабандист, по имени Тнтта.

— А как фамилия этой девушкн?

— Каннелн. Но что тебе до этого?

— Тнтта Каиielли! — восклнкиул я и вспоминл аббата и рассказ его про старого Урджнна. Воспомннание это очень неприятио иа меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумкамн, бреднями илн плутовством какнх-инбудь мошенников, теперь в воображеиин моем прииял характер страшной нстины, н я бы непременно воротился, еслн б мне не было стыдно. Я сказал свонм товарищам, что уже прежде слыхал о Тнтта Каннеллн, и мы продолжали идтн. Вскоре в стороие показался свет лампады. Она освещала одиу из тех часовен, которых так много в северной Италии н которые служат храннлищем человеческих костей. Я всегда имел отвращенне от этого рода часовеи, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены н развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом загляиул за железиую решетку. Я ннчего, однако, не сказал, н мы молча дошлн до вниллы Urgina.

Нам было очень легко влезть иа утес н оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окио. Там мы зажгли одну нз приiесеиных с собою свеч и, нашедшн проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убраиной по-старнниному. Несколько картни, представлявших мнфологическне предметы, развешаны были на стенах, мебелн обтяиуты шелковою ткаиью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошлн пять или шесть подобиых покоев; в одиом нз инх увиделн маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с ста-

рииной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, иа полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем страниые, непонятные знаки.

— Это должиа быть спальия старого дон Пьетро,— сказал Аитоиио, приблизив свечу к стеие.— Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью видеи был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

— Как она похожа иа Пепииу,— сказал Владимир,— я бы это принял за ее портрет!

— Да,— отвечал Антонио,— черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражеиие. У этой в глазах что-то такое зверское, иесмотря иа ее красоту. Заметь, как она косится иа пустую кровать; зиаешь ли что, мне, при взгляде на нее, делается страшиб!

Я иичего не говорил, ио вполие разделял чувство Аитоиио.

Комиата возле спальии была большая круглая зала с колоинами, а примыкавшие к ней с разных сторои покои были все прекрасно убраиы и обтяиуты гобелииами, почти как иа даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелииы представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Orlando»[18]. Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богииь вручить золотое яблоко[19], а там Аигелика с Медором обнимались под тенистым деревом, ие замечая грозиого рыцаря[20], выглядывающего иа иих из-за кустов.

Пока мы осматривали старииные ткани, оживлеииые красиоватым отблеском свечи, остальиые части комиаты терялись в неопределеиием мраке, и когда я нечаяино подиял голову, то мие показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фаитастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубиие залы.

— Я думаю, мы теперь можем лечь спать,— сказал Владимир,— ио чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разиых комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжеиие иочи.

Мы согласились. Мие, как предводителю экспедиции,

дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

— Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

— Нисколько,— отвечал Руневский,— вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

— Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

— Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

— Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

— Что с тобой! — сказал я, засмеявшись,— с которых пор ты веришь предчувствиям?

— Обними меня! — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

— Поди, поди, Владимир,— сказал я, скрывая свое удивление,— дай Бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне пока-

залось, что он страниым образом смеется; ио я ие был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкиулнсь, н я засиул. Не зиаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-ибудь страшиое, ибо я вскоре с испугом просиулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, н я сначала думал, что звуки эти ие что иное, как продолжеиие моего сновидеиия; ио кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью н стеною я увидел женщину-фреск, впернвшую в меия какой-то страшиый, нечеловеческий взгляд. В одиой руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как оиа уронила гитару и упала на колеин. Я узиал Пепииу.

— Пощадите меия, синьор,— кричала бедиая девушка,— я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, ие убивайте меия!

Мне очеиь было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, одиако, зачем оиа ко мне пршшла и чего от меня хочет?

— Ах,— отвечала Пепина,— после того как я догиала сииьора Аитоиио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я зиала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верио, слыхали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопиула за собою потаеииую дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комиату и, ие смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меия; любовь к моему брату заставила меия вас беспокоить. Я знаю, что вы друг сииьора Антоиио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам кляиусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честиым человеком; ио если его будут преследовать, как дикого зверя, ои поиеволе останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя иавсегда! О, достаиьте ему прощение, умоляю вас, иа колеиях умоляю вас, сжальтесь иад его раскаяиьем, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, оиа обиимала мои колена, н крупные слезы катились по ее щекам. Огиеиного цвета леита,

опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

— С кем ты там, Пеппина? — сказал кто-то, отворяя дверь.

— Ах, это мой брат! — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, вглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

— А, это вы, signor Russo*! — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать.— Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином[21] или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

— Я вас нарочно,— сказал он,— зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За все я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов[22].— Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими каменьями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пеппинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

* Синьор русский *(итал.)*.

— Благодарю вас,— сказал он,— вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные двери, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пеппина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами нашел я одну склянку *рококо,* величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пеппину и женщину-фреск, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

— Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьею в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне![23]

Я употреблял все силы, чтобы привесть его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

— Как,— вскричал он радостно, увидев Антонио,— он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

— Вот видишь,— сказал Антонио,— я тебе говорил, что бог Пан[24] так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

— Слава Богу, я его не убил, это был только дурной сон!

— Друзья мои,— говорил я,— ради Бога, объяснитесь я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

— Вошедши в свою комнату,— сказал Владимир,— я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, вглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

«Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! что ты делаешь? я Антонио!» Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир,— сказал он слабым голосом,— я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

— Что ты говоришь? — прервал я Владимира,— я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постеле и ничего не знаю про Антонио. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

— Ты сам говоришь во сне! — отвечал с досадою Владимир,— никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

— О чем вы спорите? — сказал он.— Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже

подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля,— сказал он,— имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке» — «А как же мне ехать?» — спросил я — «Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!»[25]— сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладóном[26]. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у грифона. «Это бог Пан»,— отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» — спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым».— «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» — «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается».— «А для чего у него за поясом пистолеты?» — «Ох,— отвечал с досадою грифон,— вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами[27] и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле

Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» — спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. «Это так, кто-нибудь! — отвечал он, поправляя носом свои перья,— не обращайте на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красный попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис! — сказал ему Юпитер или дон Пьетро д'Урджина (как называл его грифон),— Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» — «О могущий громовержец! — отвечал Парис,— клянусь Стиксом[28], я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвесть следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» — «Хорошо! — сказал Юпитер,— быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его средины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сиринга! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов

и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и; вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пепина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего

внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком: «Да здравствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг!» — бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно:

— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку *рококо*. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

— Это ты купил у твоего контрабандиста? — спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

— Ах, Боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна *чертова дома*.

— Как мы сюда попали? — спросил я, обращаясь к Антонио.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно

бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался; но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

— Господа! — кричал он снаружи,— отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

— За то,— отвечал он,— что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту[29] (известного археолога R.....i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привесть аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой in folio* и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

* Книга большого формата — в лист, согнутый пополам *(лат.)*.

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважение и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что *чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и ламиям[30]. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с Тартаром[31]. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы[32], которые, как вам известно, имели много сходства с нашими *упырями*, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

— Что ж,— спросил его Руневский,— и вы не делали никаких разысканий о вашем приключении?

— Делал,— отвечал Рыбаренко.— Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

— И что ж вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня

в содрогание. Поверите ли вы мне, что я и теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишить себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради Бога, берегитесь, любезный друг, а особливо не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полнозвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику[33].

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовию смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

— Пойдем,— сказал он наконец Руневскому,— вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большою приветливостию. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

— Как,— вскричала она,— что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы

над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведенье это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь на другой и просите ее руки — у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и чрез трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастию своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

— Боже мой, Боже мой,— кричала она — что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

— Вот в какое положение вы привели бедную Софью,— сказала ему Зорина.— Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его поль-

зу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел об нем никакого понятия.

— Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих,— сказал Зорин, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться,— сказал Руневский.

— Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи,— прервал его Руневский,— но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

— Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились...

— Никогда! — воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

— Послушайте, милостивый государь,— вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться,— вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

— Если Софья Карповна в них это говорит,— отвечал Руневский, не дотрогиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол,— то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

— Итак, вы не намерены на ней жениться?

— Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

— Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

— Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении, вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

— Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимир-

ской дороге, на двадцатой версте от Москвы,— сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве; к тому ж почти все были на дачах; итак, не удивительно, что выбор его пал на Рыбаренко.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

— Владимир,— сказал он, сжав ее крепко,— ты не прав в этом деле: помирись с Руневским!

Зорин отвернулся.

— Владимир,— продолжал Рыбаренко,— не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братец,— сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки,— теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

— Друзья мои,— сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому,— помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что один из вас не воротится домой!

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

— Позвольте объяснить,— сказал он, уставив на него большие красные глаза,— здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до примирения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков. Фрышкин не переставал горячиться; он был красен как рак

— Да,— кричал он,— я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленною грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

— Это твое видение в вилле Урджина!— сказал Рыбаренко на ухо Владимиру.— Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в продолжение коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему

заснуть, страиный шум раздался блнз иего. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежиых с его комиатою. Вскоре ои иачал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоиовиы.

— Подождите хоть один деиь, Марфа Сергеевиа,— говорила Клеопатра Платоновна,— подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя,— отвечала Сугробина.— Да и ожидать-то к чему? Немного раиьше, иемиого позже, а все тем же коичится. А ты, сударыия, уж всегда расхныкаешься, как девчоика какая. И в тот раз та же была нсторня, как до Дашииой-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть ие могла?

— Вы ие хотите? — вскричала Клеопатра Платоиовиа,— вы не хотите одии раз отказаться от...

— Рыцарь Амвросий! — закричала Сугробина.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах ие привстать и ие приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семеи Семеиович Теляев, одетый с ног до головы в железиые латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красиым сукном.

— Чего тебе иадобно, Марфа? — спросил ои грубым голосом.

— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что иа бригадирше было платье яркого красного цвета, с вышитою на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновиа, коей черты обнаруживали ужасное внутреинее бореиие, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с страииыми, иепонятиыми знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Виезапно обои раздвииулись, и нз потаениой двери вошел в комиату высокий человек в чериом домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антоиио в вилле дои Пьетро д'Урджииа.

Сугробииа и Теляев обмерли от страха, когда ои вошел.

— Ты уж здесь? — сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора! — отвечал иезнакомец.

— Подожди хоть одии деиь, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

— Не хочу ждать! — отвечал незнакомец.

— Еще хоть часочек! — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты! — отвечал тот.— Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

— Хотите жениться на моем портрете? — сказало оно.— Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши; и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды, страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице,— говорил Рыбаренко,— я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но

лестнице не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться» — говорил Руневский; но Рыбаренко дал ему заметить, что, по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться,— говорил он,— надобно идти далее!» И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю; один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох! — вздыхала она,— скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович!» — и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один посреди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский,— сказала она,— зачем вы сюда пришли? Если *они* узнают, кто вы, то вам будет беда!» Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной,— продолжала Даша,— я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте,— сказала она,— я вам покажу наш оркестр!» Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завыли: «К нам! ступай к нам!» — «Прочь, прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где

он? где он? — блеяли голоса,— ловите его, ловите его!» — «За мной, за мной!» — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся.

Возле его постели стояли Даша и Владимир.

— Я рад,— сказал Владимир, пожав ему руку,— что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный друг! — сказала Даша, улыбаясь,— не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила *ты*. С тех пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

— С тех пор как вы лежите в постеле, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы всё узнаете!

— Нет, нет,— сказала Даша,— ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка,— продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому,— уже два месяца, как скончалась!

— Сама Даша,— прибавил Владимир,— была опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное,— сказала она,— мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услыша эти слова, Руневский схватил Дашину руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались?

— Я бы не думал,— отвечал, смеясь, Владимир,— что вы можете в этом сомневаться.

— Но за что ж мы дрались? — спросил Руневский.

— Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постеле с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, Бог с нею! Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

— Как тебе не стыдно, Владимир,— сказала Даша,— ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра!— прервал ее Владимир,— хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

— До какой степени,— сказал он,— воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

— История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного,— сказал Владимир.— Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до сих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

— Если бы,— сказала она,— смерть старой брига-

диршн не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем Ostroviczy. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Ostroviczy хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Tellara и, чтоб показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинской славой Амвросия Tellara, прозванного *Амвросием с широким мечом.* В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostroviczy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostroviczy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственною смертью, другие сошли с ума, а наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите пред собою портрет,

будучи иевестою ломбардского дворяиниа Пьетро д'Урджнна...

— Пьетро д'Урджииа? — прервали Клеопатру Платоновну в одни голос Руиевский н Владимир.

— Да,— отвечала оиа,— жеиих Прасковьи Андреевиы иазывался дои Пьетро д'Урджниа. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже не молодой и к тому ж вдовец; ио большне черные глаза его так горелн, как будто бы ему было ие более лет двадцатн. Прасковья Аидреевиа была молодая девушка, н учтнвые прнемы ловкого ниостраица легко ее обворожилн. Она страстно в него влюбнлась. Мать ее ие нмела той ненавнстн ко всему нностранному, которую покойная брнгаднрша, может быть, лншь для того так часто обнаружнвала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное пронсхождеине. Оиа желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, прнехал с большою свитой н жил как владетельный князь. К тому же он обещался иавсегда поселнться в Россни н уступнть ломбардскне свои имения сыну, находнвшемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою миожество отлнчных художннков. Архитекторы его выстронлн этот дом, жнвопнсцы н ваятели украсилн его с истниио италиянскнм вкусом. Но, иесмотря на необыкиовениую роскошь дои Пьетро, многне замечалн в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он пронгрывал в карты, лнцо его видимо изменялось, он бледиел и дрожал; когда же ои был в вынгрыше, жадная улыбка показывалась на его устах н он с судорожным двнженнем пальцев загребал добытое золото. Нпзкнй его ирав, казалось, должен был переменнть к нему расположенне Прасковьн Андреевны и ее матерн, но он так хорошо умел прнтворяться перед ннмн обенмн, что ии та, ни другая иичего не приметилн, н день свадьбы был торжествеино объявлен.

Накануие ои дал в своей новой даче блнстательный ужни, и ннкогда его любезность не показывалась с такнм блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его заннмал все собранне, и все были в самом веселом расположенни духа, как хозяину дома подалн пнсьмо с иностранным клеймом. Прочнтав содержаиие, он поспешио встал нз-за стола н извиинлся перед обществом, говоря, что неожнданиые дела непременно требуют его прнсутствня. В ту же иочь он уехал, н ннкто ие знал, куда ои скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной уловке, чтобы отделаться от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, сбираясь влезть на Везувий, видел в корчме местечка Torre del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки? и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастию, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опущен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участи жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

— Но,— сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны,— можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

— Ах,— отвечала Клеопатра Платоновна,— в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна! — сказал Руневский после

некоторого молчания,— вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostrroviczy, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семён Семенович Теляев. Мне самому стыдно,— продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением,— мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

— Что ж вы видели? — спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

— Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричал, смеясь, Владимир,— твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

— Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в *чертовом доме?*

— Так точно, и все трое мы видели Бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если б я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в *чертов дом,* он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

— Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

— Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио

начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

— Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

— Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнию.

— А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

— Не прогневайся, любезный Руневский,— но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, и ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

— Отчего же,— сказал он,— история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историею Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

— Все, что я тут вижу,— сказал он,— заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

— Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино, Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обманывать?

— На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом — предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

— Но я ничего не знал ни о фамилии Ostriviczy, ни

о фамилии Теллага, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

— А пророчество? — сказала Даша.— Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвросии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

— Эту балладу,— прибавила Клеопатра Платоновна,— извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

— И после этого вы полагаете,— продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше,— что она была не упырь?

— Как не упырь?

— Что она не вампир?

— Что ты, помилуй! — отчего бабушке быть вампиром?

— И Теляев не упырь?

— Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

— Отчего ж он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальною.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!»

— Просить, просить! — сказала радостно Даша.— Упырь! — повторяла она, помирая со смеху,— Семен Семенович упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

— Здравия желаю, сударыия Дарья Александровна, мое почтеиие, Александр Аидреевич! — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руиевскому.— Душевио сожалею, что ие мог раиее поздравнть молодых супругов, ио отлучка... семейиые обстоятельства...

Ои иачал иеприятным образом щелкать, всуиул руку в карман и, вытащив из иего золотую табакерку, подиес ее прежде Даше, а потом Руиевскому, приговаривая:

— С доииником... иастоящий русский... покойиица Марфа Сергеевиа другого не употребляли...

— Посмотри,— шепиула Даша Руиевскому,— вот откуда ты взял, что ои рыцарь Амвросий!

Оиа указывала иа табакерку Семеиа Семеиовича, н Руневский увидел, что иа ее крышке изображен ушастый филии.

Прнметив, что он смотрит иа это нзображенне, Семеи Семеиович страииым образом на него взглянул н проговорил, повертывая головою:

— Гм! Это так-с, фаитазия... аллегорня... говорят, что фнлии означает мудрость...

Ои опустился в кресла и продолжал с иеобыкновенно сладкой улыбкой:

— Много нового-с! Карлисты[34] претерпели значнтельиые пораженияя. Вчера некто известный вам бросился с колокольин Ивана Великого, коллежскнй асессор Рыбаренко...

— Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

— Как изволите говорить... вчера в пять часов...

— И убился до смертн?

— Как изволнте говорить...

— Но что его к этому побуднло?

— Не могу доложить... прнчины неизвестны... Но смею сказать, что иапрасио... коллежскнй асессор!.. далеко ли до коллежского советинка... там статскнй советинк... действительный...

Семен Семеиович впал в щелканье, н во все остальиое время его визита Руиевский иичего более не слыхал.

— Бедный, бедный Рыбареико! — сказал он, когда ушел Теляев.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохиула.

— Итак,— сказала она,— пророчество исполннлось вполие. Проклятие ие будет более тяготить этот род!

— Что вы говорите? — спросили Руневский и Владимнр.

— Рыбаренко,— отвечала она,— был незаконнорожденный сын бригадирши!

— Рыбаренко? сын бригадирши?

— Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostroviczy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

— О чем ты думаешь, мой друг? — сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

— Я думаю о Рыбаренке,— отвечал Руневский,— и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этот шрам? — спросил он.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиною, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да,— сказал он,— теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую ж доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

— Но нет,— сказал он,— я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы с своих бледных ланит.

— Ну, что ж мы все четверо повесили головы? — сказал Владимир.— Жаль бедного Рыбаренки, но помочь

ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев славный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

— Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-с! — отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание имеет конкретный жанрово-тематический характер и включает произведения, относящиеся к фантастической прозе, столь широко распространенной в эпоху романтизма. Составители стремились по возможности полно представить различные модификации этого жанра, выявить его внутреннюю эволюцию, ввести в необходимый контекст некоторые классические произведения нашей литературы. Вошедшие в сборник произведения расположены в хронологической последовательности (в зависимости от времени создания или публикации первого из включенных в подборку каждого автора сочинений). Их тексты печатаются частично по наиболее авторитетным современным, частично по прижизненным изданиям. (В отдельных случаях привлекались также рукописи.) Орфография и пунктуация приближены к современной норме за исключением тех случаев, когда отклонения имеют экспрессивно-смысловой характер либо передают колорит эпохи (напр.: «канделабры», «пергамен», «скрыпеть», «сертуки» и т. п.). В угловые скобки заключены слова, отсутствующие в тексте, но необходимые для его понимания. В комментариях многоточиями в угловых скобках отмечены случаи сокращения цитат. Знаком отсылки к подстрочным примечаниям служит «*» (авторские примечания оговорены особо), арабские цифры дают отсылку к отделу «Комментарии». Он включает посвященные каждому из авторов заметки, в которых содержатся необходимые сведения о жизненном и творческом пути писателя, истории создания и первых публикациях вошедших в настоящее издание сочинений, их связях с русской и западноевропейской литературной традицией. Здесь же фиксируются основные отклики современников. Помимо этого непосредственно в комментариях даны реально-исторические пояснения, отмечены некоторые литературные параллели к текстам.

Вошедшие в антологию тексты подготовлены и прокомментированы группой авторов в следующем составе: *М. Н. Виролайнен* («Вий» Н. В. Гоголя), *О. Г. Дилакторская* («Нос» Н. В. Гоголя), *Р. В. Иезуитова* (А. Погорельский), *А. А. Карпов* (И. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, Е. А. Баратынский, К. С. Аксаков, А. К. Толстой), *Я. Л. Левкович* (А. А. Бестужев-Марлинский), *Н. Н. Петрунина* (О. М. Сомов), *Н. М. Романов* (А. С. Пушкин, А. Ф. Вельтман), *М. А. Турьян* (В. Ф. Одоевский), *С. А. Фомичев* (В. П. Титов), *И. С. Чистова* (М. Ю. Лермонтов)

АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ
(1787—1836)

Алексей Алексеевич Перовский (псевдоним — Антоний Погорельский) — писатель-романтик, по происхождению внебрачный сын богатого екатерининского вельможи, графа Алексея Кирилловича Разумовского и Марии Михайловны Соболевской (впоследствии по мужу —

Денисьевой). Основательное и разностороннее образование, полученное Погорельским в доме отца, было завершено в Московском университете, куда юноша поступил в 1805 г. и закончил его в 1807 г. со степенью доктора философских и словесных наук. К этому времени относится увлечение Погорельского и естественными науками, в частности ботаникой, результатом чего явились три публичные лекции, изданные в 1808 г. отдельной книгой («Как различать животных от растений», «О цели и пользе Линеевой системы растений» и «О растениях, которые бы полезно было размножать в России»). Лекции эти можно считать своеобразным подступом к серьезным литературным трудам, настолько явственно проступает в них ориентация на повествовательные приемы Н. М. Карамзина, горячим поклонником которого был молодой автор. В них же заключено зерно увлечений А. Погорельского и сельским хозяйством, чему в немалой степени способствовало его участие в управлении огромными имениями отца. Во владениях А. К. Разумовского, а после смерти последнего в унаследованном от него имении Погорельцы Черниговской губернии (от названия этого имения образован псевдоним писателя) прошла бо́льшая часть жизни А. Погорельского.

Литературные его наклонности проявились уже с детства. В домашнем архиве Н. В. Репнина (по указанию биографа А. Погорельского В. Горленко) хранилась тетрадка с детским сочинением Алексея, поднесенным отцу в день его именин. Но в полной мере талант писателя раскрылся значительно позднее, уже в 20-е годы, по мере его вхождения в круги московских и петербургских литераторов. Знакомство с Н. М. Карамзиным-прозаиком, личное общение с писателем определили направление художественных ориентаций А. Погорельского и характер его литературных общений. На первое место среди них следует поставить дружбу с Вяземским, начавшуюся в 1807 г. Несколько позднее (видимо, в 1810 г.) Погорельский познакомился и с В. А. Жуковским, сблизившим его с А. И. Тургеневым и А. Ф. Воейковым. Эти новые знакомства, а также свойственная Погорельскому наклонность к шутке и мистификации, казалось бы, обеспечивали ему далеко не последнее место в Арзамасе, однако арзамасцем Погорельский не стал, ибо видел главный смысл своей жизни не в литературе, а в активной государственной деятельности на благо отечества. Усилия и таланты молодого Погорельского оказались в первую очередь направленными на чиновничью службу, а обширные связи и возрастающий вес его отца в правительственных кругах открывали ему широкие возможности для быстрого служебного продвижения. Уже в январе 1808 г. мы находим его в Петербурге, где он в чине коллежского регистратора поступает в 6-й департамент Сената. Прикомандированный к П. А. Обрезкову, он участвует в служебной полугодовой поездке по центральным губерниям России с целью их ревизии, близко наблюдает жизнь отдаленных провинций, знакомится с укладом Казанской и Пермской губерний.

Вернувшись в Москву в 1810 г., Погорельский в течение двух лет служит экзекутором в одном из отделений 6-го департамента и приобщается к московской культурной жизни. Он становится членом ряда научных и литературных обществ («Общества любителей природы», «Общества истории и древностей российских», «Общества любителей российской словесности»). В чопорную и монотонно протекавшую деятельность последнего из них Погорельский пытается внести некоторое разнообразие, предложив председателю Общества А. А. Прокоповичу-Антонскому для публичных чтений свои шутливые стихи («Абдулвизирь»).

В начале 1812 г. Погорельский — снова в Петербурге в качестве секретаря министра финансов, но пребывает в этой должности недолго. С началом событий Отечественной войны 1812 года он резко меняет свою жизнь. Увлеченный общим патриотическим порывом, юноша, вопреки воле отца, поступает на военную службу: в чине штаб-ротмистра он был зачислен в 3-й Украинский казачий полк, в составе которого проделал труднейшую военную кампанию осени 1812 г., принимал участие в партизанских действиях и в главных сражениях 1813 г. (под Лейпцигом и при Кульме). Отличаясь храбростью и горячей патриотической настроенностью, Погорельский прошел типичный для передового русского офицерства боевой путь, освобождал свою родину и Европу от нашествия наполеоновских полчищ, разделял со своими товарищами тяготы воинской службы, сражался с врагами, бедствовал, побеждал. После взятия Лейпцига он был замечен Н. Г. Репниным (генерал-губернатором королевства Саксонского) и назначен к нему старшим адъютантом. В мае 1814 г. Погорельский был переведен в лейб-гвардии Уланский полк, стоявший в Дрездене. Здесь Погорельский находился около двух лет, в течение которых смог близко познакомиться с творчеством Э. Т. А. Гофмана, оказавшего на него очень значительное влияние. Одним из первых в России Погорельский в своих повестях использовал традиции замечательного немецкого романтика.

В 1816 г. Погорельский выходит в отставку и возвращается в Петербург с тем, чтобы продолжить свою гражданскую службу, на этот раз — чиновником особых поручений по департаменту духовных дел иностранных вероисповеданий. Здесь круг литературных знакомств будущего писателя значительно расширяется; он общается с Н. И. Гречем, арзамасцами, а также с А. С. Пушкиным, поселившимся после окончания Лицея в Петербурге. Именно в первые послевоенные годы Погорельский пробует свои силы в поэзии (перевод одной из од Горация был напечатан в журнале Греча «Сын отечества». 1820. Ч. 65. С. 87—89), участвует в литературной полемике, защищая поэму «Руслан и Людмила» от нападок консервативно настроенной критики (в частности, А. Ф. Воейкова). Служба, отнимавшая у Погорельского много сил, позволяла ему все же отлучаться из Петербурга и подолгу жить в Погорельцах, с которыми связана работа писателя над повестью «Лафертовская маковница», явившейся первым в русской литературе опытом фантастического повествования романтического типа. Опубликованная в журнале А. Ф. Воейкова «Новости литературы» в 1825 г., она казалась настолько необычной, что вызвала специальное разъяснение редактора — так называемую «Развязку», в которой было дано рационалистическое объяснение фантастических мотивов и образов повести Погорельского. Ироническую полемику с Воейковым, не принимавшим новаторских черт романтической повести «Лафертовская маковница», Погорельский ввел в свой сборник «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), в который вошла и «Лафертовская маковница»: «...кто непременно желает знать развязку моей повести,— писал в „Двойнике" автор,— тот пускай прочитает „Литературные новости" 1825 г. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем „Инвалида", которую я для того не пересказал вам, что не хочу присваивать чужого добра». Сразу же после появления в печати «Лафертовской маковницы» с нею познакомился Пушкин, написавший брату из Михайловского 27 марта 1825 г.: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр.⟨ифоном⟩ Фал.⟨еленчем⟩ Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Пого-

рельский ведь Перовский, ие правда ли?» (*Пушкин.* Т. XIII. С. 157). Так состоялся литературиый дебют Перовского (Погорельского), и с этого момента это иовое литературное имя получило известиость и широкое признаиие. Еще больший успех выпал иа долю «Двойиика» Погорельского: о книге сочувствеино отозвался «Русский инвалнд» (1828, ч. 83), отметивший, что «ие миогие повести так заиимательны, так остроумны, ие многие рассказаны и связаны с таким искусством». «Севериая пчела» писала: «Автор нскусно воспользовался разиыми поверьями, темиыми слухами и суевериыми рассказамн о иесбыточиых происшествиях и передал их иам еще искусиее, умея возбуждать любопытство н поддерживать его до самой развязки» (*СПч.* 1828. № 38). К 1829 г. отиосится детская фаитастическая повесть «Чсриая курица» (СПб., 1829), одобрительиые отзывы о которой поместили некоторые журиалы, напрнмер «Московский телеграф» (1829. Ч. XXV. № 2).

Начиная с 1830 г., писатель активио сотрудиичает в «Литературиой газете», где была опубликована первая часть иаиболее значительиого, нтогового пронзведения Погорельского — романа «Монастырка», который затем был издан в двух частях в Петербурге и вызвал ожнвленную полемику в журналах. «Сей роман,— отмечалось в „Русском инвалиде",— есть необыкновеиное, приятиое явлеиие в иашей словесиости. Он богат заиимательиыми происшествиями и ярко обрисоваииыми характерами, а потому жив и любопытен» (1830, № 17). Рецензент «Московского телеграфв» увидел в «Моиастырке» лишь «приятное описаиие семейных картин», «рассказ доброго прнятеля о добрых людях, которым встречались иногда непрнятности» (1830. Ч. XXXII. № 5). «Настоящим н первым у нас романом нравов» иазвввиı была «Монастырка» в «Литературной газете», активио поддержавшей Погорельского (1830, № 16).

С 1826 г. Погорельский снова и подолгу живет в Петербурге, занимая ряд видиых должиостей и состоя в Комиссии по устройству учебных заведеиий. Летние месяцы он по-прежиему проводит в Погорельцах. Весиой 1827 г. писатель отправляется в заграиичную поездку, которая продолжалась около года. Служебиая деятельиость Погорельского, протекавшая весьма успешно, в условиях все иараставшей обществеиной реакции не приносила удовлетворення н завершилась отставкой в 1830 г. Последние годы своей жизни писатель проводит в Погорельцах, иаезжая, одиако, и в Москву. Все свое время он посвящает литературному труду, а также воспитанию своего племянника (сына родиой сестры писателя, графини А. А. Толстой), будущего известного поэта, прозаика и драматурга А. К. Толстого.

Незадолго до смерти Погорельского в его московской квартире побывал Пушкии, с живостью описавший в письме к жене эту встречу: «Был я у Перовского, который показывал мие иедокоичеиные картины Брюлова. Брюлов, бывший у иего в плену, от иего убежал н с иим поссорнлся. Перовский мие показывал Взятие Рима Гензериком (которое стоит Последи⟨его⟩ дия Помп⟨еи⟩), приговарнвая: „заметь как прекрасно подлец этот иарисовал этого всадника, мошенник такой"» (*Пушкин.* Т. XVI. С. 115). В юморнстической сценке, иарисоваиной Пушкиным, тонко подмечеи юмор Погорельского, которым окрашены многие его произведения. Самобытиость его писательской манеры была по достоинству оценена писателями пушкииского круга, способствовавшими успеху его произведеиий у современииков.

21 июля 1836 г. в Варшаве, по дороге в Ниццу, куда он иаправлялся для лечения туберкулеза, Погорельский скоичался.

Лафертовская маковница

Печатается по изд.: Сочинения Антония Погорельского: В 2 т. СПб., 1853. Т. 2. С. 175—222.

[1] *Лафертовская* часть (Лефортовская) — одна из окраин Москвы, расположенная в восточной части города. Названа так по имени сподвижника Петра I Франца Лефорта, полк которого размещался в этом месте (на левом берегу реки Яузы).

[2] *Проломная застава* — одна из застав исторического Лефортова. Громкие исторические имена, которыми начинается повесть, составляют резкий контраст с картинами запустения этих, некогда оживленных, мест.

[3] *Ефрейторский чин* — низший военный чин русской армии между рядовым и унтер-офицером.

[4] *Пресненские пруды* — расположены в западной части Москвы. *Хамовники* — местность к юго-западу от Садового кольца.

[5] *Ерофеич* — водочная настойка на травах.

[6] *Станционный смотритель* — низший чиновничий чин (XIV класса, коллежский регистратор) по «Табели о рангах».

[7] *Никита-мученик* — колокольня церкви Никиты-мученика в бывшей Старобасманной слободе.

[8] *Ро́спуски* — дроги для возки воды и вообще клади.

[9] *Маркитант* — торговый человек, следующий в военное время за войском, торгуя съестными и другими припасами.

Черная курица, или подземные жители

Печатается по изд.: Сочинения Антония Погорельского: В 2 т. СПб., 1853. Т. 2. С. 249—407.

[1] *Васильевский остров* — один из старых и центральных районов Петербурга. Название улиц по *линиям* — рудимент первоначальной планировки острова, который предполагалось пересечь параллельно идущими каналами.

[2] *Исаакиевский мост* — в конце XVIII в. (к которому приурочено действие повести) «плавучий», т. е. закрепленный на деревянных плашкоутах, мост, во время ледохода обычно снимался. Он шел от здания двенадцати коллегий на Васильевском острове к Петровской (Сенатской) площади (ныне Площадь декабристов).

[3] *...монумент Петра Великого...*— Медный всадник работы Фальконе, был установлен в 1782 г.

[4] *Исаакиевская церковь* (третья по счету из располагавшихся на месте нынешнего Исаакиевского собора церквей) строилась с 60-х годов XVIII в. по начало XIX в. Здание было снесено и вместо него по проекту О. Монферрана в 1818—1858 гг. был построен Исаакиевский собор.

[5] *Адмиралтейство* — имеется в виду старое здание Адмиралтейства, построенное по проекту архитектора И. К. Коробова в 1721—1738 гг.

[6] *Манеж Конногвардейский* — старое здание манежа, которое в 1804—1807 гг. было перестроено Д. Кваренги.

[7] *Вакантное время* (или вакации) — каникулы, которые приурочивались к Рождественским праздникам (в первых числах января)

и пасхальной неделе (которая завершалась Святым Воскресеньем), отмечаемой весной по особо рассчитанному календарю.

[8] *Барочные доски* — доски, из которых делались барки (грузовые суда).

[9] *Крещенье* — церковный праздник христиан в память крещения Христа, отмечался 6(19) января.

[10] *Милютины лавки* — по имени их владельца купца Милютина. *Киевское варенье* — особый сорт сухого варенья.

[11] *Букли, тупей и длинная коса* — принадлежности мужской прически конца XVIII в.

[12] *Шиньон* — женская прическа из собранных на затылке волос (иногда накладных).

[13] *Салоп* — старинная верхняя женская одежда.

[14] *Чухонка* (чухонец) — петербургское прозванье пригородных финнов. Они составляли особое сословие городской прислуги.

[15] *Империал* — русская золотая монета, чеканившаяся с 1755 г. достоинством в 10 руб., а после 1897 г.— в 15 руб.

[16] *...учительша начала приседать...* — т. е. делать реверанс — поклон с приседанием.

[17] *Бергамота* — название сорта груш с крупными сочными плодами. *Финики* — плоды финиковой пальмы. *Винные ягоды* — инжир.

[18] *Бекеша* — мужское верхнее платье в талию и со сборками.

[19] *Шандал* — подсвечник.

[20] *Мура́ва* — тонкий слой жидкого цветного стекла, которым покрывали изразцы или глиняную посуду.

[21] *Лабрадор*— минерал темно-серого цвета с сине-зеленым и красноватым отливом. Применялся как отделочный материал.

[22] *Манежиться* — переносн. жеманиться, ломаться; *зд.:*— копировать повадки лошади при ее выездке в манеже.

[23] *Шрекова всемирная история* — книга И. М. Шрекка «Краткая всеобщая история для употребления учащегося юношества» (в 6-ти томах. Лейпциг, 1773—1784).

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

(1797—1837)

А. А. Бестужев — выдающийся писатель и критик, один из зачинателей русской романтической прозы. Начал печататься в 1818 г. С конца 1820 г. был активным членом Вольного общества любителей российской словесности —легальной управы Союза Благоденствия. В 1823—1825 гг. вместе с К. Ф. Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда», который с момента своего возникновения был идеологически (и в известной степени организационно) связан с Вольным обществом, а со второй книжки стал фактически печатным органом Северного общества декабристов (см.: Б а з а н о в В. Г. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 326—333, 368—369). Популяризация лучших произведений современной литературы сочеталась на страницах «Полярной звезды» с защитой эстетических принципов прогрессивного романтизма, с пропагандой передовой декабристской идеологии. Каждая книжка альманаха открывалась обзорами русской литературы, которые писал Бестужев. В этих обзорах были сформулированы основные положения декабристской критики. Состояние литературы Бестужев ставил в зависимость от общественно-исторических условий российской действительности и выступал поборником художественных принципов романтизма («новой

школы»), связывая их с высокой гражданственностью и национальной самобытностью литературы.

В 1824 г. Бестужев был принят Рылеевым в тайное общество и вскоре выбран членом Верховной думы. В восстании 14 декабря принимал самое деятельное участие — вместе с братом Михаилом привел на Сенатскую площадь Московский полк, хотя не имел никакого отношения к этому полку, так как служил в это время адъютантом герцога Вюртембергского. Заключенный в Петропавловскую крепость, он послал Николаю I письмо, в котором изложил свои политические взгляды и нарисовал потрясающую картину внутреннего состояния России. Был осужден по первому разряду на 20 лет каторжных работ, с лишением чинов и дворянства, затем (после «смягчения» приговора Николаем) — на 15 лет. Также по «монаршему милосердию» не находился на каторге, а в 1827 г. был отправлен на поселение в Якутск. В феврале 1829 г. обратился к графу Дибичу с просьбой вступить рядовым в Отдельный Кавказский корпус. Россия вела войну с Турцией, и перевод в действующую армию давал надежду отличиться в боях и за проявленную храбрость получить офицерский чин. Бестужев не мог знать, что «высочайшая воля» исключала такую возможность. Еще до приезда его в армию было получено распоряжение, чтобы «и в случае оказанного им отличия против неприятеля, не был он представляем к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие им сделано». В том же донесении предписывалось учредить за ним «тайный и бдительный надзор» (см.: Левкович Я. Л. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 154—164). Несмотря на чудеса храбрости, которые проявлял Бестужев, только 4 июня 1835 г. он получил унтер-офицерский чин, а 3 мая 1836 г. был «за отличие в сражениях» произведен в прапорщики. Попытки его выйти в отставку не увенчались успехом и 7 июня 1837 г. он был убит в бою у мыса Адлер. Он вызвался в передовую десантную цепь. Командовал операцией друг Пушкина генерал В. Д. Вальховский. Попытка его удержать Бестужева была безуспешной. Перед боем Бестужев думал о смерти, первый раз он написал завещание, которое кончалось словами: «Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского».

Бестужеву было разрешено выступать в печати, но «без указания имени сочинителя». С 1830 г. в журналах начали появляться повести, подписанные «А. М.» и «Александр Марлинский». В литературу вошел писатель, сразу ставший популярным. В «Московском телеграфе» называли Марлинского «первым прозаиком нашим», в «Телескопе» находили, что в его произведениях «сверкает луч высшего всеобъемлющего прозрения». У него выпрашивают статьи в альманахи, его сотрудничества добиваются. Издатель «Телескопа» Н. И. Надеждин «предлагает любые условия».

В 1832 г. в типографии Н. И. Греча вышли первые пять частей «Русских повестей и рассказов» Бестужева (без имени и без псевдонима), но публика узнала любимца, весь тираж (огромный по тому времени —2400 экз.) разошелся в несколько дней. «Все были перед ним на коленях»,— вспоминал В. Г. Белинский (*Бел.* Т. IX. С. 28). Знатоки словесности помнили, что псевдонимом «Марлинский» подписывал некоторые из своих статей начинающий критик Александр Бестужев. Знатоки несомненно узнавали и цветистый, романтически-приподнятый стиль Бестужева, который одинаково отличал как его повести 1830-х годов, так и повести, печатавшиеся некогда в «Полярной звезде». Но знатоки и любители словесности хранили свои знания про себя

и только после выхода в 1832 г. «Повестей» псевдоним был практически раскрыт, так как новые сочинения Марлинского были напечатаны здесь вперемешку с повестями Бестужева из «Полярной звезды». Когда весть о гибели Бестужева дошла до столицы, читатели долго не хотели поверить в смерть своего любимца. О судьбе Марлинского ходили самые фантастические слухи. Рассказывали, что он ушел к горцам. Одни видели его в папахе абрека на белом коне, другие — как он «с отборными наездниками бросался рубить наше каре», третьи уверяли, что Марлинский живет в Лезгистане, женился и часто «в тайне от наших пленных выкупает их на свободу», а позднее пошел слух, что Шамиль — это и есть Марлинский (см.: Свиннов В. Куда девался Марлинский // Семейный круг. 1858. № 1).

Бестужев-прозаик начал с обращения к историческим темам. Его интересы концентрируются главным образом вокруг двух тематических центров — новгородской вольницы («Роман и Ольга», 1823) и прибалтийского (или ливонского) рыцарства («Замок Нейгаузен», 1824; «Ревельский турнир», 1824; «Кровь за кровь», 1825 и др.). Обе темы были тесно связаны с основными идеями декабристской литературы. Общей и характерной для всех декабристов была идеализация вечевого строя древнего Новгорода. В новгородской «вольнице» они видели прообраз свободного государства, управляемого народными представителями. Интерес к Прибалтике справедливо связывают с правительственными реформами в этой части Российской империи (1816—1819 гг.), результатом которых было безземельное освобождение крестьян, с непримиримым отношением декабристов к феодализму и, наконец, с проблемой народности, впервые поставленной романтизмом. В своих «рыцарских» повестях Бестужев отбирает из ливонских хроник те исторические события и факты, которые объясняют современное состояние России (см. об этом: Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицистика, проза, критика. М.; Л., 1953. С. 312—315; Исаков С. Г. О ливонской теме в русской литературе 1820—1830-х годов // Учен. зап. Тартусск. ун-та. 1960. Вып. 98. С. 148—150) В эти же годы делаются попытки создания повестей на материале, взятом из светской жизни. Так, повесть «Вечер на бивуаке» многими сюжетными деталями напоминает «Горе от ума» и, так же как «Роман в семи письмах» (1824), рассматривает конфликт незаурядного героя со светским обществом.

В годы службы на Кавказе Бестужев обращается к сюжетам, окрашенным кавказской экзотикой («Аммалат-Бек», 1832; «Мулла Нур», 1836) и связанным с современной армейской и светской жизнью («Испытание», 1830; «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», 1830; «Страшное гаданье», 1830 и др.).

Характерное для декабризма увлечение национальной самобытностью отчетливо проявляется в бестужевской фантастике. В своих фантастических повестях он использует фольклорные фабулы, народную сказку, крестьянские поверья. В его повестях реальные картины переплетаются с фантастическими, которые, в конечном счете, получают реальное объяснение. В страшном мертвеце узнают его брата, похожего на него «волос в волос, голос в голос» («Кровь за кровь»), а встречи с колдунами, оборотнями, кладбищенские ужасы оборачиваются сном уставшего офицера («Страшное гаданье»). Привидение в польском замке, куда случайно забрел кирасирский поручик, оказывается переодетой женой охотника, специально пришедшей в заброшенный замок, чтобы спасти русского офицера от преследования польских панов («Вечер на Кавказских водах в 1824 году»). Фантасти-

ческие ситуации, через которые проводит своих героев Бестужев, служат для них часто нравственным испытанием. Рассказами о «людях и страстях» назвал исследователь романтические повести Бестужева (Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. С. 371).

Представленные в настоящем сборнике произведения относятся к двум эпохам жизни и творчества писателя, границей которых стали события 14 декабря, ссылка на Кавказ и превращение писателя Бестужева в писателя Марлинского. Повесть «Кровь за кровь» была написана в 1825 г. и напечатана впервые под заглавием «Замок Эйзен» в «Невском альманахе» на 1827 год, изданном Е. В. Аладьиным. Но предназначалась она не для «Невского альманаха». Бестужев предполагал напечатать ее в последнем выпуске «Полярной звезды», на 1826 год, который издатели назвали в отличие от первых трех книжек «Звездочкой». Декабрьское восстание застало «Звездочку» в типографии. К этому времени было отпечатано пять листов альманаха (в том числе и повесть Бестужева). По приказу Следственного комитета отпечатанные листы были конфискованы, сложены в тюки и после этого 36 лет лежали в кладовых бывшей военной типографии. В 1861 г. они были сожжены «как никуда негодный хлам» (*РА*. 1869. С. 57). Случайно сохранились только два экземпляра альманаха. Один — оказался в руках А. Н. Креницына — друга ранней молодости А. Бестужева; другой — сумел раздобыть за несколько дней до сожжения известный библиофил и издатель П. А. Ефремов.

В «Невском альманахе» повесть была напечатана по корректурным листам, которые были в руках О. М. Сомова — помощника Бестужева и Рылеева в издании альманаха. Публикация произведения писателя-мятежника, как и других произведений из конфискованного издания, вызвала переполох в III Отделении. Сомову и Аладьину пришлось давать по этому поводу объяснения. Сомов оправдывался тем, что корректура «Звездочки» оставалась в его доме как «якобы вовсе ненужная» с тем, чтобы «употребить ее потом в виде оберточной бумаги» и что кроме того на этих же корректурных листах была напечатана его собственная повесть «Гайдамак». Аладьин же взял у него эти листы «для просмотрения» на одну ночь, только ради этой повести Сомова. Утром корректура была возвращена владельцу, а затем Сомов «крайне удивлен был, когда в вышедшем в начале сего года „Невском альманахе" нашел не только свою повесть, но и повесть Бестужева под другим заглавием». Аладьин же показал, что повесть Бестужева была куплена у его матери за 400 рублей. Документы «дела» III Отделения о перепечатке статей из «Звездочки» в «Невском альманахе» были опубликованы академиком Н. Дубровиным (см. Дубровин Н. «Полярная звезда» и «Невский альманах» // Рус. старина. 1901. № 11. С. 265—269. Подробнее о публикации повести в альманахе Аладьина см.: Левкович Я. Л. Судьба альманаха «Звездочка» // Звездочка. Фототипическое издание и вступ. статья. М., 1980. С. 8—64; ср. коммент. в кн.: «Полярная звезда», изданная А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым / Изд. подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов, Я. Л. Левкович. Л., 1960. С. 885—886).

Повесть «Страшное гаданье» написана в 1830 г. и напечатана впервые в «Московском телеграфе» (1831. № 5, 6. С. 36—65, 183—210) за подписью «Александр Марлинский» и с пометой: «1830. Дагестан». И «Замок Эйзен» и «Страшное гаданье» вошли в издание: Русские повести и рассказы. СПб., 1832. Ч. 1. С. 135—174; Ч. 2. С. 205—273.

Кровь за кровь

Печатается по изд.: Звездочка. Фототипическое издание. М., 1980. С. 8—64.

[1] *Воспожинки* — время после окончания жатвы.

[2] *Копань* — яма, вырытая для скопления дождевой воды.

[3] *Побыт* — быт, род жизни, обычаи, нравы.

[4] *Палаш* — рубящее ручное оружие с большим прямым клинком.

[5] *...двенадцать киевских ведьм...* — По свидетельству О. М. Сомова (в повести «Русалка»), «Киев, по басословиым народим преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей России» (Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984. С. 143).

[6] *Пергала (эст.)* — черт, сатана.

[7] *Биркез* — жидкость для волос на березовом соке.

[8] *Маюкон* — русское произношение китайской фамилии лучшего плантатора чая — Маю-кон-дзи.

[9] *Фламское полотно* — тонкий, широкий посконный парусиновый холст.

[10] *Фишбейн* — китовый ус.

[11] *Заря* — полевая трава из семейства зонтичных.

[12] *Путлище* — ремень, на котором привешено к седлу стремя.

[13] *...на пищу святого Антония!* — Речь идет об Антонии Фивском, который занимался умерщвлением плоти, питаясь хлебом и солью.

[14] *Трюфели* — сумчатые грибы с подземными мясистыми плодами.

[15] *Духов день* — христианский религиозный праздник (второй день Троицы).

[16] *Причитать Лазаря* — жалобно говорить.

[17] *Пресвятая Бригитта* — шведская монахиня, основавшая женский монашеский орден.

[18] *...о Святой.* — Речь идет о Пасхе.

[19] *Каинова печать* — знак, положенный Богом на лицо Каина после совершения им братоубийства.

[20] Ссылка на ливонскую хронику была сделана для отвода глаз цензуры. Владелец замка Эйзен — вымышленное лицо, но в своих основных чертах чрезвычайно типичное, исторически правдоподобное. Бестужев рассказывает о немецком феодале так, будто речь идет не только о немецком, но и о русском помещике. Весь колорит повести столь же ливонский, сколько и русский. Сквозь ливонское прошлое просвечивает современная Бестужеву крепостническая действительность.

Страшное гаданье

Печатается по изд.: Русские повести и рассказы. СПб., 1832. Ч. 1. С. 205—273.

[1] *Лутковский* Петр Степанович (ок. 1800—1882) — морской офицер, близкий к декабристским кругам, друг М. А. и А. А. Бестужевых.

[2] *Святки* — время от Рождества до Крещения (с 25 декабря по 19 января).

[3] *Обшивни* — широкие сани, обшитые лубом.

[4] *Кика* — праздничный головной убор замужних женщин, кокошник с высоким передом.

[5] *«Красавица озера»* — имеется в виду поэма Ввльтера Скоттв (1771—1832) «Дева озера» (1810).

[6] *Пенаты* — у римляи боги-храиители, покровители домашиего очага, семьи, затем всего римского нврода. Здесь — символ родительского благословения.

[7] *Барская барыня* — служаика в помещичьем доме.

[8] *Подрезь* — железная полоса, прибиваемая к иизу саиного полоза.

[9] *Казанки* — казаиские саночки.

[10] *Катильон* — кадриль, перемежающаяся другими танцами.

ОРЕСТ МИХАЙЛОВИЧ СОМОВ

(1793—1833)

Выходец из ствриииого, ио обедиевшего дворяиского рода, Сомов родился в г. Волчаиске Харьковской (б. Слободско-Украииской) губернии. Образование свое завершил в Харьковском университете. В 1800—1810-х годах Харьков был крупиым культуриым центром. В университете читали лекции сподвижиик просветителя Н. И. Новикова И. С. Рижский и миогие известиые деятели украииской культуры. Связаи был с уииверситетом его иедавиий выпускиик позт-сатирик А. Н. Нахимов. В городе издавались журиалы «Харьковский Демокрит» и «Украииский вестиик», где Сомов с 1816 г. помещал ранние свои литературиые опыты — оригииальиые и переводиые, стихи и прозу.

В коице 1817 г. Сомов в Петербурге. С 1817 г. ои сотрудиичает в Вольиом обществе любителей словесиости, иаук и художеств, а с начала 1818 г.— в Вольиом обществе любителей российской словесиости. Сочииеиия и переводы Сомова печатаются в журиалах этих обществ — «Благоиамереииом» и «Соревиователе просвещеиия и благотвореиия». Загранячиое путешествие 1819—1820 гг., когда Сомов посетил Польшу, Австрию, Фраицию, Германию, расширило его кругозор и дало материал для литервтуриой деятельиости.

Прежде чем проявился его самобытный дар рассказчика, Сомов прошел осиовательиую литервтуриую школу. Стихотворные опыты, иеустанная работа переводчика приучили его к точиости и ясиости выражений, заставили овладеть разиыми стилями от «метафизического» языка литературиого трактата до стихии живой разговориой речи. Журиальиая проза Сомова — путевые письма, размышлеиия, описаиия, аиекдоты, «хврактеры», появляющиеся в печати с 1818 г. и особеиио умиожившиеся после возвращеиия из-за граиицы,— развивалв иаблюдательиость будущего повествователя и точиость его описаиий, приучала схватывать резкие черты оригииальиых, контрастирующих между собой характеров. К середиие 1820-х годов сложилась и эстетическая программа Сомова, что как иельзя более хврактерио для зпохи, когда литературиое созиаиие иеизмеиио опережало творческую практику. Трактат Сомова «О ромаитической поэзии» (1823) — один из важиейших памятииков русской зстетической мысли эпохи декабристов. Осиовиой тезис ввторв — «иароду русскому ⟨...⟩ иеобходимо иметь свою иародиую поззию, иеподрвжательиую и иезависимую от предаиий чуждых». Путь к ее созданию Сомов видел в обращеиии к живым источникам иародиой поэзии, «иравов, поиятий и образа мыслей», к сокровищам родиой природы и истории. В своем творчестве ои по мере сил осуществлял эту программу.

Провозглашенная Сомовым идея романтической народности была близка литераторам-декабристам. Это послужило основой для его сближения с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым, привело его в число сотрудников издаваемого ими альманаха «Полярная звезда». После восстания на Сенатской площади Сомов был арестован, но вскоре освобожден: следствие подтвердило его непричастность к деятельности тайных обществ. Тем не менее он лишился службы в Российско-американской компании, где в 1824—1825 гг. был помощником Рылеева. Отныне его жизнь — жизнь профессионального литератора, средства к существованию ему доставляет исключительно литературная работа. В 1826—1829 гг. Сомов — постоянный сотрудник «Северной пчелы» Ф. В. Булгарина, недавнего друга декабристов. С 1827 г. в альманахах появляются его оригинальные повести. В том же году завязываются отношения Сомова с писателями пушкинского круга: он становится сотрудником «Северных цветов» А. А. Дельвига, постоянным вкладчиком «прозаической» части этого альманаха. Сомов выступает в нем не только как прозаик-беллетрист, но и как критик, автор годичных обозрений российской словесности. В 1829 г. он порвал с Булгариным, одиозная репутация которого к этому времени окончательно определилась, и целиком связал свою судьбу с изданиями Дельвига — «Северными цветами», а в 1830—1831 гг.— и «Литературной газетой».

Ко времени, когда Сомов пришел в «Северные цветы», он был заметным деятелем украинского землячества в Петербурге. Вероятно, на этой почве возникло его знакомство с молодым Гоголем. Уже в 1829 г. в рецензии на юношескую поэму Гоголя «Ганц Кюхельгартен» Сомов приветствовал вступление на литературную арену «таланта, обещающего» будущего поэта. Именно в период участия Сомова в изданиях Дельвига появилась в «Северных цветах» глава из исторического романа Гоголя «Гетьман», а в «Литературной газете» — его статьи и художественно-повествовательные фрагменты. Общение с Сомовым, уже выступившим в жанре «малороссийской» повести, способствовало углублению фольклорно-этнографических интересов Гоголя.

После запрещения «Литературной газеты» (в ноябре 1830 г.) ее удалось возобновить лишь под редакцией Сомова, который продолжал издавать газету и после смерти Дельвига, до конца июня 1831 г. Ближайшее участие принимал Сомов и в подготовке «Северных цветов на 1832 год», изданных друзьями покойного Дельвига в пользу его братьев. Умер сорокалетний Сомов в глубокой нужде. Не имея постоянного литературного пристанища, он снова вынужден был довольствоваться ролью литературного поденщика в изданиях Н. И. Греча и А. Ф. Воейкова[1].

Еще для последнего, не увидевшего свет альманаха А. Бестужева и Рылеева, остановленной декабрьскими событиями «Звездочки», Сомов написал «малороссийскую быль» «Гайдамак» — повесть о разбойнике Гаркуше, где народный быт и эпическое предание слились в целостной картине национальной жизни. По мысли Сомова, в образах Гаркуши

[1] Подробнее о Сомове см.: Браиловский С. Н. К вопросу о Пушкинской плеяде: 1. Орест Михайлович Сомов. Варшава, 1909 (Отд. отт. из журнала «Русский филологический вестник». 1908. № 4; 1909. № 1—4); Кирилюк З. В. О. Сомов — критик та белестрист пушкінської епохи. Київ, 1965, с библиографией произведений Сомова; Петрунина Н. Н. Орест Сомов и его проза // Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984. С. 3—20.

и его простодушных, незадачливых стражей воплощены две стороны народного характера. Несходство их проявляется, между прочим, в разном отношении к чудесному. В дальнейшем народные предания, обычно демонологические — о русалках и колдунах, о ведьмах и упырях,— писатель использует в своих «небылицах». Как правило, они основаны на подлинном этнографическом и фольклорном материале, снабжены особыми примечаниями и пояснениями. Но главное для романтика Сомова — дух народа, выражающийся в его поверьях и мифологических представлениях. Потому-то в «небылицах» Сомова народные побасенки рассказываются как бывальщина, не подвергаются скептическому анализу. Предание остается преданием, хотя и облечено в одежды повествования литературного. Оно становится ближайшим средством характеристики народного героя. Потому-то разнообразие фантастической повести Сомова отражается прежде всего и по преимуществу в зеркале национальных типов, как они рисуются в воображении автора.

С 1827 г., года литературных дебютов Сомова-повествователя, в его творчестве явственно обозначилось несколько тематических линий. Самая обширная и важная в литературном отношении группа его произведений — «малороссийские были и небылицы», которые печатались за подписью «Порфирий Байский» («Юродивый», 1827; «Русалка», 1829; «Сказки о кладах», 1830; «Купалов вечер», 1831; «Киевские ведьмы», 1833 и др.). Все они отмечены стремлением уловить и воссоздать картину народного сознания, которую автор ищет и находит в сплетении народных поверий и народноэтических идеалов правды и справедливости. Первыми из малороссийских своих повестей Сомов подготовил гоголевские «Вечера», а в позднейших сам испытал воздействие Гоголя. Своеобразным знаком того, что замысел малороссийских небылиц Сомова разгадал и оценил Пушкин, может служить его стихотворение «Гусар» (1833). Поэт по-своему пересказал повесть Сомова «Киевские ведьмы». Сказ о ночном путешествии на шабаш киевских ведьм Пушкин вложил в уста побывавшего на Лысой горе «очевидца»-москаля, представителя иного типа национального сознания, нежели тот, который выражают герои Сомова. Под напором ухарства и непобедимого здравого смысла русского служивого драматическое и поэтическое малороссийское предание зазвучало «небылицей».

Другие повести Сомова («Оборотень», 1829; «Кикимора», 1830) родственны малороссийским и отличны от них. Эти повести основаны на русских крестьянских поверьях. Простодушная вера в чудесное включена в этих повестях в более широкий культурный контекст, дана в ироническом восприятии просвещенного рассказчика или слушателя. И, наконец, третий несобранный цикл Сомова — «рассказы путешественника», повести из западной жизни («Приказ с того света», 1827; «Вывеска», 1827; «Странный поединок», 1830; «Самоубийца», 1830 и др.).

Свои повести Сомов не раз собирался объединить в сборники. Но намерения этого он так и не осуществил, как не успел он завершить и роман «Гайдамак», первые фрагменты которого появились в конце 20-х годов и который впоследствии год за годом оттесняла на второй план насущная работа над переводами и малыми жанрами «альманашной» прозы. Сомов ушел из жизни, не успев как писатель до конца самоопределиться и раскрыть все свои возможности. Тем не менее и в формировании русской эстетической мысли и в развитии русского повествовательного искусства он оставил заметный след.

В этой книге представлены все три повествовательных цикла Сомова.

Приказ с того света

Печатается по изд.: Литературный музеум ин 1827 год. М., 1827. С. 165—226. Подпись: Сомов.

[1] *Со всею свитою, как водится, гроза...* — из басни И. И. Дмитриева «Два голубя» (1795).

[2] *Ванты* — снасти, посредством которых к бортам судна крепятся мачты и пр.

[3] *Грот-бом-брам-брасс* — одна из снастей, управляющих грот-мачтой.

[4] *...ик мак и макензи...* — искаженное *нем.* Ich mache и machen Sie — делаю, делайте.

[5] *«Камрад! манжир, бювир, кушир, никт репондир»* — смесь испорченного французского и немецкого: «Приятель! есть, пить, спать, не отвечать».

[6] *Лангсам (нем.* langsam) — потихоньку.

[7] *Гомбург, Кайзерслаутерн* — городки в баварской земле Пфальц.

[8] *Тринк-гельд (нем.* Trinkgeld) — чаевые.

[9] *...насвистывать la pipe de tabac...* — мелодию популярных куплетов на слова Ш. Пиго-Лебрена (1773—1835) из оперы П. Гаво (1761—1825) «Маленький матрос».

[10] *...как лебедь на водах Меандра...* — первый стих «Оды... государю Александру Павловичу. На всерадостное его на престол вступление» (1801) М. М. Хераскова. Имеется в виду последняя песнь умирающего лебедя: он с криком взмывает ввысь, к солнцу и, мертвый, камнем падает в воду (миф.). *Меандр* — древнегреческое название реки Большой Мендерес в Турции.

[11] *Гауз-кнехт (нем.* Hausknecht) — слуга.

[12] *Люценское дело* — битва при Лютцене, близ Лейпцига, 2 мая 1813 г., в которой армия Наполеона нанесла поражение объединенным русско-прусским войскам генерала П. Х. Витгенштейна.

[13] *Гогенштауфены* — династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138—1254 гг., в 1197—1268 гг. также короли Сицилийского королевства. Один из главных ее представителей — Фридрих I Барбаросса (1152—1190).

[14] *...из романа Шписова.— Шпис* Христиан Генрих (1755—1799) — немецкий писатель, автор многочисленных рыцарских романов и романов «ужасов». Здесь и ниже, в примечании Сомова, речь идет о романе «Старик везде и нигде. История с привидениями» («Der Alte überall und nirgends. Geistergeschichte», 1792), который до 1824 г. выдержал пять изданий.

[15] *Сивиллинские ответы* — по имени сивилл, легендарных античных прорицательниц, которые славились таинственной загадочностью своих ответов.

[16] *Гейдельбергский университет* — один из старейших в Германии, основан в 1386 г.

[17] *Август Лафонтен* (1758—1831) — плодовитый немецкий писатель. Его романы отличались сентиментальной назидательностью и пользовались исключительным успехом в мещанской среде.

[18] *...какова не мера...— зд.:* чего бы он ни пожелал.

[19] *Телеграф — зд.:* оптический телеграф; устройство для передачи и приема условных знаков на расстоянии. В Петербурге учрежден в 1825 г.

[20] *Василиск* — мифический крылатый змей с головой петуха, хвостом

дракона и птичьими лапами. Его наделяли способностью убивать не только ядом, но также взглядом и дыханием.

[21] *Брантвейн (нем.* Branntwein) — выдержанная водка.

[22] *Тупей* — прическа с взбитым надо лбом хохлом (от. франц. toupet).

[23] *Роковая книга — зд.:* книга рока, судьбы.

[24] *Арминий* (Герман) — предводитель германского племени херусков; в 9 г. н. э. разбил римскую армию полководца Вара.

Кикимора

Печатается по изд.: Северные цветы на 1830 год. СПб., 1829. С. 182—215. Подпись: О. Сомов.

[1] *Кикимора* — в народных поверьях род домового. Днем она сидит невидимкою за печкой, а ночами прядет, проказит с веретеном и прялкой.

[2] *Богатель* — домашний скарб, имущество.

[3] *...что-то похоже на мухамор...* — вероятно, искаженное: метеор.

[4] *Звали его* ⟨...⟩ *Вот-он Иванович...* — искаженное: Оттон Иванович.

[5] *Тавлинка* — берестяная табакерка.

[6] *Беленькая* — двадцатипятирублевая ассигнация.

[7] *...велел согреть воды* ⟨...⟩ *долил ромом...* — так готовили пунш.

[8] *Иверни* — осколки, обломки.

Киевские ведьмы

Печатается по изд.: Новоселье. СПб., 1833. Ч. 1. С. 331—359. Подпись: Порфирий Байский.

[1] *Тарас Трясила* — Федóрович Тарас, по прозвищу Трясило (годы рождения и смерти неизвестны) — гетман запорожских нереестровых казаков, в 1630 г. возглавил народное восстание против польского гнета. 15(25) мая, в бою под Переяславом восставшие разбили войско польского магната Станислава *Конецпольского* (1591—1646); в народе эта победа получила название *тарасовой ночи.* Т. Г. Шевченко воспел ее в поэме «Тарасова ночь» (1838).

[2] *Мытарство* — плутовство в корыстных целях.

[3] *Летописец Малороссии* — речь идет об авторе тогда еще рукописной «Истории Руссов, или Малой России», которую при жизни Сомова приписывали Григорию Конисскому (в монашестве Георгий; 1717—1795) и которая на деле принадлежит перу Г. А. Полетики (1725—1784). Списком «Истории Руссов» в 1825 г. располагал К. Ф. Рылеев, с которым тесно был связан Сомов.

[4] *Брюховецкий* Иван Мартынович (? —1668) — гетман Левобережной Украины (1663—1668), добивался отделения Украины от России.

[5] *Площадь у Льва* — Контрактовая (ныне Красная) площадь на Подоле, традиционное место киевского торга. Около (не позднее) 1801 г. здесь, в центре фонтана, была установлена скульптура «Самсон, раздирающий пасть Льву». Сомов, вероятно, допустил в этом случае анахронизм.

[6] *Инде* — в другом месте.

[7] *Намитка* — украинский головной убор замужних женщин.

[8] *Пещеры* — подземные катакомбы Киево-Печерской лавры. Там находились монашеские кельи, часовни и гробы умерших.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ

(1807—1891)

В неоконченной повести А. С. Пушкина середины 1830-х годов «Мы проводили вечер на даче...» среди других персонажей упоминается некий Вершнев, «который учился некогда у езуитов». В черновике его характеристика была более пространной и определенной: «Вершнев, один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые все знают и все читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость» *(Пушкин.* I. VIII. С. 421). Первоначально же в рукописи этот персонаж был назван Титовым, что прямо указывало на одного из петербургских литераторов.

В. П. Титов был действительно человеком разносторонних знаний. Воспитанник Благородного пансиона и Московского университета, служащий при Московском архиве Министерства иностранных дел («архивный юнош»), он был активным участником кружка любомудров, членов которого отличала приверженность к немецкой философии. Еще студентом он перевел одну из трагедий Эсхила, позже — Фукидида и вместе с С. П. Шевыревым и Н. А. Мельгуновым издал на русском языке знаменитую книгу немецкого романтика В. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и художниках» (М., 1826), а с открытием журнала «Московский вестник» стал активным его автором, опубликовав здесь в 1827—1828 гг. статьи о Соединенных Штатах и об Индии, о зодчестве и новом переводе сочинений Платона, о романе и о достоинстве поэта. Печатал Титов и художественные произведения: «восточную повесть» «Печеная голова» (*МВ*. 1827. Ч. 4, № 13) и «индийскую сказку» «Переход через реку, приключение брамина Парамарти» *(там же,* № 15— эту сказку высоко оценил Пушкин в письме к редактору журнала М. П. Погодину от 31 августа 1827 г.).

Переехав в 1827—1828 гг. в Петербург и поступив на службу в Азиатский департамент, Титов занимался в Школе восточных языков (16 марта 1828 г. были отмечены его особые успехи на экзамене по арабскому языку, на котором присутствовал А. С. Грибоедов — см.: *СПч*. 1828. № 47). С Пушкиным Титов познакомился еще в Москве, в 1826 г., часто встречался с ним и в Петербурге (см.: Черейский Л. А. Пушкин и его современники. Л., 1986. С. 435—436).

Под псевдонимом (паронимом) Тит Космократов (ср.: Тит-ов Влади-мир) он опубликовал, кроме «Уединенного домика на Васильевском», «ливонскую повесть» «Монастырь св. Бригитты» (Северные цветы на 1831 год) и очерки «Светский человек — дипломат, литератор, воин» и «Восточная жизнь» *(С.* 1837. Т. 7 и 8). Типичный литератор-дилетант, В. П. Титов не обладал сколько-нибудь ярко выраженной собственной художественной манерой, следуя в том или ином произведении за избранным образцом. Так, в двух его повестях, опубликованных в «Северных цветах», заметна ориентация на эффектный, декламационный стиль прозы А. А. Бестужева-Марлинского, с неожиданными, отчасти парадоксальными сравнениями, обнаруживающими эрудированность автора.

Ф. И. Тютчев в шутку говорил, что Титову назначено провидением составить опись всего мира (см.: *РА*. 1892. Январь. С. 90). Однако, справедливости ради, стоит отметить, что сам эрудит трезво оценивал достоинства своей — по ироническому выражению Пушкина — «убийственной памяти»: «При нынешнем удобстве быть начитанным мне случалось видеть людей, одаренных счастливой памятью; благодаря

статистическим таблицам, они наизусть перескажут вам народонаселение государств, их долги и доходы, квадрат почвы, длину рек, площадь морей — и при этом не имеют ни о чем зрелого понятия... Есть превосходные умы, удачно развившиеся, несмотря на такой (светский.— *С. Ф.*) образ жизни; но их немного. Подумаем о большинстве: оно состоит из умов посредственных, к числу их сочинитель этой статьи охотно себя относит» (*С*. 1837. Т. 7. С. 152, 179).

Литературная деятельность В. П. Титова закончилась с молодостью: впоследствии он видный дипломат (генеральный консул в Дунайских княжествах, посланник в Константинополе и Штутгарте), в конце жизни — председатель Археографической комиссии и член Государственного совета.

Спустя полвека после публикации автор повести вспоминал: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екат.⟨ерины⟩ Никол.⟨аевны⟩, позже бывшей женою кн.⟨язя⟩ Петра Ив.⟨ановича⟩ Мещерскаго. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под *высокие* парики,— честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди „не укради", пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, но ныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в „Северные цветы" (см.: Д е л ь в и г А. И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 85—86)» А. А. Дельвиг был действительно очень заинтересован в публикации повести (см.: В а ц у р о В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 148). Предполагают, что именно ему принадлежит окончательное название произведения, тема которого в некотором отношении его самого давно интересовала: согласно свидетельству П. А. Вяземского, Дельвиг собирался написать о простом семействе на Петербургской стороне, грустная история которого открывается по внешним приметам стороннему наблюдателю, в течение многих лет проходившему мимо домика.

Пушкинский рассказ, сюжет которого впоследствии отразился в повести Титова, имел другое заглавие: «Влюбленный бес»,— возможно, по аналогии с популярной повестью французского писателя Жака Казота «Le Diable amoureus» (1772). Отражение этого замысла мы находим в рабочих тетрадях поэта кишиневской и одесской поры,— в основном, в виде графических сюит, изображающих беса, очарованного видением прекрасной женщины (см.: Ц я в л о в с к а я Т. Г. Влюбленный бес (Неосуществленный замысел Пушкина) // *ПИиМ*. Т. III. С. 101—130). В бумагах Пушкина, датируемых 1821—1823 гг., мы находим также следующий план:

«Москва в 1811 [1810] году —

Старуха, две дочери, одна невинная, другая романтическая — два приятеля к ним ходят.

Один развратный, другой В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩.

В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩ любит меньшую и хочет погубить молодого человека.— Он достает ему деньги, водит его повсюду — [бордель] —

Наст⟨асья⟩ — вдова ч⟨иновника?⟩[1]. Ночь. Извозчик. Молодой человек ссорится с ним.— Старшая дочь сходит с ума от любви к в⟨любленному⟩ б⟨есу⟩» (*Пушкин.* VIII. 429).

К лету 1825 г. относится воспоминание А. П. Керн, касающееся того же сюжета: «Когда он (Пушкин.— *С. Ф.*) решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностию его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в „Подснежнике"» (*П. в восп.* Т. I. С. 409).

На обороте автографа стихотворения «Под небом голубым страны своей родной...», имеющего дату 29 июля 1826 г., мы находим (записанный позже этой даты) перечень заглавий: «Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Дон-Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел I. Влюбленный бес. Димитрий и Марина. Курбский». Традиционно этот список трактуется как свод драматических замыслов Пушкина, позже частично осуществленных им в «Опыте драматических изучений» («маленьких трагедиях»). Однако, по весьма остроумной гипотезе В. С. Листова (см.: Болдинские чтения. Горький, 1984), вполне возможно, что здесь мы имеем список десяти устных рассказов Пушкина, подготовленных им для развлечения тригорских барышень (трудно иначе вообразить, что во второй половине 1820-х годов Пушкин мог обдумывать создание драматических произведений, явно невозможных в печати, таких, как «Павел I» и «Иисус»). По крайней мере, один из десяти этих сюжетов так и остался в репертуаре устных пушкинских рассказов — «Влюбленный бес». А. П. Керн слушала его в Тригорском, В. П. Титов — в салоне Карамзиных. Наверное, рассказывал поэт эту историю и в иных случаях; след ее мы, кажется, встречаем в шутливом стихотворении «Подъезжая под Ижоры...», написанном в начале 1829 г. и обращенном к Е. В. Вельяшевой, с которой Пушкин виделся в Малинниках с 21 ноября по 6 декабря 1828 г.: «...Хоть Вампиром именован / Я в губернии Тверской, / Но колен моих пред вами / Преклонить я не посмел / И влюбленными очами / Вас тревожить не хотел...». Здесь следует вспомнить, что в конце 1828 г. (ценз. разр. 15 октября) в Москве вышла книжечка «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Ба́йроном... С английского П⟨етр⟩ К⟨иреевский⟩»; в предисловии к ней говорится: «Во время своего пребывания в Женеве лорд Байрон посещал иногда дом графини Брюс, одной русской дамы... и в один вечер, когда общество состояло из лорда Байрона, П. Б. Шелли, Г. Полидори (несколько времени путешествовавшего с Байроном в качестве доктора), и несколько дам, прочтя одно немецкое сочинение под названием „Phantasmagorians", предложили, чтобы каждый из присутствовавших рассказал повесть, основанную на действии сил сверхъестественных; предложение было принято лордом Байроном, Полидори и одною из дам. Когда очередь дошла до Байрона, он рассказал „Вампира". Г. Полидори, возвратясь домой, спешил записать его на память и после издал в свет».

По справедливому наблюдению Ю. М. Лотмана (см.: Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 101—106), рассказ этот, несмотря на его фактическую неточность (Байрон потом отрицал свою

[1] В данном случае мы придерживаемся расшифровки последнего слова, предложенного академиком В. В. Виноградовым. Возможны варианты: «вдова-ч⟨ертовка?⟩ и «вдова etc».

причастность к полидоровскому «Вампиру»), разительно напоминал историю с импровизацией самого Пушкина, записанной Титовым; тем более, что «немецкое сочинение» — это едва ли не «Фантазии в манере Калло» (1814) Э. Т. А. Гофмана, в составе которых была и повесть «Магнетизер», сюжетно напоминавшая «Уединенный домик на Васильевском» (см.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. С. 92—95). В исследовательской литературе повесть Титова сближалась также по сюжету с «Лафертовской маковницей» А. Погорельского и с «Повестью о Савве Грудцыне».

Первоначально повесть Тита Космократова была оценена крайне сдержанно: «лица русские, но нет ничего русского» (*МТ*. 1829. Ч. 25. № 1. С. 106); «нескладная бесовщина», «изобретение вялое, не обнаруживающее в изобретателе ни тени художественного таланта» (Галатея. 1829. Ч. 1. № 5. С. 272—273). Не подозревая об авторстве В. П. Титова, В. А. Жуковский (в его присутствии) сказал как-то об «Уединенном домике» А. А. Дельвигу: «Охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима» (Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 85—86). Впрочем, необычайная резкость Жуковского, по-видимому, объяснялась в данном случае тем, что он почувствовал себя задетым прямым выпадом против его баллад в тексте повести.

Когда стали известны воспоминания А. И. Дельвига, открывшие причастность к этому замыслу Пушкина, повесть была воспринята в качестве сенсации — как новое, не известное доселе произведение великого поэта. Из «Северных цветов» она была перепечатана П. Е. Щеголевым в газете «День» (1912, 22, 23, 24 декабря), Н. О. Лернером — в журнале «Северные записки» (1913, январь), а затем появилась и отдельным изданием «Уединенный домик на Васильевском острове. Рассказ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова. С послесловием П. Е. Щеголева и Федора Сологуба» (СПб., 1913). Тогда же В. Ходасевич признал эту повесть предвосхищением таких «петербургских» произведений Пушкина, как «Домик в Коломне», «Медный всадник», «Пиковая дама» (Аполлон. 1915. № 3. С. 33—50). В современном пушкиноведении также нередко преувеличивается «пушкинское начало» в повести, вплоть до прямого утверждения, что это прежде всего пушкинское произведение — может быть, слегка только «испорченное» В. П. Титовым (см.: Кождак А. Устная речь Пушкина в записи Титова // American Contributions to the Seventh Congress of Slavists. Warsawa, 1973. Vol. 2. P. 321—338; Зингер Л. Судьба одного устного рассказа // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 202—228) К такому же мнению, по сути дела, была близка и А. А. Ахматова, которая стремилась в записи Титова уловить, в частности, пласт декабристской тематики у Пушкина (см.: Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977. С. 148—158, 207—221). Между тем следует иметь в виду, что Пушкин сам вовсе не намеревался литературно оформить устный рассказ, который при некоторой намеченной им сюжетной схеме, в каждом случае был импровизационен и обращен к слушательницам, жаждавшим услышать «страшную историю» (вспомним, что Титов, по собственному признанию, подслушал рассказ, обращенный к женщинам). Для Пушкина, по сути дела, это был род литературной игры, салонной забавы. Напомним и то, что даже в сюжете повести Пушкину принадлежала только «часть вымыслов» и «главной нити рассказа». Что же касается стиля пушкинского рассказа, то В. П. Титов несомненно не сохранил его, да, вероятно, и не стремился к этому. «Уединенный домик на Васильевском» — типичная романтическая повесть 1820-х го-

дов. Фантастические мотивы в ней нередко до некоторой степени «нейтрализуются» ироническим комментарием и в каждом случае не исключают и реальных мотивировок тех же событий. Но эта двойная мотивировка в повести служит не опровержению «бесовского», а своеобразному подтверждению его. Вся повесть пронизана морализаторской тенденцией: патриархальному, набожному укладу простого русского семейства противопоставлена — под знаком «бесовского» — стихия чужеземного, и в быту (ср. запылавшие «гардины, которые покойница получила в подарок от Варфоломея»), и в обычаях, и в нравах (главное — в забвении «имени Божьего»; именно этим объясняется прежде всего «демонизм» Варфоломея). Вероятно, приметы пушкинского стиля следует заметить прежде всего в самом начале повести (описание окраины Васильевского острова) и в заключительной фразе, которая явно контрастирует с подчеркнуто грустным финалом повести, но вполне уместна как остроумная концовка устного «страшного рассказа».

«Стилистический анализ „Уединенного домика на Васильевском",— утверждает академик В. В. Виноградов,— приводит к выводу, что в этом рассказе В. П. Титов лишь частично, в очень упрощенном и романтически формализованном виде, использовал общую сюжетную схему пушкинского „Влюбленного беса"; а также некоторые ее детали. Формы ее стилистического воплощения и развития принадлежат почти целиком В. П. Титову и обусловлены его эстетическими вкусами. Для понимания художественно-стилистической структуры пушкинской прозы и закономерностей ее развития рассказ Тита Космократова представляет лишь второстепенный интерес ⟨...⟩ По своим литературным вкусам и симпатиям В. П. Титов был ближе к В. Ф. Одоевскому» (Виноградов В. В. Сюжет о влюбленном бесе в творчестве Пушкина и в повести Тита Космократова (В. П. Титова) «Уединенный домик на Васильевском» // *ПИиМ*. Т. X. С. 146).

Уединенный домик на Васильевском

Печатается по изд.: Северные цветы на 1829 год. СПб., 1828. С. 147—217.

[1] *Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова...*— Это описание по стилистической манере сориентировано на начало повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (см.: Зингер Л. Судьба одного устного рассказа. С. 221—222). По-видимому, такая стилизация была уже в устном рассказе Пушкина (однако если поэт правил текст В. П. Титова, то, несомненно, более тщательно — его начало).

[2] *Петровский* (или Столбовой) *остров* — лежит в устье Малой Невы, между Васильевским и Фоминым (Петербургской стороной).

[3] *Несколько десятков лет тому назад...*— Таким образом, время действия повести относится к XVIII веку, но в содержании ее мы не находим никаких примет той эпохи. Более того, в тексте упоминается Думская башня на Невском проспекте, близ Гостиного двора (бой часов на которой слушает Павел), построенная только в 1802 г. (арх. Л. Феррари).

[4] *Минея* — «Четьи-Минеи» («чтения ежемесячные»), сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.

[5] *Варфоломей* — в Толковом словаре В. Даля отмечено слово «вархомол» в значении «знахарь, колдун».

[6] *Галль* Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, созда-

тель френологии — учения о соотношении между психологическими и физическими свойствами человека и наружной формой его черепа. Пушкин иронически упоминает это «учение» в черновиках «Графа Нулина»: «Граф местной памяти орган / Имел по Галевой примете ⟨...⟩». Теория Галля в итоге оказалась несостоятельной, однако ему удалось сделать некоторые важные наблюдения в области анатомии и физиологии мозга.

[7] *...будут разводить мост...* — см. прим. 2 на с. 593.

[8] *статуя Командора* — здесь имеется в виду комедия Ж. Б. Мольера «Дон Жуан» (1665) (д. 4, явл. 12).

[9] *Миртовые деревья* — род вечнозеленых кустарников.

[10] *...похищение Европы...* — приняв образ быка, Зевс похитил финикийскую царевну Европу; этот греческий миф послужил сюжетом картин многих художников (П. Веронезе, Тициана и др.).

[11] *Амплификация* — распространение слова, одна из фигур риторики, которая «способствует к размножению речи или простой мысли фигурами» (Новый словотолкователь. СПб., 1803. Ч. I. С. 123—124).

[12] *...луна во вкусе Жуковского...* — здесь вспоминается баллада «Светлана»: «Тускло светится луна / В сумраке тумана...» Дальнейшие события в повести представляют собою отчасти пародию на соответствующий эпизод баллады Жуковского «Людмила».

[13] *№ 666* — апокалипсическое число антихриста. «Кто имеет ум, тот сочтет число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение Иоанна Богослова. Гл. 13. Ст. 18)

[14] *Церковь Андрея Первозванного* — на Васильевском острове (угол Большого проспекта и 6-й линии), построена в камне в 1780 г (арх. А. Ф. Вист), позже (в 1848—1850 гг.) перестроена.

[15] *Пенник* — «крепкое и несколько очищенное хлебное вино» (В. Даль).

[16] *Он отрастил себе бороду и волосы...* — А. А. Ахматова отмечала разительное сходство поведения Павла с поведением графа М. А. Дмитриева-Мамонова (1790—1863), организатора преддекабристского общества «Орден русских рыцарей». В 1817 г. он удалился в подмосковное имение Дубровицы; был признан сумасшедшим.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ

(1806—1856)

И. В. Киреевский оставил заметный след в истории русской литературы и общественной мысли первой половины XIX в. Хотя его выступления в печати были довольно редкими, а творческое наследие оказалось сравнительно невелико по объему, Киреевский сумел ярко заявить о себе и как литературный критик — глубокий интерпретатор творчества Пушкина, Языкова, Баратынского, и как талантливый журналист, и как даровитый публицист и философ, крупнейший теоретик славянофильства 1840—1850-х годов.

Киреевский происходил из семьи, широко известной своими культурными традициями: его мать, А. П. Елагина,— хозяйка одного из известнейших литературных салонов Москвы, родственница и друг В. А. Жуковского; младший брат, П. В. Киреевский,— археограф и историк, крупный фольклорист; отчим, А. А. Елагин,— пропагандист философии И. Канта и Ф. В. Шеллинга, переводчик сочинений последнего.

Будущий писатель получил домашнее образование, имевшее весьма основательный характер и включавшее, в частности, лекции лучших

профессоров Московского университета. В 1824 г он поступает в Московский главный архив Иностранной коллегии, где его сослуживцами оказываются известные впоследствии деятели русской культуры — Д. В. Веневитинов, А. И. Кошелев, Н. А. Мельгунов, В. П. Титов, С. П. Шевырев и др. В этом кругу формируются дружеские и литературные связи Киреевского. Тогда же он становится участником так называемого кружка любомудров, членов которого объединял интерес к философско-эстетическим проблемам. В журнале «Московский вестник», собравшем позднее бывших членов этого кружка, Киреевский дебютирует в 1828 г. яркой статьей «Нечто о характере поэзии Пушкина». Вслед за тем в альманахе «Денница за 1830 год» появляется еще более заметная работа молодого критика — высоко оцененное Пушкиным «Обозрение русской словесности 1829 года».

В 1830 г. Киреевский совершает путешествие в Германию, где в течение девяти месяцев, в университетах Берлина и Мюнхена, слушает лекции Г. Ф. В. Гегеля, Ф. В. Шеллинга, географа К. Риттера, философа и теолога Ф. Шлейермахера, естествоиспытателя Л. Окена и других европейски знаменитых ученых. С 1832 г. писатель с энтузиазмом приступает к изданию собственного журнала «Европеец», видя в этом осуществление важнейшего для него дела «просвещения России». Киреевскому удается сплотить вокруг журнала лучшие литературные силы, однако после выхода второго номера «Европеец» был запрещен. Поводом послужили статьи издателя «Девятнадцатый век» и «„Горе от ума" на московской сцене», расцененные Николаем I как крайне неблагонамеренные. Сам Киреевский не был выслан лишь благодаря заступничеству Жуковского, однако возможность активной литературно-журнальной деятельности была для него надолго закрыта. Лишь спустя тринадцать лет, в течение которых взгляды его претерпели существенную эволюцию в направлении формирующегося славянофильства, Киреевский делает новую попытку вернуться в журналистику. В конце 1844— начале 1845 г. он с успехом редактирует журнал «Москвитянин». Однако вскоре, главным образом из-за разногласий с издателем — М. П. Погодиным, Киреевский вынужден оставить журнал. В 1852 г. в «Московском сборнике», предпринятом кружком славянофилов, писатель выступает со статьей «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», но и это издание прекращается правительством, причем статья Киреевского признается особенно вредной. Последняя большая работа писателя — «О возможности и необходимости новых начал для философии» — увидела свет уже после смерти автора.

Собственно художественные произведения Киреевского немногочисленны: несколько стихотворений, прозаический фрагмент «Царицынская ночь» (1827), отрывки из незавершенного романа «Две жизни» (ок. 1831) и утопической повести «Остров» (1838), публикуемая в настоящем сборнике «волшебная сказка» «Опал». Это сочинение написано в декабре 1830 г., спустя месяц после возвращения писателя из Германии в Москву. В нем отчетливо отразились и философские интересы автора (по словам П. Н. Сакулина, «Опал» проникнут «идеалистическим настроением кружка любомудров» — *Сакулин.* Т. 1. Ч. 1. С. 242), и многие черты его духовного облика. Так, в частности, непосредственное отношение к проблематике повести-сказки имеют признания Киреевского в письме к сестре от 4 августа 1830 г. («Сны для меня не безделица. Лучшая жизнь моя была во сне»), его суждения о «сердечной музыке» в письме к А. И. Кошелеву от 6 июля 1833 (1834?) г. или же размышления о природе сновидений в письме к матери от 1837 г. «Представления сна — выражения внутренних чувств души,— идеалы

этих чувств. Те высшие впечатления, которые наяву возбудили бы в нас соответственное им внутреннее чувство, являются нам во сне как следствие этого внутреннего чувства»[1].

В то же время включение «Опала» в контекст творчества Киреевского рубежа 1820—1830-х годов вызывает известные трудности. Дело в том, что ко времени создания повести Киреевский-критик уже обнародовал свою концепцию трехфазисного развития литературы, итогом которого считал современный тип творчества, характеризующийся «уважением *к действительности*» (Обозрение русской словесности 1829 года // *Киреевский*. С. 59). «Опал» же по своему пафосу близок литературе, которую Киреевский связывал с уходящей эпохой, выразителем которой в России он считал Жуковского и существо которой видел в «стремлении к неземному; равнодушии ко всему обыкновенному, ко всему, что не *душа*, что не *любовь*» (*там же*. С. 58).

Литературные истоки «волшебной сказки» Киреевского разнообразны. Прежде всего, она связана с впечатлениями автора от героико-фантастических рыцарских поэм «Влюбленный Роланд» Маттео Боярдо (1441— ок. 1494) и, в особенности, «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто (1474—1533). «Неистового Роланда» Киреевский читал в подлиннике незадолго до создания «Опала», с восхищением отзываясь о «грациозном воображении» итальянского поэта (см.: *Киреевский*. С. 355, 356). Демонстрируя соотнесенность своей повести-сказки с творением Ариосто, писатель упоминает его уже в начале произведения, дает героям «Опала» имена, созвучные именам персонажей «Роланда» (ср.: Оригелл — и Argalia, сын правителя Катая (Cataio); Нурредин — и «король Дамаска и всей Сирии» Norandino). Отметим также сходство картины чудесной планеты в «волшебной сказке» и описания Луны в 34-й песне поэмы Ариосто. Помимо «Неистового Роланда» ближайший контекст «Опала» составляют фантастические повести немецких романтиков, произведения в жанре аполога и «восточной повести», сыгравшей столь видную роль в европейской литературе XVIII в., некоторые явления масонской литературы с характерной для нее иносказательностью и символикой. Текст «Опала» позволяет высказать предположение о знакомстве Киреевского с сочинениями европейских мистиков и, в частности, с «Божественной и истинной метафизикой...» Д. Пордеча (М., 1786). В современной же русской прозе ближе всего к автору «волшебной сказки», безусловно, стоит В. Ф. Одоевский с его поисками, ведущими от аллегорий 1820-х годов («Мир звуков» и др.) к задуманной еще в начале 1830-х годов «Сильфиде».

Одна из ключевых тем «Опала» — тема музыки. В ее трактовке нашла отражение романтическая концепция этого искусства, развитая, в первую очередь, в немецкой эстетике (Ф. В. Шеллинг, В. Г. Ваккенродер, А. Шопенгауэр) и литературе (Э. Т. А. Гофман). В сознании романтиков музыка выступает как чистое проявление духовного начала, как воплощение бесконечного. «В отличие от эстетики эпохи Просвещения, ограничивавшей сферу музыки выражением чувств и эмоций, романтики видят в музыке прежде всего — своеобразный и притом в высокой степени адекватный способ п о з н а н и я мира», приобщения к его таинственной сущности (А с м у с В. Ф. Музыкальная эстетика философского романтизма // Сов. музыка. 1934. № 1. С. 56). (При этом речь идет не о рациональном, но об алогическом, «непосредственном» постижении.) Если человеческое слово бедно и грубо, не способно

[1] К и р е е в с к и й И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 221, 226.

к выражению истинно глубоких переживаний и мыслей, то музыка представляет собой некий идеальный язык, помогающий душе обрести голос, вступить в общение с высшей реальностью. Понятие «музыка» охватывает у романтиков и чувственно воспринимаемую, проявляющую себя в звуке гармонию, и «гармонии сверхчувственные, умопостигаемые» (Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 207). По их мысли, внутренняя музыка присуща явлениям природы и человеческой жизни, законы гармонии лежат в основе самого мироздания. Показательно, что в эпоху романтизма воскрешается древнее пифагорейское учение о «музыке сфер», согласно которому «небесные тела движением своим производят звуки, но мы их не слышим, потому ли, что сия гармония своею огромностию заглушает нас, или потому, что мы поглощаемся ею; она в нас, но чувственность препятствует слышать ее» (М. ⟨Н. А. Мельгунов?⟩ Рец. на «Краткую историю пифагорейской философии» // Т. 1832. Ч. 12. С. 265). С оригинальным преломлением этой системы представлений мы и имеем дело в «Опале».

Повесть-сказка Киреевского была помещена в третьем номере журнала «Европеец» за 1832 год (с. 317—335; без подписи). Однако к тому времени, как была отпечатана первая половина этой книжки журнала, издание оказалось запрещено, и «Опал», таким образом, не дошел до читателя. Позднее была создана новая редакция произведения, в которой первоначальный текст подвергся довольно значительной стилистической правке, разросся за счет более подробной разработки ряда сцен и мотивов. Автор несколько усилил фольклорный колорит повести путем введения традиционных фольклорных формул и повествовательных приемов. С точки зрения общей атмосферы «Опала» весьма показательны изменения, внесенные в описание волшебного дворца Музыки: если в раннем варианте здесь преобладали черты великолепия, пышной материальной красоты, то во второй редакции «яхонтовый дворец» сменяется «облачным», предстает неким застывшим движением. Пожалуй, наиболее значимым стало при доработке текста выделение (в рассказе о посещении героем «нового мира») мотива слияния грезы и реальности, «сновидения и действительности» (вначале фрагмент «Жизнь Нурредина на звезде...» полностью отсутствовал)[2].

Новая редакция «волшебной сказки» была помещена в альманахе М. А. Максимовича «Денница на 1834 год» (М., 1834. С. 27—64; подписано *И. К.*; цензурное разрешение от 24 октября 1833 г.), причем публикация повести встретила неожиданные препятствия со стороны цензуры (см.: Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830—1850 годы. М., 1978. С. 455), быть может, связанные с самой личностью опального автора. Появление произведения вызвало критический отклик журнала «Московский телеграф», отмечавшего чрезмерную, на его взгляд, усложненность произведения: «⟨...⟩ кажется, автор уже чересчур перехитрил. Волшебству, конечно, закон не писан, но есть закон изящного, который не велит из вымысла делать таких потемок, где заблуждается воображение читателя, вместе с автором» (1834. Ч. 55. С. 182). Напротив, рецензент «Молвы» (Н. И. Надеждин?) встретил «Опал» сочувственно, увидев его «главное достоинство» «в высоком уроке, попадающем прямо в сердце сквозь хрустальную призму вос-

[2] Во избежание недоразумений отметим, что в недавно вышедшем воспроизведении «Европейца» (М., 1989. Серия «Литературные памятники») текст «Опала» приведен не по его публикации в этом журнале, но, как можно заключить, по его изданию в полном собрании сочинений Киреевского под ред. М. Гершензона (М., 1911).

точного иносказания» (1834. Ч. 7. № 1. С. 13). Близкой по характеру была и оценка «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», выделивших в числе лучших произведений «Денницы» «волшебную сказку И. К., исполненную блистательного воображения, чувства поэзии и остроумной аллегории» (1834, № 28).

Опал

Печатается по изд.: Денница на 1834 год. М., 1834. С. 27—64.

[1] *...в то время, когда, по свидетельству Ариоста...*— Хронологические и географические указания в «Неистовом Роланде» Лудовико Ариосто (1474—1533), как и в «волшебной сказке» Киреевского, полностью условны.

[2] *...за круглым столом двенадцати храбрых...*— Как показывает первоначальная редакция «Опала» («за круглым столом Великого Карла» — Европеец. 1832. Ч. I. № 3. С. 317), речь идет о двенадцати пэрах франкского короля, позднее императора Карла Великого (742—814), впоследствии ставшего героем многочисленных произведений так называемого каролингского цикла (к ним восходят и знаменитые рыцарские поэмы М. Боярдо (1441—1494) и Л. Ариосто).

[3] *...царь катайский...*— Катай — старинное название Китая.

[4] *Черная Книга* — колдовская книга, содержащая кабалистические знаки, формулы заклинаний, магические рецепты и т. д.

[5] *Круглый опал* ⟨...⟩ *тускло отливал радужные краски.*— Опал — драгоценный камень, по большей части, белого или молочно-белого цвета; для него характерна радужная игра цветов, перелив и мерцание искр. По свидетельству автора знаменитой «Естественной истории» римского писателя и ученого Плиния Старшего (23 или 24—79), опалы чрезвычайно высоко ценились в древности. «Совокупляя в себе красу превосходнейших драгоценных камней, наипаче они были причиною неизреченной трудности в назначении преимущества. Ибо есть в них нежнейший огонь, нежели в карбункулах, блестящая багряность аметиста, есть морецветная зелень смарагда, и все светятся равно в неимоверном смешении», «блеск настоящего (опала.— *А. К.*) играет, рассевая в разные стороны многие лучи, и сияние его разливается на пальцы» (Каия Плиния Секунда Естественная история ископаемых тел, преложенная на российский язык, в азбучном порядке, и примечаниями дополненная трудами В. Севергина. СПб., 1819. С. 240—241, 242). Существовало поверье, будто опалы приносят несчастье тому, кто носит этот камень (оно отражено, в частности, в романе В. Скотта «Анна Гейерштейн» (1829), переведенном на русский язык в 1830 г.).

[6] *Здесь все было странно и невиданно...*— Следующее ниже описание волшебной планеты содержит многие черты, присущие общеромантическому образу «иного мира». Его отличает не просто невиданное великолепие: «новый мир» обладает особой цельностью, выражающейся, в частности, в синкретизме его явлений, здесь сняты противоречия между духом и веществом, отсутствуют границы между природой и искусством. С разной степенью полноты подобные мотивы развиты во многих произведениях русских и западноевропейских авторов — прозе Э. Т. А. Гофмана, «Той же сказке, только навыворот» (1833) и «Сильфиде» (1837) В. Ф. Одоевского, «Блаженстве безумия» (1833) Н. А. Полевого, «Вие» (1835) Н. В. Гоголя и др.

[7] *Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне и посреди боя оставался равнодушным его зрителем...*— Лю-

бопытно сходство этого фрагмента «Опала» с известными строчками «Бахчисарайского фонтана» (1823) А. С. Пушкина, где также характеризуется своеобразная «отрешенность» романтического героя: «Он часто в сечах роковых / Подъемлет саблю, и с размаха / Недвижим остается вдруг ⟨...⟩».

[8] *...музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего...* — Интересно, что близкая формула была использована Киреевским при характеристике поэзии Е. А. Баратынского в статье «Обозрение русской литературы за 1831 год»: «⟨...⟩ часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзиею, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого, вощеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» *(Киреевский.* С. 111). Вообще метафорическое использование понятия «музыка» для обозначения стройности, гармоничности, одухотворенности обычно для Киреевского-критика.

[9] *...счастливым воспоминанием чего-то дожизненного.* — Отголосок платоновской мифологии «анамнезиса» («воспоминания»), воплотившей представление о запредельном происхождении человеческой души; в искусстве и эстетике романтизма эта мистическая концепция нашла разнообразное отражение.

[10] *Волхвы* — мудрецы, чародеи, колдуны.

[11] *...златопесчаного Бардинеза...* — Вероятно, имеется в виду Барада — река в окрестностях Дамаска (у греков называлась Хризорроас — Золотая река).

[12] Возможно, ошибочное указание: при публикации в «Европейце» в конце текста была выставлена другая дата — 15 декабря 1830.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЬГУНОВ

(1804—1867)

Н. А. Мельгунов принадлежит к числу наиболее разносторонних деятелей русской культуры 1820—1860-х годов. Он приобрел известность как писатель и публицист, переводчик и один из первых в России библиографов, музыкальный критик и композитор, в числе произведений которого песни и романсы на слова А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова. Мельгунов родился в Ливенском уезде Орловской губернии. Его первоначальным воспитанием руководили известный поклонник идей Ж. Ж. Руссо швейцарец И. Ф. Вернет и издатель «Украинского вестника» харьковский профессор Р. Т. Гонорский. В этом журнале четырнадцатилетний Мельгунов опубликовал свой первый перевод с французского — «Приближение весны» (из Сен-Пьера). Дальнейшее образование будущий писатель получил в петербургском Благородном пансионе при Педагогическом институте (1818—1820), где его учителями были В. К. Кюхельбекер, К. П. Арсеньев, А. П. Куницын, а ближайшим товарищем — М. И. Глинка. Вероятно, в эти же годы произошло и знакомство Мельгунова с А. С. Пушкиным, посещавшим в пансионе своего брата Льва Сергеевича.

В 1825 г. Мельгунов поступает на службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел и входит в круг любомудров. Вместе с двумя участниками этого общества — В. П. Титовым и С. П. Шевыревым — он переводит знаменитый манифест раннего немецкого романтизма — книгу В. Г. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и ху-

доживках. Размышления отшельника, любителя изящного» (М., 1826) В середине 30-х годов в числе других бывших любомудров Мельгунов становится учредителем и пайщиком журнала «Московский наблюдатель», задуманного как средство противодействия «торговому» направлению в русской словесности. В 1834 г., выйдя в отставку, он всецело отдается творческой деятельности. Значительную часть жизни писатель проводит заграницей (Германия, Франция), выступая как деятельный пропагандист отечественной культуры. Так, созданная им в соавторстве с немецким литератором Кёнигом книга «Literarische Bilder aus Rußland» (Stuttgart und Tübingen, 1837) впервые в широкодоступной форме познакомила европейского читателя с главными представителями новой русской литературы. Своеобразна литературно-общественная позиция Мельгунова 1830—1850-х годов. В острой идеологической обстановке той эпохи он пытается выступить примирителем противоборствующих мнений, поддерживает дружеские отношения как с «западниками» (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Т Н. Грановский), так и со «славянофилами» (И В Киреевский, А. С. Хомяков), сотрудничает как в «Москвитянине» так и в «Отечественных записках» и обновленном «Современнике»[1]

Как беллетрист Мельгунов был известен главным образом своими повестями и путевыми очерками. Повесть «Кто же он?», одно из первых художественных произведений писателя, впервые появилась в 1831 г. на страницах журнала Н. И Надеждина «Телескоп» (Ч. 3. №№ 10—12; посв. Х⟨омякову⟩; подписано литерой «М.») В 1834 г это сочинение, подвергнутое незначительной стилистической правке, было включено в двухтомник Мельгунова «Рассказы о былом и небывалом» (М., 1834) Составившие сборник произведения были связаны решением единой эстетической задачи· «Ни голой правды, ни голого вымысла,— писал в предисловии к изданию автор.— ⟨...⟩ Задача искусства — слить фантазию с действительной жизнию.

Счастлив автор, если в его рассказах заслушаются былого, как небылицы, а небывалому поверят, как были» (Ч. 1 С. IV)

В первой части сборника, наряду с «Кто же он?», были помещены фантастические по завязке и реальные по развязке повести «Зимний вечер» и «Пророческий сон», а также психологическая — «Любовь-воспитатель» Вторую часть целиком составила повесть «Да или нет?»

В научной литературе уже отмечена бесспорная близость повести Мельгунова и знаменитого романа английского писателя Ч. Р Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820) (см.: А л е к с е е в М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Метьюрин Ч. Р Мельмот Скиталец. Л., 1976. С. 664. По предположению М. П. Алексеева, именно Мельгунов был автором первого перевода романа на русский язык: Мельмот Скиталец. Сочинение Матюреня ⟨ ⟩ Пер. с французского Н. М. Ч. 1—4. М., 1833) Эта связь ощущается и в образе таинственного Вашиадана, и в истории Вашиадана и Глафиры Лиидиной, напоминающей историю Иммали-Исидоры в «Мельмоте». Можно высказать догадку, что и само заглавие мельгуновской повести было подсказано произведением английского автора: в эпизоде свадьбы доньи Инес (Мельмот Скиталец. Кн. 1 Гл. 3) гости, пораженные странным поведением, демоническим взглядом Мельмота, в смятении повторяют· «Кто же он? Кто?».

[1] О личности, литературной деятельности и общественной позиции Мельгунова см.: К и р п и ч н и к о в А. Между славянофилами и западниками (Русская старина, 1898. Т 96. С. 297—330, 551—585)

Обращает на себя внимание и сходство Вашиадана с лордом Ротвеном, центральным персонажем другого популярного в России тех лет фантастического произведения — повести Полидори «Вампир» (см. с. 606). Наконец, множество точек соприкосновения имеет «Кто же он?» с творчеством Э. Т. А. Гофмана и, в особенности, с новеллой «Магнетизер» из сборника «Фантазии в манере Калло» (1814—1815) (рус. перевод, осуществленный Д. В. Веневитиновым, опубликован в 1827 г. (*МВ*. Ч. 5) под заглавием «Что пена в вине, то сны в голове»). Подобно персонажу Мельгунова, гофмановский герой — магнетизер Альбан — наделен сверхъестественной властью над людьми, он подчиняет своей воле и губит прекрасную Марию, разрушает жизнь ее семьи. Помимо сходства фабул и центральных персонажей обоих произведений, можно отметить и некоторые частные переклички. Так, сцена неожиданного появления Вашиадана у постели больной Глафиры соответствует эпизоду столь же внезапного появления Альбана рядом с испытавшей необъяснимый припадок героиней «Магнетизера». Воздействие гофмановской поэтики чудесного можно видеть в использованном Мельгуновым приеме совмещения подчеркнуто обыденного и фантастического планов. (При этом в изображении московского быта автор «Кто же он?» обращается к наследию Грибоедова. Персонажи повести, сами как бы сошедшие со страниц «Горя от ума», разыгрывают и обсуждают грибоедовскую комедию.)

Наряду с отмеченными конкретными перекличками, в произведении Мельгунова встречается немало мотивов, которые, в силу их широкой распространенности, трудно связать с каким-то одним определенным текстом (мотив магического перстня-талисмана, мистическое значение хронологических совпадений и др.). Список такого рода совпадений между «Кто же он?» и другими, более известными, сочинениями можно было бы продолжить. Однако важно подчеркнуть, что речь в данном случае идет не о вторичности мельгуновского текста. Автор «Кто же он?» вполне сознательно подсказывает читателю ассоциации между собственным героем и персонажами популярнейших фантастических произведений — Вампиром, Мельмотом, Мефистофелем, женихом-призраком, Агасфером, имена которых прямо называются в постскриптуме повести. Возникающие аналогии, казалось бы, должны помочь уяснить природу Вашиадана, подсказать ответ на вопрос, заданный в заглавии произведения. Но всякий раз объяснение оказывается неполным и недостаточным, окончательного отождествления героя с каким-либо из названных персонажей так и не происходит. Не исчезают и колебания между двумя возможными (реальное или сверхъестественное) типами мотивировок происходящего. Загадка Вашиадана остается неразрешенной.

Выход «Рассказов о былом и небывалом» был заинтересованно и, в целом, благосклонно встречен критиками различной ориентации, отмечавшими мастерство Мельгунова-повествователя, занимательность его сюжетов. Так, О. И. Сенковский писал о вошедших в двухтомник сочинениях как о «милых рассказах, каких давно не читал по-русски, исключая удивительной „Пиковой дамы" А. С. Пушкина, которая ⟨...⟩ есть верх прелестного русского рассказа» (*БдЧ*. 1834. Т. 3, отд. VI С 5) Те же достоинства были отмечены в сборнике «Северной пчелой», упрекнувшей, однако, автора в недостатке «содержания» (1834, № 100) Близкой к ее отзыву оказалась и рецензия журнала «Московский телеграф» (1834. Ч. 56. С. 149—150). В отличие от названных изданий, содержавших суммарную характеристику «Рассказов», газета Н. И. Надеждина «Молва» остановилась на отдельных вошедших в сбор-

ник произведениях. «В первом томе,— отмечал ее рецензент,— главное место занимают „Пророческий сон" и „Кто же он?". Хотя основная мысль последней повести встречается в „Les Deux Rencontres" Бальзака, изданных года два назад, но мы не обвиним г. Мельгунова, если вспомним, что „Кто же он?" была помещена в „Телескопе" 1831 года[2] Жаль только, что в начале ее автор навел лоск карикатуры на некоторые лица, а в конце сделал прибавления, чтоб объяснить Вашиадана. Не лучше ли б было оставить его без объяснения, чтоб он пронесся перед читателем какой-то мечтой, занимательной, странной, любопытной, как он есть, и потом исчез в бесконечности этой мечты, не привязанной к земле холодностью иронического объяснения, не вошедшего в состав самой повести» (1834. Ч. 7, № 12. С. 185). Спустя некоторое время «Молва» вернулась к оценке повести Мельгунова, опубликовав подписанное псевдонимом «F.» «Письмо к издателю». Делясь впечатлениями от сборника Мельгунова, неизвестный автор писал: «„Кто же он?" раздражит ваше любопытство этим человеком-призраком, этим Вашиаданом, за которым вы гонитесь и которого не поймаете в толпе людей обыкновенных» (1834. Ч. 7. № 14. С. 221).

Кто же он?

Печатается по изд.: [Мельгунов Н. А.] Рассказы о былом и небывалом. М., 1834. Ч. I С. 43—138.

[1] Эпиграф — из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. I, сцена 1). Цитируемые слова принадлежат офицеру Бернардо и представляют собой реплику в разговоре о призраке покойного короля.

[2] *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, публицист, религиозный философ, один из основоположников славянофильства, принадлежал к числу друзей Мельгунова.

[3] ...*они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории.*— Фантасмагория — световые картины и фигуры, получаемые при помощи различных оптических приспособлений, главным образом зеркал.

[4] *Гюллень*-Сор Фелицата Вирджиния (1805— ок. 1860) — французская танцовщица, балетмейстер, педагог; с 1823 г танцевала в России, на сцене московского Большого театра, которую покинула в 1835 г., продолжая вплоть до 1839 г. преподавать и ставить спектакли. *Ришард* (Ришар) Жозеф (1788—1867) — французский танцовщик, ученик Огюста Вестриса, с 1823 г. в России; партнер Гюллень на сцене Большого театра.

[5] *Сен-Жермень* (Сен-Жермен; ум. в 1784 или 1795), граф — вымышленное имя знаменитого авантюриста, мистика, алхимика, утверждавшего, что владеет философским камнем и жизненным эликсиром, который продлевает жизнь, сохраняет молодость. В 1760-х годах Сен-Жермен побывал в России.

---

[2] Имеется в виду повесть Бальзака «Две встречи», входящая в состав цикла «Тридцатилетняя женщина» (рус. перевод — *Т.* 1833. Ч. 13). Ее герой — таинственный, преступный и привлекательный, подчиняющий прекрасную Елену «магической власти» своего взгляда — действительно напоминает Вашиадана. Однако в отличие от Мельгунова Бальзак в конечном счете целиком остается на почве рациональных объяснений произошедшего. К тому же основная проблематика «Двух встреч» отлична от мельгуновской.

[6] *«Горацио! Много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает»* — См. прим. 16 на с. 634.

[7] *Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна.*— Комедия «Горе от ума» (1822—1824) была впервые полностью (но с цензурной правкой) поставлена на профессиональной сцене 26 января 1831 г. в Петербурге, московская премьера пьесы состоялась 27 ноября 1831 г. Опубликована комедия была лишь в 1833 г., однако, начиная с момента написания, текст произведения широко распространялся в списках.

[8] *Антик* — дошедший до нас памятник античного искусства, старинный предмет художественной работы.

[9] *Кузнецкий мост* — одна из центральных улиц Москвы, место сосредоточения разнообразных магазинов.

[10] *Демидов* Павел Николаевич (1798—1840) — представитель семьи русских промышленников и богачей, меценат; учредил так называемые Демидовские премии, предназначенные для награждения авторов лучших отечественных научных работ и печатания их сочинений. Сообщение об учреждении премий появилось в том же номере «Телескопа», где началась публикация повести Мельгунова (см.: Благодетельное пожертвование П. Н. Демидова для поощрения отечественного просвещения // *Т.* 1831. Ч. 3. № 10. С. 255—259).

[11] *Амуры и Зефиры все / Распроданы поодиночке* — Из комедии «Горе от ума» (дейст 2., явл. 4).

[12] *Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами.*— Интересно отметить, что мельгуновским описанием аукциона воспользовался позднее во второй части своей повести «Портрет» (первая редакция 1833—1834, опубл. 1835; вторая редакция 1841—1842, опубл 1842) Н. В. Гоголь. Ср.: «Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для того миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX-й век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была заполнена самою пестрою толпой посетителей 〈...〉» (*Гоголь.* Т III С. 116—117) (Наблюдение В. Д. Денисова.)

[13] *Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.) — афинский военачальник, племянник Перикла, ученик Сократа; яркой особенностью его индивидуальности было сочетание высоких дарований и крайнего своеволия и эгоизма; восхищение вызывала красота Алкивиада. «Личность его,— писал современный Мельгунову немецкий историк античности Б. Г Нибур,— была поистине личностию чарующей, подчинявшей все и всех окрест себя своему влиянию и господству» (цит. по ст. В. М-на «Жизнь Алкивиада».— *С.* 1855. Т. 49. Отд. 2. С. 3).

[14] *Халцедон* — минерал, относящийся к группе кварца; поделочный камень. В древнем мире и в средние века разновидности халцедона употреблялись для изготовления камей, в которых на однообразно окрашенном фоне выступала выточенная фигура другого цвета.

[15] *Уже умолкли звуки моей флейты 〈...〉, а Фамусов еще не являлся.*— Фамусов впервые выходит на сцену в начале 2-го явления 1-го действия.

[16] *В явлении второго действия.* — Имеются в виду 2-е и 3-е явления.

[17] *Протей* — в греческой мифологии морское божество, обладающее способностью принимать разнообразные облики.

[18] *...последние стихи, столь комически довершающие сие оригинальное произведение.* — «А ты меня решилась уморить? / Моя судьба еще ли не плачевна? / Ах! Боже мой! Что станет говорить / Княгиня Марья Алексевна!»

[19] *Петрушка, вечно ты с обновкой...* — Этим монологом начинается 2-е действие комедии.

[20] *...с толком, с чувством, с расстановкой!* — измененная цитата из того же монолога. *Ох, род людской! пришло в забвенье!* — оттуда же.

[21] *Вопреки всем правилам, комедия в четырех действиях!* — Согласно канонам классицизма, «правильная» комедия должна была состоять из пяти действий.

Не говорю уже о том, что она писана вольными стихами... — «Горе от ума» написано имитирующими разговорную речь «вольными ямбами» — ямбическими стихами с неупорядоченным чередованием строк разной длины; традиция же высокой стихотворной комедии, созданной *Мольером* (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622—1673), требовала обращения к так называемому александрийскому стиху, эквивалентом которого в России являлся шестистопный ямб с обязательной цезурой, смежной рифмовкой и чередованием женских и мужских окончаний.

[22] *Кто, кто это?* — Согласно ремарке Грибоедова, в начале 7-го явления второго действия София «теряет чувства» сразу после произнесения стиха «Ах, Боже мой! Упал, убился!», вслед за чем и раздается вопрос Чацкого «Кто? Кто это?». Таким образом, Вашиадан неожиданно произносит свою реплику несколько раньше, чем предусмотрено.

[23] *Вечный жид* — герой средневековой легенды еврей Агасфер, осужденный на вечную жизнь и скитания за то, что не дал Христу отдохнуть (в других версиях — ударил его) по пути на Голгофу; персонаж многих литературных произведений.

[24] *...я не вовсе отвергаю возможности магнетического действия глаз...* — Речь идет о распространенном во второй половине XVIII — начале XIX в. учении австрийского врача Ф. А. Месмера (1733—1815) — «месмеризме». Месмер выдвинул мысль о наличии в природе «животного магнетизма» — особой (целительной или разрушающей) жизненной силы, посредством которой живые существа воздействуют друг на друга на расстоянии. По существовавшим представлениям, магнетизер имел порабощающее влияние на физическую и психическую жизнь магнетизируемого. Несостоятельная с точки зрения позднейшей науки, теория «животного магнетизма» основывалась, однако, на явлениях гипнотизма, впервые открытых Месмером.

[25] *Зонтик* — *зд.:* козырек, закрывающий глаза от яркого света.

[26] *Долбня* — большой деревянный молот или чурбан с рукояткой, трамбовка, колотушка.

[27] *...удушающее ощущение, известное* ⟨...⟩ *под именем домового...* — Имеется в виду представление о том, что домовой иногда, ради шутки, душит сонного.

[28] *...до дня всемирного воскресения...* — Согласно христианскому учению, в день Страшного суда по воле Божией произойдет воскрешение всех мертвых.

[29] *То было в глухую полночь.* — Рассказ Глафиры напоминает грезы других литературных героинь — Светланы В. А. Жуковского (баллада «Светлана», 1812), Софии Грибоедова (4-е явл. 1-го действия «Горя от ума»), пушкинской Татьяны («Евгений Онегин», глава 5; 1826)

[30] *...млечным голосом.— Зд.:* вызывающим забытье, лишающим волн.

[31] *«Она невинна!»* — Контекст повести подсказывает, что имя героини Мельгунова (Глафира — праведная *(греч.)*) имеет значащий характер.

[32] *...Кто же этот Вашиадан?.. ⟨...⟩ привидение ⟨...⟩?* — Из текста повести следует, что в данном случае Мельгунов имеет в виду возможность совершенно конкретного объяснения его таинственного героя путем отождествления с персонажем популярного фольклорно-литературного сюжета — женихом-призраком. Распространенный в эпоху предромантизма и романтизма («Ленора» (1773) Г. А. Бюргера, «Людмила» (1808) и «Светлана» (1812) В. А. Жуковского, «Ольга» (1816) П. А. Катенина и др.) сюжет о свадьбе с мертвецом входил, по замыслу Мельгунова, в литературный фон его повести, подталкивал читателя к ожиданию традиционного, в духе литературы времени, разрешения загадочной ситуации. Традиционализм читательского восприятия обнаруживается и в дальнейших попытках воображаемого оппонента автора разрешить тайну Вашиадана, отождествив его с известнейшими литературными героями эпохи — Вампиром, Мефистофелем.

Вампир — герой широко известной в те годы одноименной повести (см. с. 606). Согласно рассказанному в повести преданию, живущий неузнанным среди людей вампир «каждый год был вынужден питаться жизнию прекрасной женщины, для того, чтобы продлить свое существование на следующие месяцы» (В а м п и р. Повесть, рассказанная лордом Ба́йроном. С приложением отрывка из одного неоконченного сочинения Ба́йрона. (С английского) П. К. М., 1828. С. 29).

[33] *Гаррик* Дейвид (1717—1779) — выдающийся английский актер, удивительно владевший своей мимикой и голосом, с равным успехом выступавший в трагедии и комедии. Характерно, что поразительное искусство перевоплощения, свойственное Гаррику, служит одним из доводов в пользу рационального объяснения таинственных явлений и в романе Ф. Шиллера «Духовидец» (1787—1789) — в споре принца с графом фон О***, близко напоминающем диалог автора и читателя в повести Мельгунова.

[34] *Буше* Александр Жан (1770—1861) — французский скрипач, известный чрезвычайным сходством с императором Наполеоном I; бо́льшую часть жизни провел в гастрольных поездках по Англии, Германии, России.

[35] *Под шляпой, с пасмурным челом, / С руками, сжатыми крестом.*— «Евгений Онегин», глава 7, строфа XIX.

[36] *...отсылаю вас к петербургской волшебнице...*— Видимо, речь идет о поэтессе Анне Александровне Турчаниновой (1774—1848), получившей в петербургских великосветских кругах известность как «целительница-магнетизерка». Сохранилось свидетельство об интересе к способностям Турчаниновой со стороны А. С. Пушкина; по словам мемуариста, поэт «много говорил о Турчаниновой, которая тогда удивляла всех своим глазным магнетизмом» (Ц я в л о в с к и й М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1981. С. 295).

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

(1800—1844)

Один из крупнейших русских поэтов XIX столетия, Е. А. Баратынский, практически неизвестен как автор сочинений в прозе. Действительно, его прозаическое наследие невелико. Публикуемая же в настоящем сборнике повесть «Перстень» — единственный в творчестве Баратынского образец произведений этого жанра. Между тем интерес писателя к прозе был длительным и постоянным. Еще в 1824 г. появляется его сатирическая аллегория «История кокетства». К началу следующего десятилетия относятся литературно-полемические выступления поэта, в письмах конца 1820-х — начала 1840-х годов содержатся сведения о работе Баратынского над прозаическим романом, не завершенным и не дошедшим до нас. В наибольшей же степени, как это показывает и переписка, и лирика писателя, прозаические замыслы, а также теоретические проблемы развития русской прозы занимали Баратынского на рубеже второго и третьего десятилетий прошлого века. По его мнению, современность требовала создания некоего «эклектического» романа, который объединил бы традицию объективного изображения мира с традицией субъективного изображения душевной жизни человека: «Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом ⟨...⟩. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете» (письмо к И. В. Киреевскому от июля 1831 г. // Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 497). В русле этих идей и может быть рассмотрена повесть «Перстень», с воплощенной в ней попыткой объединить чудесное и обыденное, картины быта и раскрытие внутреннего мира героев, авторскую тенденцию и истину характеров и положений.

Работа Баратынского над «Перстнем» шла на протяжении 1831 г. «У меня ⟨...⟩ есть повесть, которую в скором времени вам доставлю»,— сообщал поэт весной (предположительно в апреле) 1831 г. одному из активных сотрудников «Литературной газеты» М. Д. Деларю (цит. по кн.: Хетсо Гейр. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo; Bergen; Tromsö, 1973. С. 596). Вероятно, к тому же времени относится упоминание о «Перстне» в письме Баратынского к И. В. Киреевскому — в ту пору наиболее близкому из его друзей: «Я буду у тебя завтра. ⟨...⟩ Написал ли ты повесть? Моя готова» (Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 8). Планы публикации «Перстня» в «Литературной газете» не осуществились: в июне 1831 г. ее издание было прекращено. Работа же писателя над повестью продолжалась и позднее. Летом 1831 г. он покинул Москву и 29 ноября, находясь в Казанской губернии, извещал Киреевского, приступившего к изданию журнала «Европеец»: «Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: „Перстень". ⟨...⟩ Все это посредственно, но для журнала годится» (Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 507). В декабре «Перстень» был доставлен в Москву и вскоре появился в «Европейце» (1832. Ч. 1, № 2. С. 165—187; подпись: Е. Баратынский), не вызвав, впрочем, сколько-нибудь заметного отклика читателей и критиков.

В научной литературе не раз высказывалась мысль о том, что в процессе создания беллетристического опыта Баратынского роль импульса сыграло знакомство автора с «Повестями Белкина», произошедшее в начале декабря 1830 г. При этом речь должна идти не просто об

особом значении пушкинского цикла в творческой истории «Перстня», но и о типологической близости обоих сочинений. Как и у Пушкина, в повести Баратынского необыкновенные характеры и ситуации погружаются в течение повседневности. Как и у Пушкина, активную смыслообразующую роль играет литературный фон произведения. Подобно тому, как это происходит в «Метели» или «Барышне-крестьянке», герой «Перстня» воспринимает свою жизнь сквозь призму традиционных литературных ситуаций, и этот взгляд приходит в соприкосновение с реальностью...

Безусловно, «Повести Белкина» являются одной из координат, в системе которых необходимо рассматривать сочинение Баратынского. Однако, говоря об обстоятельствах создания «Перстня», важно указать и на его связь с другим прозаическим произведением, очевидно, ставшим известным поэту в одно время с пушкинским циклом,— «волшебной сказкой» Киреевского «Опал» (см. с. 211). Разумеется, мысль о том, что Баратынский сознательно соотносил свою повесть с «Опалом», гипотетична. Но с учетом тесного (как личного, так и эпистолярного) общения обоих писателей в тот период, с учетом их прекрасной осведомленности в творческих замыслах друг друга, обилие точек соприкосновения между произведениями Киреевского и Баратынского представляется неслучайным. «Опал» и «Перстень» связаны единством основной темы («жизнь в мечте»), сходством фигур центральных героев, рядом характерных мотивов (сна, кольца-талисмана)[1]. При этом в трактовке общих вопросов обе повести находятся в отношении внутренней полемики, представляют во многом противоположные варианты разрешения ключевых для эпохи мировоззренческих и эстетических проблем (апология мечты у Киреевского — пафос доверия к действительности у Баратынского, аллегоризм «Опала» — стремление к жизнеподобию в «Перстне» и т. д.). Интересно, что при всей очевидности общих различий и Баратынский, и Киреевский сходным образом развивают мысль об особой подлинности событий, совершившихся в воображении человека, о неизгладимости следа, оставленного ими в его душе.

Отмеченные выше литературные параллели к «Перстню» касаются обстоятельств создания, формирования замысла этого произведения. Наряду с ними важно остановиться и на аналогиях, *непосредственно* входящих в сознание читателя, играющих конструктивную роль в формировании его восприятия текста. Отчетливая «литературность» — одна из важнейших характеристик повести Баратынского. Так, уже отмечена ее близость новелле американского писателя Вашингтона Ирвинга «Саламанкский студент» (рус. перевод: Сын отечества. 1829. Т. 5) (см.: Х е т с о Гейр. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. С. 418). Однако это сопоставление не является ни единственно возможным, ни основным. В «Перстне» своеобразно препарируется целый ряд «вечных» сюжетов — о магическом кольце царя Соломона, похищенном демоном Асмодеем, о договоре человека с дьяволом (в фаустовском его варианте), о вечном скитальце грешнике Агасфере (см. прим. 23 на с. 619). Прием ассоциативных сопоставлений, «наложения» персонажей и ситуаций

---

[1] Норвежский исследователь Гейр Хетсо предложил убедительное истолкование фамилии Опальского, производя ее от слова «опала» (Х е т с о Гейр. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. С. 418—419). Отметим все же, что она выразительно звучит и на фоне заглавия «сказки» Киреевского — «Опал», особенно если учесть бытующее представление об опале как о камне несчастия.

собственного произведения на широко известные образы и сюжеты — один из распространенных в романтической литературе, где он становится способом прояснения авторского замысла, выявления его философской перспективы. Сближение с образами Мельмота, Фауста, Агасфера позволяет Баратынскому поддержать ощущение загадочности Опальского, оно в определенном направлении формирует читательские ожидания, пока, наконец, не возникает наиболее точная, хотя и неожиданная ассоциация Опальский — Дон Кихот, дающая ключ к концепции произведения. Своеобразие же «Перстня» проявляется в том, что это итоговое сопоставление не отменяет и прежних аналогий с названными персонажами, варианты судеб которых были пережиты безумным героем в его воображении.

Перстень

Печатается по изд.: Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 446—458. Текст вновь сверен с первой публикацией.

[1] *Ябедник* — клеветник; человек, занимающийся сутяжничеством.

[2] *Заимодавец протестовал вексель...* — то есть официально заявлял о неуплате по векселю в указанный срок; при взыскании долга держатель протестованного векселя имел ряд преимуществ.

[3] *Филипп II* (1527—1598) — испанский король с 1556 г.; ревностный католик, поддерживал инквизицию, особенно свирепствовавшую в годы его правления. Как видно, указание на время царствования Филиппа II как на время юности Опальского противоречит предшествующему упоминанию о возрасте героя (450 лет).

[4] *...рылся в кабалистических книгах...* — Кабала *(древнеевр.)* — мистическое учение в иудаизме, до нового времени дошло в форме, сложившейся в Европе в средние века. Так называемая практическая кабала основана на вере в чудодейственную силу специальных ритуалов, чисел и формул.

[5] *Яркие огни стали вылетать* ⟨...⟩ *одни за другими;* ⟨...⟩ *но свет их не разогнал тьмы, его окружающей.* — Заслуживающая внимания деталь текста: герой Баратынского оказывается в царстве зла. Ср эпиграф к незавершенному произведению В. Ф. Одоевского «Сегелиель» (начато в 1832 г.): «Когда свет проницает тьму, то она еще не есть собственно зло, но претворяется в зло тогда, когда свет ее уже совершенно оставляет, как можно сие видеть на Луцифере, который теперь совсем лишен света и соделался основанием тьмы и зла. Мистики XVI-го века» и далее в тексте самого «Сегелиеля»: «Бесконечное пространство между светилами. Низверженные духи падают в беспрерывном кружении. ⟨...⟩ Вечная тьма, не освещаемая даже горящими кометами» (*Сакулин.* Т. I. Ч. 2. С. 52—53). Рассуждениям о «темном мире» посвятил «трактат четвертый» своей «Божественной и истинной метафизики...» Д. Пордеч (см. с. 626).

[6] *Неофит* — новообращенный в какую-либо религию.

[7] *Эккартсгаузен* Карл, фон (1752—1803) — немецкий писатель, автор юридических, беллетристических, а впоследствии натурфилософских и мистических сочинений, большинство которых было переведено в России (в том числе и знаменитый «Ключ к таинствам натуры». Ч. 1—IV. 2-е изд. СПб., 1821).

[8] *...кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!..* — Эпизод

кончины Опальского, предшествуемой прозрением героя, близко напоминает финал романа Сервантеса «Дон Кихот» (Ч. 2, гл. LXXIV), что лишний раз подчеркивает «донкихотовские» черты фабулы и главного героя «Перстня».

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
(1804—1869)

В 1845 г. Одоевский, уже фактически распрощавшись с литературной деятельностью и как бы подводя ей итог, с горечью признавался в письме к другу своей московской юности А. С. Хомякову: «Странная моя судьба,— писал он,— для вас я запоздалый прогрессист, для Петербурга — отъявленный старовер-мистик; это меня радует, ибо служит признаком, что я именно на том узком пути, который один ведет к истине» (Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1970. XV. С. 344). «Узким», самобытным путем следовал Одоевский и в своем творчестве.

Князь В. Ф. Одоевский — писатель, мыслитель, журналист, музыкальный теоретик и критик, общественный деятель — и в самом деле, одна из ярких и оригинальных фигур в истории русской культуры. Современник нескольких литературных поколений, всегда находившийся в центре интеллектуальной жизни, он вошел в нее как один из вдохновителей известного философского кружка любомудров, объединившего в преддекабрьские годы цвет московской молодежи; как смелый и острый журналист, издававший вместе с В. К. Кюхельбекером знаменитый альманах «Мнемозина»; философские апологи и социально-обличительные рассказы этого времени снискали ему первую писательскую известность. Позже, уже в зените славы, мы видим его в пушкинском кругу, сподвижником поэта по изданию «Современника». И, наконец, никто иной, как Одоевский — аристократ по происхождению, демократ по убеждениям — одним из первых приветствовал преемников Пушкина — Гоголя и Достоевского, одним из первых протянул руку признания и помощи Белинскому и Кольцову. Создав в «Русских ночах» тип русского Фауста, искателя истины, Одоевский и собственное жизненное кредо мог бы определить как неустанный поиск смысла жизни.

Расцвет писательской деятельности Одоевского принадлежит эпохе романтизма. В качестве одного из создателей жанра русской философской романтической новеллы он занял здесь особое место. Его произведения, вобравшие в себя широчайший круг историко-культурных, философских, литературных ассоциаций, несут отпечаток высокого интеллектуализма и уникальной эрудиции автора. Эта реминисцентная «плотность» нередко путала и сбивала с толку и современников, и последующих исследователей его творчества.

Однако, пожалуй, наибольшую загадку и по сегодняшний день представляют фантастические повести писателя, своеобразие которых можно определить лаконичной формулой самого Одоевского, сложившейся у него под впечатлением фантастических новелл Эдгара По: «И фантастизм и анализ». Аналогов именно такой двойственности в понимании природы фантастического нет, пожалуй, в это время ни у одного из писателей. «Вообще если мы не имеем права отвергать сверхъестественного, то есть недоступного ни положительным, произвольным опытам, ни вычислениям, ни измерениям,— писал он как-то сестре Пушкина О. С. Павлищевой,— то точно так же мы не вправе

допускать сверхъестественного и в тех случаях, где мы не истощили всего запаса наших сведений и всех возможных приемов наблюдения» *(ОР ГПБ,* ф. 539, оп. 1, пер. 79, л. 58).

Пытливый интерес Одоевского вызывают необычайные факты, погруженные в быт и так или иначе проявляющиеся в повседневном течении жизни, в тесном переплетении с житейской реальностью. Недаром первый опыт их систематизации и теоретического анализа — известные «Письма к графине Е. П. Ростопчиной о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках» (ОЗ. 1839. Т. I. № 1, отд. VIII. С. 1—16; Т. II, № 2-3, отд. VIII. С. 1—16; Т. V, № 8-9, отд. VIII. С. 12—26) — строятся на демонстрации накопленных примеров такого рода. В своих фантастических произведениях Одоевский, как правило, «задает» самые разнообразные «мистические» загадки, часть из которых разрешается бытовыми и психологически обосновавными реалиями, но часть остается и неразгаданной. Обилие исторических атрибутов, таинственный флер, окутывающий повествование, сближают эти произведения с европейскими образцами той самой мистико-романтической новеллы, которая в 1830-е годы воспринималась уже как анахронизм и против которой сам писатель так страстно восставал.

Типы фантастики у Одоевского разнообразны. Начав с гротескной фантастики «Пестрых сказок» (1833), близких традициям позднего немецкого романтизма, Одоевский вместе с тем привносит в них социальную заостренность. Так, представленные в настоящем сборнике две сказки этого цикла — «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Та же сказка, только наизворот» — отмечены почти публицистической злободневностью.

Первая из них, под псевдонимом «Вл. Глинский», появилась вначале в альманахе «Комета Белы» (СПб., 1833. С. 259—278). В дальнейшем рассказ дважды подвергался авторской правке: при включении его в «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным» (СПб., 1833. С. 89—102) и в собрание сочинений писателя, вышедшее в 1844 году (она вошла в раздел «Отрывки из „Пестрых сказок"»; здесь же впервые появилось и авторское примечание). Была включена в собрание сочинений и «Та же сказка, только наизворот».

Одновременно обращается Одоевский и к другому источнику, и позже питавшему его творческое воображение — к фольклору, к устной народной легенде. В тех же «Пестрых сказках» появляется «Игоша» — первое произведение писателя, основанное на редком фольклорном сюжете, зафиксированном, однако, В. Далем, от которого, возможно, Одоевский его и услышал (см.: Турьян М. А. «Игоша» В. Ф. Одоевского (К проблеме фольклоризма) // Русская литература. 1977. № 1. С. 132—136). Это, кстати, и первая «пьеса», которую Белинский выделил в творчестве Одоевского как самый ранний образец подлинно фантастического рассказа *(Бел.* Т. VIII. С. 314). Примечательно, что спустя десятилетие при подготовке собрания своих сочинений Одоевский существенно переработал «Игошу» и, изъяв его из «Пестрых сказок», перенес в раздел под названием «Опыты рассказа о древних и новых преданиях», которому предпослал обширное авторское предисловие. В нем он, по существу, сформулировал свое философское и эстетическое понимание фольклора как бесценного источника многовекового национального духовного опыта, запечатленного в преданиях «памяти ума» и «памяти сердца». Поэтому неудивительно, что уже в трактовке сюжета народной

былички ясно ощутим тот аналитический подход, который стал определяющим в последующих крупных фантастических повестях Одоевского.

Несомненно важным этапом в формировании поздней философской, «психологической» фантастики Одоевского явилась его небольшая новелла «Орлахская крестьянка», написанная в 1836 г., но впервые опубликованная в «Отечественных записках» в 1842 г (т XX, № 1 С. 240—253, с датой: 1838) Это — единственное завершенное произведение из задуманного им цикла «Бесиующиеся» «Орлахская крестьянка» основана на современной писателю и нашумевшей в свое время подлинной истории немецкой девушки-«прорицательницы» Магдалины Громбах из Орлаха, истории, зафиксированной позже немецкими учеными и рассказанной Одоевским по горячим следам, еще при жизни Громбах. Однако его интерес к бытовой, народной мистике, проявившийся впервые в «Игоше», осложнен здесь целым комплексом философских проблем — в частности, живо интересовавшей писателя идеей средневековых философов о непрерывной связи времен и человеческих судеб, в значительной мере подвергаемой им естественнонаучному переосмыслению. Именно поэтому рассказ — или, точнее, психологический этюд — о ясновидящей из Орлаха, изложенный отчасти в фольклорном, отчасти в физиологическом ключе, носит полуочерковый, полуновеллистический характер. «Орлахскую крестьянку» сочувственно заметил А. В. Кольцов, назвавший ее в письме к Белинскому повестью «глубокой, превосходной и мастерски рассказанной» (Кольцов А. В. Поли. собр. соч. СПб., 1909. С. 269).

Один из черновых набросков, сохранившихся в архиве Одоевского, позволяет предполагать, что первоначально сюжет «Орлахской крестьянки» возник как составной эпизод другой большой фантастической повести, в некоторых деталях восходящей, по-видимому, к следующему из представленных здесь его произведений — «Космораме». Созданная спустя год после «Орлахской крестьянки», повесть эта тем не менее появилась на страницах тех же «Отечественных записок» на два года ранее, в 1840. Несомненная связь, существующая между двумя этими замыслами, дает существенные ориентиры для понимания одного из самых «таинственных» и сложных повествований Одоевского. Подкрепляет эти ориентиры и посвящение Е. П. Ростопчиной — той самой Ростопчиной, которой в том же 1839 году адресовал он уже упоминавшиеся здесь «Письма», где загадочные «физиопсихические» явления объяснялись новейшими научными открытиями. С известной долей допущения «Космораму» можно было бы назвать последним, самым интригующим «письмом» просвещенной графине.

Вместе с тем дошедший до нас фрагмент плана повести отчасти раскрывает еще одну грань авторского замысла: «В Космор⟨аме⟩ представить олицетворенные борения, которые испытывает отшельник, так что для него есть поле для самопожертвования, для гордости, для глупости и проч. т. п.» (*ОР ГПБ*, ф. 539, оп. 1, пер. 48, л. 51).

В «Космораме» сохранен, однако, избранный писателем идейно-философский принцип соединения фантастического и рационального начал. Мистические элементы повести — теософские мотивы «звездной» жизни, восходящие к космографии английского философа-мистика Джона Пордеча (1625? —1698), темы инобытия, существования человека в двух ипостасях, как в «Орлахской крестьянке», мотив «круговой поруки» — все это причудливо соседствует с авторским предисловием, исполненным лукавой иронии, с живо выписанными сценками старомосковского быта.

И тем не менее мастерская игра двумя планами, захватывающая

читателя, не приводит к полной разгадке таинственных событий, происходящих в повести: «тайна» остается. И потому, что таков закон жанра, и потому, что Одоевский всегда и в художественных произведениях ставил себе философскую и, если угодно, научную сверхзадачу, исследуя феномен, недоступный еще человеческому пониманию.

Через несколько лет писатель вернулся к повести еще раз. Сохранились сведения о том, что первоначально он предполагал включить в собрание своих сочинений и «Космораму». В его договоре с книгоиздателем А. И. Ивановым, публиковавшим «Сочинения», под пунктом 5 значится: «Я князь Одоевский обязан уступить 1200 экземпляров третьего тома моих сочинений, содержащий в себе: Записки Гробовщика и Космораму за пятьсот семьдесят один рубль сорок две копейки шесть седьмых серебром, если г. Иванов впоследствии то пожелает, если же он не изъявит на то свое согласие, то волен я оным располагать по своему произволению» (9 сент. 1843 г.— *ОР ГПБ*, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 5, л. 1 и об.). Авторская правка на журнальном экземпляре повести, хранящемся в архиве писателя, была связана, возможно, с подготовкой текста к этому изданию (см.: *Сакулин*. Т. I, ч. 2. С. 82. Прим. 2). Однако в окончательный состав «Сочинений» «Косморама» по неизвестным причинам включена не была.

Фантастика представлена в творчестве Одоевского еще одной особой разновидностью — довольно редкими в русской литературе того времени жанрами утопии и социально-фантастического рассказа, своеобразно воплотившими социальные, политические и философские раздумья писателя.

Первый его опыт в жанре философской утопии относится еще к 1825 году — времени написания отрывка под названием «Два дни из жизни земного шара» (*МВ*. 1828. Ч. IX, № 14. С. 120—128). Поводом к его созданию явились прогнозы европейских ученых о новом появлении кометы Галлея и неминуемом ее столкновении с Землей. В своем наброске апокалиптического конца мира Одоевский, однако, противопоставляет «ложной» немецкой «астрологии» (по слову его друга Н. М. Рожалина) шеллингианскую антитезу, основанную на вере в абсолютную силу троичности: высшими законами мироздания человечеству неуклонно предопределено три ступени развития. Именно с этих позиций он отвергает идею гибели Земли, не достигшей еще своей «возмужалости»: «беззаконная комета», по его убеждению — лишь испытание, но не знак конца. Этим основным представлениям о судьбах человеческой цивилизации Одоевский остался верен и спустя полтора десятилетия в неоконченном «фантастическом романе» (определение О. Цехновицера, см. с. 628), «4338-й год».

Однако между двумя этими утопиями писатель создал еще один рассказ, который условно также может быть отнесен к жанру фантастического. Речь идет о «Городе без имени» (1839),— по словам Белинского, «прекрасной, полной мысли и жизни фантазии князя Одоевского» (*Бел*. Т. III. С. 124). Написанный в 1839 г. и тогда же опубликованный в «Современнике» (*С*. 1839. Т. 13, разд. VI. С. 97—120) с посвящением другу писателя А. И. Кошелеву, рассказ уже тогда предназначался Одоевским в собрание сочинений, куда он должен был войти в составе «Русских ночей» (Ночь пятая). Журнальной публикации сопутствовало следующее примечание: «Из Полного собрания сочинений князя Владимира Федоровича Одоевского. Эта книга в непродолжительном времени выйдет в свет».

«Фантазия» эта — социальный гротеск, направленный против все более распространявшихся в буржуазной Европе идей родоначальника

философии социального утилитаризма, английского юриста и философа Иеремии Бентама (1748—1832). Современный исследователь усматривает, между прочим, явное ее влияние на сновидческое пророчество Раскольникова (в эпилоге «Преступления и наказания») «о гибели цивилизации, основанной на ложном принципе» (Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский // Русская литература. 1974. № 3. С. 205). Тема эта становится в творчестве Одоевского лейтмотивной — она нашла, например, свое отражение еще в двух рассказах этого времени: «Черной перчатке» (1838) и «Душе женщины» (1841).

Более сложной и многообразной по мысли предстает утопия «4338-й год», задуманная первоначально писателем как последняя часть трилогии; первые две части соответственно должны были быть посвящены времени Петра I и современной Одоевскому эпохе — 1830-м годам.

Замысел трилогии осуществлен не был (в 1835 г. в «Московском наблюдателе» появился лишь отрывок из второй части — «Петербургские письма» (Ч. I. С. 55—69)). «4338-й год» также не доведен до завершения, однако написанная его часть вполне дает представление об утопических идеалах Одоевского — научных, культурных, социально-политических: о русском мессианстве и победном шествии технического прогресса, о России как средоточии и вершине будущей цивилизации. Однако нарисованное им «царство Разума» являет собой скорее царство технократии, нежели демократии; социальная структура его «общества будущего» — по существу, просвещенная автократия.

Поразительна провидческая сила утопии, пророческое видение сегодняшнего мира. Современные зарубежные исследователи считают «4338-й год» в числе наиболее значительных фантастических романов «доуэллсовской эры» в европейской литературе, а его создателя — одним из родоначальников типа научной фантастики, представленного сегодня творчеством таких писателей, как Станислав Лем (см.: Cornwell Neil. V. F. Odoyevsky: His life, times and milieu. London, 1986. P. 66).

Впервые одни из фрагментов «4338-го года» (первая часть не полностью) был напечатан в альманахе В. Владиславлева «Утренняя заря» на 1840 год (СПб., 1840. С. 307—352, подп.: «Кн. В. Одоевский»). Сюда вошли пять «Писем», в окончательной нумерации соответствующие 2-му, 3-, 4-, 5- и 7-му; предисловие здесь отсутствовало.

Наиболее полный текст с включением неизвестных ранее в печати фрагментов, прямо или предположительно относящихся к утопии, был опубликован О. Цехновицером («4338-й год. Фантастический роман». М., 1926; в прим. к этому изд.— наиболее полный свод указаний на архивные источники реконструированного текста. См. также: *Сакулин*. Т. I, ч. 2. С. 179—180, прим.) и в том же виде перепечатан им еще раз (в кн.: Одоевский В. Ф. Романтические повести. Л., 1929).

Яркое своеобразие фантастической прозы Одоевского делает ее одним из интереснейших явлений русского романтизма.

Игоша

Впервые: Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. СПб., 1833. С. 89—102.

Печатается по изд.: Сочинения князя В. Ф. Одоевского: В 3 ч. СПб., 1844. Ч. 3. С. 47—56.

[1] *Хомяков* Алексей Степановнч — см. прнм. 2 на с. 617.
[2] *Постромка* — деталь конской упряжи (ремень нли веревка).
[3] *...на завражке...— зд.:* на краю оврага, обрыва; завражье — часть селення, расположенная за оврагом.
[4] *Отрушить* — отрезать илн откроить что-либо.
[5] *Летось* — наиболее распространенное: в прошлом году, прошлым летом.
[6] *...лошадей бережет, гривы им заплетает...*— согласно народному поверью домовой «лошадям, которых любнт, заплетает на грнве косы и подкладывает сено» (Ч у л к о в М. Словарь русских суевернй. СПб., 1782. С. 157).
[7] *Шлея* — часть упряжн в внде ремня, прнкрепленного двумя концамн к хомуту н огнбающего все туловнще лошадн.
[8] *Валежки — зд.:* кожаные рукавицы.
[9] *...коленкоровый чепчик...*— коленкор — тонкое хлопчатобумажное полотно.
[10] *...канифасную кофту...*— каинфас — старннное названне льняной полосатой тканн.

Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту

Печатается по нзд.: С о ч н н е н н я князя В. Ф. Одоевского: В 3 ч. СПб., 1844. С. 195—207.

[1] *madame de Genlis.*— Мадам *Жанлис,* Мадлен Фелнсите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830) — французская писательннца, пользовавшаяся в свое время большой популярностью, в том чнсле н в Росснн. Помнмо шнроко читавшихся сентиментально-нравоучительных романов из жнзнн светского общества получнлн нзвестиость и книги, специально напнсанные Жанлнс для детей герцога Орлеанского, которых она воспнтывала (начало 1780-х). Возвращениая Наполеоном нз эмиграцнн во Францню (1801), обучала н его правнлам «хорошего тона».
[2] *Блонда,* нлн блонды — шелковое кружево.
[3] *...пробило тринадцать часов...*— однн нз черновых набросков в архиве Одоевского, представляющий собой иачало предполагавшегося продолження «Косморамы», озаглавлен «Тринадцатый час» н открывается словами: «Между полуночью и часом утра проходнт страиное время, ие замечаемое земными часами, но которое ощущается душою, нбо оиа в этот чудный час прожнвает века» *(ОР ГПБ,* ф. 539, оп. 1, № 20, л. 110).
[4] *Мариина баня* — от слова: «мара» (в ннзшей европейской н славянской мнфологии имеющего общее значенне: «злой дух»); в иекоторых областях Росснн (иапр., Воронежская губ.) «марами» имеиовались женщииы, заннмавшиеся колдовством: собранные по ночам травы онн варнлн в горшке до появлення пара, вместе с которым уиосились в трубу (см.: З а б ы л и н М. Русский иарод. Его обычан, обряды, предания, суеверня и поэзня. М., 1880. С. 239). Здесь, очевндно, употреблеио в значенин сосуда с колдовским зельем.
[5] *Реторта — зд.:* перегонный сосуд.
[6] *...Честерфильдовы письма...*— Честерфнлд Фнлнп Дормер Стенхоп (1694—1773) — английский пнсатель, завоевавшнй наибольшую нзвестность как автор «Пнсем к сыну» (1774), представлявшнх собой

свод наставлений и рекомендаций в духе просветительских идей. Узкопрактически «Письма» представляли собой программу воспитания великосветского человека.

[7] *Контраданс*, или контрданс (от *англ.* country dance — сельский танец) — бальный танец, восходящий к английскому народному танцу, в котором группы танцующих, сменяя друг друга, повторяют одни и те же движения. На основе контрданса возникли его разновидности: кадриль, экоссез, котильон и др.

[8] *Кобчик* — птица из семейства соколиных; на самом деле — серо-голубого оперения с коричневыми пятнами.

Та же сказка, только навыворот

Печатается по изд.: Сочинения князя В. Ф. Одоевского: В 3 ч. СПб., 1844. Ч. 3. С. 208—221.

[1] *Эпиграф* взят из 2-й части «Страданий юного Вертера» И. В. Гете; приведен по изданию: Гете. Страдания Вертера. С немецкого Р. ⟨Н. М. Рожалин⟩. Ч. 1—2. М., 1828. Ч. 2. С. 17.

Николай Матвеевич *Рожалин* (1805—1834) — переводчик, знаток немецкой литературы и философии, член московского кружка любомудров, друг Одоевского.

[2] *Стразбуржская колокольня* — имеется в виду колокольня одного из знаменитых готических соборов Франции — Нотр-Дам в Страсбурге (XI—XVI вв.). Здесь, очевидно, речь идет о бронзовых часах, по конфигурации представляющих собой копию архитектурного творения.

[3] *...Рафаэль и Корреджио...*— Рафаэль (Раффаэлло Санти; 1483—1520); Корреджо Антонио Аллегри (ок. 1489— ок. 1534) — великие живописцы итальянского Высокого Возрождения, пользовавшиеся в это время в России едва ли не равной известностью и любовью. О «нежном, чувствительном Корреджио» писал как-то в письме к Н. И. Гречу Пушкин (см. его письмо от 4 дек. 1820 г. // *Пушкин*. Т. XIII. С. 21).

[4] *Когда выйдут из обыкновения ⟨...⟩ ложиться спать в 10?* — Этот иронический выпад Одоевского против обывательских представлений о «нравственности» имеет более широкий контекст, подразумевающий также и резкое неприятие европейского буржуазного «систематизма», оказывающего, по мысли писателя, пагубное влияние на русское национальное сознание. В сентябре 1831 г. он писал М. П. Погодину: «...чтобы меня, русского человека, т. е. который происходит от людей, выдумавших слова *приволье* и *раздолье*, не существующие ни на каком другом языке,— вытянуть по басурманскому методизму? Не тут-то было! Та ли у нас природа, принимая это слово во всевозможных значениях?.. Так и все наши великие люди и ваш Петр, и Потемкин, и Безбородко, и ваш покорный слуга. Не даром же между ними и климатом такое соотношение. Что на это скажете, милостивый государь? Ничего! Не правда ли? Так не удивляйтесь же, что я по-прежнему не ложусь в 11, не встаю в 6, не обедаю в 3— и к вящему вашему прискорбию объявляю, что и письмо это пишу к вам в 2 часа с половиною за полночь» (цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. III. С. 343). Эти идеи получили в дальнейшем у Одоевского широкое развитие.

[5] *Озирис* или Осирис — в египетской мифологии бог производительных сил природы, научивший людей земледелию, садоводству, виноделию и называемый в древних текстах «живой водой»; царь и судья загробного мира. В греко-римскую эпоху культ Осириса получил

широкое распространение в Западной Азии и Европе. *Тифон* — в греческой мифологии одно из чудовищ, сын земли Геи и Тартара, побежденный Зевсом. В антитезе Одоевского Осирис олицетворяет животворящее начало пользы, добра и справедливости, Тифон же — злые, темные силы.

[6] *Анжело* — вероятно, имеется в виду итальянский художник Раннего Возрождения Анжелико (Фра Джованни да Фьезоле, ок. 1400—1455), чье искусство отмечено одухотворенной красотой и светлым лиризмом.

[7] *...гостиная, как женщина, о которой говорит Шекспир, ⟨...⟩ доказывать сызнова!* — Какие именно слова Шекспира имеет в виду Одоевский, неясно; формулы подобного рода встречаются в нескольких произведениях драматурга.

[8] *...лукавый дернул меня тиснуть ⟨...⟩ в одном альманахе...* — Имеется в виду «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту».

[9] *...не хуже моего Ивана Севастьяныча Благосердова...* — Одоевский упоминает приказного из своей «Сказки о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» (1833), также вошедшей в состав «Пестрых сказок».

[10] *...овеял гармоническими звуками Бетговена...* — Одоевский восхищался гением Бетховена и был одним из первых пропагандистов его творчества в России, оценивших новаторский характер музыки великого венца. Писатель считал, что наряду с Бахом и Моцартом Бетховен открыл «новую эпоху передового движения в музыке». За несколько лет до «Сказки...» им была создана новелла «Последний квартет Бетховена», явившаяся одной из первых в мировой «бетховениане» интерпретаций личности и творчества композитора (см.: Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956. С. 58—60, 645—648; Алексеев М. Бетховен в русской литературе // Русская книга о Бетховене. М., 1927 С. 158—161).

[11] *...вдохнул ей искусство страдать и мыслить...* — парафраза из «Элегии» Пушкина («Безумных лет угасшее веселье...»): «Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» Эта цитация свидетельствует о том, что «Элегия» была известна Одоевскому в рукописи: написанная в 1830 году, она была опубликована Пушкиным лишь в 1834-м в «Библиотеке для чтения» (т VI)

Орлахская крестьянка

Печатается по тексту журнальной публикации *(ОЗ.* 1842. Т. XX. № 1. С. 240—253) с уточнениями по беловой копии *(ОР ГПБ,* ф. 539, оп. 1, пер. 27, лл. 28—44)

[1] *Шведенборг* — Сведенборг Эмануэль (1688—1722) — шведский ученый-естествоиспытатель и теософ-мистик. С начала 1740-х годов начал развивать идеи спиритуалистической натурфилософии; с 1745 г. стáновится духовидцем. Был близок неоплатоникам и кабалистам. Сочинения последнего периода посвящены в основном толкованию Библии и изложению учения о точных соответствиях («корреспонденциях») явлений земных и «потусторонних». Оказал глубокое влияние на литературу и искусство романтизма. Одоевский серьезно интересовался поздним Сведенборгом. В его личной библиотеке сохранилось девять сочинений философа (см.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. С 450—451, № 3754—3762)

Эпиграф представляет собой, скорее всего, вольный перевод самого Одоевского из предисловия к одному из них: «De Ultimo Iudicio, et de Babylonia destructa...» Londini, 1758 («О страшном суде и гибели Вавилона». На владельческом экземпляре сохранились пометы и записи Одоевского). Первое сочинение Сведенборга по-русски — «О небесах, о мире духов и об аде» — было издано в Лейпциге в 1863 г.

[2] *...наше пристрастие* ⟨...⟩ *это светлое состояние!..*— Эта тирада восходит к толкованиям библейского учения о грехопадении французским философом-мистиком Луи Клодом де Сен-Мартеном (1743—1803), идеями которого Одоевский был долгое время увлечен, и Джоном Пордечем. Сен-Мартен говорит о том, что богатые одежды, украшенные драгоценностями, служат лишь смутным отголоском воспоминаний о другой, блестящей, «духовной» одежде, которой некогда обладал человек. Теософская символика Пордеча также оперирует понятием ангельских «яснoблистающих одежд» — с теми же драгоценными камнями, которые «представляют разные грани и воды всех драгоценных камней сего мира, кои суть только мрачные тени сих ангельских драгоценных камней» (см.: Л е м а н Б. Сен-Мартен, Неизвестный философ, как ученик Мартинеца Пасквалиса. М., 1917. С. 72—73; И.⟨оанн⟩ П.⟨ордеч⟩. Божественная и истинная метафизика, или Дивное и опытом приобретенное ведение невидимых и вечных вещей, состоящее в трех частях. Ч. 2. Трактат третий «Об ангельском мире». ⟨М., 1786⟩. С. 598—599; *Сакулин.* Т. I, ч. I. С. 401—402, 433). Ср. с «Психологическими заметками» Одоевского — в его кн.: «Русские ночи». Л., 1975. С. 221

[3] Описание этого случая см.: P e r t y M. Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig; Heidelberg, 1861. S. 330—332. Подлинный участник этой истории был не разбойником, как у Одоевского, а монахом. Эта «поправка» могла быть вызвана цензурными соображениями.

[4] *...прислушайтесь к тем голосам,* ⟨...⟩ *внутри вас...*— эти слова Валкирина — отражение идей так называемых рациональных мистиков (прежде всего, Сен-Мартена) о неразрывной связи времен («карме») В этом контексте «внутренний голос», «голос предков» понимался как важнейший момент самопознания. Карма в трактовке «рациональных» мистиков отчасти воспринималась Одоевским как предугаданный ими и своеобразно истолкованный естественнонаучный закон причинно-следственной связи.

[5] *Жорж Санд* (наст. имя Аврора Дюпен; 1804—1876) — французская писательница, пользовавшаяся большой популярностью в России.

[6] *...кто-то у коров плетет хвосты...*— ср. с «Игошей», прим. 6, с. 629.

[7] *Серая женщина* (далее — белое привидение) — привидение под именем «белой женщины» фигурирует в ряде немецких легенд (см.: Н е к о т о р ы е любопытные приключения и сны, из древних и новых времен. М., 1829. С. 147—159).

[8] *Карлин* — старинная монета; впервые была отчеканена в Неаполитанском королевстве при Карле I Анжуйском (1226—1285); золотой карлин имел хождение вплоть до XVI века.

[9] *Приор* — настоятель небольшого католического монастыря или должностное лицо в духовно-рыцарских монастырях, следующее за великим магистром. Эта реплика «черного привидения» — очевидно, намек на принадлежность подлинного участника драмы к духовному званию.

[10] *Магнетизм,* или месмеризм — см. прим. 24 на с. 619.

Косморама

Печатается по тексту журнальной публикации (*ОЗ.* 1840. Т. VIII. № 1. Отд. III. С. 34—81) с уточнениями по печатному экземпляру с авторской правкой (*ОР ГПБ*, ф. 539, оп. 1. № 80).

[1] *Посв⟨ящается⟩ гр. Е. П. Р-ой* — на титуле указанного печатного экземпляра повести, хранящегося в архиве Одоевского, рукой писателя значится: «Посв⟨ящается⟩ графине Е. П. Ростопчиной». Евдокия Петровна *Ростопчина*, урожд. Сушкова (1811—1858) — поэтесса, пользовавшаяся известностью в литературных кругах, близкая приятельница Одоевского, с которым ее связывали общие литературные и философские интересы.

[2] *Неоплатоники* — представители философской школы, возникшей на последнем этапе развития античного платонизма. Основателем ее считают Плотина (III в.) или его учителя Аммония Саккоса (конец II—нач. III в.), стремившегося к соединению идей Платона, Аристотеля и Пифагора с элементами философии Востока.

[3] *Том in-4°* — формат издания в четвертую долю бумажного листа.

[4] *...продолжение ⟨...⟩ жизни сочинителя.*— Продолжение «Косморамы» неизвестно.

[5] *...видел гусара в космораме...*— в «Детской книжке для воскресных дней» на 1834 год, изданной Одоевским совместно с В. А. Враским, писатель среди прочих полезных и практических советов детям поместил, в частности, и подробное описание устройства косморамы (СПб., 1834. С. 94—101). В путевых заметках Одоевского, сделанных им во время заграничного путешествия в 1847 году, также есть следующая запись: «В пароходной карете, англичанин и бельгиец не знали, как справиться с моей дорожной космoрамой; они непременно хотели видеть, смотря в увеличительное, а не на матовое стекло» (*ОР ГПБ*. ф. 539, оп. 1, № 52, л. 6).

[6] *Сплин* (от *англ.* spleen) — хандра.

[7] *Не верь ему ⟨...⟩ звездная мудрость!* — Здесь и далее Одоевский использует элементы космогонии Пордеча, согласно которой душа и дух человека связаны с макрокосмом и миром звезд (см.: И. ⟨оанн⟩ П. ⟨о р д е ч⟩. Божественная и истинная метафизика, или Дивное и опытом приобретенное ведение невидимых и вечных вещей, состоящее в трех частях. [М., 1786]; *Сакулин.* Т. 1. Ч. I. С. 422—435).

[8] *...до Рожественского монастыря...*— один из старинных московских монастырей (основан в XIV в.), расположенный на взгорье за Трубной площадью.

[9] *...переулок на Трубе...*— бытовавшее среди москвичей название района Трубной площади, расположенной на пересечении Петровского, Цветного, Рождественского бульваров и Неглинной улицы (свое название, сохраненное поныне, получила по водостоку — «трубе» в «Белого города стене», через который протекала река Неглинная). Одоевский описывает здесь места своего раннего детства: дом, принадлежавший его отцу, находился в районе Трубной площади (точный адрес неизвестен).

[10] *Боскетная* — комната, украшенная или расписанная зеленью (от фр. bosquet — группа ровно подстриженных в виде стенок (шпалер) садовых деревьев или кустарников; боскет был основным мотивом в композиции регулярных парков XVI—XVIII вв.).

[11] *Клавикорды* — старинный клавишно-струнный музыкальный ин-

струмент с продолговатым четырехугольным корпусом, один из предшественников фортепиано

[12] *Шекспира в переводе Шлегеля?* — имеются в виду классические в свое время переводы Шекспира на немецкий язык, принадлежавшие теоретику раннего немецкого романтизма, историку литературы, поэту, переводчику Августу Вильгельму Шлегелю (1767—1845)

[13] Франсуаза Луиза де ла Бом Ле Блан, герцогиня де ла Вальер (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV отличавшаяся особенной красотой своих серебристо-русых волос

[14] *...«Россияда» сенатора Хераскова.*— «Россияда» (1779) — наиболее известная в свое время поэма крупнейшего представителя русского классицизма М. М. Хераскова (1733—1807)

[15] *То, что вы называете французскою революциею* ⟨...⟩ *«Стрекоза и Муравей».*— Речь идет о великом французском поэте и баснописце Жане Шато-Тьерри Лафонтене (1621—1695). Пушкин отмечал вольнодумный характер его творчества — «бедного дворянина», не пожелавшего добывать себе славу в королевской передней и печатавшего «свои веселые сказки о монахинях» в Голландии. Именно в этом усматривал Пушкин причину недоброжелательства к Лафонтену со стороны Людовика XIV (см.: Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // *Пушкин.* Т XI. С. 271, 503) Между прочим, в одном из русских переложений басни Лафонтена — «Стрекоза» И. И. Хемницера — она имела, вразрез с оригиналом, концовку, совпадающую по смыслу с рассуждениями Софьи. В этой редакции «Стрекоза» могла была быть известна Одоевскому только по прижизненному изданию «Басен и сказок» Хемницера 1782 года (Ч. 2. С. 49) В последующих же ее перепечатках, вплоть до издания 1873 года, заключительные четыре стиха отсутствовали (см.: Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений. М.; Л. 1963. С. 314).

[16] *В Шекспире* ⟨...⟩ *нашим мудрецам.*— Реплика Гамлета из финала I действия одноименной трагедии Шекспира, приведенная в неточно переданном переводе М. Вронченко (у Вронченко: «Есть многое в природе, друг Горацио» и т д.— «Гамлет», трагедия в пяти действиях. Соч. В. Шекспира. Перевел с английского М. В. ⟨Вронченко⟩ СПб., 1828. С. 42) Цитирование этой реплики в прозе романтизма было весьма распространено.

[17] *В «Фаусте» Гете* ⟨ ⟩ *по пустынной равнине.*— Имеется в виду сцена «Ночь в поле» из 1-й части «Фауста».

[18] *«Не шутите так* ⟨...⟩ *говорим нашими словами!»* — Здесь и далее — отголоски учения Сен-Мартена, Пордеча и др. о «карме», или, по выражению Одоевского, о «круговой поруке», т. е. непрерывной связи времен (ср. аналогичные идеи в «Орлахской крестьянке»). О позитивных, натурфилософских элементах в философских системах этих и других «рациональных» мистиков, привлекавших к себе внимание Одоевского см.· Трахтенберг О. Очерки по истории западноевропейской философии. М., 1957.

[19] *Это, кажется, аполог Круммахера..* — Аполог о двух жителях подземелья принадлежит Пордечу. (Божественная и истинная метафизика... Ч. I. С. 47—51) На это указал сам Одоевский в примечании к печатному экземпляру повести *(ОР ГПБ,* ф. 539, оп. 1, № 80, с. 51)

Круммахер Фридрих-Адольф (1767—1845) — немецкий поэт и богослов. Переводы некоторых его басен печатались в русских хрестоматиях.

[20] *«Труп врага всегда хорошо пахнет!»* — Эти слова приналежат римскому императору Авлу Вителлию (15—69). По свидетельству римского историка Светония, Вителлий, после решающего сражения за

власть с приверженцами своего предшественника Отона (нач. 69 г.), достигнув поля битвы, где уже начали разлагаться трупы, распространявшие невыносимый смрад, подбодрил присутствующих «гнусными» словами: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше — гражданина!» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988. Глава «Вителлий», 10(3). С. 250).

[21] *Владимир Андреевич* — описка Одоевского; в остальных случаях: Владимир Петрович.

[22] *Ясновидящий! 〈...〉 доводит до сумасшествия.*— Ср. с аналогичным высказыванием Одоевского в его статье «Наука инстинкта. Ответ Рожалину»: «...человек может дойти до сумасшествия, предаваясь одному инстинктуальному бессознательному чувству (высшая степень сомнамбулизма)...» (В кн.: Одоевский В. Ф Русские ночи. Л., 1975. С. 201).

[23] *«Вампир», опера Маршнера...*— Маршнер Генрих Август (1795—1861) — виднейший представитель раннего музыкального романтизма, один из популярнейших немецких композиторов своего времени. «Вампир» — лучшее из оперных произведений Маршнера (пост.—1828 г., Лейпциг). В Москве опера шла в 1831—1832 гг.

[24] *Пюисегюр* Арман-Мари-Жак де Шастене (1751—1825) — французский писатель, создатель учения о магнетическом сомнамбулизме. Снискал себе известность главным образом как приверженец этого направления. Прослушав в 1783 году лекции Месмера (см.: прим. 24 на с. 619), стал его последователем и пропагандистом. Сочинения Пюисегюра находились в личной библиотеке Одоевского (см.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. С. 403. № 3384—3387).

[25] *Делёз* Жан-Филипп-Франсуа (1753—1835) — французский натуралист, последователь учения о животном магнетизме и автор ряда книг по этому предмету. В 1836 г. в русском переводе было издано его «Руководство к практическому изучению животного магнетизма», вызвавшее иронический отзыв «Библиотеки для чтения». «...г. Делёз,— говорилось здесь,— сам не понимая того, что делает, всю жизнь магнетизировал больных, и видел явную пользу от своего занятия, себе и больным: больные выздоравливали, он брал червонцы, и все шло как нельзя лучше, пока ему не вздумалось излагать свою теорию магнетизма... Тут он решительно спутался» (*БдЧ*. 1836. Т. 19. Разд. VI. С. 25)

[26] *Вольфарт* Конрад (называвшийся также Ликостеном, 1518—1561) — немецкий филолог, преподаватель грамматики. В 1545 г. принял священный сан. Автор примечательного сочинения «Хроника чудес и знамений» (Prodigiorum et ostentorum chronicon, 1557),

[27] *Кизер* Дитрих-Георг (1779—1862) — немецкий натуралист и врач. Автор многочисленных трудов по медицине, в том числе и по животному магнетизму.

[28] *...известному в Шотландии 〈...〉 «второму зрению»...*— согласно шотландскому поверью, колдуны для получения «второго», или «двойного зрения», т. е. способности видеть то, что недоступно прочим, должны были в полночь с пятницы на субботу заживо сжечь с заклинаниями сорок кошек, которых они посвящали злому духу.

Город без имени

Печатается по изд.: Сочинения князя В. Ф. Одоевского: В. 3 ч. СПб., 1844. Ч. 1.

[1] *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — знаменитый немецкий естествоиспытатель и путешественник. *Эпиграф* взят из его 30-томного

сочинения «Путешествие в экваториальные области Нового света, совершенное в 1799—1804 гг.» (1807—1834), явившегося результатом путешествия по странам Америки. «Vues des Cordillères» — название одной из частей этого труда, с общим описанием природы и климата американского континента.

[2] *Епанча* — старинная верхняя одежда в виде широкого плаща.

[3] *Перистиль* — в первоначальном значении — крытая галерея с колоннами, примыкающая к стене здания, позднее прямоугольные двор, сад или площадь, окруженные крытой колоннадой; по преимуществу — составная часть жилых или общественных зданий.

[4] *Стогны* — городские площади, улицы.

4338-й год

Печатается по изд.: Одоевский В. Ф. Романтические повести. Л., 1929. С. 346—390, с исправлениями по тексту первой публикации (см. 628).

[1] *Месмерические опыты* — см. прим. 24, с. 619.

[2] *Нехао* — имеется, очевидно, в виду египетский фараон Нехо II (609—595 до н. э.), царствование которого отмечено целым рядом преобразований.

[3] *Дарий* — речь идет, вероятно, о царе Ахеменидской державы Дарии I (522—486 до н. э.), известном своими реформами, направленными на усиление государственного могущества. При нем начались греко-персидские войны.

[4] *Псамметих I* — древнеегипетский фараон (663—610 или 609 до н. э.), основатель Саисской (XXVI) династии, отец Нехо II.

[5] *Солон* (между 640 и 635— ок. 559 до н. э.) — афинский политический деятель и социальный реформатор.

[6] *Кювье Жорж* (1769—1832) — французский зоолог и палеонтолог, разработавший, в частности, метод реконструкции ископаемых форм по сохранившимся фрагментам скелета. В 1826 г. «Московский телеграф» восторженно писал о нем и об основных его трудах по этому предмету, составивших «одни из памятников нашего времени». Разбор посвящен книгам «Рассуждение о переменах земной поверхности и изменениях, произведенных ими в царстве животных» и «Изыскания о костях ископаемых» (ч. II, № 17—20, разд. II (Критика), с. 206—224).

[7] *Геродот* (между 490 и 480— ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, автор знаменитой «Истории», посвященной греко-персидским войнам. Описывая азиатские страны, с которыми у греков были военные столкновения, Геродот включал в историческое изложение множество отступлений и экскурсов этно-географического характера.

[8] *Нерон* Клавдий Цезарь (37—68 гг. н. э.) — римский император.

[9] *Аэролит* — устаревшее название каменного метеорита.

[10] *...освещенный гальваническими фонарями...*— т. е. электрическими фонарями, назывались по имени Луиджи Гальвани (1737—1798) — одного из основателей учения об электричестве.

[11] *Эрзерумские башни* — Эрзерум, или Эрзурум — древний город на северо-востоке Турции. Одоевский, сам никогда не бывавший на Востоке, помнил, возможно, следующее описание Пушкина: «Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены» («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», глава пятая).

[12] *Галлеева комета* — или, как ее еще называли, комета Белы, Вьелы — первая периодическая комета, открытая в 1682 г. английским астрономом Халли Эдмундом Галлеем и названная его именем. Вычисленная для нее эллиптическая орбита позволила доказать не только периодичность ее возвращений к Солнцу, но и предсказывать с довольно большой точностью время ее новых появлений (с промежутками в 75—76 лет). Предсказанное европейскими учеными очередное появление кометы Галлея в начале 1830-х годов вызвало оживленные толки в европейской и русской печати. Один из вышедших в 1832 г. в Петербурге альманахов получил даже название «Кометы Белы». Однако прогнозы относительно столкновения кометы с Землей и грядущих космических катаклизмов вызвали в России резкое неприятие. Ироническим откликом на них явилась заметка в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» («Комета Вьелы в нынешнем 1839 году»), предшествовавшая объявлению о публикации «4338-го года» в альманахе «Утренняя звезда» и принадлежащая, скорее всего, самому Одоевскому, одному из основных сотрудников «Литературных прибавлений». «...эта невидимая комета, пигмей между всеми собратиями, долго еще будет наводить страх на некоторых обитателей нашей земли;— иронизировал автор,— да и нельзя не бояться: по новейшим, самым строгим исчислениям, она непременно должна наткнуться на нашу землю.. в 4339 году, т е. две тысячи пятьсот лет после нас. Мы тогда не преминем сообщить нашим читателям все подробности о сем замечательном происшествии. В ожидании того, мы считаем не излишним предуведомить наших читателей, что предположение об этой катастрофе подало мысль одному из наших известных литераторов написать роман, под названием: 4338 год...» (1839, 10 июня, № 23. Смесь. С. 499)

[13] *Негоциации — зд.:* переговоры.

[14] *...сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев ⟨...⟩ содержать войско.*— Этот выпад Одоевского против американцев согласуется с его отрицательным отношением к буржуазному утилитаризму и отражает, в частности, распространенное — в Европе и России — разочарование формами американской демократии, культивировавшей, как представлялось, прагматические начала общественного и социального сознания. Ср., например, с аналогичными высказываниями Пушкина в его статье «Джон Теннер» (1836): «Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству...» *(Пушкин.* Т XII. С. 104).

[15] *Камер-обскура,* или камера-обскура — приспособление в виде ящика, уменьшающее с помощью зеркал и стекол изображение внешних предметов на бумаге.

[16] *Аллеманны, тедески, жерманийцы, дейчеры* — русифицированные названия немцев на различных языках: французском, итальянском, английском, немецком.

[17] *...устроены магнетические телеграфы...*— известны собственные опыты Одоевского в создании акустического переговорного устройства. В 1868 г., описывая в своем дневнике один из таких опытов, он «сконструировал» и название своего звукопроводного аппарата — «телефон» — задолго до того, как изобретение переговорного устройства под тем же названием, принадлежавшее американскому ученому А. Г. Беллу, было признано официально (1876 г.) и получило всемирное распростра-

ние (см.: Турьян М. А. Предвидения В. Ф. Одоевского // Русская речь. 1988. № 3. С. 31—32).

[18] *...которые любят обращать ночь в день...* — см. прим. 3 на с. 629.

[19] *Пулкова гора* — возвышенность к югу от Петербурга, где в 1839 г. была основана Пулковская астрономическая обсерватория.

[20] *Фешионабли* — законодатели светской моды (от *англ.* fashionable).

[21] *...в платьях из эластического хрусталя* ⟨...⟩ *ослепительный блеск* — своеобразная трансформация символики Сен-Мартена и Пордеча, заимствованной из их толкований библейского учения о грехопадении, где «ясноблистающие одежды» олицетворяют светлое, гармоничное духовное состояние и бытие человека (см. прим. 2 на с. 632).

[22] *Свод русских законов* ⟨...⟩ *был издан.*— Речь идет об осуществленных при Николае I нескольких изданиях полного свода законов Российской империи (СПб., 1830. Т. 1—45; СПб., 1832. Т. 1—15, под руководством М. М. Сперанского). Это упоминание имеет автобиографическую подоплеку: в третьем издании «Свода законов», предпринятом в 1842 г., Одоевский принимал личное участие. Ему, как старшему чиновнику II Отделения Собственной его императорского величества канцелярии, где готовился «Свод», была поручена редактура X тома. Об этой напряженной работе под началом Д. Н. Блудова, Управляющего II Отделением, осуществлявшего общее руководство изданием, Одоевский рассказал в неизданном автобиографическом отрывке «Мои записки» (*ОР ГПБ,* ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 4. л. 5—10).

[23] *...Петрополь с башнями дремал...* — строка из стихотворения Г. Р. Державина «Видение мурзы» (1783—1784?).

[24] *«Последний человек»* — роман английской писательницы Мери Уолстонкрафт-Шелли (1826), рисующий мрачную картину грядущей гибели человечества от эпидемий и голода. В 1843 г. Одоевский включил настоящий отрывок в свои «Психологические заметки», опубликованные им в «Современнике» (т. 32, № 10-12, с. 325—326).

[25] *Френология* — см. прим. 6 на с. 608—609.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

(1799—1837)

Фантастика занимает скромное, но существенное место в творчестве Пушкина. Мотивы чудесного поэт так или иначе использовал во многих своих стихотворных произведениях от «Руслана и Людмилы» до сказок и «Медного всадника». В прозе с фантастикой мы впервые встречаемся в «Гробовщике» (1830), но еще несколько ранее, по свидетельству современников, Пушкин рассказывал своим знакомым истории, полные сверхъестественных событий. На основании одного такого рассказа В. П. Титов создал повесть «Уединенный домик на Васильевском» (см. с. 605).

Наиболее сложным явлением стала фантастика в повести «Пиковая дама». В основу этого произведения был положен рассказ петербургского знакомого Пушкина С. Г. Голицына (1807—1868) — остроумного собеседника и картежника — о том, как однажды, проигравшись в карты, он пришел к своей бабке просить денег. Его бабка — Н. П. Голицына (1741—1837) — современница Елизаветы Петровны, фрейлина «при пяти императрицах» — денег внуку не дала, а назвала ему «три счастливые карты», тайну которых якобы сообщил ей в Париже алхимик и авантюрист граф Сен-Жермен. Внук поставил на них и отыгрался.

Пушкин достаточно далеко отошел от рассказа своего знакомого. Повесть «Пиковая дама» была написана в Болдине в октябре-ноябре 1833 г. Ее рукопись до нас не дошла. Впервые повесть была опубликована в марте 1834 г. в журнале «Библиотека для чтения» (Т II, кн. 3. с. 109—140) и вслед за этим перепечатана в сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным» (СПб., 1834 с. 187—247).

7 апреля 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «Моя *Пиковая дама* в большой моде.— Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н.⟨атальей⟩ П⟨етровной⟩ и, кажется, не сердятся...» *(Пушкин.* Т XII, с. 324)

Действительно, пушкинская повесть имела значительный успех. В рецензии на нее «Северная пчела» писала: «Содержание этой повести превосходное. Германн замечателен по оригинальности характера. Лизавета Ивановна — живой портрет компаньонок наших старых знатных дам, рисованный с натуры мастером. Но в целом важный недостаток ⟨...⟩ — недостаток идеи» (1834, № 192). Содержание повести так и осталось непонятым современниками. Они признавали мастерство Пушкина, но не воспринимали глубины пушкинских обобщений. Так, В. Г. Белинский отмечал в связи с «Пиковой дамой»: «В ней удивительно верно очерчена старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германна. Собственно это не повесть, а анекдот: для повести содержание „Пиковой дамы" слишком исключительно и случайно. Но рассказ — повторяем — верх мастерства» *(Бел.* Т VII. С. 572).

Проблема наличия и значения в повести фантастического элемента вплоть до сегодняшнего дня остается одной из важнейших в литературе о «Пиковой даме». Существуют две противоположные тенденции. Одна отождествляет пушкинскую фантастику с фантастикой тех писателей (например, В. Ф. Одоевского), которые признавали двуплановость мира, присутствие за миром видимых вещей другого — невидимого, полного погибельных сил. Однако «просвещенность» современников не позволяла решать этот вопрос однозначно, и поэтому «само сверхъестественное не является для русских авторов некоей данностью, но берется под сомнение. Нечто подобное мы видим в „Пиковой даме" Пушкина (Муравьева О. С. Фантастика в повести Пушкина «Пиковая дама» // *ПИиМ.*, Т. VIII. С. 64).

Представители другой точки зрения отрицают фантастику в повести (см., напр.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 364), пытаются объяснить все события очень реально: Германн много пил в этот вечер, и ему привиделась графиня. А «обдернулся» он может быть потому, что карты в новой колоде, которую он распечатал, склеились, так как на них могла быть еще свежая краска. Найдено объяснение и появлению трех карт. Тройка, семерка и туз складываются из желания Германна «утроить, усемерить» свое состояние. «Пароли» удваивает ставку. «Пароли-пе» — учетверяет ее (если учесть свою ставку, то утраивает). Удвоенное «пароли-пе» — увосьмеряет (при вычете своей — усемеряет), а туз — самая старшая карта в масти — обозначает высочайшую степень какого-нибудь происшествия.

Есть и третья точка зрения, сторонники которой говорят о том, что атмосфера фантастики создается в повести за счет непрестанного колебания между фантастическим и реальным объяснением происходящего. Здесь можно напомнить высказывание Ф. М. Достоевского, который, восхищаясь искусством Пушкина, писал, что, прочтя «Пиковую даму», «вы не знаете как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись

с другнм мнром злых н враждебных человечеству духов. Вот это нскусство!» (Достоевскнй Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1 С. 192).

В работах о «Пнковой даме» достаточно полно рассматрнваются те тенденцнн в лнтературе, на пересеченин которых она создавалась. Чаще всего упомниаются Э. Т. А. Гофман н Л. Тнк, под влнянием которых формировалась русская фантастнческая повесть. Однако еслн у Гофманв каждое явление н каждый образ нмеют две стороны н прннадлежат двум мирам одновременно, то у Пушкина все запредельное может быть объяснено реальными прнчинами. Прнзрак графнни прнвнделся человеку, одержимому ндеей трех карт, остро переживающему смерть старухн, унесшей тайну в могилу. Фантастнчно не столько явленне графннн, а то, что карты, вознинкшне в сознанин Германна, выигралн. Автор только констатнрует то, что вндел Германн, он нвмеренно устраняется от оценкн происходящего, поскольку не знает нменно того, что относнтся к тайне (Бочаров С. Г. Поэтнка Пушкниа. М., 1974. С. 193).

Необходнмо отметнть также, что Германн — новый герой не только для Пушкниа, но и для всей русской литературы. Его обрвз снмволнчен. Он вполне сопрягвется, как это неоднократно отмечалось, с Растнньяком Бальзака н Жюльеном Сорелем Стеидаля. Он бедеи, иезнатен, но не желает смириться с судьбой, поставившей его не слншком высоко среди «золотой молодежн». Он хочет разом получнть все. Недаром ои иеодиократно сравннвается с Наполеоиом. («У него профиль Наполеона, а душв Мефистофеля»,— говорнт Томский.) Здесь Пушкин снова как уже ие раз прежде («Мы все гляднм в Наполеоны...» н т. д.), ставнт вопрос о цене преступлення через нормы нравственностн. И в этом он является прямым предшественииком Достоевского.

Пнковая дама

Печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. 6. С. 210—237.

[1] В качестве эпнграфа использованы собственные стнхн Пушкнна нз пнсьма к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г. По словам А. П. Кери, онн былн написаны у князя С. Г. Голнцына (см. с. 638) «во время карточной игры, *мелом на рукаве*» (Керн А. П. Воспоминнання. Дневннкн. Письма. М., 1974. С. 45).

[2] *...играю мирандолем...*— то есть не увелнчивая ставкн, объявленной банкометом.

[3] *...поставил на руте?..*— сыграл с резкнм увелнченнем ставки, удванвая, учетверяя ее.

[4] *...загнул ⟨...⟩ пароли...*— объявнл увелнченне ставкн в два раза.

[5] *...понтирует!* — Играет понтером протнв банкомета.

[6] *Ришелье* Лун-Франсуа-Арман Дюплесси, герцог (1696—1788) — прндворный Людовнка XV, маршал Францнн, известный своими любовными похожденнями.

[7] *Фараон* — однн нз варнантов карточной нгры в штосс.

[8] *Герцог Орлеанский* Лун Филнпп (1725—1785) — представнтель одной нз отраслей фрвнцузского королевского домв, меценат н филантроп.

[9] *Фижмы* — прннадлежность женской модной одежды XVIII н начала XIX вв.— каркас в вндe обруча нз кнтового уса, вставлявшнйся в юбку у бедер, а также юбка с такнм каркасом.

[10] *Сен-Жермен* (ум. 1784) — знаменитый мистик и авантюрист, появившийся в парижском высшем обществе в 50-х годах XVIII в.

[11] *Вечный жид* — см. прим. 23 на с. 619.

[12] *Философский камень* — по представлениям алхимиков камень, превращавший любой металл в золото, излечивающий все болезни, возвращающий молодость.

[13] *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор мемуаров, в которых он рассказывает о своей полной приключений жизни.

[14] *...метал...* — при игре в штосс или фараон банкомет раскладывает («мечет») карты на две стороны — направо и налево — пока не выпадет объявленная понтером карта. Если она ложится налево от банкомета, то выиграл понтер, если направо — банкомет.

[15] *...выиграли ей соника...* — выиграли с первой карты весь банк.

[16] *Порошковые карты* — карты, на которых специальным порошком нанесены дополнительные или замазаны существующие знаки. Порошок легко стирался и карта меняла свое достоинство.

[17] *Кабалистика* — см. прим. 4 на с. 623.

[18] *...пароли-пе...* — увеличивать ставку в четыре раза.

[19] По поводу этого эпиграфа Денис Давыдов писал Пушкину 4 апреля 1834 г.: «Помилуй! что за дьявольская память? — Бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой М. А. Нарышкиной насчет les suivantes qui sont plus fraîches (камеристок, которые свежее *(франц.) — Н. Р.)*, а ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений Пиковой дамы» *(Пушкин.* Т. XV. С. 123).

[20] *...и тяжелы ступени чужого крыльца...* — цитата из «Божественной комедии» Данте («Рай», песнь XVII):

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням

(перевод М. Лозинского)

[21] *Шандал* — большой подсвечник.

[22] *...гнул углы...* — понтер, объявляя карту, на которую он ставит, обычно загибал ее угол.

[23] *M-me · Lebrun* — французская художница-портретистка Мария-Анна-Елизавета Виже Лебрен (1755—1842).

[24] *Leroy* — знаменитый французский часовщик Жюльен Леруа (1686—1759) или его не менее знаменитый сын Пьер Леруа (1717—1785).

[25] *Рулетка* — игрушка, бывшая когда-то в моде: цветной кружок на шнурке, бегающий вверх и вниз.

[26] *Монгольфьеров шар* — первый в мире воздушный шар, наполняемый горячим воздухом. Изобретен французами братьями Жозефом и Жаком Монгольфье в 1782 г.

Месмеров магнетизм — см. прим. 24 на с. 619.

[27] *...по действию скрытого гальванизма.* — Итальянский ученый Луиджи Гальвани (1737—1798) открыл в 1791 г., что лапка лягушки непроизвольно сокращается под действием «животного электричества». Это явление было названо гальванизмом.

[28] *...oubli ou regret?* — предлагающие этот вопрос дамы заранее договаривались, какое слово кого обозначает. Кавалер, выбравший слово, должен был танцевать с дамой, которой это слово принадлежало.

[29] *...причесанный à l'oiseau royal* — журавлем, т. е. с шапочкой набекрень.

[30] *Шведенборг* (Сведенборг) — см. прим. 1 на с. 631.

[31] *...в ожидании жениха полунощного.*— Молодой архиерей использует аллегорию, заимствованную из евангельской притчи о десяти девах, из которых мудрые бодрствовали (со светильниками и маслом для них) в ожидании жениха полунощного («сына человеческого» — Христа), а неразумные в полночь должны были уйти покупать масло для светильников и опоздали на брачный пир.

[32] *Атанде!* — русифицированная форма произношения французского слова attendez («подождите»), карточный термин, означающий «не делайте ставки».

[33] *Грандифлор* — растение с большими цветами.

[34] *Талья* — промет колоды карт, продолжающийся до тех пор, пока не будет сорван банк или разыграны все ставки.

[35] *...никто ⟨...⟩ семпелем здесь еще не ставил.*— То есть не ставил на одну карту крупную сумму.

[36] *Каждый распечатал колоду карт.*— Для того, чтобы обезопасить игроков от шулерства, в игорном доме играли двумя колодами карт — одна у банкомета, другая — у понтера.

[37] *Обдернуться* — поставить не на ту карту. Германн случайно вытянул из колоды не туза, на которого он поставил и который выиграл, а другую карту — даму пик.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

(1809—1852)

Представленные здесь повести являются выразительными образцами двух типов гоголевской фантастики, связанных с двумя важнейшими в его творчестве темами: украинской и петербургской.

Написанный в конце 1834 г., «Вий» входил в состав «миргородского» цикла — сборника, имевшего подзаголовок «Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки». Экземпляры «Миргорода» (СПб., 1835) были уже отпечатаны, когда неожиданно (скорее всего по цензурным соображениям) пришлось изъять из них предисловие к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В набранной книге образовался пробел, и на место предисловия, занимавшего две страницы, Гоголь поместил вновь написанную концовку «Вия» (первоначально повесть кончалась гибелью Хомы Брута). Одновременно с этим он внес в текст повести ряд поправок и изменений.

Фантастическая фабула, воплощенная в «Вие», не встретила радушного приема у критики. В «Литературной летописи» «Библиотеки для чтения» (1835. Т 9. Отд. VI С. 30—34), благожелательно отозвавшейся о «Тарасе Бульбе» и «Старосветских помещиках», говорилось, что в «Вие» «нет ни конца, ни начала, ни идеи,— нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен. Тот, кто списывает народное предание для повести, должен еще придать ему смысл· тогда только оно сделается произведением изящным. Вероятно, что у малороссиян Вий есть какой-нибудь миф, но значение этого мифа не разгадано в повести» (с. 33—34)

Один из наиболее авторитетных критиков эпохи, С. П. Шевырев, высказал в рецензии на «Миргород» свое мнение о том, каким образом современная литература должна взаимодействовать с фольклорной фантастикой: «⟨. .⟩ мне кажется, что народные предания, для того, чтобы

они производили на нас то действие, которое надо, следует пересказывать или стихами или в прозе, но тем же языком, каким вы слышали их от народа. Иначе, в нашей дельной, суровой и точной прозе они потеряют всю прелесть своей занимательности. В начале этой повести находится живая картина Киевской бурсы и кочевой жизни бурсаков; но эта занимательная и яркая картина своею существенностью как-то не гармонирует с фантастическим содержанием продолжения. Ужасные видения семинариста в церкви были камнем претыкания для автора. Эти видения не производят ужаса, потому что они слишком подробно описаны. Ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног, и с языком вверху... тут уж не будет ничего страшного — и ужасное переходит просто в уродливое. 〈...〉 Испугайтесь сами, и заговорите в испуге, заикайтесь от него, хлопайте зубами 〈...〉 Я вам поверю, и мне самому будет страшно 〈...〉 А пока ваш период в рассказах ужасного будет строен и плавен 〈...〉 я не верю в ваш страх — и просто: не боюсь 〈...〉» (Московский наблюдатель. 1835. Ч. I, март. Кн. II. С. 409—411). С мнением Шевырева о том, что «ужасное не может быть подробно» солидаризировался В. Г. Белинский. В «Вие» ему нравились «картины малороссийских нравов» и описание бурсы. Анализ «Вия» Белинский заключал словами: «Нет, несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны» (О русской повести и повестях г. Гоголя (Арабески и Миргород) // *Т.* 1835. Ч. XXVI. С. 596—597).

Второй раз при жизни Гоголя «Вий» издавался в 1842 г., во втором томе собрания его сочинений. При этом некоторые сцены были заново переделаны и подробности в описании чудовищ устранены. В № 2 «Отечественных записок» за 1843 г. Белинский сочувственно отозвался о характере изменений, внесенных в повесть. Опорные моменты фантастической фабулы «Вия» (столкновение с ведьмой, бесовская скачка, оборотничество, убийство ведьмы, требование, чтобы герой на протяжении трех ночей читал над ее гробом молитвы, ужасы этих трех ночей, первоначальное избавление героя от гибели, затем появление нечисти, призванной ведьмой на помощь, и наконец появление «старшего» из нечистой силы, способного увидеть и погубить героя, невзирая на магический круг) имеют фольклорное происхождение. Сказки со сходным сюжетом или его деталями зафиксированы как в украинском, так и, шире, в славянском и европейском фольклоре (подробнее см.: Петров В. П. Комментарий к «Вию» // Гоголь. Т. II. С. 735—742). Но к малороссийскому «народному преданию» восходят далеко не все подробности гоголевского повествования. Так, гномы — это существа из немецкой мифологии, в украинской демонологии их нет. Многие черты описания чудовищ в финале повести являются либо плодом воображения Гоголя, либо результатом литературных реминисценций (напр., из «Баллады, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» Жуковского (1814) — см.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 190— и из другой баллады Жуковского «Суд божий над епископом» (1831), а также из романа А. Ф. Вельтмана «Святославич, вражий питомец» (1835) — см.: Вацуро В. Э. Из наблюдений над поэтикой «Вия» Гоголя // Культурное наследие древней Руси. М., 1976. С. 307—311).

На фоне сюжетных подробностей, имеющих литературное происхож-

дение, легко различимы все детали, имеющие фольклорный источник — все, кроме одной: образа самого Вия. Ряд исследователей склоняется к мнению, что Вий, заменивший в фольклорной фабуле «старшую ведьму», был выдуман самим Гоголем. Однако уже в труде А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865. Т. I с. 170—171) не только указывалось на наличие в славянской мифологии сходного образа, но и само название фантастического существа — Вий — рассматривалось как вполне традиционное фольклорное. К сожалению, Афанасьев не дает отсылки к источнику, и нельзя поручиться, не послужил ли источником для него «Вий» Гоголя. В поисках аналогов гоголевскому образу были обнаружены восточнославянские фольклорные соответствия Вию (И в а н о в В. В., Т о п о р о в В. И. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 128—129) и даже индо-иранские (параллель между Вием и Vayu, выступающим в одних случаях как божество смерти, в других — как демон, проведена в ст.: А б а е в В. И. Образ Вия в повести Н. В. Гоголя // Русский фольклор. Материалы и исследования. III. М.; Л., 1958. С. 303—307) Наконец, А. А. Назаревским (Н а з а р е в с к и й А. А. Вий в повести Гоголя и Касьян в народных поверьях от 29 февраля // Вопросы русской литературы. Львов, 1969. Вып. 2 (11)) указаны черты, которыми Вий сходствует с Касьяном в украинских народных преданиях (губительный взгляд, веки до земли, близость к земле и подземной жизни — с. 42—44). По мнению Назаревского, имя «Вий» произошло от украинского слова «вія», обозначающего «ресница» или же «веко вместе с ресницами». Мужское имя собственное «Вий» могло быть образовано от женского имени нарицательного «вія» по аналогии с именем «Струй» (от «струя»), которое Жуковский дал одному из героев поэмы-сказки «Ундина » (с. 44—46). Мотив зрения и слепоты, связанный с Вием, на народномифологической основе возникает при переходе границы между живым и мертвым. В. Я. Пропп указывает, что слепа баба-яга, охраняющая вход в царство мертвых. «Точно так же,— пишет он,— и в гоголевском „Вие" черти не видят казака. Черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них, такие же, как живые шаманы, видящие мертвых, которых обыкновенные смертные не видят. Такого шамана они и зовут. Это — Вий» (П р о п п В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 58—60).

Первые наброски повести «Нос» относятся к концу 1832 или началу 1833 г., а ее черновая редакция была закончена не позднее августа 1834 г. В 1835 г. Гоголь приступил к окончательной обработке повести, намереваясь поместить ее в «Московском наблюдателе» — журнале, который затевался в Москве друзьями Гоголя С. П. Шевыревым и М. П. Погодиным и в котором Гоголь собирался принять активное участие. 18 марта 1835 г. он отправил рукопись в Москву, сопроводив ее письмом к Погодину: «Посылаю тебе нос. ⟨...⟩ Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкве, то, пожалуй, можно его перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума » (*Гоголь.* Т. X. С. 355) Однако «Нос» так и не появился в «Московском наблюдателе»: по позднейшему свидетельству Белинского, Шевырев и Погодин отвергли повесть как «грязную, пошлую и тривиальную» (Отечественные записки 1842 Т 25. Смесь. С 107) Впервые ее напечатал Пушкин в 1836 г., в третьем номере «Современника» (с 54—90) В примечании к «Носу» Пушкин писал: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам

поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись. *Изд.»* (*С.* 1836. Т. III. С. 54). Работая над «Носом», Гоголь переделал финал повести: первоначально фантастичность описанных в ней событий была мотивирована сном майора Ковалева. Изменение концовки, вероятнее всего, было вызвано появлением в «Северной пчеле», № 192 от 27 августа 1834 г. за подписью «Р. М.» рецензии на повести Пушкина, в которой критиковалась как чрезвычайно устаревшая мотивировка фантастики сном, примененная в «Гробовщике». Переделывая конец «Носа», Гоголь учел замечание «Р. М.» и вместе с тем спародировал его рецензию. При публикации повесть значительно пострадала от цензуры: встреча Ковалева с Носом была перенесена из Казанского собора в Гостиный двор, целый ряд острых сатирических высказываний был устранен. В собрании сочинений Гоголя 1842 г. «Нос» был помещен в третьем томе, среди других повестей, связанных с петербургской темой. При этом финал повести был еще раз переработан.

Известный критик 40—50-х годов Ап. Григорьев назвал «Нос» «глубоким фантастическим» произведением, в котором «целая жизнь пустая, бесцельно формальная, 〈...〉 неугомонно движущаяся — встает перед вами с этим загулявшимся носом,— и, если вы ее знаете, эту жизнь,— а не знать вы ее не можете после всех тех подробностей, которые развертывает перед вами великий художник», то «миражная жизнь» вызывает в вас не только смех, но и леденящий душу ужас (Григорьев Ап. Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования / Под ред. В. В. Гиппиуса. М.; Л., 1936. Т. I. С. 252, 253).

Вий

Печатается по изд.: *Гоголь.* Т. II. С. 175—218.

[1] *Бурсаки* — обитатели бурсы — общежития при Киевско-братском училище (впоследствии — Киевской духовной семинарии), основанном в первой половине XVII в. Некоторые детали в описании бурсацкого быта (порой вплоть до текстуальных совпадений) позаимствованы Гоголем из романа В. Т. Нарежного «Бурсак» (1824), где, в частности, объясняется, что бурсами называли избы, в которых на артельных началах проживали учащиеся.

[2] *Грамматики, риторы, философы и богословы...*— В Киевской академии учащиеся проходили три класса грамматики, класс поэзии, затем класс риторики, т. е. высшего красноречия, философии и наконец старший класс — богословия. Говоря об этом учебном заведении, Гоголь постоянно называет его семинарией, но скорее всего имеет в виду академию, так как, во-первых, классов грамматики в семинарии не было, а во-вторых, Киевская семинария была открыта в 1817 г., действие же повести явно приурочено к более раннему времени.

[3] *Пали* — удары линейкой по рукам (семинарское выражение).

[4] *Троп* — образное, иносказательное выражение.

[5] *Авдиторы* — ученики старших классов, которым поручалось проверять знания товарищей.

[6] *Цензора* — в «Бурсаке» Нарежного говорится, что «почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим». Среди бурсаков есть свои цензоры (блюстители порядка), свои сенаторы

(в Риме — члены высшего государственного совета, в Киевской академии — учащиеся старших классов: философии и богословии; о сенаторах у Гоголя пойдет речь ниже).

[7] *...на бурсу и семинарию.— Бурса* — ученики, вынужденные по бедности жить в общежитии на артельных началах; *семинария* — более состоятельные ученики, живущие на частных квартирах.

[8] *Канчуки* — нагайки, плети *(украинизм)*.

[9] *Вертеп* — украинский народный кукольный театр (XVII—XVIII вв.), состоявший из большого двухъярусного ящика. В верхнем ярусе обычно показывали пьесы духовного содержания, а в нижнем — бытовые сатирические сцены.

[10] *Иродиаду или Пентефрию...*— Иродиада, по евангельскому преданию, жена Ирода, виновница смерти Иоанна Крестителя (см.: Евангелие от Матфея. Гл. 14. Ст. 2—12; от Марка. Гл. 6. Ст. 17—29). Пентефрия, по библейскому преданию, жена египетского царедворца Потифара, соблазнявшая Иосифа и оклеветавшая его (см.: Бытие. Гл. 39. Ст. 1—20). Ученики духовных школ нередко разыгрывали драмы на подобные сюжеты.

[11] *Вакансии* — каникулы.

[12] *Кант* — хвалебная песня.

[13] *Паляница* — в словаре, приложенном Гоголем к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», объяснено: «небольшой хлеб, несколько плоский».

[14] *Богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець* — Г. А. Гуковский писал: «Хома Брут — это ⟨...⟩ лексический парадокс, ⟨...⟩ *Хома* (не Фома, а по-народному, по-украински — Хома) — и *Брут* — высокогероическое имя — символ подвига свободы, возвышенной легенды ⟨...⟩ Тиберий Горобець ⟨...⟩; здесь древний Рим звучит в имени, а «проза» быта — в прозвище (Горобець значит Воробей); но вместо героя свободы (Брут) — имя тирана Тиберия. Некоторым отзвуком этого же столкновения элементов звучит и обозначение третьего бурсака: «богослов Халява»; *богослов*, как ни говори, звучит серьезно и не без торжественности; ну, а *Халява* ведь значит либо сапожное голенище, либо пасть, хайло, либо неряха и дрянь-человек, либо даже непотребная женщина (все эти значения двет Даль)» (Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 191). В именах героев продолжена травестированная тема Древнего Рима (см. прим. 6).

[15] *Люлька* — по словарю Гоголя, «трубка».

[16] *Оселедець* — по словарю Гоголя, «длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо».

[17] *Будяк* — чертополох *(украинизм)*.

[18] *Чумацкие* — чумаками на Украине называли обозников, возивших на волах в Крым и на Дон хлеб, а оттуда — соль и рыбу для продажи.

[19] *Книш* — по словарю Гоголя, «спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом».

[20] *Очипок* — по словарю Гоголя, «род чепца».

[21] *Сотник* — в казацком войске — начальник сотни казаков. На Украине в основе провинциального управления лежало полковое устройство, впоследствии превратившееся в территориальное. Должность сотника не принадлежала к высшим в полку.

[22] *Свитка* — по словарю Гоголя, «род полукафтанья».

[23] *Инде* — местами.

[24] *Сулея* — большая бутыль.

[25] *Пенник* — см. прим. 15, с. 609.

[26] *Добродию* — господин, сударь, милостивый государь *(украинизм)*.

[27] *Цурь им* — чур им *(украинизм)*.

[28] *Страстной четверг* — четверг на последней неделе великого поста.

[29] *Нагидочка* — ноготок (цветок) *(украинизм)*

[30] *Баня* — купол *(украинизм)*.

[31] *Бонмотист* (от *франц*. bon mot — острота) — острослов.

[32] *Вечерять* — ужинать *(украинизм)*.

[33] *Крылос* — клирос, огороженное перед иконостасом место для певчих.

[34] *Налой* — пюпитр для книг

[35] *Плахта* — по словарю Гоголя, «нижняя одежда женщины из шерстяной клетчатой материи»

[36] *Барвинок* — вечнозеленое травянистое растение обычно с крупными голубыми или синими цветами.

[37] *Небоже* — бедняга *(украинизм)*.

[38] *Пфейфер* (от *нем.* pfeffer) — перец.

[39] *Кнур* — боров *(украинизм)*

Нос

Печатается по изд. *Гоголь*. Т III С 47—75.

[1] *Марта 25 числа* — день Благовещенья, официальный праздник, в который российский чиновник особым указом обязывался быть на богослужении в полной праздничной форме, свидетельствуя таким образом свою благонадежность. Уместно привести выдержку из самого приказа: «В праздничной форме быть у божественной службы, в присутствии их императорских величеств 25 марта, в день Благовещенья, у всенощной в вербную субботу, в вербное воскресенье» (см. Описания изменениям в форме одежды чинам гражданского ведомства и правила о ношении сей формы. СПб., 1856. С. 9) У А. С. Пушкина в дневнике 1834 г имеется свидетельство, что эти правила были действительны и в первой половине 30-х годов

В Казанском соборе, где Ковалев встречается со своим носом, в праздничные дни происходили публичные богослужения в присутствии членов императорской семьи. В такой ситуации безносый вид чиновника символизирует особое нарушение законоположения: герой оказывается вне закона, вне гражданства. Кроме того, по народным обычаям, день Благовещенья — один из тех дней, когда принято было гадать. Герой Гоголя предполагает, что его нос пропал неким неестественным способом, при помощи «колдовок-баб», которых наняла штабс-офицерша Подточина, как бы стремясь отомстить Ковалеву за то, что он ее дурачит, водит за нос в связи с женитьбой на ее дочери. День действия повести становится связанным и с темой чина, и с темой женитьбы, главными темами «Носа»

[2] *Кавказский коллежский асессор* — Гоголь выделяет среди коллежских асессоров — гражданских чиновников 8 класса (согласно «Табели о рангах» низшим классом был 12-й, а высшим 1-й), получивших вследствие своего чина право на потомственное дворянство,— два рода, подчеркивая, что его герой относится не к коллежским асессорам, заслужившим свой чин с помощью ученых аттестатов, а к кавказским коллежским асессорам, „делающимся" на Кавказе. «Делающиеся» на Кавказе коллежские асессоры — социальное явление 30-х годов XIX века, возникшее в связи с выходом унифицированного Свода законов

Российской империи в 1835 г. В постановлениях этого свода говорилось о том, что чиновникам, отправляющимся служить в Кавказскую губернию (область), присуждаются особые привилегии: во-первых, они получают следующий по «Табели о рангах» чин вне очереди; во-вторых, чин коллежского асессора дается им без экзамена, без специального аттестата; в-третьих, по истечении трехлетней службы на Кавказе коллежский асессор имел право на значительный пенсион в случае отставки или же взамен этого жаловался землею; в-четвертых, для него сокращались сроки получения ордена Святого Владимира IV степени. Выгоды службы на Кавказе многих привлекали, но не все выдерживали кавказский климат, опасный южными лихорадками и т. д.

Гражданский чин коллежского асессора соответствовал военному чину майора. Однако в своде законов 1835 г. гражданским чиновникам запрещалось именовать себя военными чинами. Вместе с тем законоположения, утверждающие преимущества военных перед гражданскими, состоящими в равных чинах, разжигали честолюбивые устремления людей, похожих на Ковалева, именно по этой причине называвшего себя майором.

[3] *Поветовые* — уездные.

[4] *Вице-губернатор* — помощник и заместитель начальника губернии.

[5] *Экзекутор* — чиновник, заведовавший хозяйственной частью, следивший за рассылкой деловой корреспонденции.

[6] *Статский советник* — по «Табели о рангах», унифицированной в екатерининское время,— гражданский чин 5-го класса.

[7] *Сенат* — высшее судебно-административное учреждение в дореволюционной России.

[8] *Управа благочиния* — городское полицейское управление.

[9] *Газетная экспедиция* — отделение конторы газеты, ведавшее ее рассылкой, приемом объявлений и т. д.

[10] *Купеческий сиделец* — приказчик в лавке купца.

[11] *Штаб-офицерша* — вдова или жена штаб-офицера (штаб-офицеры — офицеры в чине от майора до полковника).

[12] *«Северная пчела»* — полуофициозная петербургская газета, редакторами которой были Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин; с конца 1820-х годов выступала против писателей пушкинского круга. Гоголь, в сочинениях которого часты выпады против этого издания, так характеризовал его: «„Северная пчела" 〈...〉 в литературном смысле 〈...〉 не имела никакого определенного тона 〈...〉. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось 〈...〉. Впрочем, от „Сев〈ерной〉 пчелы" больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша...» (*Гоголь.* Т. VIII. С. 162—163).

[13] *Синяя ассигнация* — пять рублей (название по цвету кредитного билета).

[14] *Частный пристав* — начальник полиции городской части (нескольких кварталов).

[15] *Красная ассигнация* — десять рублей.

[16] *...сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно учтливым и магнетическим...*— в поведении, манерах и способах лечения врача, пришедшего исцелять Ковалева, Гоголь высмеивает современных шарлатанов-магнетизеров, лечивших с помощью гипнотического действия рук, магнетизированной воды, внушения. Кроме того, в приемах доктора, пытающегося восстановить самочувствие больного с помощью битья, видны приемы знахарей, снимающих порчу «выбиванием» болезни и особым умыванием больного.

[17] *...история о танцующих стульях на Конюшенной улице...*— слухи о необычайном происшествии на Конюшенной улице занимали петербуржцев в конце 1833— начале 1834 гг. В одном из писем П. А. Вяземского читаем: «Здесь долго говорили о странном явлении в доме конюшни придворной: в комнатах одного из чиновников стулья, столы плясали, кувыркались, рюмки, налитые вином, кидались в потолок; призывали свидетелей, священника со святою водой, но бал не унимался» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. III. С. 254—255). В дневниках А. С. Пушкина сказано об этом же: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству.— Кн. В. Долгорукий нарядил следствие.— Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. 〈...〉 N. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков (*Пушкин.* Т. XII. С. 317—318). Из письма московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату: «Что за чудеса у вас были со стульями у какого-то чиновника? Какие ни представляют подробности, я не верю, но весьма любопытен знать развязку дела, вступившего, как говорят, к министру двора» *(РА.* 1902. Кн. I. С. 626). По свидетельству М. Н. Лонгинова, эту историю высмеивал Гоголь: «...как теперь помню комизм, с каким он передавал 〈...〉 городские слухи и толки о танцующих стульях» (Лонгинов М. Н. Соч., М., 1915. Т. I. С. 7).

[18] *Спекулатор* — спекулянт.

[19] *Литографированная* — т. е. напечатанная с рисунка, вырезанного на камне.

[20] *Хосрев-Мирза* — персидский принц, приезжавший в Россию в 1829 г. с тем, чтобы принести извинения за разгром русского посольства в Тегеране и убийство русского чрезвычайного министра в Персии А. С. Грибоедова.

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(1817—1860)

В жизни и творчестве К. С. Аксакова отчетливо выделяются два внутренне взаимосвязанных, но внешне несхожих периода. Аксаков 1840—1850-х годов — человек, всецело обращенный к «земному делу» (выражение самого Аксакова; см.: Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964. С. 591), «передовой боец» славянофильской партии, автор таких острокритических сочинений, как «О внутреннем состоянии России» (1855) и «Опыт синонимов. Публика — народ» (1857), писатель, чьи драматические произведения, стихотворения, а подчас и филологические труды, столь же злободневны, как его публицистические выступления. Аксаков 1830-х годов — мыслитель, занятый «отвлеченностью философской» (Поэты кружка Н. В. Станкевича. С. 591), самоуглубленный лирик, человек, ревностно оберегающий суверенность своего внутреннего мира.

Старший сын писателя С. Т. Аксакова, Константин Сергеевич родился в Москве, однако его раннее детство, наложившее отпечаток на всю последующую жизнь, прошло в оренбургских имениях родителей — Аксакове и Надеждине. В столицу семья будущего писателя возвратилась в 1826 г. В пору учебы на словесном отделении Московского

университета (1832—1835) Аксаков становится участником знаменитого кружка Н. В. Станкевича, объединявшего в те годы на почве дружеских и литературных симпатий, общих философско-эстетических интересов М. А. Бакунина, В. Г. Белинского, В. П. Боткина, М. Н. Каткова, В. И. Красова, И. П. Клюшникова и других, впоследствии столь известных и столь различных, деятелей русской культуры. Юный Аксаков — один из наиболее заметных поэтов этого кружка. Субъективный, лирический характер носят и созданные им в ту пору первые прозаические произведения — фантастические повести «Вальтер Эйзенберг» («Жизнь в мечте») и «Облако». Обе они написаны в 1836 г., позднее названном Аксаковым «средоточием» его жизни (см.: Анненкова Е. И. Архив К. С. Аксакова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С. 4), обе посвящены двоюродной сестре писателя — Марии Григорьевне Карташевской (1818—1906), увлечение которой он переживал в то время. «Вам, моя милая Машенька, посвящаю я мечту свою,— пишет автор на рукописи „Облака",— вы поймете ее. Вспоминайте, глядя на эту повесть, о странном, бедном двоюродном брате вашем Костиньке. 10 августа, день для меня очень, очень приятный. 1836 года. Богородское» (Аксаков К. С. Сочинения / Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. Пг., 1915. Т. I. С. 651).

Письма к Карташевской, представляющие собой род дневника юного Аксакова, фиксируют основные моменты истории создания «Облака» В апреле 1836 г., вскоре после завершения «Вальтера Эйзенберга», автор извещает свою корреспондентку: «Меня так же, как и прежде, навещают чудные минуты, в которые я вспоминаю прошедшее, вспоминаю что-то и бываю счастлив: я уверяюсь все более и более, что счастие в мечте. За первой повестью другая выходит из головы моей ⟨...⟩» (здесь и далее ссылки на РО ИРЛИ. № 10604, л. 63 об.). Так в переписке Аксакова появляется первое упоминание о будущем «Облаке». Летом 1836 г., когда Карташевская гостила у Аксаковых под Москвой, писатель передал ей рукопись своего уже завершенного произведения, а в октябре обратился к ней с просьбой прислать копию текста повести («здесь есть некоторые добрые люди, которые хотят читать ее» — л. 113) В ноябре 1836 г., вскоре после получения рукописи, Аксаков извещал свою корреспондентку о благоприятном впечатлении, произведенном «Облаком» на его первых слушателей — жену известного московского поэта С. М. Великопольскую и близкого друга автора, впоследствии драматурга, А. В. Сухово-Кобылина. В первых числах января 1837 г по просьбе знаменитого профессора-шеллингианца М. Г. Павлова Аксаков читает «Облако» в кругу его семьи и друзей. Повесть вызывает одобрение присутствующих, хотя, как сообщает писатель, замысел ее остается непонят: «Наконец, кончил я свое чтение, и вот пошли комплименты. ⟨...⟩ Как вы думаете, милая Машенька, какое заключение вывели из моей повести? — Что я очень счастлив, что я мечтаю и могу мечтать! Как вам это кажется? Я мечтаю, повесть моя — мечтание и больше ничего. Так та мысль, которую хотел я сказать, мысль, которая должна навести на вопрос: что такое мечта? Какое право имеем мы называть одно мечтою, а другое действительностью? — эта мысль и замечена не была, а повесть доставила удовольствие, как калейдоскопическая игра; впрочем, там есть чувство само по себе» (л. 140)

Как видно из переписки, Аксаков колебался в оценке художественных достоинств «Облака». Вероятно, эти сомнения и стали причиной того, что в отличие от «Вальтера Эйзенберга» «Облако» при жизни автора осталось неопубликованным. Возможно, известную роль сыграло в этом и закрытие (в октябре 1836 г.) журнала Н. И. Надеждина

«Телескоп», в котором иа протяжеиии предшествующих лет Аксаков помещал все свои произведения.

Как и лирика Аксакова серсдииы 1830-х годов («Стремлеиие душн», «Фаитазия», «Когда, бывало, в колыбели...», «Аигел светлый, ангел милый!..» и миогие другие), его письма к Карташевской являются важнейшим автокомментарием к «Облаку», поясняют и акцентируют центральиые идеи этой повести — восприятне любви как средства приобщеиия к вечиым цеииостям, романтическое обожествление природы, идеализацию детства как некой духовиой родины человска, как эпохн, быть может, связывающей его ограничениое земное существование с бсскоиечиой жизиью: «Весиою я всегда как будто припоминаю что-то иеясиое, давно, давио прошедшее, вспомииаю живее, нежели когда-иибудь, и Аксаково и Надежино, деревии, где прошло мое детство, в с детством моим, кажется мне, связан какой-то другой, таииствеииый мир, о котором я имею только слабое понятие, но в котором были и радости и печали. Часто я прихожу в состояиие, в котором душа моя, кажется, бывала когда-то, и это, верио, было в том таинствеиом мире; часто, испытывая какое-нибудь ощущение, я думаю себе: я уже нспытывал это, но когда? — о, верио, в то чудиое, иепостижимое время младеичества; мы еще ие знаем, с чем, с какою страиою граиичит оно; может быть, с иашею доземиою жизиию». «Природа ⟨...⟩ доверчиво раскрывает чистой душе младенца свои заветные тайны, кладет иа него впечатлеиия, нежио лелеет и развивает его чувство. Лета бегут, младенец растет; труды, заботы — удел его, жизнь внешняя, действительная затемияют в душе его светлые образы; но бывают иногда мгновения: вечером, утром, в тиши иочи, когда прежнее, одеянное мглою, встает тихо пред иим,— и в эти мгиовеиия он снова возвращается к первым годам своей жизни; он силится перенестись в тот мир, и не можст: ему остались только воспоминания, темные, иеясные, о чем-то былом ⟨...⟩» (Аксаков К. С. Письма к М. Г. Карташевской (Публикация Е. И. Аннеиковой) // Ежегодик Рукопнсного отдела Пушкинского Дома иа 1973 год. Л., 1976. С. 77, 78—79). Прямое отношение к проблематике «Облака» имеет и высказанная в одном нз писем Аксакова начала 1837 г. суровая оцеика «света». Говоря здесь о людях, которые «истощили, убили свое чувство, у которых в сердце пусто», автор повестн задает вопрос: «Что же *сделало* их такими?» н далее отвечает: «*Светская жизнь*, фразы без чувства, балы, иа которых человек теряет свое чувство, всю свою благородную энергию и делается пустым и потому недоступиым ничему благородному. О, эти *светские* люди! О, эта *светскость*, под лакированною блестящею наружностию гнилое сердце» (л. 156 об.—157).

В основе фабулы «Облака» лежит тема любви человека и сверхъестественного существа, в образе которого олицетворена одна из стихий природы. Связанная с натурфилософскими представлеииями об одухотворенности природы, использующая принцип аитропоморфизации ее явлений, эта фабула широко распространилась в литературе романтической эпохн. К ней обращаются Э. Т. А. Гофман («Королевская невеста» из сб. «Серапионовы братья», 1819—1821 и др.) и В. Ф. Одоевский («Сильфида», 1837; «Саламандра», 1841), Ф. де ла Мотт Фуке («Ундииа», 1811; стихотворное переложение В. А. Жуковского — 1837) и Х. К. Аидерсен («Русалочка» из сб. «Сказки, рассказанные для детей», 1835—1837). Близок к этой фабуле и сам Аксаков в повести «Вальтер Эйзенберг», где возлюбленная героя предстает воплощением враждебных природиых сил. Особенно заметным представляется сходство между «Облаком» и повестью Гофмана «Неизвестиое дитя», вхо-

дящей в цикл «Серапионовы братья». Подобным образом развиты в них мотивы единства человека и окружающего мира, открытости для ребенка тайн природы и др. С распространенными мотивами немецких романтиков (Новалис, Л. Тик, Гофман, К. Брентано) связывался в научной литературе и генезис созданного Аксаковым образа девушки-облака (см.: Габель М. О. «Три встречи» Тургенева и русская повесть 30—40 годов XIX века // Русский романтизм / Под ред. А. И. Белецкого. Л., 1927. С. 133—134), хотя, насколько известно, прямого соответствия в тогдашней литературе он не имеет.

Облако

Печатается по изд.: Аксаков К. С. Сочинения / Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. Пг., 1915. Т. I. С. 255—269.

[1] *Sehnsucht* — одно из ключевых понятий немецкого романтизма, обозначающее романтическое томление, неудовлетворенность земной действительностью, тоску по бесконечному.

[2] *...из каждого царства природы приходят в мир чудные создания...* — Речь идет о так называемых стихийных духах (нимфах, сильфидах, саламандрах), в образах которых олицетворялись представления романтиков о природе как о живом существе.

АЛЕКСАНДР ФОМИЧ ВЕЛЬТМАН

(1800—1870)

А. Ф. Вельтман родился в семье обрусевшего шведского дворянина, гвардейского поручика. Чтению и письму с пяти лет мальчика обучала мать. На всю жизнь запомнил он денщика отца и своего дядьку Бориса — удивительного рассказчика сказок. В нескольких частных пансионах Александр основательно узнал французский и немецкий языки, научился хорошо играть на скрипке и гитаре.

В 1811 г. Вельтман поступил в Благородный пансион при Московском университете. Там он начал писать стихи, подражая Ломоносову, Тредиаковскому, Державину, басням Дмитриева и Измайлова. События Отечественной войны 1812 г.— переезд в Кострому, возвращение в разоренную Москву — навсегда запали в память будущего писателя. В 1816 г. он поступил в школу колонновожатых, где готовили офицеров-топографов и штабистов, стал там одним из лучших учеников. По окончании учебы, в конце 1817 г. Вельтман был зачислен в армию. В это время он собрал и переписал все свои произведения и составил «Собрание первоначальных сочинений Александра Вельдмана» (так до середины 20-х годов он писал свою фамилию), однако попыток опубликовать эти юношеские опыты автор не делал.

Весной 1818 г. Вельтмана направили на военно-топографические съемки в Бессарабию. За 12 лет, проведенных там, он сделал успешную карьеру и вышел в отставку в чине подполковника в 1831 г.

В Бессарабии Вельтман познакомился и сблизился с революционно настроенными офицерами, членами Южного общества. Дружеские отношения сложились у него с В. Ф. Раевским и М. Ф. Орловым. Это сыграло большую роль в формировании взглядов писателя, в его произведениях начинают звучать мечты о светлом будущем, возмущение социальной несправедливостью.

В Кишиневе Вельтман встретился со ссыльным Пушкиным. Как позднее вспоминал их общий знакомый И. П. Липранди, Пушкин «умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками. ⟨...⟩ он один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина ⟨...⟩. Он, безусловно, не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это ие не нравилось Александру Сергеевичу...» (*П. в восп.* Т. I. С. 310—311).

В 1825 г. Вельтман был командирован на турецкую границу для организации усиления пограничной цепи, поэтому события декабря прошли мимо него. Во время службы в Бессарабии Вельтман не прерывал литературной работы. Под влиянием пушкинского «Руслана и Людмилы» он пишет романтическую поэму «Этеон и Ланда». Стихотворная повесть «Беглец» стала первым опубликованным произведением писателя (Сын Отечества. 1825. № 18 и 19, полностью — в 1831 г.). Повесть в стихах «Муромские леса», напечатанная в том же 1831 г., вскоре была инсценирована. Песня разбойников из постановки в Большом театре стала чрезвычайно популярной. С конца 1829 г. произведения писателя постоянно появляются в журналах.

Выйдя в отставку в 1831 г. Вельтман полностью отдается литературной и научной деятельности. Он увлекся археологией и историей, много сил отдал работе в Оружейной палате, где занимал должности помощника директора (с 1842 г.) и затем директора (с 1852 г.). Признанием его заслуг стало избрание членом-корреспондентом Академии наук в 1854 г.

Литературная деятельность Вельтмана многогранна и разнообразна. Он написал десятки рассказов и повестей, пятнадцать романов. Каждое его произведение поражало современников оригинальностью замысла и формой его выражения. Смешение фантастики и реальности, бытовых и авантюрных элементов, стилизация речи, гротеск, каламбур — все использует автор для того, чтобы держать в постоянном напряжении своего читателя.

Современники высоко ценили дарование писателя. Пушкин замечал, что в его «Страннике» (1831—1832) «чувствуется настоящий талант» (*Пушкин.* Т. XIV. С. 164). В. Г. Белинский писал, что «⟨...⟩ характер его таланта, причудливый, своенравный, который то взгрустнет, то рассмеется, у которого грусть похожа на смех, смех на грусть, который отличается удивительной способностью соединять между собой самые несоединимые идеи, сближать самые разнородные образы» (*Бел.* Т. II. С. 116). Время показало, что сам Вельтман и его произведения оказались основательно забыты. Время шло вперед, а манера писателя не менялась. В 1863 г. рецензент отмечает: «Собственно говоря, г. Вельтман не изменился нисколько, не устарел, как иногда бывает с писателями: все тот же юмор, та же внешняя занимательность событий, та же эксцентричность в изображении сюжетов, та же легкость рассказа — а между тем новый роман г. Вельтмана (имеется в виду «Счастье — несчастье» (1863).— *Н. Р.*) почти невозможно читать без снисходительной улыбки» (*БдЧ.* 1863. № 4. С. 110—111). Другой рецензент прямо пишет о том, что «Г. Вельтман, как и другие писатели его же периода, совершенно расходится с современными требованиями литературы; он точно не знает, что делается вокруг него ⟨...⟩» (Русское слово. 1863. № 4. Библиографический листок. С. 9).

Оживившееся в последние десятилетия внимание не только к корифеям нашей литературы, но и к литературному фону пробудило интерес и к творчеству такого действительно оригинального автора, каким

является Вельтман. Его интерес к личностям «резко отличающимся от общества своею нравственною и физическою наружностью, странностями и даже безобразием» (Вельтман А. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея. М., 1848. Кн. 1. С. 1) ставит его в ряд предшественников Ф. М. Достоевского.

Фантастическое начало встречается во многих произведениях Вельтмана. Так, писатель создал первый русский утопический роман «MMMCDXLVIII год. Рукопись Мартына Задека» (1833) — рассказ о жизни через полторы тысячи лет, в 3448 г. В этом произведении развивались социальные утопии XVIII в. и отразились передовые идеи русской философии 1820-х годов. В романе «Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса» (1836) впервые был использован прием путешествия во времени, ставший с легкой руки Г. Уэллса обычным для литературы XX века. Но чаще фантастика у Вельтмана так тесно переплетается с реальностью, что читатель перестает различать грань между ними. Так, в рассказе «Не дом, а игрушечка!» (1850) рядом с литературными героями и двумя домовыми действуют реальные люди — П. В. Нащокин и А. С. Пушкин.

Рассказ «Иоланда» впервые был напечатан в журнале «Московский наблюдатель» (1837. Ч. XII. Кн. 8 С. 397—446), позднее он вошел в сборник «Повести» (1843). «Иоланда» занимает особое место в творчестве писателя и фантастический элемент в ней особого рода. Это рассказ о событиях частной и общественной жизни во Франции XIV в. Эпизоды в мастерской церопластика Гюи Бертрана, в суде инквизиции, на аутодафе, у собора связаны сложной композицией. В рецензии на «Иоланду» отмечается, что этот «⟨...⟩ рассказ, в котором столько чудес, столько нечаянностей, кажется, не кончен; но профиль и подробности отдаленного века обрисованы мастерской кистью» *(БдЧ.* 1843. № 10. С. 31). Загадку автора можно разгадать лишь косвенно, и у читателя остается впечатление непостижимого, почти мистического стечения обстоятельств, приведших всех героев к гибели.

«Иоланда» ставит Вельтмана в ряд зачинателей детективного жанра в России и в чем-то роднит его с писавшим в то же время Эдгаром По.

Иоланда

Печатается по изд.: Московский наблюдатель. 1837. Ч. XII, кн. 8. С. 397—446.

[1] *...славный церопластик...* — Сам Вельтман написал к изданию повести специальное примечание. В нем говорится: *«Церопластика* — искусство ваяния из воску ⟨...⟩ В средние времена в Западной Европе, вероятно, в подражание древним, лики святых делались из воску бюстами или восковой живописью. Но неизвестно, в какое время явилось чарование. ⟨...⟩ Имся начало свое в язычестве, это мнимое средство порчи и убийства в XII веке было в большом употреблении во Франции. Мщение, чтобы не подвергать себя большим хлопотам и опасностям, делало восковую фигуру, совершенно похожую на врага своего или соперника, и, исполнив над ним все установленные обряды церкви, начинало его терзать, воображая, что живой человек, изображение которого мучат, чувствует эти муки даже за тридевять земель» (Московский наблюдатель. 1837. Ч. XII, кн. 8. С. 446—447.)

[2] *Туреллы (итал.)* — башенки.

[3] *Шамбелан (франц.* chambellan) — камергер.

[4] *Мариньи Энгерран* (1260—1315) — придворный короля Филиппа IV Красивого (1285—1314). После смерти своего покровителя был приговорен за якобы чарование к смертной казни и повешен.

[5] *Капитул* — общее собрание членов ордена; *зд.* тюрьма инквизиции.

[6] *Сбирро* — низший служащий инквизиции.

[7] *Аутодафе* — церемония сожжения на костре грешника.

[8] *Фиакр* — наемный экипаж.

[9] *Рейтары* — наемные солдаты тяжелой кавалерии.

Слова *фиакр* и *рейтары* во Франции в XIV в. еще не употреблялись. Вельтман идет на намеренную ошибку, анахронизм.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(1814—1841)

Творческая жизнь Лермонтова была короткой, но необычайно интенсивной; уже период его литературного ученичества отмечен созданием подлинных поэтических шедевров, таких, как стихотворение «Нищий» (1830) или «Ангел» (1831). В очень еще неровном юношеском творчестве, порою ориентированном на известные литературные образцы, отчетливо проступало абсолютно самостоятельное художественное начало, тот самый неповторимый «лермонтовский элемент» (В. Г. Белинский), присутствие которого и делало поэзию Лермонтова явлением необыкновенным. Теснейшим образом соединенный с личностью автора демонический герой, исполненный страстей, сжигающих душу, внешне холодный и презрительно равнодушный, «странный человек», глубоко постигший мир, чтобы его отвергнуть, и при этом тайно тоскующий по идеалу, пройдет через все творчество Лермонтова, претерпевая определенные модификации и переживая эволюцию авторской оценки.

Неполные четыре года, которыми измеряется зрелое творчество Лермонтова,— это время, насыщенное таким количеством значительнейших в личной и литературной судьбе поэта событий, что они вполне могли бы составить биографию человека, жизненный путь которого был бы вдвое длиннее: создание стихотворения «Смерть поэта» и ссылка на Кавказ, встречи с декабристами; возвращение в Петербург, новые литературные и светские знакомства; дуэль с сыном французского посла Э. де Барантом и вторая ссылка на Кавказ; участие в военных экспедициях против горцев; вновь Петербург, где Лермонтов решительно выбирает путь профессионального литератора.

Все эти четыре года Лермонтов напряженно работает во всех жанрах, достигая высочайших вершин и в поэзии, и в прозе. В литературном наследии Лермонтова-прозаика есть и опыт повествования в фантастическом роде. Это незавершенная повесть, известная под условным заглавием «Штосс»,— последнее произведение писателя. Появление фантастической повести, исполненной загадок и недоговоренностей, с нарочито затемненным изложением событий, открывающим возможность неоднозначного их истолкования, после написанного «правильной, прекрасной и благоуханной прозой» (*Гоголь.* Т. VIII. С. 402) социально-психологического романа «Герой нашего времени» и физиологического очерка «Кавказец» кажется неожиданным, необъяснимым и более того, противоречащим тому направлению, в котором развивалось позднее лермонтовское творчество. Между тем противоречие

это лишь видимое, в чем легко убедиться, если прочитать «Штосс», с одной стороны, в контексте специфически лермонтовских проблематики, мотивов и образов, и с другой — имея в виду ту литературно-бытовую среду, которая окружала Лермонтова в момент создания фантастического повествования об удивительной истории в одном из старых петербургских домов в Столярном переулке у Кокушкина моста.

Повествование в «Штоссе» развертывается вокруг главного героя, художника Лугина. Лугин — наделенный острым, проницательным умом трезвый аналитик, осознающий несовершенство окружающей его действительности, которую он не принимает. Это вместе с тем и человек искусства, одинокий мечтатель, романтически страдающий в поисках недостижимого идеала, наконец являющегося ему в фантастическом образе воздушной красавицы. Такое сочетание в герое очевидно разнородных стихий — трезвого реализма и романтического мечтательства — позволяет автору «Штосса» решать центральную в повести и важнейшую для всего его творчества в целом проблему взаимоотношений стоящего особняком, живущего напряженной внутренней жизнью героя с тем действительным миром, в котором он существует, при помощи образных средств, принадлежащих поэтике фантастического. «Фантастическое,— писал В. Г. Белинский,— есть предчувствие таинства жизни, противоположный полюс пошлой рассудочной ясности и определенности ⟨...⟩ Фантастическое есть один из необходимейших элементов богатой натуры, для которой счастие только во внутренней жизни» *(Бел.* Т. IV. С. 98).

Проявившийся в 1841 г. интерес Лермонтова к фантастическому вполне объясним[1]. В начале февраля Лермонтов возвратился с Кавказа в Петербург. В светских и литературных салонах столицы он — желанный гость; тепло, дружески принимают его в семье покойного историка Карамзина, в доме известного музыкального деятеля Михаила Юрьевича Виельгорского, у В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского. Лермонтов сближается с графиней Е. П. Ростопчиной: «...двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой» *(Л. в восп.* С. 285). Поэт в курсе философских и литературных интересов Одоевского и Ростопчиной и особенно их внимания к проблемам «сверхчувственного» в природе, человеческой психике и фантастического в литературе.

В 1839 г. в «Отечественных записках» Одоевский публиковал «Письма к графине Е. П. Р⟨остопчино⟩й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках», где попытался ограничить сферу «таинственного» за счет объяснения многих явлений с помощью новейших естественно-научных открытий. Это была точка зрения Одоевского, ученого — философа и естественника, который решительно отделял себя от Одоевского — автора фантастических повестей «Сильфида» (1837) и «Сегелиель» (часть опубл. в 1838 г.) с неподдающимися вполне объяснению чудесными явлениями.

В январе 1840 г. Одоевский читал у Карамзиных мистическую повесть, вероятнее всего «Космораму» (1840), где развивалась тема двоемирия и где естественнонаучные мотивировки сверхъестественного

[1] На фантастических мотивах строилось повествование и в ранней поэме «Ангел смерти» (1831), в «Демоне» (1839), в балладах. Но, по сравнению со «Штоссом», это была иная фантастика: Лермонтов использовал там характерную для лирических и лироэпических произведений фантастику мифологическую.

(«двойное зрение», «нервическая болезнь») далеко не убеждали слушателей[2].

Лермонтов с его пристальным вниманием к внутреннему миру современного человека, явлению самому таинственному, предложил членам кружка Одоевского — Ростопчиной свою «страшную повесть». «Однажды он объявил,— сообщала Ростопчина,— что прочтет нам новый роман под заглавием „Штос", причем он рассчитал, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен» (*Л. в восп.* С. 285).

Содержание сохранившегося отрывка убеждает в том, что и проблематика, и стилистика повести были подготовлены предшествующим творчеством Лермонтова. Здесь возможны и естественны соотнесения с поздней лирикой поэта (см. в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен...»: «...бесплотное виденье / Ношу в душе моей...»), с «Фаталистом» (мотив игры с судьбой), с «Княгинией Лиговской» и «Кавказцем» (физиологические описания в духе «натуральной школы»)[3].

Вместе с тем «Штосс» написан с учетом полемики относительно предмета и формы фантастического повествования, связанной с именами Пушкина, В. Ф. Одоевского, Ростопчиной.

В «Штоссе» Лермонтов использовал опыт ориентировавшегося на Гофмана Одоевского-фантаста, его двойную мотивировку изображаемых чудесных явлений, которые могли рассматриваться и как следствие проникновения ирреального в действительность, и как следствие особого «состояния души, когда и обыкновенные вещи животворяются и воскресают фантастическою жизнью» (*Бел.* Т. IV. С. 106). При этом автор «Штосса» не вполне сочувствовал основанной на мистическом рационализме «серьезной» фантастике Одоевского, видя в ней лишь средство для иносказательного выражения общей идеи. Гораздо ближе Лермонтову был пушкинский принцип «легкого» остросюжетного повествования, в котором фантастика предстает заключенной в бытовой реальности. Эстетическая позиция Лермонтова в «Штоссе» состояла в утверждении фантастики, которая, как показал писатель, наполняет явления окружающей обыденной жизни; именно фантастический мир своего героя Лермонтов ставит в центр повествования, подчеркивая тем самым первостепенное его значение[4]. Трагический герой-мечтатель погружен в прозаический быт, и именно ему, человеку, наделенному

[2] См. об этом в ст.: Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Исследования и материалы. М., 1979. С. 224—231.

[3] См. об этом: Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов: Художественная индивидуальность и творческие процессы. Воронеж, 1973. С. 633—653.

[4] См.: Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова. С. 229—250.

высокой духовностью, открывается фантастнка действительности. Так, в «Штоссе» органически соединены якобы взаимоисключающие поэтические элементы — реальный и фантастический. Тот же принцип лежит н в основе ряда более поздних новелл, идеологическн н эстетнческн прннадлежащих «натуральной школе»; «Штосс» таким образом может быть расценен как предшественннк будущей «натуральной повести», построенной по законам «фантастнческого реалнзма»[5]

Очерчивая круг впечатлений, питавший автора «Штосса», следует обратнть вниманне н на моменты внелнтературные, связанные с бытовой сферой: в 1839—1840-х годах в петербургском обществе увлекались анекдотамн о чудесах, таинственнымн историямн о призраках, вступавших в общение с рассказчиком. На этот счет существует ряд мемуарных свидетельств; некоторые нз ннх имеют прямое отношенне к «Штоссу». Известный в столице генерал Жнбарн, напрнмер, видел «всякую ночь явление таинственного монаха», который, по его словам, «с ним всякую ночь проводит долгое время и разговаривает про Memento Mori»[6]. Еще один рассказ заставляет вспомнить те страннцы «Штосса», где речь идет о «воздушном идеале»: «Мне сегодня чудилось, будто бы я был в каком-то странном собранин, духов ли, людей лн,— не знаю ⟨...⟩ вндел ⟨...⟩ многих девушек, воздушных, как ангелы, между которымн я будто нскал самую прелестную. И вскоре взор мой остановился на создании очаровательном; стоя на каком-то возвышении, она смотрела на меня очамн небеснымн, в которых я видел рай; нежное тело ее, прозрачное, как эфир, покрыто было легкою дымкою — я упивался этим небесным явлением ⟨. .⟩ я прнпоминал себе многих ⟨ ..⟩ хорошенькнх девушек, которых встречаешь кое-где в собрвннях — но все было далеко от идеала прелестного»[7]

Автограф незавершенной повестн «Штосс» (рукопись обрывается на словах: «У Лугнна болезненно сжималось сердце — отчаянием») хранится в Москве, в Государственном историческом музее (ф. 445 № 227а) Черновой набросок плана повестн, оканчивавшейся трагически,— в альбоме Лермонтова 1840—1841 г.: «Сюжет. У дамы; лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь: в отчаянии, когда старик выигрывает — Шулер: старнк проиграл дочь. Чтобы ⟨?⟩ Доктор: окошко» *(ОР ГПБ* Собр. рукописей Лермонтова, № 11). Существует черновой набросок в записной книжке, подаренной Лермонтову Одоевским, из которого следует, что Лермонтов предполагал продолжить «Штосс» н закончить его гибелью героя: «Да кто же ты, ради бога? — Что-с? отвечал старичок, примаргивая одним глазом,— Штос! — повторнл в ужасе Лугин. Шулер имеет разум в пальцах.— Банк — Скоропостнжная» *(ОР ГПБ.* Собр. рукопнсей Лермонтова, № 12)

«Штосс» датнруется серединой марта — началом апреля 1841 г Впервые опублнкован в сборнике «Вчера и сегодня» 1845. Кн. 1 С 71—87

---

[5] См.: Чистова И. С. Прозаический отрывок М. Ю. Лермонтова «Штосс» и «натуральная» повесть 1840-х годов // Русская литература. 1978. № 1 С. 116—122.

[6] Колзаков К. П. Дневник (1839) // *ОР ГПБ*, ф. 358, № 2, л 47.

[7] Там же. № 3. Л. 24—24 об.

⟨Штосс⟩

Печатается по изд.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1981. Т. IV. С. 319—332.

[1] *У графа В... был музыкальный вечер.*— Имеется в виду музыкальный вечер в доме Михаила Юрьевича Виельгорского (1788—1856), музыкального деятеля, композитора, мецената, гофмейстера двора. Лермонтов познакомился с Виельгорским, видимо, в 1838 г.; Виельгорские в то время жили в доме Яковлева (Жако) на Михайловской площади (ныне пл. Искусств, 5).

[2] *...и один гвардейский офицер.*— По всей вероятности, здесь речь идет о самом Лермонтове.

[3] *...новоприезжая певица подходила к роялю...*— Вероятно, Лермонтов имеет в виду Сабину Гейнефеттер (1809—1872); в программе певицы, гастролировавшей в Петербурге начиная с октября 1840 г.,были романсы Ф. Шуберта (1797—1828). Концертная деятельность С. Гейнефеттер широко освещалась в прессе (См.: *СПч.* 1840. № 238. 21 октября; № 266. 23 ноября; № 271. 28 ноября).

[4] *...одна молодая женщина...*— Лермонтов имеет в виду А. О. Смирнову (урожд. Россет; 1809—1882), одну из блестящих дам петербургского света, хозяйку литературного салона, который посещали Жуковский, Пушкин, Вяземский, Гоголь, Карамзины. В 1838—1841 гг. там бывал и Лермонтов.

[5] *На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель...*— Вензель — знаки с инициалами императрицы, которые давались фрейлинам. А. О. Смирнова до замужества была фрейлиной (с 1826 по 1832 г.) императриц — вдовы Павла I Марии Федоровны (1759—1828), а после ее смерти — Александры Федоровны (1798—1860), жены Николая I.

[6] *...правильное, но бледное лицо...*— Эстетика 1830-х годов требовала от петербургской светской женщины томной бледности. Ср. в «Маскараде»: «...в Петербурге кто не бледен, право! Одна лишь старая княжна, И то — румяны!» (д. III, сц. II)

[7] *— И у меня сплин!* — Модные среди светской молодежи начала 1820-х годов разочарованность и скука, обозначаемые английским словом spleen (см. в «Евгении Онегине» Пушкина), оставались актуальными и в конце 1830-х годов. В 1839 г. газета «Северная пчела» даже поместила ироническую статью «Петербургский сплин», в которой говорилось: «Сплин существует повсюду — и в Париже, и в Пекине, и в Москве, да и в Петербурге,— да и в Петербурге, несмотря на Большой театр с Тальони ⟨...⟩ Сплин! Недуг наших франтов, перемежающаяся лихорадка всех людей без различия, неизлечимая боль нынешних 15-летних стариков...» *(СПч.* 1839. № 282, 15 декабря).

[8] *...в Столярном переулке, у Кокушкина моста...*— Столярный переулок (улица) (ныне ул. Пржевальского) располагался во 2-й Адмиралтейской части Петербурга; Кокушкин мост — мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) в районе Большой Мещанской улицы (ныне ул. Плеханова).

[9] *...в зеленой фризовой шинели...*— Фриз — толстая ворсистая ткань, байка.

[10] *...овальные зеркала с рамками рококо...*— Рококо — художественный стиль XVIII в., отличающийся изысканной усложненностью форм.

[11] *Шандал* — подсвечник.

[12] *Клюнгер* — золотая монета.

[13] *У меня в банке вот это! 〈...〉 Мечите! 〈...〉 Идет, темная 〈...〉 она* (семерка бубен.— *Ред.*) *соника была убита 〈...〉 Еще талью!* — При игре в штосс один из игроков (понтер) ставит деньги на карту (держит банк), второй (банкомет) мечет карты из другой колоды на две кучки. Выигрыш зависит от того, на какую сторону ложится карта, подобная той, на которую поставлены деньги: направо — достается понтеру; налево — банкомету. «*Темные*» карты на шулерском языке — карты с разного рода отметками (обыкновенные карты назывались «чистыми»).— *Соника* — сразу, выигрыш или проигрыш по первому вскрытию карты; убитая карта — проигранная; *талия* — один промет всей колоды, до конца или до срыва банка.

[14] *— А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! — а! теперь я понимаю!..* — Мотив оживающего портрета сближает «Штосс» с произведениями, написанными в традициях романтизма как русского («Портрет» Гоголя, 1835), так и западного («Мельмот-Скиталец» Мэтьюрина, 1820).

[15] *...бросил было на стол два полуимпериала...* — Полуимпериал — российская золотая монета до денежной реформы 1897 г. достоинством в 5 рублей.

[16] *...я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия? 〈...〉 — Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.— Штос? — кто? — У Лугина руки опустились: он испугался.* — Этот ключевой каламбур повести имеет в своей основе взволновавшую столицу в декабре 1839 г. историю о бедной гувернантке Е. И. Штосс, которая благодаря выигрышу в лотерее стала обладательницей огромного состояния. Любопытно, что, рассказывая об этом в своем письме к родным от 28 декабря 1839 г., П. А. Вяземский, сетуя на судьбу, оказавшуюся к нему неблагосклонной, тоже обыграл фамилию счастливой обладательницы выигрыша: «А большой выигрыш в 400 000 рублей 〈...〉 выиграла 〈...〉 какая-то бедная девица Штосс, а я-то что-с?» (см.: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 251).

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ

(1817—1875)

«Эта небольшая 〈...〉 книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. Содержание ее многосложно и исполнено эффектов; но причина этого заключается не в недостатке фантазии, а скорее в ее пылкости, которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души». «„Упырь" — произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это? 〈...〉 несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, уменье сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на „слог", словом — во всем отпечаток руки твердой, литературной,— все это заставляет надеяться в будущем многого от автора „Упыря"» (*Бел.* Т. V. С. 473—474).

Приведенным отзывом В. Г. Белинского был встречен литературный дебют А. К. Толстого — впоследствии выдающегося лирика и драматурга, исторического романиста и одного из создателей знаменитого Козьмы Пруткова. Будущий писатель родился в Петербурге, в семье графа К. П. Толстого — брата известного рисовальщика, скульптора и гравера Ф. П. Толстого. С материнской стороны он происходил из рода Разумовских и являлся правнуком последнего украинского гетмана. Детские годы Толстого прошли в Черниговской губернии — в родовом имении Красный Рог (отсюда ранний псевдоним писателя — Краснорогский), а также в принадлежащем его дяде А. А. Перовскому селе Погорельцы. Перовский, вошедший в русскую литературу под именем Антония Погорельского (см. с. 589), принимал самое горячее участие в воспитании племянника, написав для него, в частности, одно из лучших своих произведений — «волшебную повесть для детей» «Черная курица, или Подземные жители» (1829). Он поддерживал рано возникший у Толстого интерес к литературной деятельности, к искусству, для знакомства с которым были предприняты путешествия в Германию и особенно полюбившуюся юному поэту Италию. Вероятно, примером и влиянием Погорельского отчасти объясняется и обращение Толстого к жанру фантастической повести в его первых прозаических сочинениях — «Упыре», а также написанных по-французски «Семье вурдалака» и «Встрече через триста лет». Спустя несколько лет писатель вернулся к фантастике в отрывке «Амена» (1846), рисующем столкновение христианства и языческого мира.

По свидетельству П. А. Плетнева, 9 апреля 1841 г. «Упырь» был прочитан в петербургском салоне писателя В. А. Соллогуба[1]. В числе слушателей повести — В. А. Жуковский и В. Ф. Одоевский, под началом которого с декабря 1840 г. Толстой служил во II-м Отделении собственной его императорского величества канцелярии. Любопытно, что в конце марта — начале апреля 1841 г. примерно в том же кругу М. Ю. Лермонтов читал свой отрывок «Штосс» (см. с. 656—657). 11 мая рукопись повести Толстого была отправлена цензору А. В. Никитенко, и вскоре первая книга писателя, подписанная псевдонимом Краснорогский, вышла в свет: У п ы р ь. [СПб.,] 1841 (ценз. разрешение 15 мая).

В «итальянском» эпизоде повести отразились впечатления самого автора от пребывания в этой стране в 1838 г., когда он в составе свиты наследника престола (будущего Александра II, с которым Толстой был дружен с детства) некоторое время провел в Комо. Биографический подтекст этой части «Упыря» раскрывает, в частности, письмо Толстого к жене от 2(14) апреля 1872 г. из Комо, в котором он вспоминает о своем юношеском любовном приключении на вилле Реймонди, о дочери тамошнего сторожа Пеппине... (см.: Т о л с т о й А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 399—400). Интересно, что и в самом произведении загадочные события в Италии отнесены к 1838 г. (Рыбаренко рассказывает о них как о происшествиях трехлетней давности). Разу-

[1] «На вечер пошел к Соллогубу, там нашел большое общество, составленное из литераторов-аристократов и прелестнейших дам ⟨...⟩. Происходило чтение повести графа Т о л с т о г о ⟨...⟩. Повесть — „Вампир". Я не люблю этого рода, а особливо не люблю салонных чтений. После первой части пили чай ⟨...⟩. После чая начали чтение второй части. Я ушел домой» (письмо П. А. Плетнева к Я. К. Гроту от 11 апреля 1841 г. // П е р е п и с к а Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. СПб., 1896. Т. I. С. 313).

меется, перечисленные совпадения оставались незамеченными абсолютным большинством читателей «Упыря». И все же они представляются неслучайными. В этих скрытых биографических намеках видится момент ироничной литературной игры, отвечающей общему тону повести и в данном случае понятной лишь узкому кругу посвященных — ближайших знакомых автора.

Как это не раз подчеркивается и в самом тексте произведения, «Упырь» тесно связан с фантастической литературой предромантической и романтической эпохи. В особенности это касается сочинений, созданных в русле «готической» традиции, с характерной для нее поэтикой таинственного и ужасного, мотивами грехопадения, всевластия рока, проклятия, тяготеющего над родом (напр., «Эликсиры дьявола» (1816) Э. Т. А. Гофмана, «Страшная месть» (1832) Н. В. Гоголя, во многом близкая «Упырю» «Розаура и ее родственники» немецкого писателя Ф. де ла Мотт Фуке (рус. пер.: Рассказчик, или Избранные повести иностранных авторов. СПб., 1832. Ч. 3) и др.). Активно разрабатывается в литературе той поры и тема вампиризма, восходящая к народным легендам и суевериям (баллада И. В. Гете «Коринфская невеста» (1797; Толстой перевел ее в 1867 г.), «Гузла» (1827) П. Мериме и т. д.). Быть может наиболее заметное место среди связанных с этой темой произведений занимает повесть Полидори «Вампир» (см. с. 606), воздействие которой ощутимо и в публикуемом сочинении Толстого. «В некоторых частях Греции,— сообщается в „Примечании" к повести Полидори,— вампиризм считают некоторого рода наказанием после смерти за ужасное преступление во время жизни и думают, что умерший тогда не только осужден быть вампиром, но что он должен обращать свои адские посещения только к тем существам, которые были для него на земле всего дороже — к тем, с которыми соединен был узами родства и любви» (В а м п и р: Повесть, рассказанная лордом Ба́йроном. ⟨...⟩ М., 1828. С. 78—79). Именно мотив угрозы Даше со стороны ее бабушки-оборотня Толстой и делает одной из важнейших сюжетных пружин своего произведения. Что же касается персонажей русского писателя, то причастные к тайне упырей Рыбаренко и Клеопатра Петровна, каждый по-своему, напоминают одного из героев Полидори — Обри (Обрия), ставшего свидетелем смерти вампира Ро́твена, но давшего роковую клятву молчать о ней.

Первая книга Толстого не прошла мимо критиков 1840-х годов, однако вызвала у них неоднозначную реакцию. В этом смысле цитированный выше отзыв Белинского контрастирует со скептическими, резко негативными оценками «Библиотеки для чтения» (*БдЧ*. 1841. Т. 48. Отд. VI. С. 6—12) и «Северной пчелы» (*СПч*. 1841. № 222). У рецензентов этих изданий не нашло сочувствия стремление автора «Упыря» к сложному построению сюжета, сгущению атмосферы таинственности. Они точно отметили «литературность» повести Толстого, но оценили ее как эпигонство, с иронией предложив видеть в «Упыре» не более как «запоздалую пародию на пресловутые творения г-жи Радклиф и Дюкре-Дюмениля» (*СПч*. С. 887) Думается, в откликах «Библиотеки» и «Северной пчелы», отражавших вкусы массового читателя, сказалось общее угасание интереса к традиционным фантастическим жанрам. Не случайно при жизни Толстого его юношеское произведение больше не переиздавалось. Внимание к себе «Упырь» вновь привлек лишь в конце XIX в., в изменившейся литературной ситуации. В 1900 г. он был переиздан с предисловием В. С. Соловьева, который высоко оценил повесть и высказал в связи с нею и на ее материале ряд глубоких суждений о проблеме чудесного в жизни и литературе. «Весь

рассказ (Толстого.— *А. К.*),— писал Соловьев,— есть удивительно сложный фантастический узор на канве обыкновенной реальности» «Фантастический элемент дает этой повести ее существенную форму, а общий смысл ее — нравственная наследственность, устойчивость и повторяемость типов и деяний, искупление предков потомками» (Предисловие // Упырь: Рассказ графа А. К. Толстого. СПб., 1900. С. VI, VII).

Упырь

Печатается по изд.: Толстой А. К. Собр. сочинений: В 4 т М., 1964. Т. 3. С. 7—68. В комментариях учтены результаты разысканий И. Г. Ямпольского (там же. С. 561—565)

1 *Упырь* (вампир, вурдалак) — сказочный оборотень-кровопийца, мертвец, выходящий из могилы, чтобы сосать кровь живых людей.

2 *...они происхождения чисто славянского...*— В литературе той эпохи вампиризм связывался с поверьями балканских народов, преимущественно сербов и греков (см.: Измайлов Н. В. Тема «вампиризма» в литературе первых десятилетий XIX в. // Сравнительное изучение литератур: Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976. С. 510-519).

3 *...фантом или ревенант! (франц.* revenant) — Выходец с того света, привидение.

4 *— Это бригадирша Сугробина...*— Бригадир — офицерский чин в русской армии XVIII в. (до 1799 г.), промежуточный между полковником и генерал-майором, соответствовал чину статского советника в гражданской службе.

5 *Донник* — травянистое медоносное растение.

6 *...стоим себе на Дунае...*— Речь идет о русско-турецкой войне 1768—1774 гг.

7 *...с графом Петром Александровичем* — Имеется в виду генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский (1725—1796), победитель турок при Ларге и Кагуле.

8 *Вейсман* фон Вейссенштейн Отто Адольф (погиб 1773) — генерал русской армии.

9 *...и князя Григория Александровича...*— Имеется в виду Г. А. Потемкин-Таврический (1739—1791), государственный и военный деятель, главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787—1791 гг.

10 *...в регулярном французском вкусе.*— Регулярный (французский) парк — парк с геометрически правильной планировкой.

11 *Чичероне (итал.* cicerone) — проводник, дающий разъяснения при осмотре достопримечательностей.

12 *...на известном озере...*— Имеется в виду озеро Комо на севере Италии, у подножия Альп, знаменитое курортное место. На южном конце озера расположен город того же названия.

13 *...известный анекдот про Тюренна.* — Что именно подразумевается, не установлено. *Тюренн* — вероятно, маршал Франции Анри де Ла Тур д'Оверн Тюренн (1611—1675)

14 *...доску с кабалистическими знаками...*— см. прим. 4 на с. 623.

15 *Палладий* — Палладио (наст фам. ди Пьетро) Андреа (1508—1580) — выдающийся итальянский архитектор

16 *Bernardino Luini* (Бернардино Луини, 1480-е —1532) — итальянский живописец, испытал влияние Леонардо да Винчи.

[17] *Цванцигер* — монета в двадцать пфеннингов.

[18] *...из Ариостова «Orlando».* — Речь идет о поэме «Неистовый Роланд» (см. с. 611).

[19] *...Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко...* — Имеется в виду известнейший греческий миф (хотя далее в повести Толстого боги носят римские имена): Зевс (в рим. мифол. Юпитер) поручил сыну троянского царя Парису разрешить спор между богинями Герой (Юноной), Афиной (Минервой) и Афродитой (Венерой) о том, кому из них должно принадлежать золотое яблоко с надписью: «прекраснейшей». Парис выбрал Афродиту, обещавшую ему в награду красивейшую из женщин — Елену.

[20] *...Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря...* — Речь идет о героях поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» — дочери катайского императора прекрасной язычнице Анджелике, ее возлюбленном — юном сарацинском воине Медоре и любящем Анджелику Роланде. Эпизод, изображенный на картине, не имеет точного соответствия в тексте поэмы.

[21] *Ветурин* (*итал.* vetturino) — извозчик.

[22] *Наполеон* — золотая монета в двадцать франков.

[23] *Грифон* — в греческой мифологии крылатое животное с телом льва, крыльями и головой орла.

[24] *Пан* — в греческой мифологии бог стад, покровитель пастухов, позднее воспринимался как бог всей природы.

[25] *...возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!»...* — Появление в повести богов древнего Рима не случайно: согласно средневековым представлениям, «наравне с падшими ангелами, армию дьявола составляли языческие божества древнего мира, превратившиеся в процессе развития христианства в презренных и коварных демонов», которые часто появляются перед людьми в виде Юпитера, Венеры, Минервы, Бахуса (см.: Лозинский С. Г Роковая книга средневековья // Шпренгер Я. Инститорис Г. Молот ведьм. [М., 1932] С. 4).

[26] *Нимфы, наяды* — в греческой мифологии женские божества природы, населяющие горы, леса, моря, источники.

Ладóн — в греческой мифологии бог реки в Аркадии, отец наяды Сиринкс (Сиринги) — преследуемая Паном, она была превращена в тростник, издающий сладостно-грустные звуки; Пан вырезал себе из этого тростника свирель.

[27] *Дриады, ореады* — божества лесов и гор.

Фавны — в римской мифологии боги-покровители скотоводства, полей и лесов.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества.

[28] *Стикс* — в греческой мифологии река, через которую Харон перевозил умерших в царство мертвых.

[29] *Подеста* — глава местного самоуправления в итальянских городах.

[30] *Геката* — в греческой мифологии богиня-покровительница ночной нечисти, колдовства.

Ламия — у древних греков страшное фантастическое существо, ведьма; позднее ламиями называли прекрасные женские призраки, заманивающие молодых людей и высасывающие из них кровь.

[31] *Тартар* — в греческой мифологии бездна в недрах земли, царства мертвых.

[32] *Эмпузы* — чудовища-оборотни.

[33] *Москва превратилась в необъятную гармонику.* — Речь идет

о музыкальном инструменте, состоящем из стеклянных колокольчиков и палочек или трубочек. На нем играли, дотрагиваясь пальцами до смоченного стекла.

[34] *Карлисты* — партия сторонников Дон Карлоса (1788—1855), младшего брата испанского короля Фердинанда VII; отстраненный от наследования престола, Карлос после смерти брата в 1833 г. провозгласил себя королем, что послужило началом кровопролитной гражданской войны (1833—1840).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бел — Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953—1959.
БдЧ — «Библиотека для чтения».
Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. 1937—1952.
Киреевский — Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
Л в восп. — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972.
МВ — «Московский вестник».
МТ — «Московский телеграф»
ОЗ — «Отечественные записки»
ОР ГПБ — Отдел Рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
Пушкин — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., Л., 1935—1959.
П в восп. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985.
ПИиМ — Пушкин. Исследования и материалы. Т. I—XII. Л., 1956—1986.
РА — «Русский архив».
РО ИРЛИ — Рукописный Отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом)
С — «Современник».
Сакулин — Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель.— Писатель. Т. I. Ч. 1—2. М., 1913.
СПч — «Северная пчела»
Т — «Телескоп»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

**Русская фантастическая проза
эпохи романтизма
(1820—1840 гг.)**

Редактор *Л. А. Карпова*

Художественный редактор *В. В. Пожидаев*

Оформление художинка *Л И. Блиновой*

Техническнй редактор *Е. Г Учаева*

Корректоры *В. А. Латыгина, О. В. Пукелова*

ИБ № 3327

Сдано в набор 30.01.90. Подписано в печать 07.08.90. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,44. Уч.-изд. л. 38,98. Тираж 250 000 экз. Заказ 480.
Цена 7 руб.

Издательство ЛГУ 199034, Ленинград, Университетская наб., 7/9.
Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Анохина Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 185630, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4.

і.
г.
і
-
-
із
й
-
ы
с-





Русская
Фантастическая
Проза